

МАРИНА ТАРКОВСКАЯ
ОСКОЛКИ ЗЕРКАЛА



МАРИНА ТАРКОВСКАЯ
ОСКОЛКИ ЗЕРКАЛА







МАРИНА ТАРКОВСКАЯ

ОСКОЛКИ
ЗЕРКАЛА

МОСКВА
ВАГРИУС
2006

УДК 882-94
ББК 84 (2Рос=Рус)6
Т19

Редактор *Елена Шубина*

Художник *Аида Сидоренко*

В книге использованы фотографии из семейного архива М.А. Тарковской, а также из личных собраний Л.С. Ворожейкиной, И.В. Головни, Л.Ю. Нови, В.А. Петрова, В.В. Петракова, Е.В. Трениной, В.П. Шурапова

Тарковская М.А.

Т19 Осколки зеркала / Марина Тарковская. – 2-е изд., доп. – М.: Вагриус, 2006. – 416 с.

ISBN 5-9696-0150-5

Автор книги – дочь поэта Арсения Тарковского и сестра кинорежиссера Андрея Тарковского. «Осколки зеркала» – это и рассказы о трех поколениях семьи, и собственно воспоминания – веселые и трагические. В них сохранилось не только исчезающее время, но и чувства и переживания героев: напряженный диалог отца и сына – Арсения и Андрея Тарковских, история взаимоотношений родителей, двух сильных личностей, «которые не могли быть вместе, но и по отдельности не получалось»...

УДК 882-94
ББК 84 (2Рос=Рус)6

Охраняется Законом РФ об авторском праве

ISBN 5-9696-0150-5

© Тарковская М.А., 2006

© Оформление. ЗАО «Вагриус», 2006

Нет в мире человека, над которым
прошедшее приобретало бы такую власть,
как надо мною. Всякое напоминание
о минувшей печали или радости
болезненно ударяет в мою душу
и извлекает из нее все те же звуки...

М.Ю. Лермонтов.
«Герой нашего времени»

От автора

После ухода из жизни моих близких – мамы, Андрея, отца, в их память, я занялась историей семьи Тарковских. Семьи, с одной стороны, необыкновенной – ведь из нее вышли такие яркие личности, как дед, Александр Карлович, бунтарь, поэт, журналист, как наш отец Арсений Тарковский, как Андрей. С другой стороны, семьи вполне обычной, потому что ее история типична для многих дворянских семей. Родовитые фамилии сливались с неродовитыми, не заботясь о чистоте крови, а после революции, потеряв то небольшое, что имели, растворились среди многомиллионного народа, вместе с которым пережили все тяготы, выпавшие ему на долю.

Как известно, гены предков сохраняются в крови потомков и во многом определяют их характер. Золотоордынская княжна, Дубасовы и Пшеславские, Лопухины и Корженевские, Тарковские и Вишняковы... Что из этой генетической кладовой досталось Андрею? В нем угадывались страстность, гордость и благородство Александра Тарковского, упорство и неумение разбираться в людях деда с материнской стороны, Ивана Вишнякова, талант и одержимость отца, отвага и преданность делу дяди, Валерия Тарковского, бескомпромиссность и душевный такт матери...

Книга замышлялась мною как семейная хроника, основанная на документальных материалах. Много времени ушло на их сбор, на поездки в города, связанные с биографией семьи, на работу в архивах России и Украины. Но воспоминания, далекие и близкие, вылились в форму коротких рассказов, каждый из которых вполне мог бы существовать автономно. Однако документальные свидетельства и находки вошли в очерки, составившие немалую часть книги. Я сочла необходимым также включить в состав книги главы, касающиеся лирической поэзии Арсения Тарковского, которую невозможно отделить от его личной судьбы.

Хочу подчеркнуть, что сведения, касающиеся истории семьи, особенно происхождения рода Тарковских, мною документально выверены и к ним необходимо относиться с полным доверием.

После долгих раздумий и сомнений я пришла к убеждению, что в своих рассказах-воспоминаниях я должна говорить всю

правду, какой бы горькой она ни была. Осколки, когда их берешь в руки, больно ранят, но иначе не сложить того зеркала, перед которым прошла жизнь моих близких.

Первое издание книги вышло в 1999 году в московском издательстве «Дедалус».

В это, второе издание, включено тридцать пять новых рассказов. В него вошли также новые иллюстрации – фотографии и документы.

Благодарю от всего сердца всех, кто помог мне в работе. Особая благодарность фотомастерам, чьи работы представлены в этой книге: Б. Балдину, Ю. Васюкевичу, Л. Горнунгу, А. Долгину, Лиз Клеве (Шведский киноинститут), О. Морозову, А. Орлову, Г. Пинхасову.

Очень хочу, чтобы мои внуки – Наташа и Коля Тарковские, Миша и Андрюша Ясенявские узнали из этой книги свою родословную и постарались быть достойными ее продолжателями.

М. Тарковская

Родословная

При советской власти граждане писали в анкетах, что они происходят из служащих, если, конечно, не были из рабочих или из крестьян. Ну совершенно никого не было из дворян. А теперь дворяне вышли из подполья и даже организовали свое общество. Храбрые люди, русские дворяне, ведь неизвестно, какой еще вираж сделает история нашей родины...

Мамина мать, бабушка Вера Николаевна, встретила Февральскую революцию с красным бантом на отвороте трукара*. Однако спустя год она уже тщательно соскоблила свою фамилию с семейных фотографий. Милая, наивная бабуся Веруся! Я думаю, что «органы», заинтересовавшись фотографиями, быстренько бы дознались, что там было написано. И бабушке бы не поздоровилось, потому что в девичестве она носила фамилию Дубасова. «Первое упоминание о Дубасовых в летописи — думный боярин при царе Алексее Михайловиче», — говорила бабушка со слов своего отца. Адмиралу Дубасову, уроженцу Петербурга, московскому генерал-губернатору, он приходился дальним родственником и не был с ним даже знаком.

Бабушкин отец, Николай Васильевич Дубасов, был очень добрым человеком. Его любили и родные, и крестьяне, жившие в деревне рядом с его имением Переверзево в Калужской губернии. Когда начались волнения, они приходили к нему и говорили: «Мы тебя, Василич, в обиду не дадим». Наверное, только историческая необходимость заставила крестьян разорить в революцию дом любимого соседа и выкинуть из семейного склепа его останки...

В 1905 году бабушка вышла замуж за дедушку — Ивана Ивановича Вишнякова. Он был родом из Калуги, дед его был протоиерей, отец — казначей. Дворянами они не были. Этот мезальянс оправдывался тем, что дедушка был судья, «универсант». Он окончил Московский университет и был очень образованным человеком. Знакомые называли его «ходячая энциклопедия». В 1907 году у Вишняковых родилась дочь Мария — наша с Андреем мать.

Что касается папиного происхождения, то корни его уходят в Польшу. Из-за сходства фамилий дедушке кто-то предло-

* Пальто длиною в три четверти.



Патент, данный Матвею Тарковскому 6 февраля 1803 года, о внесении его и его семьи в дворянскую родословную книгу Волынской губернии

жил унаследовать бесхозные табуны и серебряные копи шамхалов Тарковских в Дагестане. Отсюда возникла версия о кавказском происхождении рода. Документальных подтверждений этой легенде не имеется. Генеалогическое древо Тарковских находилось среди бумаг, которые хранились в нашем доме после смерти папиной матери. На пергаменте тушью были нарисованы кружочки, в каждый из которых было вписано имя. Я помню, что нашла имя папы и его брата Вали. Более далекие предки тогда меня совсем не интересовали. Потом этот пергамент куда-то исчез. Возможно, его украл наш сосед — малолетний воришка. Осталась грамота 1803 года — «Патент», написанный по-польски, в котором подтверждаются дворянские привилегии майора Матвея Тарковского. Из этой грамоты и из «Дела Волынского Дворянского собрания о дворянском происхождении рода Тарковских» ясно, что прапрапрадед, прапрадед, прадед и дед папы жили на Украине и были военными. Они исповедовали римско-католическую религию, а папин отец был записан в церковной книге православным и считал себя русским.

Тарковские были светловолосыми и светлоглазыми. Это папина мать, Мария Даниловна, дочь кишиневского почтмейстера, надворного советника Рачковского, была черной в свою бабу-румынку. Она-то и смешала карты. Папина фамилия и его черная масть давали основание дагестанцам считать его

своим, а некоторым русским — задаваться традиционным вопросом: не еврей ли Тарковский? Этот вопрос еще до войны интересовал наших соседей по дому. Соседка Семенова, например, отвечала на него утвердительно. Папина национальность волновала и некоторых слушателей на поэтических вечерах, которые спрашивали его об этом в анонимных записках. Папа на такие записки не отвечал. Он вырос в Новороссии, в городе, где жили поляки, русские, украинцы, евреи, сербы, немцы, и с детства привык судить о людях по их человеческим качествам. Он вообще был немного старомоден — целовал дамам ручки и не подавал руки подлецам.



*Карл Матвеевич, Мария Казтановна
и Надежда Карловна Тарковские*

Встречи с папой

С тысяча девятьсот тридцать седьмого года папа жил недалеко от нас — мы в 1-м Щиповском, а он с Антониной Александровной и с ее дочкой Лялей — в Партийном переулке*. Меня тогда удивляло — рядом был Арсеньевский переулочок, а папа — Арсений — живет в Партийном, хотя партийным не был, я его спрашивала. И живет не со мной и с Андрюшей, а с чужой девочкой Лялей, хотя папа он наш, а не ее...

Однажды я гуляла возле дома. И вдруг в начале переулочка увидела человека в коричневом кожаном пальто. Это папа! И я бросилась бежать к нему навстречу. Ребятишки, с которыми я играла, смотрели мне вслед, и я представляла, как буду возвращаться, держа папу за руку. Но, пробежав полдороги, я увидела, что это не папа, а совсем чужой человек. Радость сменилась отчаянием, горло перехватило. Но я продолжала бежать и, поравнявшись с человеком в кожаном пальто, промчалась дальше. Чтобы он не понял, что я бежала к нему навстречу. Вернее, не к нему, а к папе...

*Бывший 3-й Щиповский переулочок переименован по когда-то располагавшемуся тут Москворецкому райкому ВКП(б).



*Андрей и Марина (со свистком).
Гуляем на Ляпинке*



Там же через год

А как-то раз папа с Антониной Александровной подошли к нам с Андреем на Ляпинке*. Дали нам по яблоку, постояли и ушли. А мы остались — гулять. Мама говорила, что гулять очень полезно. Она часто встречала папу в ближайшем магазине, у «Ильича»**. Мама покупала, как всегда, хлеб, молоко и масло, а папа говорил: «Маруся, как хорошо, что я тебя встретил. Подожди меня, мне надо позвонить Тоне». Он звонил из автомата, висевшего внутри магазина, перечислял пирожные, которые продавались в тот день, и спрашивал Тоню, какие купить. Потом он покупал пирожные, и они вместе выходили из магазина. Мама шла к нам, а папа — к Тоне.

Калоши

Наш переулочек был застроен одноэтажными и двухэтажными домами и вымощен булыжником. Машины по нему ездили редко, но однажды проехал мотоцикл. Мы бежали за ним и кричали: «Мотоциклетка! Мотоциклетка!»

* Квартал домов и сквер на месте, где были общежития и церковь, сохранившаяся по сей час в изуродованном виде, построенные для студентов купцом Ляпиным. Находятся между 2-м Щиповским переулочком и Серпуховской улицей.

** Продуктовый магазин, к которому были прикреплены рабочие завода им. Ильича.

Зимой переулок был завален снегом. Снег тогда не вывозили. Дворник, всегда сердитый дядя Иван, сгребал его в большие сугробы, которые возвышались вдоль тротуара. Андрей любил валяться в сугробах, и за это дворник гонял его метлой. А я любила есть «вафли» — снежные следы от калош. Самые хорошие «вафли» получались от комбинации свежего сырого снега и новых калош. Прохожих в новых калошах было мало, и их приходилось подолгу ждать. Лучше всего, когда у тебя у самой новые калоши. Они черные, блестящие, изнутри проклеены нежной красной байкой, и от них остро пахнет резиной. И «вафель» можно надеть сколько угодно, а не гоняться за прохожими.

Когда мы подросли, очарование калош пропало. Нам уже не хотелось их надевать, и из-за этого у нас была постоянная война с бабушкой. Новых калош не было, а старые — это нечто противоположное новым. Они тусклые, серовато-мутные, с грязной вытертой подкладкой, с подвертывающимися задниками. И тяжелые.

Андрей первым отвоевал право ходить без калош. Бабушка к нему уже и не приставала, не то что ко мне. «Ба, я пошла!» — «Надень калоши!» — «Ладно, ладно!» И — бегом из дома. Как легко идти без калош по весенней улице! Какой праздник, какое ликование!

А теперь все ходят без калош и не видят в этом ничего особенного.

Задний двор

Напрасно мы возвращаемся в места,
которые любили;
мы никогда их больше не увидим,
потому что расположены они были
не в пространстве, а во времени...
А. Моруа. «В поисках Марселя Пруста»

Окна наших двух комнат выходили на противоположную улице сторону. Первое — в узкий проход между двумя частями дома, прямо в кирпичную кладку стены. Поэтому в этой комнатке почти всегда горело электричество. Второе окно глядело в пространство так называемого «заднего двора». Во дворе этом не росло ни одного дерева, ни одной травинки. (Став постарше, я посадила там два тополя, которые спилили лет десять тому назад, когда проходила кампания борьбы с тополиным пухом.) Дворик этот казался уютным, потому что был со всех сторон замкнут. От соседнего, такого же двухэтажного дома его отделяла высокая кирпичная противопожарная стена — брандмауэр.



*Юрий Иванович Вишняков
с племянниками Андреем и Мариной.
Во дворе у окна комнаты Тарковских.
28 октября 1945 года*

Другую стену образовывал заводской корпус, тоже из красного кирпича, потом шел деревянный забор, отделявший заводскую территорию, потом, перпендикулярно забору, вторая часть нашего дома. Таким образом получался почти квадрат с небольшим аппендиксом в сторону улицы — проходом на помойку.

Мимо наших окон мелькали с помойными ведрами жильцы нашего дома. Зимой они выскакивали чаще всего раздетыми, пробегали быстро, летом шли медленнее — в домашних одеяниях: дамы — в ситцевых халатах, джентльмены — в черных сатиновых шароварах или трусах — до войны, да и после войны в Замоскворечье царили простые нравы. Но мы привыкли

и как-то не замечали этого помоечного неудобства, как не замечают жильцы нижних этажей современных домов проезжающие мимо автомобили.

Разбирая мамины записочки, я нашла одну — на листочке в косую линейку мама написала карандашом точную характеристику заднего двора: «В хорошую погоду вся жизнь нашего дома происходит на нашем дворике. Выбиваются ковры, сушится белье, когда это совпадает — ссорятся бабы. Моются вонючие кадушки из-под солений, шпарятся клопინые матрацы, чинится мебель: что-то без конца пилят и куда-то вбивают гвозди.

Ребятишки всех возрастов детского сада играют в мяч, дерутся, падают и плачут. Вообще же население нашего дома очень деятельно и миролюбиво, что, безусловно, связано одно с другим, так как вздорность и склоки идут обычно от безделья».

В этой записи меня удивило не представленное в ней убожество быта, который я хорошо помнила, а отношение мамы к окружающим, отсутствие у нее раздражения и злости на обитателей дома № 26 по 1-му Щиповскому переулку. Ведь пыль и шум от выбиваемых половиков летели нам прямо в окно, а детские игры в мяч были чреватые разбитыми стеклами.

На задний двор привозили дрова, хорошо, если березовые. Как были нам знакомы эти бревна со всеми их «особенностями».

ми»: наростами, грибами-трутовиками, чагой, какой-то розовой, довольно аппетитной на вид плесенью. (Не случайно в «Рублеве» голодная Дурочка ест эту плесень.) Сколько бревен мы перепилили с Андреем, когда чуть повзрослели! Тянешь и тянешь за ручку эту пилу, туда-сюда, туда-сюда. Уставала я быстро, после скарлатины жила с пороком сердца, но на это никто не обращал тогда внимания. А потом Андрей колол дрова. Он здорово умел это делать, ударял по чурбаку именно туда, куда надо, минуя сучки. Но иногда попадались такие сучковатые поленья, что и он не справлялся...

И все равно хочется сказать — милый наш задний двор! Безопасное и уютное место детского гуляния и детских игр рядом с сараями, где хранились старые велосипеды, дрова и бутылки с керосином. Место, где мы узнавали и первые радости, и первое горе.

Я стою во дворе и смотрю в голубое небо, где за крышей дома исчезает в высоте воздушный шарик, который я только что держала в руке за тонкую нитку, ощущая его живое и настойчивое желание взмыть. И пальцы почему-то разжались, и я стою и смотрю вслед шарик, и плачу — совсем как в песне Окуджавы. И меня утешает мама, хотя я и нарушила ее веление — не разматывать нитку, замотанную вокруг большой белой перламутровой пуговицы моего пальтишка...

Стеклянные глаза

Осенью сорок третьего года в Переделкине было совсем пусто. Писатели еще не вернулись в свой поселок, литфондовый пионерлагерь, который летом размещался на даче расстрелянного Бруно Ясенского*, закрылся. Мама была в лагере воспитательницей, а теперь стала сторожем лагерного имущества. Но мама постоянно ездила в Москву, где у нее были дела и где жили бабушка и Андрей. А за Андреем надо было присматривать, чтобы он не попал в плохую компанию. Поэтому дача и имущество охранялись мною.

Наша комната была маленькая, но зато с печкой. В нее и сейчас можно попасть с того же крылечка в три ступеньки.

Шумят вокруг дачи высокие деревья, ухает филин, а я одна в большом двухэтажном доме. Да еще книжка попалась страшная — джунгли, пропасти, погони и в довершение ужасов — «львиное лицо прокаженного»...

Так я и жила, то есть ждала маму. Однажды нечаянно съела «завтрашнюю» котлету. Но в школу ходила исправно. Школа была в деревне за прудом — четырехклассная. Я училась во втором. В коридоре на голубом щите висел плакат — карикатура на Гитлера «Не

* Сейчас эта дача является одним из корпусов Дома творчества писателей.

так страшен черт, как его малюют». Гитлер на нем был так омерзителен и ничтожен, что было непонятно, почему разгорелся весь этот сыр-бор с войной. Взять бы да и прикончить сразу гада!

Директор школы, высокий и лысый человек, преподавал пение. Он с серьезным лицом, сдвинув брови, играл на скрипке, а мы выводили хором: «Выйду ль я на реченьку-у...».

Нашу учительницу звали Валентина Петровна. Она учила нас писать-читать и говорила, что произносить надо не «жаворонок», а «жаворо́нок», потому что так слышалось в известной песне Глинки. А еще она носила горжетку — потрепанную рыжую лису с одним глазом. Учительница думала, что я богатая, и однажды недвусмысленно намекнула, что у нее скоро будет день рождения. У меня ничего не было ей в подарок, только тонкий металлический обруч для головы. Учительница обруч взяла, но по тому, как она поджала губы, я поняла, что не оправдала ее надежд. И это меня мучило.

Выручил случай. По соседству, на инберовской даче, вдруг поселилось семейство. И не какое-нибудь по военному времени ущербное, а в полном составе. Там были родители, дети, бабушки и даже дедушка. И это семейство дружно занималось странным делом — вставляло стеклянные глаза игрушкам. Весь дом был завален безглазыми кошками, собаками и медведями. Несколько ловких движений — и они становились зрячими. Меня это потрясло и завораживало. Теперь литфондовская дача по долгу оставалась без сторожа — я торчала у соседей. Это были добрые люди, и они дали мне два глаза для учительской лисы. Два на тот случай, если старый окажется другого калибра. Таким образом лиса прозрела, и чувство вины перед Валентиной Петровной испарилось из моей души.

Вставили новые глаза и моему медведю-девочке — Малашке. Когда-то в нее играла мама и не расставалась с ней даже во время кори. После кори Малашку пришлось прокипятить, и тогда она почти полностью облезла. Потом, пока не было нас, в нее играли и мама, и папа. Есть фотография, где они все вместе.

Когда у Малашки потерялись глаза, я не помню. Новые оказались великоваты и придали ей слишком грустное выражение. Теперь она сидит у меня в комнате на полке, но в нее уже давно никто не играет.

Записки о писателях

Так получилось, что когда-то мне пришлось жить в Переделкине, видеть писательские дачи и даже встречаться с некоторыми из известных их обитателей. Встречи были случайные, и я думаю, что эти серьезные люди сразу же забывали о черненькой худышке, на которую однажды упал их взор. Но я почему-то хорошо запомнила эти ничего не значащие эпизоды.

Как-то, будучи в Переделкине, папа взял меня с собой на дачу к Корнею Ивановичу Чуковскому. Я была очень застенчивой, и внимание взрослых превращалось для меня в пытку. Теперь я ужасно боялась «дедушки Чуковского», того рекламного друга детворы, которого я видела в детских книгах и журналах. Я тащилась за папой, трясясь от страха, что этот приторный старичок будет брать меня на колени и спрашивать, знаю ли я наизусть «Муху-Цокотуху». Но все оказалось иначе.

На мрачном тенистом участке у дачи нас встретил высокий седой старик. Выражение лица у него было озабоченное, почти сердитое. Он поздоровался с нами, поговорил о чем-то с папой, и мы ушли, даже не зайдя в дом. Я зря боялась — на меня Чуковский не обратил никакого внимания.

...Было яркое весеннее утро. Я и моя подруга Ира К. пошли прогуляться по поселку. Идем мимо писательских дач. Дачи слева, справа поле, вдаль, на горе, кладбище. Мы не знали тогда, что пейзаж этот, воспетый Пастернаком, станет знаменитым, и относились к тому, что видели, безо всякого пиетета.

Идем мимо голубой дачи Павленко. У Павленко все голубое — и дача, и обложка книги «Счастье», я уж не говорю о ее содержании. Правда, «Счастье» я прочла позже, мы его после войны, в седьмом классе, проходили.

Идем с Ирккой, настроение хорошее... Разговариваем о том, что на участке у Федина растут ландыши, но нарвать их никому не удастся — уж очень хорошо охраняет их хозяин. Подходим к фединской даче, взявшись за руки, — Ирка длинная, я маленькая, но обе по военному времени тощие, и у обеих по две тощих косички.

И тут мы видим, что в саду за забором человек обрезает розы большими садовыми ножницами. Мы остановились с разинутыми ртами, потому что никогда еще не видели никого за таким занятием. А человек высокий, чуть сутулый, и брови торчком над круглыми глазами. И мы понимаем, что это сам Федин, который так хорошо стережет свои ландыши.

Вдруг Ирка мне шепчет: «Попроси-ка у него ножницы! Мне надо ногти на ногах постричь». Придет же такая блажь в голову! Но чего не сделаешь ради друга, и я очень вежливо говорю Федину: «Дайте нам, пожалуйста, на минуточку ножницы». Он изумился, подошел к забору и спрашивает: «А зачем они вам?» Мне было стыдно говорить правду и пришлось врать: «У этой девочки шнурок на ботинке запутался, и нам надо его разрезать». Тут Ирка быстренько нагнулась и стала делать вид, будто пытается развязать шнурок.

Но Федин сейчас же нашелся, уж очень ему не хотелось давать ножницы незнакомым девчонкам: «Ну зачем же резать шнурок? Идите сюда, я вам его помогу развязать!»

Тогда мы что-то залепетали в ответ и бросились бежать. Бежали и умирали со смеху. И дома еще долго не могли успокоиться. А чего, собственно, тут было смешного?

Бедное, глупое детство!

А юность? Почему мы бываем такими легкомысленно-расточительными в юности? Почему, например, я отказалась поехать к Анне Ахматовой, когда папа звал меня с собой? Быть свидетелем встречи Ахматовой и Тарковского — за это любой поклонник поэзии многое бы отдал. А я постеснялась...

В ранней молодости я дружила с Евгенией Владимировной Пастернак. Господи, что я такое говорю — «я дружила». Это она — милая, добрая, с высоким открытым лбом и с «улыбкой захлеб» удостоила меня своей дружбы. Не знаю, чем я ей понравилась, но мне кажется, что тогда она очень страдала от одиночества. С Евгенией Владимировной было легко, она быстро растопила мою нелюдимость. Мы ездили с ней за город — в Тучково, в Тарусу, она любила и понимала природу. Евгения Владимировна была художницей, ученицей Фалька. Она показывала мне свои картины, они были развешаны по стенам, стояли на полу у стены — натюрморты, портреты. Улыбаясь, сетовала, что знаменитые советские дамы, Тамара Макарова и Людмила Толстая, так и не купили написанные ею свои портреты.

Мой портрет, который она не успела закончить, был последней ее работой. Конечно, тогда он мне не понравился, я получилась совсем некрасивой. А Евгении Владимировне удалось главное — поймать и передать в глазах, в улыбке мою суть.

Она много мне рассказывала о семье Пастернака, о его родителях, сестрах. Однажды поведала о семейном горе — об увлечении Бориса Леонидовича Ивинской. Но, честно говоря, я не очень вникала в ее рассказы. Это была чужая жизнь, а чужая жизнь меня тогда мало интересовала. Наступала весна, и я была влюблена...

От Евгении Владимировны я знала, что Борис Леонидович каждый месяц приносит ей деньги. Он помогал не только своей бывшей жене — многие помнили его доброту.

Как-то, придя к ней на Дорогомиловскую набережную, я увидела, что она вся сияет: «Пришел Боря!» Она знакомила меня с Пастернаком так, будто дарила мне что-то необыкновенно драгоценное. Мне же он показался совсем обыкновенным — волосы с проседью, серое пальто. Я и не рассмотрела его как следует.

Но произнесенная глуховатым голосом фраза «Ваше лицо мне знакомо» смутила меня, юную дурочку. Этот голос и значительность его интонации заставили меня внимательнее взглянуть на Бориса Леонидовича.

Но он, торопливо распрощавшись, уже сбегал по лестнице.

Собаки

За два года до войны, летом тридцать девятого, папа со своей новой женой Антониной Александровной и ее дочкой Лялей Трениной уехал на Кавказ переводить национальных поэтов. Там, в Чечено-Ингушетии, Ляле подарили щенка кавказской овчарки. Его привезли в Москву, и вскоре пришел кто-то с запиской от папиной жены, что папа просит маму на время взять щенка. Мама взяла. Она не могла отказать папе. Щенка звали Барбука. Он рос, и у него чесались зубки. Поэтому он грыз все подряд. Изгрыз все домашние туфли, часть наших игрушек и бабушкин диван из красного плюша. Съедал Барбука огромное количество овсяного супа и вскоре превратился в громадного лохматого пса. Такие собаки охраняют от волков отары на горных пастбищах, а не живут в московских коммуналках. Мама взмолилась, и папа с большим трудом нашел Барбуке хозяина. Приехал человек и увел его на поводке. Но мы почему-то не очень жалели Барбуку.

Прошла война. Папа жил уже в Варсонофьевском переулке. Однажды он шел по Кузнецкому мосту мимо зоомагазина, и там пьяный мужик продавал маленького грязно-серого щенка. Мужик, сильно качаясь, грозился убить щенка, если его немедленно не купят. Папа не вынес угроз и купил, хотя жил на шестом этаже без лифта и ходил на костылях. Он положил щенка за пазуху, а добравшись до дома, обнаружил у него несметное количество насекомых. В панике он вызвал по телефону маму. Мама бросила все дела и поехала к папе мыть щенка. После мытья тот стал белым и пушистым и заснул. А мама поехала домой.

Но история повторилась, и через неделю этот щенок по имени Ступка уже жил у нас на Щипке. Он оказался милым псом, добрым и ласковым. Выполнял разные команды Андрея, а гулять выпрыгивал через форточку...

У папы и у его последней жены Татьяны Алексеевны долго жили две собаки. Держер был Татьяниним приданым. Это был коричневый карликовый пинчер с выпуклыми глазами. Я его знала мало, здоровалась с ним из вежливости. А потом появился Топс, лохматый черно-сивый скотчтерьер с родословной, которую с выражением читала гостям Татьяна Алексеевна. Во время еды собаки стояли у стола на задних лапах и с тоской следили за исчезающими кусками. Чтобы это выдержать, надо было иметь крепкие нервы. Папа кидал им куски от своей котлеты, и из-за этого за столом возникали конфликты. Мы были частыми гостями в Голицыне, собаки знали нас и относились к нам терпимо. До тех пор, пока Андрей нечаянно не уронил на Топсика пустое ведро. С того дня Топс возненавидел Андрея и рычал на него, скаля зубы. «Рычи, рычи, гусеница лохма-

тая, — думала я. — У тебя и глаз-то не видно. Вот наш Ступка рычал, только когда его мыть собирались. Да и то понарошку».

Еще о родословной Тарковских

Сколько я себя помню, в разговорах о происхождении папиной фамилии, а мы с Андреем всегда этим интересовались, присутствовала польская тема.

Но бывает так, что какие-то незначительные случаи, рассказы, байки по мере их существования дополняются, домысливаются и приобретают в конце концов окраску некоторой подлинности.

Кавказская версия происхождения рода Тарковских родилась из двух папиных рассказов. Первый рассказ о том, как кто-то, естественно еще до революции, пришел к его отцу, Александру Карловичу Тарковскому, жившему в городе Елисаветграде Херсонской губернии, и предложил ему унаследовать в Дагестане какие-то бесхозные табуны и серебряные копи. Естественно, что дедушка отказался, и не только потому, что был врагом частной собственности, а еще и потому, что хорошо знал свою родословную, которая никак не была связана с Кавказом.

Второй рассказ папы был о том, как в конце тридцатых годов он в составе делегации советских писателей побывал в Дагестане. Какой-то местный старец, услышав его фамилию, подошел к нему и со словами «Ты наш князь» хотел поцеловать его руку. Естественно, что папу смутило такое заявление, и понятно почему — ему вовсе не хотелось оказаться за решеткой.

Вот, собственно, и все источники версии о дагестанском происхождении «наших» Тарковских. А дальше эти рассказы папы пошли гулять по свету, часто в искаженном виде. Андрей очень охотно и убедительно рассказывал друзьям о своих «кавказских княжеских» корнях. Папа тоже включился в игру, и если в молодости он никогда не заговаривал о дагестанском происхождении, то позже в разговорах не возражал против него.

Но одно дело устные рассказы, шутливая мистификация, а другое дело — документы, которые беспристрастно и достоверно доносят до нас историческую правду.

Итак, обратимся в далекое прошлое. Согласно «Малороссийскому гербовнику», в 1785 году Государыня Императрица Екатерина Вторая издала указ, давший возможность малороссийским старшинам записываться в дворянские родословные книги. Этот указ возбудил интерес к прошлому, к предкам и побудил огромное количество украинских и польских родов, живших на территории Российской империи, к поискам доказательств своего благородного происхождения. Для разбора подобных дел в губерниях были учреждены специальные комиссии, которые изучали права претендентов на дворянское достоинство.

Еще раз хочу упомянуть о документах, хранившихся в домашнем архиве папиного отца, Александра Карловича. После его смерти в 1924 году документы оставались у папиной матери, Марии Даниловны. А после смерти Марии Даниловны они несколько лет находились у дочери Александра Карловича от первого его брака — Леониллы Александровны.

Леонилла Александровна, тетя Лёня, как мы ее называли, передала чемодан с семейным архивом нашей маме. Мы с Андреем были тогда подростками и не могли понять всей ценности этого архива. Мы извлекли из чемодана несколько вещей: пергамент с генеалогическим древом Тарковских, пергамент — патент 1803 года, подтверждающий дворянство рода Тарковских, и печатку Карла Матвеевича с гербом — для запечатывания писем сургучом. Мне приглянулись еще наволочка, видимо вышитая Марией Даниловной, и саше — конверт для носовых платков.

Взрослые — мама и бабушка — не обращали внимания на наше варварское обращение с архивом. Слава богу, что большинство этих предметов сохранилось. Пропало лишь генеалогическое древо. Куда оно делось, не знаю — то ли Андрей отнес его к друзьям, где оно и затерялось, то ли его украл наш сосед, малолетний жулик.

Когда я выросла, то предложила маме передать чемодан с бумагами Тарковских папе. Мама согласилась, и я, не заглядывая в чемодан, отнесла его папе, который жил тогда у метро «Аэропорт». Папа был счастлив обрести семейные документы и очень внимательно работал с ними — разложил по папкам, надписал каждую из них.

Помимо документов из семейного архива, которые ничего не сообщают о кавказской версии, существуют документы, хранящиеся в украинских архивах.

Документы эти рассказывают следующее: после появления указа Екатерины Второй наш предок, Матвей Тарковский, будучи еще совсем молодым человеком, начал хлопоты о внесении рода Тарковских в дворянские книги. Сначала он получил подтверждение дворянства по месту жительства, в Житомире, о чем свидетельствует патент 1803 года.

Затем последовало бюрократическое дело, которое длилось ни много ни мало сорок девять лет. За эти годы «Дело о дворян-



Дело о дворянстве рода Тарковских длилось почти пятьдесят лет



«Дополнительная родословная» и герб рода Тарковских

ском происхождении рода Тарковских» обросло документами — прошениями, дополнительными родословными, посемейными списками и прочими документами, необходимыми для Отдела Геральдии Правительствующего Сената, всего на 38 листах.

Из документов, призванных доказать дворянство рода, следует, что предок рода Тарковских, Войцех, владея именьями в селениях Орлинец и Былинец в Заславском уезде на Волынщине, в 1720 году вместе со своим несовершеннолетним сыном Францем уступил свои владения «мозырскому скарбнику (то есть казначею. — М.Т.) Игнатию Беляковскому за сумму, у него занятую».

На землях, принадлежавших когда-то Войцеху Тарковскому, не было крепостных крестьян, что являлось дополнительным препятствием для подтверждения дворянства и записи в дворянской книге.

Но в конце концов «Дело» было решено, и в 1852 году Тарковские получили дворянский титул и герб. Герб, изображенный в «Родословной книге Волынской губернии», в ее 6-й части, выданный в Заславе в 1803 году, — «в красном поле две клямры (пряжки), на укос положенные».

Как ясно из архивных документов (многие из них написаны по-польски), наш предок Войцех Тарковский из Люблина и его сын Франц жили в городе Заслав Волынской губернии (теперь город Изяслав Хмельницкой области). Богатыми отнюдь не были, ибо земли, которыми они владели, были отданы ими за долги.

О Франце Тарковском известно, что он был женат на Элеоноре и имел сына Мацея, то есть Матвея, того самого, что с таким упорством добивался признания Тарковских дворянами.

Имя Матвея Тарковского, сына Франца, внука Войцеха, встречается во многих бумагах «Дела о дворянстве». Он, как упоминалось выше, начал хлопоты о записи его семьи в дворянские книги. В книге «Посемейные списки о Дворянах Заславского уезда от 1834 г.» под № 506 есть запись: «Матвей Францишек сын Тарковский — 1780 г. — 54 г.; жена его Юлианна Ивановна из дома Кардасевичей — 32 г.; сыновья Иосиф — 20, Кароль — 19 (состоят на российской военной службе); Александр — 11 лет».

Матвей Тарковский земель и крепостных не имел, в какой-либо службе (по документу 1827 года) не состоял. Делом всей его жизни была борьба за дворянское звание, которое он получил ровно за год до своей смерти.

«1853 года декабря 30 дня в г. Заслав скончался Матвей Тарковский с водяной опухоли, был причащен святых таинств. Дворянин Матвей Тарковский, имеющий от роду 76 лет (Матвей Тарковский родился в 1780 году, значит, умер он 73-х лет. — М.Т.), прихожанин сей Церкви (Святого Иоанна), оставил после себя жену Юлию, сыновей Иосифа и Карла. Тело его ксендз Бернардин Поплавский текущего года декабря 30 дня публично на приходском кладбище похоронил».

После смерти Матвея Францевича (называю своего прапрадедушку-поляка на русский лад), как видно из записи в церковной книге, остались его вдова и два сына — Иосиф-Матвей (двух имен), родившийся в 1814 году, и Карл, родившийся в 1845 году. Среднего сына, Александра, родившегося в 1823 году, к 1853 году уже не было в живых.

Сын Матвея, Карл Матвеевич Тарковский, папин дедушка, был военным. Выйдя в отставку, жил в городе Елисаветграде Херсонской губернии.

Хочу добавить, что ни в одном документе — ни в «Деле о дворянстве», ни в семейном архиве — не присутствует рядом с фамилией Тарковских титул «князь». И даже в юности в веселой компании друзей папа носил шутовское прозвище «граф».

Как ни грустно, придется все-таки проститься с гордым кавказским шамхальским званием. Я повторю слова, которые часто говорил папа: «Мы, Тарковские, — из польской шляхты».

Елисаветградский дедушка

Папин отец, Александр Карлович Тарковский, умер 24 декабря 1924 года в возрасте шестидесяти двух лет. Умер от инсульта, за восемь лет до появления на свет Андрея.

Знали мы о нем совсем немного, а фотографии его попали к нам году в сорок восьмом, через несколько лет после смерти



Александр Карлович Тарковский

папиной матери, нашей бабушки Марии Даниловны, вместе с семейным архивом.

Вот тогда-то Андрей впервые увидел своего деда. Он подолгу рассматривал портрет молодого Александра Карловича. Дедушка был красив: светлые волосы, голубые глаза, чуть сдвинутые на переносице брови вразлет.

Было что-то загадочное и романтическое в его облике, что пленило Андрея. Он даже стал чаще сдвигать брови и все поглядывал на себя в зеркало — не появилась ли у него вертикальная, как у деда, морщинка между ними.

Когда узнаешь ближе Александра Карловича — по его письмам, по его стихам и рассказам, — становится очевидным, что Андрей унаследовал многие его чер-

ты. Какие-то родовые свойства делали и деда и внука с ранних пор не способными вписаться в предлагаемые им условия жизни, будь то эпоха конца семидесятых — начала восьмидесятых годов XIX века или годы «социалистического строительства». Они были с ранней юности не такими, как все, — беспокойными, чего-то ищущими. Им было неинтересно то, что навязывалось, то, что было обязательным: реальное училище — дедушке, советская школа — Андрею.

Родился наш дед 3 октября старого стиля 1862 года в селе Николаевка (Кардашевка*) Елисаветградского уезда Херсонской губернии, что в двадцати пяти верстах от Елисаветграда, в доме своих родителей — отставного ротмистра дворянина Карла Матвеевича Тарковского и Марии (Эмилии)** Каэтановны, урожденной Кардасевич, которые, по одним сведениям, были двоюродными братом и сестрой, по другим — дядей и племянницей. Александр был крещен 4 октября в Благовещенской церкви села Николаевка. Ко времени рождения Александра в семье было три дочери***. Сестра Надежда Карловна

* В конце XVIII века деревни Николаевка и Кардашевка, принадлежавшие семьям Тарковских и Кардасевичей, объединились в одно имение вследствие брака их владельцев.

** Она получила имя Мария в три года при крещении в православную веру.

*** Сын Николай умер в раннем детстве. Евгения, в замужестве Титаренко, ушла из жизни совсем молодой.



*Иван Карпович Тобилевич, опекун
Александра Тарковского*



*Надежда Карловна Тобилевич
(урожденная Тарковская)*

была много старше Веры Александра. Она была замужем за секретарем полицейской управы Тобилевичем (будущим корифеем украинского театра, актером и драматургом Карпенко-Карым).

В 1872 году дети осиротели — в эпидемию холеры в один день скончались их родители. Отец — в Елисаветграде, куда уехал от страшной болезни, а мать — в деревне, откуда не захотела уезжать, бравидура несколько своей хрупкостью.

Опекуном малолетних детей и отягощенного долгами имения Тарковских стал Иван Карпович Тобилевич. Ему удалось сохранить имение, которое насчитывало 652 десятины черноземной земли. Оно не было продано за долги. Иван Карпович взял ссуду в банке, погасил мелкие задолженности, а крупных кредиторов уговорил подождать.

Чтобы выручить денег, он сдал в аренду всю землю, оставив в пользование семьи лишь небольшой участок возле дома в Николаевке.

Детей, Веру и Александра, Надежда Карловна и Иван Карпович взяли к себе в дом на Знаменской улице в Елисаветграде и отдали учиться. Веру — в женскую гимназию, а Александра — в реальное училище.

Достигнув совершеннолетия, Александр Карлович стал основным наследником земли. Согласно закону, он должен был выделить сестрам по 1/14 доле от имения. Но он разделил зем-

лю родителей на три равные части, обеспечив таким образом своих двух сестер.

Иван Карпович говорил о таком поступке шурина как о проявлении его «бескорыстия и шляхетства».

Реальное училище

Осенью 1872 года опекун, Иван Карпович Тобилович, определил Сашу в приготовительный класс елисаветградского реального училища. Отчего Иван Карпович отдал предпочтение реальному, а не классическому образованию, сейчас можно только предполагать.

Училище было открыто совсем недавно, в 1870 году, в прекрасном здании с оборудованными по последнему слову науки кабинетами. Там преподавали лучшие в городе учителя. Опекун Саши, видимо, надеялся, что тот станет технически образованным человеком и как инженер будет полезен обществу. Но годы учения показали, что реальное училище мало отвечало склонностям Александра, скорее гуманитарным, чем техническим.

Училище было учреждено земством, и в нем учились мальчики из самых разных семей. Здесь были дети служащих, купцов, врачей, крестьян. Там создавалась именно та атмосфера, которой опасался тогдашний министр просвещения Российской империи граф Толстой, считавший, что реальные училища могут стать рассадниками вольнодумия.

В то время, когда Саша Тарковский проходил курс обучения, директором реального училища был М.Р. Завадский, преподававший русскую словесность. Это был умнейший человек и талантливый педагог, которого уважали преподаватели и любили реалисты. Завадский умел вовлечь в занятия всех учеников. Он прививал им любовь к литературе, а главное — воспитывал их души.

Завадский был наставником в классе, где учился Александр. Так было заведено, что во время большой перемены наставник обязательно приходил в свой класс. Ученики тотчас окружали его, и начиналась общая беседа.

Одноклассник Александра Тарковского, Евгений Чикаленко*, рассказывает в своих воспоминаниях: «После убийства ре-

* Евгений Харлампиевич Чикаленко (1861–1929) — яркая личность, посвятившая жизнь украинскому просвещению и культуре. Член украинофильского кружка «Громада». Автор «Воспоминаний» (1861–1907), Украинская Свободная Академия наук, США, 1955 (на укр. яз.). Одно время жил у Тобиловичей на Знаменской улице. С любовью вспоминал Надежду Карловну. Разошелся с Тарковским, так как был таким же лидером, хоть и принадлежали они к разным кружкам: «Громада» — «Народная воля».



Реальное училище в Елисаветграде



Ученики 6-го класса Елисаветградского реального училища. Первый справа (стоит) – А. Тарковский, второй справа (сидит) – Е. Чикаленко

волюционером Степняком-Кравчинским жандармского генерала Мезенцова Завадский поставил перед учениками вопрос о нравственной стороне террора. Большинство высказывалось против террора, а меньшинство, в том числе и я, говорило, что его надо признать как способ обороны против силы. Мы говорили, что если сильный повалит слабого и станет его душить, то можно целиком оправдать, что слабый укусит сильного. Директор отвечал, что это ни к чему не приведет, потому что сильный еще больше озлится и просто убьет слабого. Он ссылался на тогда мне неизвестного профессора Драгоманова, ученого и политического эмигранта, который решительно выступил против террора и говорил, что «чистое дело требует чистых рук» и что всю энергию молодежь должна направить на приобретение знаний, чтобы бороться со злом не кинжалами и пистолетами, а разумом и наукой.

В государственных гимназиях тех ребят, которые возражали директору, в двадцать четыре часа выкинули бы из гимназии и передали в распоряжение жандармерии, а наш директор никому ничего не рассказал и терпеливо пытался оторвать нас от террора, который насаждался тогда политическими партиями, борющимися с порядком».

Какими-то неисповедимыми путями попадала к реалистам запрещенная литература. Читали газету партии «Земля и воля», а после ее раскола — органы двух вновь образовавшихся партий: газету «Народная воля» и журнал «Черный передел».

Ученики старших классов разделились — одни шли за «Народной волей», призывавшей путем террора добиться свободы (к ним принадлежал и Тарковский), другие — за «Черным переделом», продолжавшим линию «Земли и воли»: через отрицание политической борьбы и террора, путем пропаганды — к социальной революции.

Помимо нелегальной литературы реалисты зачитывались Добролюбовым, Писаревым и — особенно — Чернышевским. Рахметов был для многих из них идеалом, и они закаляли свою волю, пытаясь, как их герой, спать на гвоздях.

В Елисаветграде было сильно и украинофильское движение, которое особенно усилилось после императорского указа 1876 года, запретившего обучение и публичные выступления на украинском языке.

Иван Карпович Тобилевич и доктор Афанасий Иванович Михалевич организовали кружок, где читали запрещенную «Громаду», выходившую в Женеве, «Отечественные записки», публицистические статьи, в том числе Салтыкова-Щедрина и Михайловского. Члены кружка переводили на украинский язык статьи московских народников, а Афанасий Иванович — с английского на украинский — труды Адама Смита. Писали письма и прошения в Петербург в защиту украинского языка.

О государственной независимости Украины еще не говорилось, задачами кружка было возрождение языка и культуры, а через них впоследствии и возрождение украинской нации.

Вот в такой обстановке рос Александр Тарковский. В уютном степном городке Новороссии с одноэтажными белеными домами, где жили украинцы, русские, поляки, евреи, немцы, сербы, где Европа была совсем рядом, где интеллигенция боготворила театр и литературу. В реальном училище он знакомится с революционной литературой, а дома тесно общается с украинцами-«громадянами». Бунтарские идеи упали на благодатную почву его характера — честного, гордого и жаждущего справедливости.

Учился Александр без особого прилежания. Ведомости успеваемости у него не блещут отличными отметками — там мелькают все больше тройки.

Неважно обстоят дела с математикой — в третьем классе у него переэкзаменовка по алгебре, в пятом ему с трудом выводят тройку по геометрии. И ведет он себя дурно. В общем, Саша доставляет педагогам немало огорчений.

Пребывание Александра в Елисаветградском реальном училище закончилось печальным происшествием, по поводу которого 22 февраля 1880 года был собран педагогический совет.

Как доложил членам совета директор Завадский, дело было в следующем. «Преподаватель рисования Петр Александрович Крестоносцев, видя, что Тарковский не занимается во время урока, обратил его внимание и просил заниматься делом, но Тарковский продолжал читать постороннюю книгу и в то же время разговаривать со своим товарищем Чикаленко, который при этом разговоре смеялся. После этого Петр Александрович предложил Тарковскому выйти из класса. Тарковский этого не исполнил. Петр Александрович потребовал настойчивее, на что Тарковский отвечал: «Вы не имеете права кричать!» После этого ответа Петр Александрович сам вышел из класса.

Дальнейшее присутствие Тарковского в училище после такого поступка было неудобным, поэтому я просил его не посещать класса впредь до разрешения педагогического совета».



Корифеи украинского театра братья Тобилевичи. Слева направо: Афанасий Саксаганский, Иван Карпенко-Карый, Николай Садовский (сценические псевдонимы)

На педагогическом совете началось обсуждение «дела» Тарковского. Директор дает ученику такую характеристику: «Он неправильно посещает уроки, плохо занимается, получил в одну четверть плохую отметку в поведении. В хорошую сторону его можно сказать, что он мягкого характера. Нельзя сказать, чтобы он был глуп, с честными побуждениями, хотя увлекающийся».

Некоторые из учителей говорили в пользу провинившегося: «Он стал лучше заниматься и внимательнее слушать на уроках». Один говорил о Тарковском как о «правдивом и откровенном человеке», другой — что он «слабоволен и ленив».

Наиболее непреклонные требовали сурового наказания, «исходя из самого поступка, а не из личности ученика».

После длительного совещания педсовет постановил: «Ученика 6 класса Тарковского подвергнуть длительному аресту (на сутки), причем выражено было мнение, что Тарковскому вообще было бы полезно переменить училище, в каком смысле просить директора училища переговорить с опекуном Тарковского И.К. Тобилевичем».

Александр перестает посещать училище. Мы не знаем, подвергся ли он наказанию — аресту в карцере на двадцать четыре часа. Если да, то это было серьезным испытанием для его еще не окрепшей, но гордой души. Думал ли он тогда, что через четыре года снова лишится свободы, но только не на часы, а на долгие годы?

Окончание реального училища. Что дальше?

Будучи исключенным из Елисаветградского реального училища, Александр Тарковский остается дома и продолжает заниматься самостоятельно. Сестра Надежда и опекун Александра и Веры, ее муж Иван Карпович Тобилевич, настаивали на окончании реального училища. Да и сам Александр понимал, что продолжить образование он сможет, лишь имея на руках свидетельство о завершении курса среднего учебного заведения.

Весной 1881 года он подает прошение на имя директора Мелитопольского реального училища и получает разрешение сдать там выпускные экзамены.

Вот какой документ получает он после испытаний.

«СВИДЕТЕЛЬСТВО»

Дано сие дворянину Александру Карловичу Тарковскому, православного вероисповедания, родившемуся 3-го октября 1862 года, в том, что вследствие поданного им прошения он, Тарковский, был допущен в Мелитопольском реальном учи-

лице к окончательным и дополнительным испытаниям вместе с учениками VI класса основного отделения и дополнительного класса общего отделения и на означенных испытаниях он, Тарковский, оказал следующие успехи:

- В Законе Божиим хорошие (4)
- В Русском языке хорошие (4)
- В Немецком языке удовлетворительные (3)
- В Французском языке (прочерк)
- В Географии отличные (5)
- В Истории отличные (5)
- В Рисовании хорошие (4)
- В Черчении удовлетворительные (3)
- В Математике, а именно:
 - В Арифметике удовлетворительные (3)
 - В Геометрии хорошие (4)
 - В Приложении алгебры к геометрии удовлетворительные (3)
 - В Тригонометрии хорошие (4)
 - В Начертательной Геометрии удовлетворительные (3)
 - В Естественной истории хорошие (4)
 - В Физиологии удовлетворительные (3)
 - В Физике хорошие (4)
 - В Химии удовлетворительные (3)
 - В Механике хорошие (4)
 - В Математической географии удовлетворительные (3).

Посему он, Тарковский, на основании ст. 95 Устава реальных училищ может поступить в высшие специальные училища, подвергаясь только проверочному испытанию.

При вступлении в гражданскую службу он, Тарковский, на основании статьи 96 Устава реальных училищ, пользуется правами, общими с воспитанниками средних учебных заведений. По отправлении воинской повинности он пользуется льготами, представленными второму разряду по образованию.

В удостоверении чего и выдано ему, Тарковскому, сие свидетельство за надлежащей подписью, с приложением печати училища.

г. Мелитополь, июня 10 дня, 1881 года.

Директор К. Милашевич

Инспектор (подпись)

Законоучитель священник (подпись)

Преподаватели И. Черепанов, М. Дубровский

Секретарь Совета (подпись)».

Итак, Александр Тарковский заканчивает реальное училище. Что же делать дальше? Какое выбрать направление в жизни? На каком поприще сможет он принести наибольшую

пользу обществу, России? Определенно, что не на техническом.

Два бывших реалиста, два друга, которых судьба впоследствии разведет, дворянин Тарковский и крестьянский сын Чикаленко, в сентябре 1881 года едут в Киев, чтобы поступить на естественный факультет Киевского университета. У Тарковского имелось рекомендательное письмо опекуна, Ивана Карповича, к знаменитому композитору Н. Лысенко, а у Чикаленко — письмо доктора Михалевича к профессору Киевского университета В. Антоновичу.

К сожалению, попытка поступления Тарковского и Чикаленко в Киевский университет не увенчалась успехом. В конце ноября или в первых числах декабря Тарковский возвращается из Киева в Елисаветград. В августе 1882 года два друга едут в Петербург, где успешно проходят вступительные испытания. Тарковский становится постоянным слушателем на естественном факультете Петербургского университета, Чикаленко — студентом Петербургской сельскохозяйственной академии. С 5 августа 1882 года в течение пяти месяцев Александр Карлович учится в Петербурге, а затем, по неизвестной мне причине, покидает его.

20 января 1883 года он вновь в Елисаветграде, где занимается делами социал-революционного кружка. В августе 1883 года он — вольнослушатель на юридическом факультете Харьковского университета. Здесь он еще теснее сближается с членами группы партии «Народная воля» и становится ее уполномоченным в Елисаветграде.

Битюгово

Так случилось, что несколько лет назад я впервые оказалась в одном дачном поселке неподалеку от Москвы. Станция Взлетная по Павелецкой железной дороге — там дача у моих новых, любимых родственников, родителей жены моего сына. Домодедово, а потом Взлетная. Садовые участки расположились между железной дорогой и шоссе. Дома стоят на восьми сотках. Шумновато — гудят электрички, на соседних участках визжат пилы, кричат дети, лают собаки. Разгар подмосковного лета!

Идем гулять — пересекли рычащее шоссе и пошли через поле к реке Рожайке. Это название, Рожайка, что-то напомнило мне, но это «что-то» не успело оформиться в конкретное воспоминание — шли мы большой компанией, разговаривали и смеялись.

Дорога вела мимо пионерского лагеря. Окрестная природа явно не выдерживала человеческого натиска — трава истерта,

кусты покалечены. Унылая картина... Но когда в жарком летнем мареве передо мной показался возвышенный берег Рожайки с деревенскими домами, с полуразрушенной белой церковью, с колокольной без креста, я вдруг заволновалась. Я стала похожа на собаку, которая беспокойно вынюхивает след, суется, теряет его и снова находит.

«Там, справа, в конце деревни должна быть одноэтажная красная школа, а кругом нее сосны, — пробормотала я. — Если школа есть, значит, это Битюгово».

Мы нашли красную школу...

Во дворе дома в 1-м Щиповском переулке был парфюмерный завод фирмы ТЭЖЭ*. И заводской двор, и вход в наш дом отгораживались от переулка большими деревянными воротами с калиткой, которые каждый год перед Первым мая красили зеленой масляной краской. В переулок выходили также ворота заводского гаража, в таинственной темноте которого скрывался грузовик-полторка с откидными бортами. Это был объект нашего с Андреем восторженного почитания. Шофер грузовика (бабушка произносила это слово на французский лад — «шоффёр»), молодой парень по фамилии Морозов, казался нам существом высшего порядка.

Как-то мама, гуляя с нами во дворе, разговорилась с Морозовым и узнала, что он человек уже семейный. А еще она узнала, что он живет в селе Битюгово по Павелецкой дороге и что там можно снять на лето дачу.

И в мае 1941 года состоялся наш переезд в Битюгово. Вещи погрузили на морозовский грузовик, мама, Андрей и я устроились в кабине рядом с шофером, а бабушка с Аннушкой поехали на поезде. Осенью Морозов обещал отвезти нас обратно в Москву.

В Битюгове было хорошо — речка под домом, лес рядом. Той весной сильно цвела земляника. А когда на припечке стали поспевать первые ягоды, началась война. Все мужики ушли в армию, и в их числе наш знакомый шофер Морозов.

На высоком бугре над Рожайкой оставшиеся жители рыли окопы. Пролетали немецкие самолеты — бомбить Москву. Мы стали спешно собираться в город. Я так и не сказала бабушке, что соседская девчонка украла у меня старинный бисерный кошелек — подарок моего крестного, дяди Левы. Мне было стыдно говорить об этом, и я была рада, что из-за войны мы уезжаем из Битюгова и что теперь никто не вспомнит об этой пропже.

*Трест экспериментальных жиров и эфиров.

Маскарадные костюмы

На далекой Амазонке

Не бывал я никогда.

Р. Киплинг

Да, мама не любила детских сборищ — там всегда мы могли подцепить коклюш, корь или скарлатину. Но в тот довоенный год папа вступил в Союз писателей, и ему очень хотелось, чтобы его дети пошли на елку в писательский клуб.

На новогодний утренник надо было приходиться в маскарадных костюмах. Бабушка засела за шитье и из того, что было в доме, соорудила костюмы Андрею и мне.

Андрей был Котом в сапогах. У него был полосатый шелковый камзол, бархатный берет со страусовым пером и длинный меховой хвост на проволоке. Меня нарядили японкой. Из восточного вышитого ковра, привезенного маминим дядей с Русско-японской войны, бабушка сшила кимоно, а привлеченный к подготовке костюмов дядя Лева Горнунг сделал мне шелковый веер и нарисовал на нем хризантему. Веер был не складной, а овальный, натянутый на каркас.

Потом дядя Лева долго подравнивал мне волосы. Я сидела, крепко зажмурив глаза, с ужасом слушая лязг ножниц возле уха, а мелкие волоски падали мне на нос и на щеки, противно щеко-чась.

Что же осталось в памяти от той елки? Смутно вижу тесный угол вестибюля, где мы переодевались, какие-то ступеньки. Вспоминается подарок — серый цыпленок из искусственного меха. Единственное, что я хорошо запомнила, — это слова незнакомого мальчика, который, кивнув на мой веер, сказал презрительно: «Японка с колотушкой!» Как же это было обидно!

Я сразу возненавидела злосчастный веер. Но через несколько дней мне пришлось снова взять его в руки, потому что пришел дядя Лева, чтобы сфотографировать нас в маскарадных костюмах. Взрослым, конечно, и в голову не приходило, каким мучением было сидеть перед фотоаппаратом с моей «колотушкой». Ведь я никому не рассказала про того мальчика.

К Андрею тоже приставали на елке — дразнили и дергали за хвост. И теперь он с неохотой его прицепил. Тогда решили, что он станет флибустьером, открывателем новых земель, таким гумилевско-киплинговским капитаном. Так дядя Лева и снял его. Андрей в шляпе с пером гордо стоит у Южного полушария, показывая рукой «далекую Амазонку».

А вот и я на фотографии — девочка в кимоно с ровно подстриженной челкой. А в руках — веер.



Андрей и Марина в маскарадных костюмах

Утренник

В конце войны Андрей и я несколько раз ходили на детские утренники в писательский клуб. На пригласительных билетах стояло: «Дорогой Андрей (или: Дорогая Марина) приглашаем тебя» и так далее. Видимо, тогда было мало писателей или у писателей было мало детей, нас называли по имени, а не «Дорогой друг», как позднейших детей многочисленных писателей. И я скажу, что это было приятно, хоть и удивительно — откуда в Литфонде знают мое имя?

До войны мама редко водила нас на подобные мероприятия, боялась детских инфекций, но теперь отпускала охотнее, ведь утренники сопровождалась кое-каким угощением.

В этот раз нам выдали по бутерброду с колбасой, а в знак того, что мы их получили, на пригласительных билетах простым карандашом поставили галочки. Мы мгновенно съели свои бутерброды и томились у стены в ожидании концерта. К нам подошел наш лагерный — наверное, лучше сказать пионерлагерный — друг Ясик Штейнберг. Он взял наши пригласительные, достал из кармана ластик, стер галочки и поставил нас снова в очередь. Так мы получили по второму бутерброду.

Потом начался концерт. Выступал фокусник, тянул из блестящего цилиндра бесконечные цветные платочки; подкидывал булавы радостный жонглер. Толстая певица, сжимая под грудью

руки, пела романс «Весенние воды», хотя утренник был новогодний и на дворе трещал мороз. Потом вышел известный детский писатель. Он рассказывал о подвиге военного летчика. Говорил о тупоносых мессершмитах, которые огромной стаей шли бомбить наш город, о красноезвездном истребителе, в одиночку атаковавшем фашистскую стаю. Выступал писатель с жаром, все больше воодушевляясь. Вытянутой ладонью руки он показывал, как юркий «ястребок» уходил от пулеметных очередей. Почему-то было неловко его слушать, и хотелось, чтобы он поскорее кончил. Казалось несправедливым, что одни воюют, а другие рассказывают про их подвиги.

Мадам Эжени. Перепись населения

Мама после ухода папы стала устраиваться на работу, а мы, тогда совсем маленькие — Андрею четыре с половиной года, а мне — два, «связывали ее по рукам и ногам». Так говорила бабушка. Она недавно овдовела — в тридцать шестом похоронила своего мужа, врача Николая Матвеевича Петрова. Теперь она захотела помочь маме и забрать нас к себе в Юрьевец на несколько месяцев.

Неподалеку от нас в Москве жила одна мамина знакомая француженка. Была она одинока, и бабушка уговорила ее поехать в Юрьевец, чтобы помогать ей там в воспитании детей. А заодно учить их, то есть нас, французскому языку. Договорились, что за это мадам Эжени будет получать деньги и жить на всем готовом.

И вот мы у бабушки, в старинном, почти сплошь деревянном городке на Волге, в котором после революции ничего не изменилось, разве что названия улиц. Мы жили на улице Энгельса в доме № 8*. Говорили, что этот просторный дом принадлежал многодетному сапожнику, которого переселили вместе с чадами и домочадцами в его же сарай во дворе. А дом сделали коммунальным. Комендантом назначили партийную жилищку Харламову, маленькую стриженую тетку с бегающими злыми глазами, всегда находящуюся на грани истерики.

Бабушка занимала две смежные комнаты, а ее домашняя работница Аннушка жила за занавеской у окна в конце общего коридора. Любимицу Аннушки, корову Голубку, недавно продали — уж больно дорогое стало сено, — и Аннушка ходила за молоком на соседнюю улицу, презрительно поджав губы от стыда за наше бескоровье.

Из того пребывания в Юрьевце я хорошо запомнила крапиву, которую мадам Эжени клала нам в постели, чтобы мы не

* Теперь эта улица носит имя Андрея Тарковского, в доме открыт музей.



Дом № 8 по улице Энгельса в Юрьевце в 1935 году

вертелись и поскорее засыпали. И еще дядьку в валенках, который приходил нас переписывать. Как раз в январе 1939 года проводилась та первая советская перепись населения, плачевные результаты которой стали известны только сейчас. О предстоящей переписи много и хвастливо писалось в газетах. Велись разговоры и среди населения. Говорили, что будут выявлять верующих — среди четырнадцати вопросов один был о религиозной принадлежности. Бабушка и Анна, плотно закрыв дверь в коридор, долго спорили, как быть. Напишешь «верующая» — могут посадить, напишешь «неверующая» — согрешишь, предашь веру, да и солжешь к тому же. Интересно, что они все-таки написали? Теперь уже не у кого спросить...

В тот день, 17 января, был сильный мороз, и мы сидели дома. И вдруг к нам пришел переписчик. Я была очень маленькая и поэтому хорошо разглядела его аккуратно подшитые, с капельками воды от растаявшего снега валенки и стоящий на полу подле них черный дерматиновый портфель. Переписчик стал опрашивать всех по очереди. Дошла очередь и до Андрея. Дядька перечислял вопросы, а Андрей и бабушка отвечали.

Так добрались до пункта о грамотности. «Я грамотный», — сказал Андрей. Переписчик не поверил и засмеялся. «Я грамотный», — повторил Андрей, и голос его задрожал от обиды.



Андрей и Марина. Юрвеев

Тут вмешалась бабушка и подтвердила, что мальчик действительно умеет читать и писать «по письменному». Тогда переписчик, все еще не веря, взял портфель, достал из него газету «Правда» и сказал: «А ну-ка, читай!» Андрей прочел название передовицы и несколько абзацев. Пораженный переписчик, привыкший ставить прочерк в этой графе опросного листа, написал про Андрея «грамотный». А вскоре в местной газете было опубликовано сообщение о том, что в результате переписи выявлен мальчик Андрюша Тарковский, который умеет бегло читать.

Что же касается французского языка, то мы его так и не выучили. Вся эта затея с бонной-французенкой оказалась

еще одной бабушкиной утопией. Мадам Эжени с удовольствием вела с бабушкой пространные беседы по-русски, а бабушка старалась блеснуть перед ней своим кулинарным искусством. Прожив так несколько месяцев, мадам уехала в Москву. Больше мы никогда с ней не встречались и не узнали ни ее фамилии, ни истории ее жизни. Впрочем, случайно мне стала известна ее последняя страница. Спустя лет пятнадцать я шла с мамой по Большой Пионерской улице*. Мама кивнула на двухэтажный, с башенкой, дом и сказала тем своим тоном, который я назвала бы грустно-повествовательным: «А вот здесь жила мадам Эжени. Помнишь ее?» — «А где она сейчас?» — спросила я. Мама помолчала немного, а потом ответила: «Ее выслали из Москвы в начале войны. Тогда многих выслали... Только не болтай об этом!»

Вот так случилось, что я совсем не помню нашей довоенной бонны. Сохранились лишь смутные ощущения, какие-то обрывки картин — высохшая и уже не страшная крапива в моей детской кроватке, лужайка возле Симоновской церкви, давно снесенный дом в Замоскворечье и это изящное французское имя — мадам Эжени.

* До революции — Большая Дворянская улица.

Кусок торта

Юрвец довоенный... Чужой человек — переписчик населения, его большие валенки, покрытые каплями растаявшего снега, черный портфель. Бабушкины коленки, разбитые о булыжную мостовую, когда она шла к знакомым покупать для нас клубнику. Бывший актер с княжеской фамилией Телепнев — наркоман с лицом провинциального трагика. А еще сделанная в ателье фотография. Мы сидим на большом старинном кресле, явно экспропрированном у какого-то местного богача. Такие ухоженные и благопристойные дети, какими уже никогда больше не будем.

Юрвец военный... Комнатка в два окна в доме номер 8 на улице Энгельса. Дерево напротив, плещущее ветвями во время летней грозы. Кафельная лежанка, на которой мы отогревались в морозы. Наш самолет, севший на лед Волги. Детская библиотека с ее особым запахом чернил и зачитанных книжек. Ивановская гора, высокие санки-каретки. Комья смерзшегося конского навоза и клочки обретенного с розвальней сена, в котором я так любила узнавать летние травы и цветы.

В Юрвце военном мы не снимались. А если бы такое произошло, то на фотографии отобразились бы наши заострившиеся скулы и блестящие глаза. Не забывается чувство голода. Но еще труднее забыть историю с куском торта «наполеон».

Мама не могла найти работу, и чуждая Людмила Александровна Бобилькова, директор «флягинской»* начальной школы, пригласила ее быть кем-то вроде художественного руководителя. Мама готовила с детьми самодеятельность к праздникам — к Первому мая, к дню Седьмого ноября и к Новому году.

К новогоднему утреннику начали готовиться в декабре срок второго года. Андреев класс должен был строить «пирамиду», и меня, как самую маленькую и легонькую, Андрей заставлял стоять наверху, на чьих-то колеблющихся плечах. Мама разучивала с девочками «Танец матрешек», а учительница музыки, эвакуированная ленинградка по прозвищу «Три полена» (однажды она была уличена в хищении дров), репетировала с Андреем «Веселый ветер» Дунаевского.

Но гвоздем новогоднего утренника должно было стать праздничное чаепитие. Деревенские дети, а их среди школьников было немало, принесли масло, яйца, муку, и учительницы сделали слоеный торт «наполеон» по бессмертному французскому рецепту. Испекли коржи, смазали их кремом и оставили на ночь пропитываться.

После праздника учителя разделили между собой оставшиеся куски торта. Мама принесла домой два куска, один из которых дала нам. Оставался еще один, про который мама сказала: «Не ешьте!»

* Школа находилась в доме, отобранном после революции у купца Флягина.



«Флягинская» начальная школа в Юрьевце



Учителя начальной школы. Вторая справа сверху – учительница Андрей Анна Михайловна Лапшина. Внизу сидят: вторая слева – заведующая школой Людмила Александровна Бобылькова, первая справа – учительница Марины Варвара Александровна Батуева

Кусок торта лежал на тарелке в резном бабушкином буфете. Стоило встать на табуретку и открыть застекленную дверцу, как нас обдавал сдобный запах «наполеона», от которого кружилась голова и замирало дыхание.

Мы крутились возле буфета, мы поминутно открывали его, чтобы взглянуть на этот треугольный слоистый кусок. Наконец Андрей не выдержал. «Давай съедим, — сказал он. — Все равно мама разрешит, когда придет».

Мы поделили кусок пополам, зная, что мама и бабушка наверняка откажутся от своей доли в нашу пользу.

Вскоре пришла мама. Сделав кое-какие домашние дела, она сказала: «Надо сходить к Надежде Ивановне. Она заболела и не была на утреннике. Я взяла ее кусок торта. Сейчас отнесу».

При этих словах она открыла буфет и увидела пустую тарелку, на которой и следа от торта не осталось.

«Мама, мы съели торт», — в ужасе пробормотал Андрей. Я заплакала. И наша мама, у которой не было ни муки, ни масла для нового «наполеона», сказала: «Ладно, только не ревите. Это я виновата — не сказала, что торт чужой. Придумаем что-нибудь вместо него для Надежды Ивановны».

Начальная школа. Веснушки и любовь

Школа № 554, в которой учился Андрей начиная с 1939 года, с перерывами на войну и на болезнь, находилась в Стремянном переулке. Была она стандартной — четырехэтажной, построена из красного кирпича в начале тридцатых годов и стояла в глубине переулочка, окруженная большим двором и невысокими старыми домами. (Здание школы, хотя и перестроенное слегка, сохранилось, в нем и сейчас занимаются дети.)

В начальной школе Андрюша учился хорошо. Ребятишки в классе были по большей части из рабочих семей — район наш был заводской. И Андрей выделялся на общем фоне, он пришел в школу, уже умея читать и писать «по письменному», тогда как большинство первоклассников только узнавали буквы.

И в первом и во втором классах он был образцовым учеником-отличником, аккуратно подстриженным, с белым воротником. Мама сохранила его тетради, заполненные красивым, старательным почерком.

Третий и четвертый классы пришлось на войну и на эвакуацию. И в начальной юрьеveckой школе Андрей учился неплохо, хотя уже не был таким старательным, как раньше, «выезжал» за счет общего развития и начитанности. Там он считался «первым парнем», покорял сердца одноклассниц, хоть и был, по воспоминанию одной из них, «небольшого росточка и с веснушками».



Андрюша. Начальная школа

Веснушки были бичом нашего Андрея. Каждую весну они высыпали на его носу, и он считал, что они очень вредят его красоте. В письме от 24 февраля 1943 года мама написала папе: «...А сейчас, Асик, сидели наши кошки у фитилька, Маришка решила: $20 : 5 = 4$; $4 \times 5 = 20$, а Андрей смотрел у нее из-под локтя. Вот она подняла лицо и захохала: «Андрюшка, какой у тебя рот красный, ой, какой красный!»... Затем Марина нашла, что рот у него красивый, а минут через пять он ее попросил посмотреть, есть ли у него веснушки. Значит, он все эти пять минут взвешивал свои плюсы и минусы, веснушки — крест его жизни. Марина утешила его, что сейчас не очень они видны, а летом будут «и тут, и тут, везде».

«Ну, уж летом я буду в Москве» — что это за скачок мысли? — видимо, ему надо, чтобы сейчас не было веснушек...»

Да, мама была права, дело обстояло именно так. Но, несмотря на веснушки, девочки из класса влюблялись в него и засыпали его записками. Например, такого рода (орфография и пунктуация автора записки): «Милый Андрей! Ты на меня не обижайся. Ты думаешь, что я тебя изменила, а на самом деле это не правда. Я тебя не изменила и не буду. Ты скорее меня изменил потому, что ты сначала гнал за И.К., а потом она уехала и ты стал гнаться за Т.Г., потом ты меня спросил что за кем я гонюсь я сказала, что за тобой и ты стал гнаться за мной. Тебе наверное захотелось меня изменить. Из-за того ты и сказал, что я тебя изменила, а я не изменила, я тебя люблю. Милый Андрей, я тебя не изменила, я тебя люблю... Ты очень красивый, я таких красивых еще никогда не видала, только вижу двоих тебя и Берштейна. Я тебя очень люблю».

Подобные свидетельства почти зрелых чувств одиннадцатилетних юрьевчанок мама находила «пошлыми», они приводили ее в ужас. Но я думаю, что способа борьбы с их появлением найти было невозможно ни в одном педагогическом учебнике.

Это понимал папа, который в ответ на мамины сетования по поводу записок писал в письме с фронта:

«... Что делать с этим — я не знаю. Раз уж это началось, то остановиться — невозможно, даже если ты будешь действовать самым осторожным образом... Может быть, было бы хорошо объяснить ему, что любовь не только то, что у них ребята имеют в виду, а чувство и благородное, и ведущее к самоотверженным поступкам, и к «нему восхищению», заставляющее становиться лучше — и прочее... Раз у него это уже началось, то надо устремить его страсти-мордасти по хорошему пути, а задерживать водопад — дело пустое.

У меня волосы зашевелились на голове, когда я прочел твою копию с этого произведения, уж очень страшно за него стало и обидно как-то. Я понял, что это будет совсем как у меня, ранние страсти и мучения. Боюсь только, что у меня они были романтичней, чем будут у него, а безудержность и очертя-голову-бросание такое же. И так как я думаю о своем опыте, то знаю, что важно воспитать в Андрюшке умение считаться с окружающими, бросаясь в любовь, и полагать, что не все дозволено. Постарайся внушить ему, что нельзя доставлять людям страдания ради своих любвей, — к несчастью, я понял это слишком поздно. Объясни ему, что хуже всего позднее сожаление о том, что кому-то сделал больно. Если он не эгоист в самой худшей форме, то он это должен понять.

А что делать теперь — кроме этого — не знаю, может быть потому, что не представляю себе форм нынешнего флирта в Юрьевце среди этих — не моих романтических времен — ребят. Не надо все-таки пугаться Андрюшкиных страстей и делать так, что все это станет соблазнительным запретным плодом.

Скоро и Мышь, должно быть, начнет получать любовные письма, и тогда мое сердце окончательно сожмется от боли».

Наверное, и мамино сердце сжималось от боли, когда она читала папины слова о его поздних сожалениях, явно к ней обращенные.

А Андрюшка, которому было одиннадцать лет, когда он уезжал из Юрьевца, скоро забыл юрьевецкие страсти. В конце войны обучение стало отдельным, так что в Москве роковых соблазнительниц за партами в одном классе с ним не оказалось.

1-й Щиповский переулок, дом 26, квартира 2

Когда я слышу ностальгические вздохи по коммунальным квартирам, я им не верю. Почему-то авторы этих вздохов с подозрительной поспешностью разъехались из прославленных «коммуналок» в отдельные квартиры. Что касается меня, то я бы с удовольствием росла в своей квартире или, еще лучше, в особняке. А почему бы нет? Ведь жили родители нашей бабушки в собст-

венном доме на Пименовской улице. И неплохо жили, судя по ее рассказам.

Наше с Андреем детство было счастливым. Во всяком случае, так утверждали плакаты, висящие в школе на каждой свободной стенке. Протекало оно в двух десятиметровых полуподвальных клетушках по вышеозначенному адресу. Квартира № 2 была небольшая, но вполне сносная для одной семьи. А жило их три. Самая большая комната принадлежала дяде Осе Штокману — доброму чудаковатому инженеру. Он получил образование в Германии, но работал незаметным надомником — переводил технические тексты. Жена его, красивая и интеллигентная Мария Юрьевна, почему-то очень боялась «бытовых насекомых» и тщательно застилала сиденья в бане белой простыней, принесенной из дома. Над ней посмеивались и говорили, что Гражданская война давно окончилась. Но судьба подстерегла Марию Юрьевну, и она умерла в эвакуации от сыпного тифа. Ее место на двуспальной никелированной кровати заняла штокмановская домработница Анисья. У нее были острые черные глаза и неуравновешенный характер. Став законной женой дяди Оси, она заботилась о нем с преданностью бездетной русской крестьянки. Она и сейчас ухаживает за его могилкой на еврейском кладбище. Заботы о дяде Осе не помешали Анисье стать любовницей монтера Павла, жившего с женой и двумя детьми в третьей комнате квартиры № 2.

Эта комната была когда-то проходной и принадлежала Штокманам — до войны в ней жили родители дяди Оси, тихие, трогательные старики. Сын монтера был сильно нечист на руку. Он воровал все подряд, включая банки с вареньем. Воровал и у нас, и у дяди Оси с Анисьей. После очередной кражи монтер подучил Анисью написать в милицию, что ворует не его сын, а наша бабушка Вера Николаевна. Заодно он попросил свою родственницу Семенову, жившую в нашем же доме, обокрасть саму себя и тоже сказать на бабушку. Та выполнила его просьбу с большим удовольствием. Ведь это ее сын Толик обчистил нас до нитки в сорок третьем году, когда мы вернулись из эвакуации...

Прихожу из школы, а у нас в комнате сидит огромная овчарка. Оказывается, собака быстро нашла на чердаке «украденный» узел и привела к его хозяйке Семеновой. А уж потом милиционер с собакой пришли к нам, чтобы успокоить бабушку. Так восторжествовала справедливость.

Но соседка Анисья не унималась и еще долго подливала керосин в наши кастрюли, которые мы доверчиво оставляли на общей кухне. Почему наш суп частенько пахивал керосином, я поняла позже, когда Анисья, поссорившись с монтером, налила ему в чайник слабительного. Тогда как раз к его дочке, тихой беленькой Анечке, пришли подруги на день рождения...

*Верочка Дубасова**Моя дорогая бабушка Вера*

Перечитала все это, и тошно стало! А я и десятой доли не рассказала о квартире № 2. Но надо все-таки порадовать любителей «коммуналок». Анисья осознала свои грехи и, упав бабушке в ноги, просила прощения. А получив его и всласть поплакав, она опять пошла в милицию. Теперь она заявила, что у нас собирается подозрительная компания. Андрей уже учился во ВГИКе, и «подозрительными» были Володя Китайский, Вася Шукшин, Саша Гордон, Люка Файт — его однокурсники.

Но бдительная соседка опоздала с доносом — шел пятьдесят восьмой год...

Сейчас Анисья Герасимовна иногда звонит мне по телефону. Она интересуется, скоро ли откроется музей Андрея на Щипке, и вспоминает, как хорошо жилось нам всем когда-то в доме № 26. Я ей не возражаю — к чему обижать людей? Потому и изменила имена действующих лиц в этом рассказе.

Пальто на ватине

Наша бабушка Вера Николаевна была очень хозяйственной и рукодельной. Вечно она что-то перекрашивала и перекраивала — для мамы, для папы и для нас, ее внуков. Так, папе она сшила по патронке шубу — теплое зимнее пальто, и папа его с удовольствием носил несколько лет.



*Мама и папа с Андрюшей.
Не об этом ли папином пальто
идет речь?*

Однажды осенью 1936 года, когда бабушка гостила в Москве, к родителям зашел их приятель. Это был Володя З., очень милый «окололитературный» мальчик. На улице лил холодный осенний дождь, а он пришел к Тарковским раздетым. Володя объяснил, что утром, когда он выходил из дому, было ясно и тепло. Посидев какое-то время и напившись вечного московского чая, он стал собираться. Тут-то мама и бабушка в один голос предложили Володе надеть папино зимнее пальто. При этом бабушка похвасталась, что оно очень теплое, на шерстяном ватине, купленном ею в торгсине. Володя надел пальто, поблагодарил и ушел. Шло время, но возвращать пальто он не спешил. Бабушка уехала к себе в Юрьевец

и оттуда письмом напомнила ему, что надо бы вещь вернуть, на что Володя ответил, что сделает это обязательно.

Наступила зима. Бабушка не могла смириться с потерей. Она пишет папе и просит его выручить пальто: «Ася, молю тебя, сходи к З. и возьми шубу. Ведь это, наконец, с его стороны свинство — узнать, что там хорошее нутро, и замотать ее. Буду Марусе шить или тебе переделывать — ватин понадобится». Почти в каждом письме к маме бабушка напоминает о пальто с возрастающим возмущением. «Что вы мне ничего не пишете? Видно, З. так и замотал нутро из Асиной шубы, когда узнал, что там хороший ватин. Я сразу почувствовала, что он ее не отдаст».

Но ни папа, ни мама так и не сходили к З. Папа занимался своими литературными и сердечными делами, а у мамы наступал паралич воли, когда ей надо было заявлять о правах даже на свою собственную вещь.

Зима тридцать седьмого года подходила к концу, а Володя так и не появился. И было решено, что он окончательно заиграл это несчастное пальто...

Весенним мартовским днем 1959 года я сидела на скамейке возле дома с маленьким сыном на руках. Он был завернут в шерстяное одеяло, и солнышко светило на его спящее личико. А кругом журчали ручьи и весело чирикали пережившие зиму воробышки.

Ко мне подошел незнакомый пожилой человек. Он был нищенски, но аккуратно одет, при галстукке, и на ярком весеннем

солнце особенно жалко выглядели его редкие седые волосы и блестящие металлические зубы. «Ты Марина! — утвердительно сказал он. — Я тебя знал совсем маленькой. А где твои родители?»

Я ответила на его вопрос и пригласила зайти к нам домой. Мама сразу узнала его...

Так вернулся Володя З. Он рассказал, что его взяли весной тридцать седьмого.

Теперь стало понятно, почему он не вернул папино зимнее пальто на шерстяном торгсиновском ватине.

Начало

В конце марта Арсений и Маруся отправились в рискованное путешествие — выехали из Москвы в село Завражье Юрьевоцко-го района. Это было довольно большое село с пятиглавой церковью (в которой позже крестили Андрея). Стояло оно на левом берегу Волги недалеко от впадения в нее реки Нёмды. Там жили маминьы мать и отчим — Вера Николаевна и Николай Матвеевич Петровы. Отчим был врачом и работал в местной больнице, а квартиру снимали в доме Кудряшовых на втором этаже. В Иваново-Вознесенской области Петровы оказались в самом начале двадцатых годов. Они уехали из Москвы по двум причинам — чтобы не умереть с голоду и чтобы Николай Матвеевич мог удовлетворять свою неудержимую страсть к охоте. Выбрали волжские места, потому что он родился в городе Шуе, тоже Ивановской области. Жили Петровы при больницах — цели купить собственный дом как-то не ставили — в Кинешме, в небольшом городке Юрьевоце, в Завражье. А после Завражья — в поселке с загадочным названием «Красный Профинтерн». «На Профинтерне», — говорила бабушка. Мы много раз спрашивали, что такое «Профинтерн». Мама и бабушка говорили что-то про профсоюзный интернационал, что вызывало еще большее недоумение в наших детских умах, поэтому что никак эти слова не увязывались с тихим заволжским поселком, с широкими волжскими плесами, с запахом мокрой древесины, воды и гудками пароходов. А Юрьевоц оказался единственным приволжским городом, построившим дамбу и сохранившим таким образом свой облик: центральная улица, идущая параллельно Волге, и взбирающиеся на горы перпендикулярные улочки и переулочки.

В одном из писем мама написала о своем «положении», и из Завражья посыпались письма с просьбами и мольбами (бабушке был присущ высокий стиль) рожать у Николая Матвеевича в больнице.

А путь был неблизкий и трудный. Сначала — поездом до города Кинешмы, тогда поезда на паровозной тяге шли туда около

суток. В Кинешме на привокзальной площади стояли ямщики с лошадьми, ждали пассажиров (лошади ели овес из мешков, надетых на морды, рядом ходили куры, прыгали воробьи — тоже питались). Родители сговорились с одним из ямщиков и поехали — километров тридцать на лошадях, в розвальнях. Дорога шла вдоль Волги, потом по замерзшей реке. Волга должна была того гляди вскрыться, и они боялись, что не успеют добраться до места.

Вот мамино письмо, которое так и не было отправлено. Адресовано оно в Москву, папиной сестре, с которой мама очень дружила. «29 марта. Милая Лёничка! Доехали мы хорошо, то есть я не родила. Ехали долго, с трех дня до пяти ночи, три часа кормили на постоялом дворе лошадь, а сами ходили и мучались, скоро ли она накормится. Дорога разбита ужасно...» Предполагалось, что мама родит числа двадцатого, но дорогой ее сильно растрясло, и роды начались раньше срока. Маму не успели отвезти в больницу. Рожать пришлось дома, на обеденном столе. Наша милая бестолковая бабушка так разволновалась, что забыла, где находится дом акушерки, и они с папой с трудом ее разыскали. Принимали роды Николай Матвеевич и акушерка Анфиса Осиповна Маклашина. После того как все завершилось, отчим сказал маме: «Ну, Марусяка, следующего рожай где хочешь! Слишком уж нервно — принимать у своих».

Сохранилась тетрадь «Дрилкин* дневник», который родители начали вести с первых дней появления Андрея на свет. Это листы бумаги, сложенные вдвое и прошитые нитками. Писали родители по очереди — у кого было время и силы. Иногда записи идут подряд, иногда несколько дней пропущено. В дневнике подробно рассказано о первых трех месяцах Андреевой жизни.

Дневник открывается папиной записью от 7 апреля 1932 года: «В Завражье в ночь на 4 апреля, с воскресенья на понедельник, родился сын... Пятого был зарегистрирован, назван Андреем и получил «паспорт».

Глаза темные, серовато-голубые, синевато-серые, серовато-зеленые, узкие; похож на татарчонка и на рысь. Смотрит сердито. Нос вроде моего, но понять трудно, в капочках. Рот красивый, хороший...»

Папа со свойственным ему нетерпением сразу же взял справку о рождении сына. Написана она рукой акушерки (орфография как в оригинале).

«УДОСТОВЕРЕНИЕ.

Гражданка гор. Москвы Мария Ивановна Тарковская 1932 года
Апреля 4-го разрешилась живым сыном. 1932 года, 4. IV.

Акушерка Завражной сов-больницы

А. Маклашина.

Врач Н. Петров».

* Дрил, Мадрил и Гамадрил — персонажи поэмы Н. Подгоричани.

А на следующий день папа поспешил в Завражский сельсовет (он никак не хотел ждать до Москвы) и на основе этого удостоверения получил на Андрея свидетельство о рождении. Бланк отпечатан на простой бумаге, за годы «Свидетельство о рождении» пожелтело, обветшало, оно тщательно подклеено мамой.

Во время войны в Юрьевец, где мы жили в эвакуации, Андрею пришло письмо. От папы, с фронта. На стороне, где пишется адрес, сверху напечатано: «Смерть немецким оккупантам!» Имеется штамп: «Просмотрено военной цензурой». На обратной стороне — текст, написанный химическим карандашом папиным красивым, аккуратным почерком:

«4. IV. 1943. Дорогой, родной мой Андрюша, поздравляю тебя с днем рождения. Я болен и лежу в госпитале, скоро уж меня выпишут. Я так хорошо помню, как ты родился, мой милый. Мы с мамой ехали до Кинешмы поездом, а оттуда на лошадях до Завражья. Волга должна была вот-вот тронуться. Мы ночевали на постоялом дворе, и я очень беспокоился за мамочку.

Потом родился ты, и я тебя увидел, а потом вышел и был один, а кругом трещало и шумело: шел лед на Нёмде. Вечерело, и небо было совсем чистое, и я увидел первую звезду. А издали была слышна гармошка, и это было одиннадцать лет назад...»

Вот так родился Андрей, и вот почему у него в графе «Место рождения» стояло «Село Завражье Ивановской области».

Вернемся в 1932 год. Посылаются телеграммы в Москву. Бабушка Вера поздравляет папину мать, Марию Даниловну, с рождением внука; она впервые подписывается своим новым званием — «бабуся». Папа сообщает своему другу литератору Льву Горнунгу: «Четвертого родился сын, благополучно. Тарковский». А вот — ответная телеграмма. Она еще лаконичнее, чтобы не расходовать зря слова, да и деньги, в которых у Льва Владимировича всегда была нужда: «Поздравляем всех. Горнунг». Эмоции были позже, ближе к осени, когда Горнунг самолично приехал в Завражье.



«Орден большого Гамадрила первой степени». Выдан папой маме за рождение Дрила-Андрюши



Мама с Андрюшей и молодая жительница Завражъя со своим малышом (справа)



Храм Рождества Богородицы в селе Завражъя, где крестили Андрея

Итак, в доме маленький ребенок. Нарушена размеренная, спокойная жизнь Петровых. Хотя какая спокойная жизнь могла быть у провинциального врача? Николай Матвеевич был специалистом по «всем болезням». Утром он работал в стационаре, потом вел прием в поликлиническом отделении, на стареньком велосипеде объезжал больных на дому. По ночам часто раздавался стук в окно, приезжали за врачом из окрестных деревень. Уставал Николай Матвеевич и нуждался в отдыхе.

Андрюшка был беспокойным. Вот что пишет мама: «8 апреля, пятница, седьмой час вечера. Рыська (так прозвали малыша. — М.Т.) спит. И все спят после обеда. Я ночью не спала совсем... Вой стоял дикий. Он вообще имеет обыкновение днем спать, как пьяная кошка, а ночью часа два бодрствовать. Если бы не дедушка, то наплевать бы... 12 апреля, около 10 часов вечера. Ночь была кошмарная. Орет, и ничего нельзя сделать...»

Бедные Петровы были не в состоянии больше терпеть, и беспокойное семейство решили переселить в мезонин больничного флигеля, в две небольшие комнаты с балкончиком; внизу помещалась лаборатория. Было это недалеко — несколько минут ходьбы. Папа привел жильё в порядок, побелил потолок и стены...

Вообще, судя по дневнику, отец принимает деятельное участие в заботах о сыне: стирает бесконечные пеленки, укачивает Дрилку (еще одно прозвище. — М.Т.), сочиняя при этом шуточные песенки. Вроде этой:

Расскажите, как живет
Ваш любимый, милый кот.
Рано утром он встает
И, как водится, орет.
Вот, вот, как живет
Наш любимый, милый кот...

В дневнике появляется хвалебная запись мамы: «...Папа Ася — замечательно хороший папа и очень хорошая няня».

Когда я читаю этот дневник, меня удивляет вот что: как мама, измученная бессонными ночами, кормлением, купанием и прочими заботами о ребенке, находила возможность вести подробные записи. Я объясняю это не только любовью к новорожденному, но и потребностью изложить на бумаге происходящее. Эти безыскусные записки заменяли маме творчество. Стихи мама писала раньше, в студенческие годы. Она их уничтожила, считая недостойными существования. Но дневники вела. Правда, не постоянно, но тем не менее отдельные куски жизни оказались записанными...

Папа легко загорался, был нетерпелив, спешил немедленно и до конца сделать то, что в данный момент его увлекало. Был он прекрасный рукомесленник (Андрей унаследовал эту его чер-



Арсений Тарковский

ту) — мастерил, переплетал книги, чинил обувь, артистически штопал носки. Он хорошо рисовал, вырезал из бумаги сложнейшие, «китайские» фигуры. Мог ночь напролет ремонтировать пишущую машинку, разобрав ее на миллион частей. Мог читать книги или писать стихи и днем и ночью, не замечая ничего вокруг. Но вовремя начать переводческую работу, нелюбимую, но необходимую для заработка, и делать ее систематически, изо дня в день, чтобы потом спокойно сдать, не мог.

Вот так и с дневником. Пережилась первая радость после рождения сына, начались ежедневные заботы, накапливалась усталость. Плюс — постоянная внутренняя поэтическая работа. Поэтому большая часть «Андреевой

хроники» написана маминым почерком.

«11 апреля, понедельник, 2 часа дня. Замечательный день. Хорошо, что Дрилка живет первые дни в такую замечательную погоду. Днем стал «гулять» еще больше...»

А вот пишет папа: «Киска улыбается во сне... Сегодня ему исполнилось 10 дней. Папа встает по ночам посмотреть, не закрыт ли у него нос одеялом. Мы очень любим Дрила».

Бурная весна 1932 года... Она тоже «героиня» этих записок. Почти каждый день отмечается в дневнике состояние природы. «Погода стоит очень хорошая, на небе луна очень ясная, больше одной четверти. Барометр стоит очень высоко. Шумят речки», «Погода дивная, все тает, ручьи журчат, всюду скворцы», «...Всю ночь шел дождь. Сейчас юго-юго-восточный ветер, очень тепло и пасмурно. Несколько дней идет Волга...», «Сегодня нарвали черемухи — за кузницей...».

В больничном мезонине живет «выселенная» семья. Трудно с ребенком, родители устают, не высыпаются. Колодец во дворе, воду греют внизу на дровяной плите. Хорошо еще, что не надо думать о еде. Обедать ходят к бабушке (у бабушки есть корова, знаменитая — конечно, только в нашей семье — Голубка, ярославской породы норовистая корова, о которой мы в детстве столько слышали).

«...Я совсем не выпалась, Ася тоже, он заснул в 11.30, а встал вместе со мной в пять. Вчера папа Ася сказал, что Дрил

пьет змеиное молоко». Что это, случайное раздражение? А может быть, накопление этого раздражения и приведет к концу их совместную жизнь?

Нет, до разрыва пока далеко, снова мир, и у мамы хорошее настроение: «8 мая, 8 часов утра... Погода чудесная, звонят к обедне, на балконе солнышко и птички. Насыпала хлебushка Дрилкиным воробьям. Сейчас вымоюсь и открою балкон, чтобы Дрилка подышал...»

Какой же воздух вливался в распахнутую балконную дверь! С одной стороны — Волга, рядом Нёмда, кругом леса, никаких заводов. Чистая, не испорченная цивилизацией природа. Правда, мама, когда впервые попала в Завражье в 1930 году, была несколько разочарована. «Здесь гораздо хуже, чем я думала, — писала она в письме к другу, приглашая его приехать. — Но все-таки ничего. Волга в семи верстах, и против Юрьевца купаться нельзя. Около нас река — очень песчаная и мелкая. По ней плывут в Волгу «дрова». Большой лес в пяти верстах. Единственное, что хорошо, — большие горизонты...» Мама и природа... Простота и безыскусность единили ее с лесом, с рекой, с полем. Природа была для нее не фоном, а естественной средой. «Мы (то есть мама с Андрюшей на руках. Коляски еще не было. — М.Т.) ходили в лес. Сидели на пеньке на Дрилкиной поляне, потом по вновь открытой Муравьиной дорожке вошли в Сморчковую рощу и набрали массу сморчков. Пойдем туда завтра с папой Асей, а то с Дрилом трудно нагибаться за сморчками...»

А эти записи сделаны уже после отъезда папы. «21 июня, вторник, 10 вечера... Понесла Андрюшку гулять. Гуляли час. Нашли на опушке двух гусениц, кажется крапивниц». «Вчера отдохнула — Дрила устроила в саду под липой в ящике из-под картошки, и он там проспал три часа». «Ходили в елочки за церковь, а потом спустились на Попов луг... Ходили на Нёмду. Он лежал у меня на трех поленьях, в конверте, а я купалась. Рожь за церковь в мой рост, трава до колен. Цветов так много, что вся гора пестрая. Есть уже ночные фиалки. Много-много есть чего написать, но папа Ася не едет и не везет тетрадочки для дневника. Окукливаются гусеницы»...

Это было их общим — и мамы и папы — любовь к природе и внимание ко всем ее проявлениям. Правда, папа больше любил юг: он родился и вырос на Украине, в теперешнем Кировограде. Он всегда тосковал от затянувшихся северных зим, ему всегда не хватало тепла и солнца.

Наш папа... Каким он был тогда, в молодости? Разным — веселым, остроумным и задумчивым, пасмурным. Мог быть заботливым, нежным и равнодушно-остраненным. Чудесный юмор сопровождал его всю жизнь. Вот письмо в Москву. Первая страничка написана по спирали,

в уголке пометка: «Читать сие надо, начиная с центра». Вместо имени адресата — «Лев» — нарисован лев-зверь. (Когда я читала это «спиральное» письмо, у меня действительно закружилась голова.) Итак, письмо Арсения Тарковского ко Льву Горнунгу:

«26 апреля 1932 года. Дорогой многоуважаемый Лев! Вы напрасно думаете, что Маруся стирает и сушит Дрилово белье без всякого с моей стороны участия. Ваш покорный слуга также смывает с пеленок нечто и вешает сии пеленки на веревочки. Это отнимает не только время, но и жизненные силы. Вам, не имевшему (насколько мне известно) льяв, очень трудно себе представить, сколько сын мой возлюбленный вызывает любви и сколько требует времени. Дабы громкий и сильный его голос не нарушал покоя предающегося по ночам сну Николая Матвеевича, мы в полном составе переехали на мезонин в больнице (как сказал Пастернак: «...да так, что даже антресоль... от удивления (?) трясло»). Читая это письмо, Вы почувствуете, вероятно, то же головокружение, какое чувствую я, когда вижу разлившуюся Нёмду, слышу гудки пароходов и птичий гвалт. Нёмда все же разлилась несильно, только мост возле соловьевского дома (если помните) залила, хотя вода, вероятно, еще увеличится. У Вас под окнами, должно быть, уже настоящая Венеция. Если будете фотографировать наводнение — пришлите по наводнению нам с Марусей. Спасибо Вам (кстати, о фотографии) за Вячеслава Иванова, который доставляет мне большое удовольствие, напоминая не только о себе, но и о Вас. Как Вы живете, милый Левушка? Неужели сидите в Москве до середины лета? Прочли сей лабиринт? Это я Вас мучил за то, что Вы не хотели мне писать, за то, что считаетесь письмами. Очень нехорошо. Конечно, я виноват, что не писал Вам так долго, но это не от плохого характера, или лени, или нелюбви к Вам, а потому, что, как Вы поймете, сын отнимает массу внимания, массу времени.

Приезжайте, Лев, в Завражье. Дама, чье полное имя я из скромности не открываю, говорит, что снова бы с удовольствием поселила Вас у себя, не только на сеновале, но даже в комнате. Приезжайте, Лев. Будем рыбу ловить, ходить босиком и кормить собой пчел!

Читаю я только Пушкина, Тютчева и Державина, жалею, что не взял гржебинского Баратынского. Кроме этого, еще читаю небезызвестного Всеволода Соловьева. Этот последний автор — сущий дурак. Сей Соловьев, который дурак и бездарен и еще пошляк, принадлежит даме, которая готова пустить Вас не только на сеновал, а даже в комнату. Приезжайте, Лев. Будем костры жечь, печь картошку в золе. Ладно? Жду письма о Вашем (возможен ли?) приезде, обо всем, что в Москве. Приехал ли

Верховский? Целую Вас, не сердитесь на меня ни за что. Ваш Арсений».

Это письмо нуждается в некоторых пояснениях. «Соловьевский дом» — дом врача Соловьева, который работал в местной больнице с Николаем Матвеевичем. Если вспомнить «Зеркало», то там говорится об этом враче в сцене продажи серег. В фильме мать с сыном подходят к этому дому уже в 1942 году.

Л.В. Горнунг жил в Москве на Садовнической набережной. Окна его комнаты выходили на обводной канал. Отсюда упоминание о Венеции. «Гржебинский Баратынский» — Баратынский издательства Гржебина. Всеволод Соловьев — писатель, автор серии романов о семье Горбатовых. Юрий Никандрович Верховский — поэт, переводчик, литературовед, имя которого сейчас незаслуженно забыто. Мы с Андреем видели его в конце войны в Переделкине — огромного бородатого старика.

26 апреля написано это письмо — дружеское, шутовое. Из него мы узнаем о литературных пристрастиях молодого Арсения Тарковского. Кажется, что жизнь хороша, рядом любимая жена, сын. А оказывается, рождение сына обострило тоску по умершему отцу, похороненному в их родном Елисаветграде. Одновременно — веселые письма, шутовские песенки и — скорбное, полное любви стихотворение памяти отца.

Удивительна и непостижима жизнь поэта. Он вынужденно живет как бы в двух измерениях — в реальном и в «потустороннем», поэтическом. И все драмы, а подчас и трагедии, происходят от этой раздвоенности, от невозможности соединить эти два мира, от невозможности остаться в одном из этих миров. Погружение в творчество желанно, необходимо, живо творно. Драматичен и болезнен выход из творческого состояния, из «небытия» в жизнь реальную, требующую своего — забот, деятельности, общения с окружающими. Думаю, это тоже сыграло свою роль в том, что через четыре года после рождения Андрея и через два года после моего рождения распалась наша семья.

...А пока — мама: «5 мая, четверг, днем. Вчера Дрилке исполнился месяц. Он очень изменился на личико, на рыську больше не похож и становится все больше похож на папу Асю. Дедушка говорит, что от меня он не унаследовал ничего — все отцовское...»

Второго июня папа уехал в Москву улаживать свои рабочие дела — надо было зарабатывать на жизнь. В Завражье он больше приехать не сможет (родители увидятся осенью в Москве), бу маги не привезет. Поэтому «Дрилкин дневник» обрывается. Последняя запись сделана в нем мамой 21 июня 1932 года.



Андрюша с книгой К. Чуковского



*Лев Горнунг с крестником Андреем.
Юрьевец, 1933*

Ода

Маленький Андрюша не был принцем крови. Он родился в семье бедного поэта, и жизнь этой семьи протекала не в роскошном дворце, а на двадцати метрах в московской коммунальной квартире. И тем не менее в день, когда Андрюше исполнилось два года, он получил в подарок Оду. Он мог бы этим гордиться, потому что не каждый московский мальчик был воспет высоким одическим слогом.

Чистой вариант Оды, написанный каллиграфическим почерком, свернутый в трубочку и перевязанный голубой лентой, наверняка был вручен 4 апреля 1934 года счастливым родителям малыша. Но листка этого не обнаружилось в семейном архиве Тарковских. Зато ее автор, Лев Владимирович Горнунг, сохранил черновой вариант, датированный 17 марта 1934 года. (Он серьезно готовился ко дню рождения крестника и задолго до него принялся за свое сочинение.)

Жаль, что Андрей не знал о существовании этой Оды — тогда он был слишком мал, чтобы понять и запомнить ее. А если бы прочел, став взрослым, то, возможно, в его душе зазвучали бы струны благодарности за эти любовные и провидческие строчки.

ОДА НА ГОДОВЩИНУ РОЖДЕНИЯ АНДРЮШИ ТАРКОВСКОГО

Теперь, когда опять природа
Нас разлучить должна с зимой,
Ты празднуешь свои два года,
Андрей Арсеньич, крестник мой.

Ну что ж, мой милый, мой хороший,
Стыдись, что весел и здоров,
По лужам шлепая калошей,
Весну встречаешь ты без слов*.

Твои года да будут долги,
Ты воздух пил большим глотком,
Тебя Голубка, как из Волги,
Вспоила вольным молоком.

И там, на родине далекой
Ты начал жизнь в счастливый час
И востроглазый, краснощекий
Увидел солнце в первый раз.

О, не забудь потом, среди прозы,
Как любовались далью мы,
Когда взбирались, точно козы,
На юрьевецкие холмы.

Твой дикий «дядя», лев косматый,
Запрятав когти далеко,
Тебя ласкал не лапой — ватой
И убаюкивал легко.

Он образ твой векам оставил,
Хоть был ты и нетерпелив,
Он на тебя не раз направил
Свой неумный объектив.

Учись же грамоте — и баста,
Будь умником и подрастай,
Стихи пиши не слишком часто,
А лучше — Пушкина читай.

Будь музыкантом непременно
И дирижером также будь,
Одно искусство совершенно,
А музыка — завидный путь.

* В апреле 1932 года Андрюша еще не умел говорить.

И знай (хоть прожил ты два года):
Недаром Тютчев убежден,
Что отмечает всех природа,
Кто в роковые дни рожден.

Пока ж родителям на радость
(А с ними вместе счастлив я),
Да будет безмятежна младость
И днесь и в будущем твоя.

Л. Горнунг

Нужно было быть «провидцем и поэтом», как написал когда-то папа о Льве в дарственной надписи на книге переводов, чтобы в двухлетнем ребенке угадать его будущее.

Да, крестный наш был удивительным человеком. Он жил в советское время, но оставался свободным. Сколько я его помню, он нигде не служил — работал в издательствах по договорам, в пятидесятые годы, уже начав слепнуть, подрабатывал маклерством — знал всех московских «бывших» старушек и сводил их с богатыми коллекционерами. И я должна сказать, что занимался он этим «бизнесом» с величайшим достоинством.

Лев Владимирович всю жизнь писал стихи безо всякой надежды на их публикацию. Он не был большим поэтом, но люди, подобные Льву Горнунгу, создавали ту благодатную и благодарную среду, были теми читателями и почитателями, ради которых рождалась великая русская поэзия их современников.

В страшные сталинские времена Лев Владимирович не боялся вести дневник, в котором нашла отражение не только его повседневная жизнь, но и жизнь культурной Москвы. Консерваторские концерты, литературные вечера, значительные и незначительные встречи с поэтами, музыкантами, другими знакомыми, варварское уничтожение памятников старины — все это зафиксировано в этих уникальных документах, написанных характерным почерком Льва Владимировича. Жаль только, что помощницы незрячего Горнунга, милые пожилые дамы, не понимали, что с подобными документами нельзя работать, имея в руках ножницы. Многие страницы дневников превратились в мелко нарезанную «лапшу».

Лев Владимирович гордился знакомством с «великими» и оставил свои воспоминания об Ахматовой, о Пастернаке, Волошине, Кочеткове, даже о Есенине, с которым однажды проехал несколько остановок в одном трамвае. Можно шутить над таким «знакомством», но можно и благодарить автора за этот эскиз-воспоминание.

Будучи совсем ослепшим от глаукомы, Лев Владимирович должен был сам заботиться о своем выживании. Он во всем за-



Мария Ивановна Тарковская с Андрюшей под вязом в Юрьевце. 1933



Лев Владимирович, дядя Лев

висел от других. Ему пришлось стать дипломатом и политиком, но при этом он никогда не терял своего достоинства. Он не часто поддавался отчаянию, его поддерживала вера. Но иногда мне приходилось слышать скорбные слова о несправедливости такого тяжкого наказания, как слепота. Находились люди, которые обворовывали слепого. Однажды какой-то его молодой знакомый снял из угла и унес иконы. Каким-то образом пропали со шкафа акварели Максимилиана Волошина...

Лев Владимирович был очень мужественным. Помню, как мы с ним ехали в больницу — с Большой Якиманки на улицу Вавилова, где его ждала операция. Я держала его за руку и рассказывала, мимо каких домов мы проезжаем. Он живо обсуждал со мной «увиденное». А после, когда его вывезли из операционной, сказал: «Что-то долго они со мной возились!» А было ему тогда девяносто лет.

Мне очень его не хватает. Не хватает его голоса: «Приходи, у меня есть для тебя приманка, «резиновый» мармелад». Не хватает его несколько тяжеловесного, как говорила мама — «немецкого», юмора, его интересных, но лишенных сентиментальности рассказов о молодых годах, о дружбе с моими родителями.

Не знаю, любил ли он меня, но я его любила.

Лето 1934 года. Письмо к бабушке Вере

Никакие рассказы и воспоминания не в силах передать живой действительности, подлинной жизни с ее подробностями, особенностями характеров. Мне кажется, что папино письмо, написанное летом 1934 года, когда мама в ожидании моего рождения жила с Андрюшей в Малоярославце, дополнит предыдущие рассказы и приблизит к нам то далекое время. Последняя страница этого письма, написанного накануне папиного дня рождения (ему должно было исполниться 27 лет), утрачена. Жаль...

«24.VI.1934.

Милая Вера Николаевна!

Прежде всего — не сердитесь, что я пишу на машинке — я разбил чернильницу, а карандашом — Вам было бы неудобно читать. Я приехал из Малоярославца 23-го. И Марусишка, и Андрюша совершенно здоровы. Он очень много говорит, — я был поражен его способностями к иностранному — взрослому языку. Сегодня я отправил им полтораста рублей и посылку — хлеб, печенье, плитку шоколада, — больше у меня ни на что не хватило денег. (Странно, что папа не задержался в Малоярославце, чтобы отметить с мамой свой день рождения. — М.Т.).

Относительно Вашего вполне резонного предложения (бабушка, видимо, хотела приехать в Малоярославец, а также предлагала пригласить на лето к маме ее подругу — Ирину Шигорину. — М.Т.) — против него ничего нельзя возразить, что касается меня — то я очень благодарю Вас, что мы Вам не так уж сильно, как я думал, надоели. Я — «за». Что скажет Маруся — не знаю, этого никто не знает, даже Тот, Кто знает все. Я напишу ей, кроме этого буду уговаривать ее при следующей поездке — вероятно — 1-го.VII, если получу деньги, если задержусь из-за денег — не позже 5-го. Деньги будут, у меня масса работы. Ирину — это хорошо потому, что Марусе не будет так скучно, — мне хорошо потому, что Маруся будет на меня меньше сердиться (и на Вас тоже).

Андрюшка теперь не ездит на руках, мы ходили пешком на мельницу и за нее в лес: туда и обратно — вероятно, верст пять — Андрюшка шел ножками. Он загорел и страшно хулиганит, говорит — мамка дуа — (дура), папка — дуа. А потом, когда спросишь — как надо говорить — говорит — мамочка, мама Мусик, папочка, папчик, папа Асик. С мячиками (бабушкин подарок. — М.Т.) спит — не расстается ни за что. По ночам говорит «мячик». Я купил ему ружье и отвез тутуку (машинку. — М.Т.).

Я очень много работаю, потом ко мне приходит мама и доводит меня до белого каления, что, конечно, плохо, но неминуемо после разговоров с мамой.



*Папа с Андрюшей в саду
Ивана Ивановича Вишнякова.
Малоярославец, осень 1934*

Я счастлив, что Николай Матвеевич не сердится на меня, я ведь, правда, перепутал, — зная меня, Вы не станете сомневаться в этом; я очень рассеян.

Когда я уезжал в Малоярославец — мне сопутствовали несчастья. Прежде всего — я на четверть минуты опоздал на 12-часовой поезд. Крутился я на вокзале до следующего — 2-49. Когда пришел поезд — оказалось, что в очередь я стал не на месте, пришлось встать в самый зад — так было приказано. На этом зад я пробыл очень долго, когда же зад этот подошел к вагону, оказалось, что поезд отходит через 4 минуты. И вдруг — картонка летит на землю, апельсины — под поезд, яблоки — Бог знает куда, хлеб, все, что было в картонке — все разбежалось по перрону, за-

няв площадь — диаметр которой был равен сажениам 5 (мне показалось — версте), оказывается — ремень лопнул. Публика весело хохотала, — она хохотала, как поется в романсе, а я ее ругал за это, не стесняясь в выражениях правого своего гнева. Не утаю: я матерился, как старый морской волк.

Когда вещи были кое-как сложены — выяснилось, что увлекшись поисками апельсинов и яблок под поездом — я не заметил, куда исчез билет. Вещи я втащил и поручил какому-то бандиту в образе молочницы. Побежал покупать новый билет. Купил — прибежал и поехал, т.е. поезд поехал, а я бежал за ним ровно столько, сколько было нужно, чтобы его догнать. И можете себе представить? — догнал!

Всю дорогу я чинил ремень при помощи своего пояса, веревочки, что мне дала сердобольная молочница и извозчицей, нет, — биндюжничьей брани. — Горе мне, восклицал я. — Горе мне и той матери, которая родила меня. И той матери, которая меня не рожала, но которая (нецензурные слова). Вот было какое приключение. А кончилось оно так: когда я складывал вещи вторично — уже в поезде — на самом дне картонки был мною обнаружен тот проклятый сбежавший билет. И сидел я во всем поезде — единственный, который позволил себе странную роскошь иметь сразу два билета. Вот какой идиот!

Вы забыли у нас пенсне, оно висит на гвоздике. Что с ним де...».

На этом обрывается это папино письмо, полное самоиронии и юмора, весьма горького.

А на следующий день, 25 июня 1934 года, папа напишет стихотворение, так не похожее на тон этого письма, стихотворение об одиночестве и о разлуке с любимой, о разлуке пока еще в сослагательном наклонении. Привожу его здесь в той, давнишней редакции:

Если б, как прежде, я был горделив,
Я бы оставил тебя навсегда, —
Всё, с чем расстаться нельзя ни за что,
Всё, с чем возиться не стоит труда, —
Надвое всё, что со мной, разделив.

Я бы сказал: — Ты уносишь с собой
Сто обещаний, сто праздников, сто
Слов. Это можешь с собой унести.

Только — со мною остался рассвет,
Сто запоздалых трамваев и сто
Капель дождя на трамвайном пути,

Сто переулков, сто улиц и сто
Капель дождя, побежавших вослед...

Попробуй разберись в душе поэта, даже если он — твой отец.

Я родилась

До моего рождения родители с маленьким Андрюшей жили в Гороховском переулке близ Старой Басманной и Разгуляя. Во дворе небольшого завода «Технолог» по производству медоборудования застройщик выстроил на паях одноэтажный дом на несколько квартир. В квартире № 7 две комнаты занимала мамина тетя Людмила Николаевна, ее дочь Шура и муж Шуры, инженер Серафим Сергеевич Попов. В двух других комнатах жили художник-плакатист Тимофей Яковлевич Руклевский и его очаровательная жена Надежда Дмитриевна. Были еще одни жильцы. Маме принадлежала маленькая комната с окнами, выходящими в зеленый соседний двор. С 1932 года в этой комнате жила уже семья из трех человек — Тарковские.

В квартире царила почти родственная атмосфера. Мама очень любила свою двоюродную сестру Шуру, Александру Алексеевну Попову. И папа и мама дружили с Руклевскими, которые были ненамного их старше. В 1930 году они все вместе поехали в Завражье к маминим родным, их компанию дополнил Лев Вла-

димирович Горнунг. Тимофей Яковлевич Руклевский занимался фотографией, и сохранились снимки, сделанные им на Гороховском и в Завражье.

Через несколько лет страшное время ворвется в коммунальную квартиру № 7. Будет арестован и сослан Руклевский, позже, во время войны, арестуют в Свердловске Серафима Сергеевича. Его сошлют в Воркуту, и я помню, как все родные в Москве искали по аптекам очки с синими стеклами для тети-Шуриного мужа — на севере люди страдали от снежной слепоты.

Тетя Шура навещала его в Воркуте, где Серафим Сергеевич жил уже как ссыльнопоселенец. Приехав однажды и не застав никого в комнате барака, она поняла, что здесь поселилась женщина. Появились какие-то салфеточки, скатерка, подзор у кровати и другие неоспоримые свидетельства, что в жизни ее мужа произошли изменения. Тетя Шура оставила привезенные ею для Серафима Сергеевича вещи и продукты и ушла из барака. Никогда больше она не видела своего горячо любимого мужа. О его смерти узнала из письма его северной жены.

Но я слишком отвлеклась от темы моего рассказа...

Итак, 1934 год. Приближается весна, и мама начинает думать о том, куда вывезти на лето Андрюшу. Она останавливает свой выбор на Малоярославце по нескольким причинам: во-первых, там живет ее отец, Иван Иванович Вишняков (в 1929 году он овдовел и вот уже несколько лет мыкается с тремя детишками); во-вторых, мама в детстве жила там у отца и хорошо знает этот город; в-третьих, это сравнительно недалеко от Москвы, намного ближе, чем Юрьевец, где живут бабушка и Николай Матвеевич.

В Малоярославец ходит поезд, и можно будет легко добратся до Москвы, если понадобится. Родители сняли дачу недалеко от Ивана Ивановича на улице Герцена в доме № 23, принадлежавшем Залетовым.

Да, я не сказала самого важного! Мама была беременна и должна была родить или в конце сентября, или в начале октября. Папа очень хотел дочку. В 1932 году тоже была запланирована девочка, а получился мальчик, Андрюша. Теперь все были уверены, что на этот раз обязательно будет девочка.

Может быть, решение рожать в Малоярославце возникло по ходу дела — уж больно хороша была осень в 1934 году! Было тепло, как летом, во второй раз расцвела и созрела земляника, и дядя Лева с Андрюшей приносили домой в спичечной коробке красные ягодки для мамы. Скорее всего, маме не хотелось держать Андрюшу в Москве по такой прекрасной погоде, поэтому она и задержалась в Малоярославце на сентябрь.

Папа бывал на даче редко, чаще приезжал дядя Лева, привозил продукты, керосин (в бутылке, запечатанной сургучом),

книги. Он гулял с Андреем, поил его козьим молоком, которое называлось у них «козьим чаем» — Андрей любил чай, а молоко пить не хотел.

По вечерам Левушка укладывал Андрея спать. За окном уже рано темнело, в саду громко шлепались на землю спелые дикie груши, а дядя Лев специальным «замогильным» голосом все пел Андрюше песни, от которых он быстро засыпал. Хозяйка так привыкла к присутствию Льва, что считала его маминым мужем и была крайне удивлена, когда узнала, что Андрюшин папа вовсе не Лев Владимирович, а Арсений Александрович. В августе папа и вовсе уехал из Москвы, его послали в Орджоникидзе в творческую командировку.

Ровно за месяц до моего рождения он прислал в Малоярославец письмо:

«3.IX.34. Роденькое мое счастьешко! Папа Ася был на Вадонских рудниках, это очень интересно. Поэтому я так долго не писал. Лазал по шахтам в глубину на 300 метров, как обезьяна.

Я очень беспокоюсь о тебе, о пузе и Андрюше. Денег у меня нет, только на билет обратно. Скоро увидимся и будем жить вместе.

Я очень о вас скучаю. Я ничего не пишу о путешествии, приеду и все расскажу, так будет интересней. Папа Ася здоров и загорел, и толстый. Крепко целую тебя, Андрюсю и пузо.

Шляп белых много, а купить нигде, не продают, делают для себя каждый. *Папа Ася*».

Папа вернулся в середине сентября, приехала из Юрьевца бабушка Вера Николаевна. Все готовились к моему появлению на свет.

Ночью со 2 на 3 октября маму проводили в родильный дом. Он находился позади сада дедушки Ивана Ивановича, сад и роддом разделял неглубокий безымянный ручей. Кстати, здание, в котором был роддом, сохранилось. И каждый раз, когда я приезжаю в Малоярославец, я «имею счастье» его видеть.

А вот что в эти дни дядя Лева записал в свой дневник:

«3.X.34. Скоро день моего рождения. У Маруси родилась утром в 9 девочка. Ночью мы свели ее с Арсением при фонаре в 3 часа ночи. Был тонкий серп и звезды. Небо расчистилось.

Вчера ночью был первый мороз. Утром все было белое. Арсений замерз, и мы сидели с Марусей вдвоем с Андреем. Она шутила, что родит к моему рождению. Жаловалась на беспечность Арсения и на трудность этой зимы. После обеда вчера же мы с Арсением ходили в лес с Андрюшей.

4.X.34. Маруся еще в больнице. Сегодня Андрею два с половиной года. Мы с Арсением брали его в лес, ходит по несколько часов, зовет меня уже не дядей Левою, а Левушкой,

ужасно любит сниматься, становится против объектива и кричит «аться!». Собирали в лесу землянику. Погода теплая, южный ветер».

Андрею всего два с половиной года, а как ярко выражен его характер. Любит сниматься! Думаю, что это было первое проявление Андреева будущего артистизма.

Третьего октября папа пришел в больницу и передал маме записку: «Поздравляю тебя, мама Мусишка, с девочкой. Я приходил рано утром в больницу, оказалось — ты не родила, пришел в 10, ты уже родила. Крепко тебя целую. Я тебя ужасно люблю. Все тебя целуют и ужасно любят. Андрюша не плакал. Он очень доволен и все спрашивает, какая девочка. *Папа Ася*».

А вот мамин ответ: «Асишка, принеси мне завтра зубную щетку, гребенку, бумажки и карандаши. А девочка вот какая — черная, темнокожая и, кажется, раскосые глаза, впрочем, о глазах еще неизвестно. Орет громко и весит 3 кило 400 грамм. Целуем вас всех и поздравляем дядю Льва со днем рождения. Только пусть не зазнается, мы тоже родились. Если хочешь, называй Мариной, как будто подходит...»

Имя мне выбиралось задолго до моего рождения. Перебирались имена православные, хотя однажды папа вдруг придумал изысканное французское имя — «Ивонна» (хороша бы я была: «Ивонна Арсеньевна!»). Но как видно из записки, последним и окончательным вариантом оказалось «Марина», имя Цветаевой, тогда достаточно редкое.

Мама в своей записке не пишет о родах. Но от нее я знаю, что они не были легкими.

Меня спасла акушерка, маленькая энергичная женщина на каблуках, с высокой, для прибавки роста, прической. Если бы не ее решительные действия, я бы умерла от асфиксии.

Вот следующая записочка от папы, которому мама сумела показать меня в окно: «Мамочка Мусишка. Я принес все, что ты просила. Вышли платочек, в котором все завернуто. Девочка очень смешная, но ничего понять нельзя. Какая у тебя температура? Напиши. Крепко целую тебя. Андрюша гуляет. Он тебе написал». (Следуют Андрюшины каракульки и приписка Льва Владимировича: «Поздравляю, всего доброго желаю. Дядя Лев».)

Теперь следует записка, вернее, целое письмо от бабушки Веры: «Дорогой Мусек! Поздравляю тебя с дочуркой. Желаю вам обоим здоровья. Очень рада, что твое желание исполнилось. Относительно моего состояния, когда ты ушла в родильный, расскажу при свидании. Аделаида Дмитриевна даже прослезилась от умиления, когда Ася ей сказал. Дюдюке послала телеграмму, как он просил».

Здесь я прерву бабушкино письмо и кое-что поясню. Аделаида Дмитриевна, первая жена Николая Матвеевича, бабушкиного мужа, жила в Малоярославце в доме, им ей оставленном. Дом был чудесный, просторный, деревянный, замечательной провинциальной архитектуры, с садом, в который вела лестница с веранды. Удивительны были отношения двух его жен, бывшей и настоящей. Они не только не враждовали, но даже дружили друг с другом. Мама и папа тоже часто виделись с Аделаидой Дмитриевной. «Дюдюка» — это Николай Матвеевич, который с беспокойством ждал известий, оставшись в Юрьевце с Аннушкой.

Теперь продолжу цитировать бабушкино письмо: «Завтра принесу крем-брюле. Сегодня Левушка едет в Москву, так как денег ему не прислали. Завтра придет в 11 вечера. Я в Москву пока не поеду, он мне привезет, что мне нужно. Я его просила привезти две распашонки и несколько пеленок. Может быть, надо еще что-либо привезти? Где твоя кожаная шляпа? Целую своих зайчат. Папа (Иван Иванович, мамин отец. — М. Т.) вчера был. Будьте здоровы и Богом хранимы».

Из записочек, написанных в начале октября 1934 года, а их сохранилось около десяти, я узнала, помимо всего прочего, что... мама носила шляпы! Их у нее было целых две — одна кожаная, а другая суконная синяя. А папу она просила привезти ей еще белую, летнюю... Боже мой! Как же замучила маму жизнь, как рано отняла у нее молодость, заменив шляпы на совсем ей не шедший вытертый темно-синий берет.

В следующей бабушкиной записке, помимо подробного рассказа о режиме дня и еде Андрюши, есть отрадные сведения о папе. «Асик все время с Андрюшкой и даже при Левушке сам качивает его. Вообще он тебя еще больше теперь оценит, ибо находит эту работу «египетской».

Целую своих зайчат, крепко, крепко. Будьте хранимы Богом и Царицей Небесной»...

Не буду утомлять читателей другими записками в родном и из роддома. Однако отмечу, что в папиных записочках часто звучит вопрос: «А девочка будет ивая?» «Ивая» — это на Андрю-



*Мама с детьми и книжкой С. Маршака.
Малоярославец, осень 1934*

шином языке значит «красивая». Ему два с половиной года, но его уже волнует вопрос красоты. Он часто спрашивал маму, «ивый» ли он? «Конечно», — отвечала мама. Теперь Андрюше хочется, чтобы не только он, но и сестричка была «ивой». Он ждет возвращения мамы с девочкой, а пока много гуляет, ест морковный соус, печеные яблоки и спит с открытым окном. Все делается так, как заведено у мамы.

Итак, я не была красивая («Девочка сейчас не ивая...»), но зато была желанным ребенком, появилась на свет теплым осенним солнечным утром под замечательным знаком Зодиака, Весами. У меня были мама и папа, старший брат, две бабушки, один дедушка и крестный, дядя Лева. Чего еще желать для счастья?

«Больше всего на свете люблю ночь»

Заснула Москва 1951 года. Опустела Серпуховка, затих наш переулок. Изредка только прошаркают по тротуару шаги позднего прохожего — в те годы не страшно было ходить по ночам.

Утихла квартира № 26. За тонкой перегородкой тяжело вздыхает дядя Ося Штокман — он уже несколько лет не может смириться со смертью своей жены Марии Юрьевны. Угомонились дети Петуховы, родители их — монтер и его жена, работница нотной типографии, спят на высокой полупторной кровати с блестящими шишечками.

И у нас тишина. Я давно уже вижу сны; намурчавшись от удовольствия, спит у меня в ногах кошка Капа. Мгновенно провалился в сон явившийся поздно Андрей — то ли провожал «объект своего внимания» после репетиции, то ли засиделся у приятеля — маме не сообщается. Похрапывает бабушка на своем топчане за шкафом. Она прибралась на ночь, помолилась перед сном и теперь спит, чтобы завтра прожить еще один день своей безотрадной жизни.

А для мамы наступает ее время. Время, которое принадлежит только ей, которое не надо ни с кем и ни с чем делить. Эта привычка подолгу засиживаться по ночам образовалась у нее еще в то время, когда мы были маленькими. Уложив нас спать и управившись с делами, она могла лишь поздним вечером спокойно посидеть за столом. Ответить на письма, почитать. И, дождавшись возвращения папы, лечь спать.

Теперь папа уже давно не с ней, дети выросли и больше не принадлежат ей всецело. И только это тихое ночное время — ее безраздельная собственность. И не важно, что будильник заведен на шесть часов утра — в семь начало утренней смены в типографии.

«Больше всего люблю ночь, тишину и чистую стопку бумаги в одну линейку. На бумаге хорошо думать. Все выяснять и представлять по полочкам...»

А думать маме есть над чем, люди-человеки не перестают ее удивлять. Она привыкла анализировать отношения со своими приятельницами, каждую из которых любила сначала по-молодому безоглядно, а с годами более критически, обижаясь на проявленные ими бестактность или эгоизм.

«Что можно объяснить человеку, если он в силу своей психологии, воспитания и всякого внутреннего багажа не может понять? Это страшно... Какой чудесный экземпляр Галина, и как много сделано, чтобы его изуродовать! Судят за убийство. Сколько веков должно пройти, чтобы государство, умное конечно, приобрело возможность вмешиваться в жизнь ребенка? Бедность, отсутствие порядочных людей и глупость, беспросветная и нечестная... Всю эту скучную волюнку записала, чтобы не забыть. Я забывчива на плохое. Зато каждую ласковую интонацию помню десятилетиями», — писала она об одной своей еще довоенной подруге по типографии, разбираясь в причинах ее душевной глухоты.

Пытаясь понять людей, мама размышляет и об искусстве как о высочайшей сфере их деятельности и дает искусству замечательное определение.

«Всем давно известно, что, когда человеку не хватает слов, он поет песню «без слов». И не просто назвали Чайковский, Мендельсон, еще кто-то «Песня без слов», а именно в этом смысле. Не песня, для которой не написаны слова, а песня, для которой слова не могут быть написаны. Каждое искусство из своих «слов» создает музыку и этой музыкой поет без слов...

Поэт перетряхивает в ладонях словесные кремешки — получаются искорки — музыка. Рифмоплет говорит словами о вещах и событиях все то, что и мы можем рассказать словами, которых нам вполне хватит, о том, как мы ездили на курорт. Он доволен.

...Врубель пишет старика со слезящимися глазами (какие могли бы быть и у Распутина и у Толстого — глаза русского нищего) и молодой розовый месяц, он их перетряхивает — эти два обычных образа-кремешка и между ними искорки — столько искорок, что они поют о том, чего не может быть и от чего рвется сердце.

Я, кажется, впадаю в пошлость, но я понимаю сейчас так много и так быстро, что трудно охватить и записать.

Я хотела пожаловаться, как нам с псом Ступкой трудно жить, если мы не можем высказать то, чем нам хочется с кем-то поделиться. И неизвестно еще, у кого к этому больше средств: Ступка может взвыть — чего людям по многообразию их словесных средств не положено. Даже получается такой парадокс, что чем богаче язык и культура, тем труднее говорить...

Может быть искусство шитья, искусство паять чайники, искусство вранья. А что же такое просто Искусство? Без прилагательного, которое, по грамматике, поясняет существительное. Пояснять, видимо, не надо, никто не просит, всем понятно. Говорят просто — Искусство. Умение говорить то, чего нельзя высказать, умение из средств создать сверхсредства и этими сверхсредствами объяснить необъяснимое...»

Мама выходит на кухню, ей хочется закурить. Заодно она ставит чайник и засыпает в свою кружку заварку. Будет пить так называемый «лохматый чай» и записывать на листе линованной бумаги:

«Люди несчастливые любят осень. Весна непосильна... Мощностъ ее нас подавляет, ее красота и роскошь противопоставляются нашему убожеству, мы перед ней ничтожны... Осень, наоборот, — мы знаем, что мы умнее ее: наденем калоши, водрузим над головой зонтик, истопим печку с лета высушенными дровами. Мы умные, мы хитрые, мы цари природы. Пускай себе природа мокнет, разлагается, пахнет прелыми листьями. Мы живы, в нас течет кровь, пусть не такая горячая, какая нужна для весны...».

«Любовь — это игра, и чем она (игра) запутаннее и сложнее, тем данная любовь крепче. А всякие высокие мысли и отношения — для старых дев и для тургеневских героинь».

Боже мой, оказывается, мама размышляет и о любви! Сколько же ей тогда было лет? Всего-навсего года сорок два — сорок четыре. Но рассуждения эти были сугубо теоретические. Когда я как-то ее спросила, почему она больше не вышла замуж, мама ответила, что ни один человек не смог бы заменить нам отца. Никогда мы не видели возле мамы мужчины. Проблема «друга жизни» была решена ею раз и навсегда.

Может быть, это вообще было свойственно детям нашего времени — не чувствовать в матери женщину. Давно прошли годы, когда красавица мать в бальном платье склонялась над детской кроваткой и кудрявые детки замирали в восторге от ее прелести. В наше жестокое время все было по-другому. Помню, как-то раз мы с мамой покупали селедку в магазине на углу Серпуховской улицы и Стремянного переулка. «Что, соленького захотелось?» — игриво спросил маму продавец, и по тому, как мама смутилась, я поняла, что он сказал какую-то гадость. А вообще-то мы с Андреем, наверное, были слишком эгоистичны, не знаю. Возможно и другое — мама была настолько целомудренна и застенчива, что бессознательно подавляла в себе все женское — стремление нравиться, приукрасить себя. К тому же и материальные возможности у нее были ограничены до минимума.

Как-то, увидев на улице нарядную дамочку с толстой косой, уложенной на затылке, мама спросила: «А у меня пучок больше?» — «Конечно, больше», — с энтузиазмом подтвердила я.



Мама только что пришла с работы. 50-е годы

И добавила: «И цвет волос у тебя красивее!» А сердце сжалось от любви и жалости к маме. Я и теперь плачу, когда пишу эти строчки...

По ночам мама записывала не только свои размышления. Писала письма, одно время заполняла сведения о своих расходах для какой-то статистической организации (только лишь чтобы помочь заработать женщине-статистику), вносила записи в дневник. Дневники велись ею с перерывами несколько лет. И если вначале она записывает в них свои впечатления от отношений с людьми своего окружения, то дневники 1953—1957 годов посвящены в основном нам, ее выросшим детям.

«23 июля 1957. Если я останусь жива до осени, если всё вместе с фестивалем, Мариниными делами, ее здоровьем, с Андрюшкой и Ирмой будет благополучно, это будет чудо. В субботу, если Марина будет свободна, хорошо бы поехать в Подсолнечное. Покупались бы с ней, отдохнули, поговорили...

Хорошо бы сварить Маринке много-много вишневого варенья! Нет нигде песку, да и сахара что-то не видно. Все раскупили и варят»...

Как привычно было когда-то, возвращаясь поздно вечером домой, видеть освещенное окно нашей кухни. Это мама, она не спит, дожидаясь меня. Она уже тяжело больна, уже не пишет ни писем, ни дневников. Она сидит, раскладывает пасьянс и ждет

меня, ждет. А я сержусь: «Мама, почему ты не ложишься?! Зачем меня ждать?» После маминой смерти ужасно было видеть с улицы черные окна пустой квартиры. Я никогда больше не увижу мамы. Но там, где когда-то стояла ее кровать, я нахожу реальные следы ее бывшего присутствия — вытертые дощечки паркета.

Мама, прости меня...

Продолжение эпизода

Про приезд отца с фронта Андрей рассказал в коротком эпизоде «Зеркала». Это было в начале октября 1943 года, за два месяца до папиного ранения. Сейчас я думаю, что папа приехал к нам в Переделкино третьего октября, в день моего рождения. Вероятно, именно из-за дня рождения мама стала мыть пол, и мы с Андреем были изгнаны на улицу, чтоб не мешались. Мне мама велела наломать еловых веток и постелить их у порога — ноги вытирать. Я осторожно ломала колючий лапник, но вдруг подняла голову и невдалеке, у зеленого сарайчика, увидела стройного человека в военной форме. Он смотрел в мою сторону. Я никак не ожидала увидеть папу и не узнала его. Вдруг он крикнул: «Марина!», и тогда я к нему побежала. Бежал ли со мной Андрей, я не помню. В сценарии «Зеркала» написано, что бежал: «Я бежал со всех ног, потом в груди у меня что-то прорвалось, я споткнулся, чуть не упал...»

И вот мы вместе с папой идем домой. После первых радостных, бестолковых минут начались расспросы про нашу жизнь, про школу, про бабушку. А потом папа развязал вещевого мешок и стал выкладывать из него гостинцы, приговаривая: «Это свиная тушенка, она приехала из Америки, а это — солдатские сухари, мы их каждый день едим в армии». Для нас все это было невиданной роскошью, как раз в это время мама изобрела новое блюдо — желудевые лепешки на рыбьем жире.

Потом папа рассказал, как у него украли по дороге немецкий кинжал — подарок для Андрея. От Брянска папа ехал сначала в поезде, потом в теплушке. И вот там-то один попутчик попросил обменяться с ним на кинжал, но папа не захотел. Потом они легли спать, а утром уже не было ни попутчика, ни кинжала. Ужасно обидно, ведь еще в Юрьевце Андрей получил от папы письмо с обещанием привезти его. Но мы недолго горевали, а переключились на папин орден и на погоны. Стали считать звездочки, их было четыре — наш папа был капитаном!

Все это время мама была рядом — это был и ее праздник. Но с лица у нее не сходило выражение горькой и чуть насмешливой отстраненности — «да, это счастье, что Арсений приехал, дети радуются, ведь это их отец. Их отец, но не мой муж...»

Но вот папа стал собираться в Москву, и тут выяснилось, что он хочет взять меня с собой. Одну, без Андрея. Это было ужасно. Почему мама не упростила его взять нас обоих? Наверное, постеснялась, ведь ехал он к другой жене. А может быть, сочла, что это хороший случай для Андрея проявить силу воли и сдержанность.

Слегка темнело, когда мы отправились на станцию. Папа нес меня на руках, Андрей, который пошел нас провожать, шел сзади. Через папино плечо мне было видно, как морщится от слез его лицо, а ведь он никогда не плакал. Я тоже тихо плачу оттого, что он остается, но не смею попросить папу взять и его...



Папа. Фронтальная фотография

Лето сорок четвертого года

Весной сорок четвертого года мы перебрались из литфондовской дачи в барак на окраине Переделкина. Там у нас была небольшая комнатка и сарай во дворе. Жизнь была скудная, поэтому мама очень хотела, чтобы мы пили молоко. Для этого у какой-то тетушки за какие-то деньги была куплена маленькая козочка. Я принесла ее на руках домой и назвала Сильвой. Но молока от Сильвы ни мы, ни ее последующие хозяева не дождались. Потому что коза должна быть козой, а не превращаться, как наша Сильва, в собаку или в человека. Своей любовью мы погубили животное...

Папа со своей женой Антониной Александровной и ее дочкой Лялей приехал на какое-то время в Дом творчества писателей, в тот, старый Дом, потом сгоревший, что стоял ближе к пруду. Папа тогда только что выписался из госпиталя, привыкал к костылям, но встречал нас всегда с радостной улыбкой. Хотелось бы мне посмотреть на это со стороны — вихрастый, веснушчатый Андрей в тюбетейке и в военных галифе, я — растрепанная, загорелая, как головешка, оба худые, руки-ноги в цыпках. И серая коза Сильва, которая бежала рядом, как собака. Бедные папа и Тоня! Каково им было видеть эту компанию среди хоть и потрепанной войной, но все-таки уважаемой творческой публики. Папины знако-

мые тети ахали, умилялись и сравнивали меня с Эсмеральдой. Но я думаю, что из любви к папе они сильно мне льстили.

В Переделкине в то время жили прозаик Юрий Слезкин, у которого была собака невиданной тогда породы колли, поэт и переводчик Семен Липкин, многих других я и не знала. По аллеям Дома творчества ходили две писательницы-подруги. На одной было пестрое платье, черная шаль с крупными цветами и широкополая соломенная шляпа. Она явно гордилась своей фигурой и стройными мускулистыми ногами. Лицо ее проигрывало в сравнении с остальным — хрящеватый нос и несколько выдвинутые вперед челюсти. Другая была полная, мягкая, с большими добрыми глазами. Мы с Андреем не предполагали, что одна из этих дам будет иметь отношение к нашей семье. Но до этого оставался еще некоторый срок, а сейчас она на веранде Дома творчества, при всех, вслух, громким голосом читала высказывания своего сына Лёсика. Мне почему-то стало жалко этого незнакомого мальчика, за которого дама в шляпе трагическим голосом произносила: «Люди, дайте пу ребенку, умоляю!» Она же и поясняла слушателям, что «пу» — это хлеб. Нам-то было хорошо, наша мама никогда не выдаст посторонним наши, такие домашние и уютные, детские истории.

Папа у нас тоже добрый. Он нас не очень сильно ругал, когда мы ворвались в его комнату все трое — Лялька, Андрей и я после вечернего набега на участок Фадеева. Не помня себя от страха, я сидела «на шухере» в кустах, пока Андрей и Лялька рвали незрелую смородину. Они не обращали внимания на мои просьбы поскорее уйти и подняли такой шум, что хозяин дачи выскочил на балкон и крикнул: «Кто там? Стрелять буду!» Мы ринулись бежать и, бледные от ужаса, запыхавшиеся, влетели в Дом творчества. Андрей крепко держал в руках банку с добычей. Вот тут-то нам и попало от папы...

Наступала осень. Папа уже уехал в Москву. Соседи, занявшие нашу комнату, наконец ее освободили, и можно было переезжать домой. Пришлось отдать нашу Сильву чужим людям, ведь козу в город не повезешь. Конечно, я радовалась, что уеду из унылого барака и буду ходить в новую школу. Но чувство вины перед Сильвой долго не оставляло нас, пока новые впечатления не заслонили того длинного переделкинского лета.

Кисель

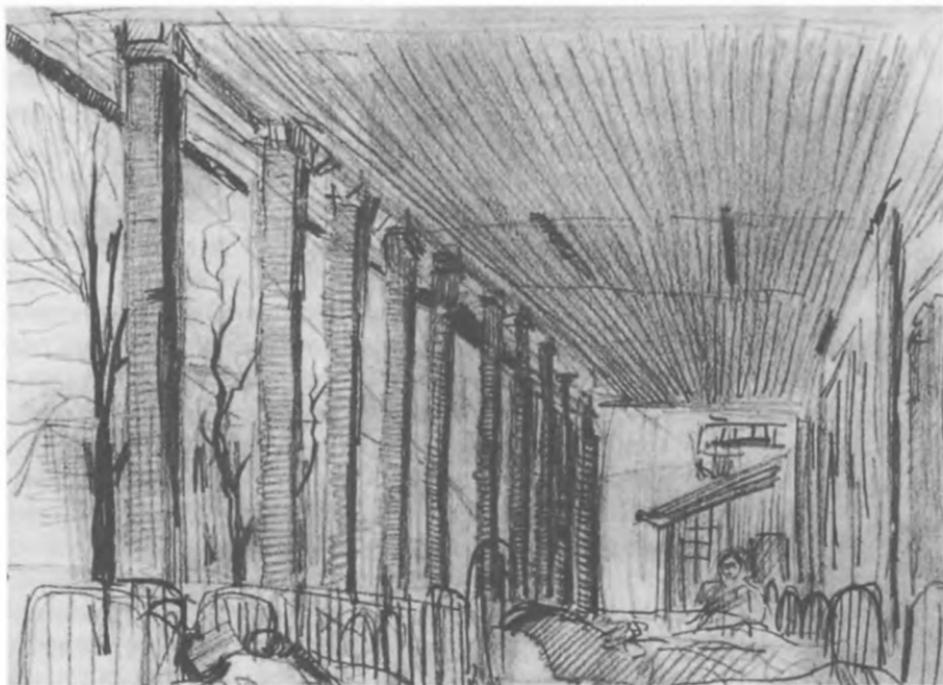
Маме выдали в Литфонде ордер на «мальчуковое» пальто. Папа дал денег, и мама это пальто выкупила. Пальто было драповое, на вате, с меховым воротником. Замечательное зимнее пальто. Андрей надел его и пошел в школу. Это было в конце ноября 1946 года. Из школы он пришел по морозу раздетый — пальто украли. Андрей лег на кровать и отвернулся к стене.

Мне казалось, что он плачет, и я тоже плакала. К вечеру у Андрея поднялась температура, и он серьезно заболел. Его положили в детскую больницу в Орлово-Давыдовском переулке. А в нашем доме поселилась тревога. Не знать бы никогда этих слов — туберкулез, рентген, поддувание...

В больницу к Андрею мама ездила часто, но меня взяла только один раз, боялась, как бы я не заразилась. К поездкам она готовилась заранее и обстоятельно. Приносила из магазина сливочное масло и сметану. Из геркулеса, провернутого через мясорубку, мама пекла сдобное овсяное печенье. А потом варился клюквенный кисель. Мама давила через дуршлаг клюкву, выжимки кипятила, отцежива-



Андрей – пациент туберкулезной больницы



*Детская туберкулезная больница. Дети спят на открытой террасе.
Рисунок Андрея*

ла, влиwała разведенный крахмал, клала сахар и только потом добавляла клюквенный сок. Кисель получался с «живыми» витаминами и был очень вкусный. Но у мамы был точный глаз. Она варила киселя ровно столько, сколько помещалось в литровую банку. Я стояла у стола и смотрела, как льется густая красная жидкость. Я надеялась, что в миске останется хоть немного для меня. Но чаще всего мне доставалась лишь пустая миска, которую я выскабливала до блеска. Так мама воспитывала во мне характер, и отсутствие лишней копейки ей хорошо помогало. Мама гордилась мной — ведь я никогда не хныкала и не кланчила ничего из Андреевой передачи.

Когда я сама стала взрослой, я поняла, как было трудно маме не налить мне чашку киселя и не дать печенья. Я бы не выдержала — налила.

«Расшибалка» и футбол

Андрей не был тем тихим, болезненным, интеллигентным мальчиком, которых обычно лупят в школе и во дворе. Впрочем, интеллигентным он был, куда денешься, — и книжки читал, и в музыкальную школу до войны ходил, и рисовал. Но тихим... Это был ураган, вихрь, состоящий из прыжков, дурачеств, тарзаных криков, лазанья по крышам, неожиданных идей, пения, съезжания на лыжах с отвесных гор и еще не знаю чего.

Большую часть свободного времени он проводил на улице. Придет из школы, если он вообще был там, а не в кино, бросит в угол портфель, поест — и гулять.

Андрей умел играть в разные игры: в шахматы, в домино, в карты, в «ножички», в «жосточку», в «пристеночек». Я уж не говорю о каких-нибудь «прятках», «салочках» или о «войне» — из этих игр Андрей к сорок четвертому году уже вырос.

Обычно по весне начиналось поветрие — все дворы одновременно охватывала мода на какую-нибудь игру. Если это была, к примеру, «жосточка», то мальчишки рыскали в поисках крупных монет или круглых железок определенной тяжести. Их надо было завязать в тряпку, как трюфель (это уже теперешнее мое сравнение, таких конфет мы тогда не знали), и особым способом подкидывать ногой. Кто большее число раз подкинет, тот и выиграл. Идеальной заготовкой для «жосточки» были царские пятаки. Андрей выпрашивал их у бабушки, но по блеску в его глазах можно было догадаться, что он попробовал бы в «жосточке» и серебряные рубли — полтинники были маловаты.

Но королевой послевоенных дворов была все-таки «расшибалка». Андрей окунался в игру с головой, был охвачен азартом



Андрей – вратарь

до невменяемости. В «расшибалочке» он достиг совершенства. Красный, взъерошенный, он приходил домой, как триумфатор, с полными карманами выигранных медяков и, пока мамы не было дома, выгрел их и отдавал бабушке. А бабушка быстренько шла в магазин за хлебом.

С азартом играл Андрей и в футбол — чем угодно, тряпичным мячом или консервной банкой. Он не жалел обуви, играть так играть! Позже, когда стали появляться резиновые мячи, игра обставлялась серьезнее — играли в ворота. Андрей часто был вратарем и стоял между двумя портфелями, пальто или кирпичами и яростно бросался на мяч.

Его одноклассник, будущий поэт Андрей Вознесенский, а жили мы по соседству, видел однажды, как мой брат, одетый в белый свитер, ловил облепленный грязью мяч. Вознесенского удивила его азартность и готовность пожертвовать белизной свитера ради игры. Много позже Андрей Андреевич написал стихотворение «Белый свитер». Я благодарна Андрею Андреевичу. Оно написано с любовью к Тарковскому, под горестным впечатлением от его ухода. Тема вечная — интеллигент и бандит, художник и «чернь». Поэту была важна эта идея, и он рассказал о больном подростке, которого расстреливал мячом хулиган. Я помню, что Андрей никогда не давал себя в обиду — у него было сильно развито самолюбие и абсолютно отсутствовало чувство страха.

Школа № 554. Ученики, учителя

В Москву мы вернулись в конце лета сорок третьего года. Осенью Андрей пошел в пятый класс 554-й школы, но учебного года не закончил — мама решила его забрать из Москвы в Переделкино, подальше от дворовой шпаны. Она жила на два дома, разрываясь между Москвой (бабушка и Андрей) и Переделкиным (я и дача Литфонда, которую она должна была сторожить).

Когда в сорок четвертом осенью мы все собрались в Москве, Андрей продолжил учебу в своей школе. Но это был совсем другой ученик, не тот старательный и дисциплинированный первоклассник, которого мама за руку приводила в школу. Наверное, году в сорок пятом бабушка с трудом отстояла Андрея и заодно его друга, Жирика Тер-Овакимяна, от перевода в ремесленное училище. (Кстати, Жирик был приятелем и Андрея Вознесенского и тоже писал стихи. У него был цикл, посвященный некой Инессе, помню даже рефрен одного из стихотворений: «Спасибо за то, что ты существуешь на свете!»).

В сорок седьмом — сорок восьмом году Андрей проболел почти весь учебный год. Тогда уже началось его катастрофическое отставание по всем предметам, за исключением литературы, истории, географии, по которым он успевал все за счет того же своего общего развития и начитанности. Но вот математика, физика, химия... Это был кошмар, усугублявшийся тем, что Андрей частенько прогуливал уроки, почти никогда не делал домашних заданий и к тому же увлекался художественной самодеятельностью. В седьмом классе Андрею не повезло с преподавателем математики. Это был, видимо, не совсем психически здоровый человек. Ученики прозвали его Фюрером. Бедного Фюрера в сорок восьмом году посадили. (Каким простым, обыденным казалось в те годы это слово!)

За восьмой класс, за год, в таблице у Андрея стоят преимущественно «тройки»: из двенадцати предметов только три «четверки». Таким образом он довлечился до десятого класса.

И тут над грешной головой моего брата грянула буря — возник серьезный конфликт с математиком (уже не с Фюрером, а с другим) и с учителем биологии. Классный руководитель 10 «А», географ Федор Федорович Титов, судя по почерку в таблице и по рассказу друга Андрея Юрия Кочеврина, был педантичным и непреклонным человеком. Я вижу, с какой садистской аккуратностью вносил он в Андреев таблицу двойки и тройки, а также замечания учителей. Директор школы Т.А. Еремин, видимо, устал от жалоб на Тарковского. И теперь Андрей вполне мог вылететь из школы. Спасла его преподаватель истории Фаина Израилевна Фурманова. Она знала Андрея, относилась к нему с интересом, чувствовала в нем, видимо, что-то отличавшее его от многих других учеников. Фаина Израилевна под свою ответственность взяла Тарковского в свой класс.



Списывать из чужой тетради Андрею немного стыдно

Так Андрей очутился в 10 «Б», где учились, в числе прочих учеников, Юра Кочеврин, Слава Петров и Андрей Вознесенский. Остальные его друзья остались в 10 классе «А» — Игорь Шмыглевский, Владимир Куриленко и другие. Друзей у Андрея всегда было хоть отбавляй. В школе с Андреем училось много интересных ребят. Перечислю не по алфавиту и не по их достоинствам, а просто как вспоминается, тех, кого тогда знала лучше других.

Слава Петров — плотный, коренастый, с крупными чертами лица. Были в нем основательность, внутреннее достоинство, своеобразное остроумие.

Володя Куриленко — высокий, красивый, уверенный в себе.

Юра Кочеврин поражал утонченной интеллигентностью лица — высокий лоб, умные глаза. Он был родом из Минска, перенес тяжелое ранение — их колонну бомбили немцы в сорок первом году. Поэтому на вечерах он не танцевал, а только наблюдал за танцующими, и мне всегда было неловко ощущать на себе его слегка насмешливый взгляд. (С Юрой Андрея свяжет очень близкая дружба. Пожалуй, он единственный человек из 10 «Б», с которым Андрей дружил всю жизнь, которого всегда любил и ценил.)

Андрей Вознесенский — изящный, скромный, спокойный, красотой не блистал, но чувствовалось, что он — «вещь в себе».

Игорь Шмыглевский — высокий сероглазый блондин с вьющимися волосами, с румянцем во всю щеку. Он близко дружил

с Андреем и бывал у нас чаще других. Дома у него была тягостная обстановка, больная мать. Был умен, остроумен, чудаковат.

Помню еще имена Андреевых одноклассников и из класса «А», и из класса «Б»: Юрий Баженов, Яков Кайтмазов, Борис Каменецкий, Виктор Уваров, Ефим Шагалов, Сергей Лашков, Юрий Петровский, Юрий Безелянский. Да, как же я забыла Сергея Голубниченко, я была в него даже издали влюблена.

Вспоминаю сейчас Андреевых одноклассников такими, какими их помню тогда, в далеких сорок девятом — пятьдесят первом годах. Позже я ближе узнала и Славу Петрова, и Андрея Вознесенского, и Юру Кочеврина. Много позже, уже после смерти Андрея, встретила с Каменецким, с Лашковым, с Куриленко, с Безелянским. От одноклассников Андрея я многое узнала о жизни 554-й школы, за что им безмерно благодарна. У каждого из этих людей своя судьба, своя степень известности, но, что безусловно, каждый из них интересен и талантлив. Некоторых из них уже нет в живых...

А тогда, в конце сороковых — пятьдесят первом году это были мальчишки из самых разных семей, случайно, по территориальному признаку, оказавшиеся в одной школе.

Отвечала за весьма разношерстный, бурлящий и шумящий коллектив 10 класса «Б» классный руководитель — «историчка» Фаина Израилевна Фурманова. Кто-то мне сказал, что была она когда-то женой Дмитрия Фурманова, комиссара чапаевской дивизии. Я вполне в это верю, потому что, по рассказам ее учеников, было в ней что-то комиссарское. Носила она строгий черный пиджак, была «убежденная» и о коммунизме говорила с горящими глазами. Андрей Вознесенский рассказал мне, что, видимо, жила Фурманова очень бедно, однако ей хотелось приобщить своих подопечных к культуре и как-то обуютить свой класс (тогда классная комната закреплялась за каким-либо определенным классом). И она принесла из дома цветок в глиняном горшке и стеклянный графин для воды. Но ученики не поняли этого душевного движения и бросили в воду мел, чем очень разочаровали свою классную руководительницу.

Самой яркой и оригинальной личностью, выделявшейся на довольно сером фоне учителей 554-й школы, была «англичанка» — Марина Георгиевна Маркарянц, молодая женщина лет тридцати с небольшим. «Яркий светоч», — сказал мне о ней Слава Петров. Маленькая, худенькая, с горячим темпераментом, недаром армянка, она была остра на язык, иронична, требовательна и строга. В ходе занятий почти все получали у нее двойки и тройки, но в конце четверти вместо ожидаемой двойки или тройки некоторые обнаруживали у себя в таблице четверку или даже пятерку. О Марине Георгиевне мне рассказал подробнее Андрей Вознесенский, который был к ней ближе всех из класса. Открывалась она, конечно же, не каждому. Это



Андрей Вознесенский (слева) и Слава Петров учатся танцевать во время перемены. Издержки раздельного обучения



М.Г. Маркарянц (слева) жалуется на нерадивого ученика классному руководителю Ф.П. Фурмановой

была не только яркая, но и смелая женщина. Марина Георгиевна прекрасно знала искусство, поэзию. Была знакома с поэтом Юрием Казарновским, который, отсидев срок в лагере, вернулся в Москву и недолго прожил. Она читала Вознесенскому стихотворение Казарновского «Джаз», а джаз, как известно, в конце 40-х — начале 50-х годов был полузапрещен на советской эстраде.

Марина Георгиевна знала многих московских людей искусства, в том числе Екатерину Гельцер, знаменитую балерину. И одно время была натурщицей, кажется у художника Александра Герасимова.

Когда из школьной библиотеки выкидывали старые журналы, например «Красную новь», она вырезала из них стихи опальных поэтов и знакомила с ними Вознесенского. Андрей Вознесенский уже в шестом классе увлекся поэзией, стал писать стихи, познакомился с Борисом Леонидовичем Пастернаком. Рассказал Марине Георгиевне об этом замечательном знакомстве и дал ей для чтения машинопись романа «Доктор Живаго». Кстати, роман ей не понравился.

Когда я узнала все это об учительнице английского языка, я не удивляюсь, что после окончания школы мой брат хотел пойти на английский факультет Иняза (потом он изменил свое решение и подал документы на арабское отделение Института востоковедения). Почти все ученики Марины Георгиевны, в том числе и Андрей, на экзаменах в вузы получали отличные отметки.

Некоторые учителя работали сразу в двух школах — и в Андреевой, и в моей. Помню учителя психологии Ивана Игнатьевича — в нашей школе он был завучем. Учительница рисования, Надежда Ивановна Гвоздева, тоже работала в двух школах. Мне она говорила, что мой брат хорошо рисует. На уроках она не столько учила нас рисовать, сколько рассказывала разные истории. Помню две — одну про диверсанта, который, накрывшись копной сена, продвигался вдоль поля к советской государственной границе. На поле работал тракторист, он, делая круги по пахоте, заметил, что копна эта потихоньку меняет местоположение, и диверсант был пойман. Вторая история была и реальнее и страшней. Надежда Ивановна пережила ленинградскую блокаду и видела, как голодные люди слизывали с груды замерзших нечистот пролитый кем-то кисель...

Но вернемся к одноклассникам Андрея. Очень многие ребята из его друзей интересовались литературой, писали стихи. Вот сохранившееся у нас стихотворение, посвященное Андрею, неизвестного мне одноклассника Андрея — иллюстрация внутренней жизни некоторых молодых романтиков того времени.

А.Т.

Эти дни, как в пытке иезуитов,
Бьют о череп каплями воды.
Все, что больно, все, что не забыто,
Убивает Веру и Мечты.

Но ведь многое еще осталось
Вновь создать иль бережно хранить.
Так пускай ирония и жалость
Нам поможет быть или не быть!

Под стихотворением вместо подписи нарисован цветок ландыша...

Жажда творчества и какой-то еще неопределенной деятельности, связанной с искусством, не давала молодым людям покоя. Андрей и его друг Володя Куриленко задумали даже издавать журнал под названием «Зеркало». Правда, дальше идеи дело не пошло.

Энтузиасты-технари Сергей Лашков и Юрий Баженов устроили школьный радиоузел. С шефского завода привезли огромный старый усилитель с большими лампами. Во время перемен раздавалась музыка — ею заведовал Виктор Уваров, который на любом инструменте с ходу мог сыграть любую мелодию. К тому времени все знали американские фильмы «Джордж из Динки-джаза», «Сестра его дворецкого», другие так называемые трофейные фильмы. Всем нравился джаз.

Из радиоузла звучали и сатирические передачи на школьные темы. Ребята изошрялись в остроумии. Так что не все в те годы было серо и засушено, как нам кажется теперь, из этого времени.

Дама в бархатном халате. Папино письмо

Телефонный звонок. «Знаешь, Марина, — слышу я взволнованный голос моей бывшей сослуживицы Веры Леонидовны Суворовой, — я лежала недавно в больнице, и там...»

Постараюсь пересказать спокойно ее рассказ.

Больница, коридор. Напротив распахнутой двери палаты — скамейка, на которой любят посидеть и поболтать больные. Вера встретила в больнице свою знакомую по предыдущему пребыванию здесь, и вот теперь на скамейке в коридоре они разговорились о литературе. Знакомая Веры сказала, что недавно прочла книгу стихов Арсения Тарковского. «А я много лет проработала в словарном издательстве с его дочерью, сестрой Андрея Тарковского», — похвасталась Вера.

На скамейке сидела еще одна больная — пожилая статная дама в красивом бархатном халате, с пучком седых волос, высоко



*Володя Куриленко (слева) и Андрей в пьесе «На той стороне».
Т.П. принимала участие в этом спектакле*

приподнятых на затылке. Вера уже обращала на нее внимание. Она сильно отличалась от больничных старушек — и осанкой, и тем, что называется породой. Дама эта была требовательна к медперсоналу, с другими больными держалась несколько высокомерно. Но вместе с тем в ней чувствовалась неприспособленность к жизни и какая-то растерянность. Пожилую даму никто не навещал, и только к концу Вериного пребывания в больнице она увидела ее беседующей с немолодым лысоватым человеком — как выяснилось, ее сыном.

И вот эта женщина, услышав разговор о Тарковских, вдруг сказала: «А я в Андрея была влюблена, когда мне было семнадцать лет. Мы даже хотели пожениться, но когда я сказала об этом дома, отец меня ударил, впервые в жизни, а мать за это надела отцу на голову горшок с кашей. Вот так-то», — добавила она, поднялась со скамейки и ушла, придерживая рукой полу халата.

«Слушай, Вера, а ты не знаешь, как ее звали?» — я уже догадывалась, кто была эта дама в бархатном халате. «Знаю». И Вера назвала имя.

Ну конечно это была она, та Т.П. (почему-то Андрей и его друзья всегда называли ее по имени и фамилии), чья фотография некогда висела на стене в нашей комнате в 1-м Щиповском переулке и которой я, умирая от смущения, передавала Андреевы записки. Она была очень красива какой-то необычной, «старинной» красотой и в свои семнадцать лет казалась мне совсем взрослой. Говори-

ли, что она живет в большой отдельной квартире (редкость по тем временам) с бабушкой и дедушкой-профессором, что в школу не ходит, а получает домашнее образование. Все это окружало ее какой-то тайной, добавляло ей недоступности и романтизма. Увлечение Т.П. длилось у Андрея, наверное, с полгода. И к лету пятидесятого он решил жениться на ней.

К этому времени брат перешел в десятый класс, до окончания школы оставался еще целый год. Тогда, помимо сердечного увлечения, он с головой ушел в художественную самодеятельность и всерьез решил стать актером. О своих актерских планах и о женитьбе он не рассказывал ни маме, ни мне, но написал папе, который тогда жил в Доме творчества писателей на Рижском взморье.

Папу взволновало его письмо, и вот какой мудрый, деликатный, полный любви и тревоги ответ получил Андрей:

«7.07.1950 г.

Дорогой Андрюша. Твое письмо очень тронуло меня тем, что ты так любовно и нежно доверил мне свою тайну.

Я совсем не думаю, что ты маленький, наоборот, я знаю, что ты уже вырос, но знаю, кроме этого, что ты очень неопытен в серьезных делах, что характер твой не устоялся еще — и не мог устояться, потому что характер вырабатывается в обстановке тревоги, столкновений с тем, что нужно преодолеть, с бедой, которую нужно сломить, изжить, из которой нужно выскочить; мальчик тем скорее становится юношей, а юноша мужчиной, чем труднее были детство и юность. Я не думаю, что детство у тебя было слишком легким, но думаю, что тебе, к сожалению, слишком редко, а, может, и никогда не было нужды быть активным, что не ты избирал для себя пути, а их для тебя избирали обстоятельства, и ты подчинялся им, не воюя с тяготами, а отмахиваясь от них. Может быть, я и ошибаюсь, но ты в ранней юности был не гребец в лодке на море, а листок под ветром. За тебя (а не ты) перетирала твои камни мама, и детство твое и отрочество могло быть и печальным, но не трудным. В твоём возрасте я был опытнее тебя, потому что рос в более трудное время, но и то я теперь очень хорошо помню и понимаю, каким туманом у меня была наполнена голова. У меня тогда, все же, было нечто, что

Мама! У тебя
сегодня отекрала.
"Особняк в шпелке".
Поздравь в Мамин.
Я не побегу, а
иди ты же Марин-
ки.
Оттуд.

Записка Андрея



Арсений Александрович Тарковский. 50-е годы

меня спасало и было моей верной путеводной звездой: неукротимая страсть к поэзии; я во всем был подобен тебе, так же легкомыслен и так же подчинялся обстоятельствам и плыл по течению, во всем, кроме поэзии: здесь у меня была железная дисциплина, и если вообще, как и ты, я был ленив и слабоволен, то только не в ней: мама помнит трудолюбие, усидчивость, огнеупорность, с которыми я поэзией занимался; вот что было моей школой жизненной и что дает возможность мне не стыдиться самого себя. Здесь — попутно — я хочу сказать тебе вот что: у меня не было никого, кто мог бы мне посоветовать что-нибудь более разумное, чем мои собственные намерения. Мне было много дано, но еще более я выработал в себе в том, что касается моего искусства. Время (много лет) было затрачено на него не зря, и не моя вина, что я не применил этого искусства практически в полной мере: я был слишком упрям в искусстве, и у меня выработались — может быть и неправильные — взгляды на его применение (что писать надо и что надо печатать и т.д.), но к концу молодости я был уже зрелый поэт с очень большими возможностями. И вот теперь я очень, очень жалею, что мое образование (главным образом самообразование) было устремлено только по пути поэзии, и если я знаю что-нибудь, то только потому, что по роду искусства мне нужно было много знать. Я очень жалею, что я не учился на каком-нибудь факультете, где нужно много работать, где можно получить точные знания и потом работать (научная работа) в области этих точных знаний.

Искусство — дитя жизни, и само от себя не рождается: конечно — настоящее — большое, а не прикладное искусство; это особенно касается литературы, ей учиться у нее почти нет нужды; другое дело музыка или изобразительные искусства, или, допустим, балет, где нужно десятилетиями — с детства — учиться, приобретать технические навыки, без которых эти искусства равны нулю.

Я грызу себе пальцы, что не поступил, когда мне было семнадцать-восемнадцать лет в специальное (физико-математическое, техническое, естествознанческое учебное заведение), а потом уж заняться бы поэзией! Сколько бы это дало!

А тебе — Боже мой! — ведь никому не известно, есть ли у тебя талант, который стоил бы траты стольких сил, чтобы пожертвовать ему всем! А вдруг — нет? Что за будущее у тебя тогда? Что может быть ужасней пустоты и никчемности жизни второразрядного, допустим, актера?

Вот мой совет: непременно закончить школу. Поступить в высшее учебное заведение, получить любое образование и хоть год поработать в этой (точных знаний) области, а потом, если потребность в искусстве останется (останется, если талант превышает способность любительского сорта) — заняться, чем угодно, хоть обучением в актерском ВУЗе.

Как я хотел бы тебе передать понимание моих ошибок, чтобы ты им оградился от своих (похожих на мои) недостатков!

А теперь — о твоей влюбленности. То, что я тебе напишу — безусловно верно, если допустить, что мы с тобой устроены одинаково, а это так во многом, мы ведь очень похожи по душевному строю. У нас (у меня, я предполагаю, что и у тебя) есть склонность бросаться стремглав в любую пропасть, если она чуть потянет и если она задрапирована хоть немного чем-нибудь, что нас привлекает. Мы перестаем думать о чем-нибудь другом, и наше поле зрения суживается настолько, что мы больше ничего, кроме колодца, в который нам хочется броситься, не видим. Это очень плохо, и может оказаться губительным.

Ради Бога, не пытайся жениться. Сначала немножко хоть перебесись, потому что начнешь снова беситься через 3—5 лет после женитьбы, если она окажется слишком ранней, и жизнь для обоих (ты + она = семья) превратится в ад, из которого один выход: развод, — мука для себя, для жены и — если будут, что возможно, для детей. Это я пишу тебе, оснащенный опытом — и иначе не бывает и не может быть. Поговори с мамой, она скажет тебе то же самое.

Не надо, чтобы любовь тебя делала тряпкой и еще более слабым листком, уж совсем неспособным к сопротивлению. Любовь великая сила и великий организатор юношеских сил; не надо превращать любовь в страсть, в бешенство, в самозабвение, я буду счастлив, если твоя влюбленность окажется любовью, а не чумой, опустошающей душу. Пусть она будет хорошей и чистой девушкой: я так и представляю себе ту, кого ты полюбил, потому что я очень тебя люблю и очень хочу, чтобы ты был счастлив, а быть счастливым — значит не быть раздвоенным, мечущимся; значит — любить свое жизненное дело, работать для него и жить им, самоутверждаться в пределах жизненной задачи. Настоящая любовь помогает совершить свой подвиг, пусть она и тебе поможет совершить его.

Это письмо — нравоучительное, к сожалению, но мы с тобой оба застенчивы, и писать легче, чем говорить друг с другом, вот я и пишу, а ты не сердись за то, что я хочу, чтобы мой опыт таким способом передался тебе, а ты бы им воспользовался.

Я умоляю тебя взять себя в руки, дисциплинировать себя, и учиться, и думать (ты пишешь: я скажу — выброси из головы и проч., — нет), думать о любви, и пусть она, твоя любовь, будет тебе путеводной звездой.

Скорей напиши мне: здесь мы будем числа до 20—22 июля, напиши мне откровенно (я твой друг и помогу тебе советом), кто та, кого ты любишь — очень подробно, напиши, что ты намерен делать дальше (школа, учебное заведение далее) и еще — что у тебя делается в душе, в сердце, в голове.

Крепко целую тебя, мой дорогой хороший мальчик, я очень, очень тебя люблю, ты можешь мне целиком довериться.

Крепко целую тебя, твой папа. Передай письмецо Мариночке, целуй маму».

Не знаю, как закончились отношения Андрея и Т.П., но уверена, что не это письмо было виной их разлуки. Потом к Андрею пришло новое увлечение, он бросился в новую пропасть, и была она тоже очень привлекательна, его новая любовь.

Но до женитьбы было еще очень далеко...

Поездка в Азербайджан

В «письмеце», которое папа просил Андрея передать мне, он писал, что собирается поехать в Баку и что ему очень хочется повезти меня туда. «Мы будем жить в горах, в здоровом месте», — добавлял он.

В конце июля 1950 года папа вернулся в Москву из Юрмалы, а уже 7 августа мама провожала нас в Баку. Мы — это папа, его «секретарь», Татьяна Алексеевна Озерская, тетя Таня, как я ее тогда называла, ее девятилетний сын Алеша Студенецкий и я. Папа ехал в Азербайджан продолжать работу над переводом поэмы Расула Рзы «Ленин». Часть работы была сделана в Доме творчества писателей в Дубултах на Рижском взморье. Теперь надо было срочно закончить перевод и сдать его в бакинское издательство «Азернешр», которое хотело выпустить поэму на русском языке в последних месяцах 1950 года.

Предполагалось, что я проживу в Азербайджане до конца августа и вернусь домой к началу учебного года. Татьяна Алексеевна хотела остаться подольше, поэтому Алеша пропускал начало занятий и возвращался через неделю после меня вместе с нею. Папа должен был работать в Баку еще месяца полтора.

Мое прощание с домашними, с мамой, которая меня провожала, не было грустным — я уезжала всего на три недели. И предстоящее путешествие, впервые на самолете, да еще с папой, казалось очень заманчивым. Общество тети Тани меня не смущало, я до этого встречала ее у папы, а в присутствии Алеши была своя прелесть — он составлял мне компанию. Был он милым, добрым, смешным мальчуганом.

Летели мы с посадкой в Сталинграде. Помню, что мы вышли из самолета и меня поразил совсем другой, не московский, воздух — жаркий, сухой, пахнувший травами. В Сталинграде я отправила домой письмо, написанное в полете.

«Без одной минуты два часа дня, 7 августа.

Дорогие мамуля и бабуся!

Дорогой Андрюша!

Сейчас летим уже два часа. После того, как ты (мама) уехала, минут через десять мы сели в автобус и поехали к самолету. Он очень большой, грузовик, который стоял рядом — крошка.

Поставили лестницу, и мы вошли. Он большой. Вот его план. Мы сели, поели, поехали по земле — тряско, сначала страшно ухало вниз-вверх — тошно. Съела одну таблетку от укачивания. Потом привыкла — очень хорошо себя чувствовала. Сейчас начали болеть уши (не очень). Летим сквозь тучи. Летели над облаками. Очень интересно смотреть вниз, только немного тошно. Пью клюквенный концентрат. Земля, как макет. Капли на стекле ползут в сторону.

Целую крепко. Привет всем. Привет от Алеши, ему хорошо. Папа и тетя Таня спят. М.».

Как мы прилетели в Баку, кто нас встречал и отвозил в курортное местечко Мардакяны, абсолютно не помню. Помню сам приезд туда — темная южная ночь, черное небо с яркими крупными звездами и раскачивающиеся под влажным морским ветром верхушки кипарисов. И было для меня что-то волнующее и тревожное в этом неотвратимом, упрямом теплом ветре, от которого шумели в парке кусты и клонились деревья.

Привезли нас, видимо, в какой-то дом отдыха, поселили в двух больших комнатах с балконом. В этом доме отдыха уже жили писатели из Москвы, которые готовили Декаду азербайджанской культуры. В столовой, куда мы пришли утром, папа здоровался со знакомыми.

Стояла дикая жара, мы с папой купили громадный арбуз, поставили его на балконе и время от времени подходили к нему. Ели мы арбуз ложками.

Иногда у папы и у тети Тани вспыхивали ссоры, но, видимо, присутствие детей удерживало их от бурных объяснений.

Перед тем как уехать в горы, мы провели день на даче у Расула — на самом берегу «седого Каспия». Папа входил в воду на костылях, на глубине бросал их и подолгу плавал в теплой соленой воде. Костыли болтались на волнах, и я очень боялась, что их унесет в море.

«20.08.50 г.

Дорогая мама!

Когда ты получила мое письмо? Мы теперь вот уже неделю живем в Алты-Агаче («Шесть деревьев»). Это в 120 км от Баку, 1200 м над уровнем моря. Здесь горы. Климат не жаркий — нормальный. Воздух очень хороший. Мы живем в избе у русских хозяев (село молоканское, по указу Петра I из-под Тамбова переселенцы). Хозяйка готовит нам сама. В Мардакянах, где мы жили неделю, винограда было много — целый день ели. Здесь мы едим виноград, привезенный с собой.

Папа вышлет тебе денег скоро. Мне купили материи шелковой на что-нибудь и косынку. Мимо дома ходит верблюд (всегда один) и ишачки. Мы пьем молоко и едим мацони

(вроде простокваши)... Все хорошо. Привет от тети Тани и от папы.

Привет Андрею и Игорю*, соседям.

Марина.

P.S. Котята, наверное, уже смотрят».

Дом, где мы жили в Алты-Агаче (сейчас это название пишется в одно слово), был просторный, деревянный. Поражала в этой избе идеальная чистота, которую я не часто встречала в подмосковных деревнях. Полы из очень широких досок добела отмыты. Хозяевами были молодые муж и жена. Их маленький ребенок спал в люльке, накрытой от мух белым шелковым азербайджанским платком с синим орнаментом по краю.

К обеду хозяин топором зарубал молодых петушков, которые, потеряв голову в самом прямом и жестоком смысле, носились по двору на сильных высоких ногах, орошая желтую глинистую землю алой кровью.

Чтобы не мешать папе работать, мы с Алешей уходили гулять в невысокие выжженные горы. Там росли незнакомые мне жесткие травы и таились, замерев в нападающей позе, хищные богомолы.

По селу ходили люди, которые продавали мацони и ежевику. «Мацун, мацун!», «Ожин, ожин!» — кричали они. Нас с Алешей забавляло, что если быстро повторять слово «ожин», получалось, что продавцы торгуют ножами.

Однажды мы купили баранины, и после ужина у меня разболелся живот. Папа страшно испугался и попросил Татьяну Алексеевну сходить за врачом. А сам за мной трогательно ухаживал — ставил мне градусник и отпаивал травами.

Тем августом папа вообще был ко мне любовно внимателен. Его, видимо, тревожило мое взросление, беспокоило будущее. «Марина очень хорошая, нежная и любящая, с Таней была нежна, со мной тоже. Только она ничего не умеет делать (действительно, я вспоминаю, что на многие папины просьбы отвечала «а я не умею», от стеснения, что ли. Ведь дома я делала все. — *М.Т.*), и когда она вырастет ей будет тяжело», — писал папа маме уже после моего отъезда.

А отъезд в Баку состоялся 26 августа. Татьяна Алексеевна поехала со мной, чтобы взять с брони билет на поезд и отправить меня в Москву. Ехали мы по серпантину на местном рейсовом автобусе, меня сильно укачало, пришлось сделать остановку. Оживленные пассажиры выходили размяться на мокрую после дождя обочину, а мне было совсем плохо.

Помню, что за всю дорогу — почти два часа — тетя Таня не сказала мне ни слова, сидела рядом молча, с раздраженным лицом. Когда приехали в Баку, она уже кипела от злости, особенно

* Игорь Шмыглевский — одноклассник Андрея.

после того, как какой-то мальчишка, увидев ее испачканные в глине туфли, показал на них пальцем и засмеялся.

Мы пришли в дом, где жил Расул Рза. Это был громадный, солидный дом в центре города. Дверь нам открыла старушка в черном, видимо мать Расула. Больше в квартире никого не было — семья отдыхала на даче. Татьяна Алексеевна спросила о чем-то старушку, но та только молча смотрела на нас. «Ни черта не понимает!» — отметила тетя Таня и ушла в Союз писателей добывать для меня бронь на билет. Я же, оставшись наедине с бессловесной старушкой в огромной квартире азербайджанского поэта, где было сумрачно, тихо и прохладно, как в мавзолее, чувствовала себя брошенной и одинокой...

А через два дня меня уже встречали на Казанском вокзале мама и Андрей. Котята, действительно, прозрели к моему приезду.

Дубасовы, Пшеславские, дед Корженевский

В детстве я была бабушкиной любимицей, не то что озорник и непоседа Андрей. Если я болела, то лежала себе тихонько на бабушкиной никелированной кровати под зеленым стеганым одеялом и играла в моточки кружев из ее коробки, которые превращались в действующих лиц моих фантазий. А бабушка тем временем говорила, говорила — рассказывала мне всякие семейные истории. Например, про своего отца, Николая Васильевича, из старинного рода Дубасовых. Лицом он походил на свою прапрабабушку (не знаю, сколько должно быть этих «пра»), вывезенную его предком из Орды. Настоящий татарин — с узкими глазами, широкими скулами и жидкими бородкой и усами.

Рос Николай Васильевич сиротой и был определен родственниками в Московский кадетский корпус.

Казенные харчи были скудными, и кадеты постоянно испытывали голод. Вот они и придумали таскать пирожки из кухни, которая помещалась в подвале. Вбили гвоздь в конец длинной палки и, улучив момент, когда повар отвернется, через оконную решетку цепляли пирожок.

Однажды в корпус прибыл попечитель — наследник Александр Александрович, будущий император Александр Третий. Он вошел в сопровождении свиты и начальства в столовую, где за длинными столами уже стояли кадеты. После приветствий и молитвы наследник подошел к Дубасову, место которого было крайним на скамье — он был правофланговым, — попросил его подвинуться и с большим аппетитом съел весь его обед. Честь велика, да прадедушка так и остался голодным!

Со временем Николай Васильевич стал компаньоном железнодорожного инженера, совладельца нескольких железных до-



Николай Васильевич Дубасов



*Мария Владимировна Дубасова
(урожденная Пшеславская)*

рог, барона Карла Федоровича Фон-Мекка, мужа известной меценатки, покровительницы Чайковского. Дубасов вложил свое состояние в Компанию Московско-Киевской железной дороги и принимал участие в ее строительстве — покупал земли на Украине, присутствовал при прокладке путей. С Украины он вывез много разных баек и анекдотов, вроде: «Чоловік пымав шуку, жинка каже, що це рак».

После смерти барона преемник его удрал за границу со всем капиталом Компании и оставил Николая Васильевича разоренным.

Дубасов был женат на красавице Марии Владимировне Пшеславской, дедушка которой был шляхтич Ксаверий Пшеславский, а бабушка — урожденная Лопухина. Жили Дубасовы на Пименовской улице, что находилась между Селезневской и Садово-Каретной, в собственном доме. Их приходской церковью был храм Пимена Блаженного — «Старый Пимен». Было у них четверо детей: сын Владимир и дочери Надежда, Людмила и Вера.

На лето семья выезжала в имение Переверзево, в Калужскую губернию. Жили скромно — на обед обычно подавались щи с гречневой кашей. Девочкам на именины дарились их же старые куклы, подновленные и одетые в новые платья. Залу городского дома сдавали под обеды и свадьбы, а флигель — внаем жильцам.



Надя, Люся и Вера Дубасовы

Когда старшие дочери были уже невестами, в семье случилось несчастье. Сын Владимир, красавец и любимец матери, убежал из дому с горничной, и три года родители ничего о нем не знали. Их горе было столь велико, что они уединились в имении и жили там безвыездно. А чтобы им не было уж совсем тоскливо, они взяли с собой младшую дочь, Веру, к тому времени окончившую гимназию. Верочка была веселой и общительной, и жизнь в имении с убийственными горем родителями была для нее пыткой.

Через три года неожиданно вернулся похороненный и оплаканный семьей Володя. Оказалось, что он попал в Одессу и ушел в кругосветное плаванье, а вернувшись, заболел сыпным тифом и чуть не умер. Выходила его медицинская сестра Евгения, и из благодарности Володя женился на ней. Была она почти неграмотной и очень некрасивой — с длинным носом и близко посаженными глазами. Когда она гостила в Москве, то тосковала в чужой обстановке и твердила жалобно: «В Одессу, в Одессу!»

Воскресший из мертвых Володя ужаснул домашних. Все его тело было татуировано — начиная с ног его обвивала змея, раздвоенное жало которой показывалось на шее из-под ворота. Володя прожил недолго. За время своих путешествий он пристрастился к спиртному и умер, оставив жену с двумя детьми — Георгием и Наталией. Дети впоследствии переехали в Киев и переписывались с московскими тетушками вплоть до революции. В последнем письме Наташа писала: «Дорогие тети! Я выхожу замуж за киевского помещика. Он меня любит, а я его уважаю». Ей было тогда около семнадцати, и она была очень хорошенькой. Что случилось с племянниками, бабушка не знала, вероятно, они погибли во время Гражданской войны...

Бабушкин отец, Николай Васильевич, был прекрасным семьянином, добрым и любящим мужем. Но проявлял твердость, когда этого требовали обстоятельства.

Однажды Мария Владимировна вместе со своими двумя сестрами снялась в фотографии на Петровке. Владелец выставил в витрине ателье это фото — три молодые дамы в красивых туа-



Владимир Николаевич Дубасов



*Евгения – жена Владимира Николаевича
и их дети Наталия и Георгий.
Жили в Киеве. Пропали во время революции*

летах и хорошо причесанные, рядом с одной из них на полу стоит корзина, полная вишен. Николай Васильевич, узнав об этом, пошел на Петровку и потребовал убрать с витрины изображение жены и своячениц. Он посчитал неприличным, что прохожие будут их рассматривать...

Был и другой случай, когда прадедушка проявил характер. Мария Владимировна возвращалась из Охотного ряда на извозчике, когда ее увидел художник Поленов. Он поехал вслед за ней и спустя несколько минут после ее прихода позвонил у дверей дома Дубасовых. К нему вышел Николай Васильевич. Поленов представился и поинтересовался, кто эта дама, только что вошедшая в дом.

«Это моя жена», — отвечал Николай Васильевич. «Я собираюсь писать большую картину на библейскую тему, и классический тип вашей жены очень для нее подходит. Не позволите ли вы вашей жене мне позировать? Она будет приезжать на два-три часа в мастерскую, костюмерша за ширмами будет надевать на нее римскую тунику и сандалии, а после сеансов я сам буду отвозить вашу супругу домой». Видя несогласие Дубасова, Поленов продолжал: «А за эту любезность я обещаю написать бесплатно портрет вашей жены».

«У нас четверо детей, — сказал Николай Васильевич, — и после нашей смерти они перессорятся из-за этого портрета. К тому же у моей жены много обязанностей как у матери семейства и хозяйки дома. Извините, но ей трудно будет найти для вас время».

Вот так было отказано Поленову. А как жаль!

Умер Николай Васильевич в Переверзеве лет за двадцать до революции. О том, что он умрет, он был предупрежден — ему было видение. Он лежал в своей комнате на кровати и вдруг услышал, что скрипнула дверь. Николай Васильевич повернул голову и увидел, что в комнату вошел человек в черном монашеском одеянии. Лица его не было видно — оно было закрыто капюшоном. «Готовься, ты скоро умрешь!» — сказал монах. «А доживу ли я до моего дня рождения?» — спросил Николай Васильевич. «Нет», — был ответ. Человек в черном повернулся и тихо вышел из комнаты. Скрипнула закрывшаяся за ним дверь.

Николай Васильевич позвал сестру жены, гостившую в имении: «Как его, душенька (так он в старости обращался ко всем близким дамам), отметь в календаре, что сегодня мне было видение. Только Машеньке не говори».

Через месяц его не стало — он не дожил нескольких дней до дня рождения...

Вспоминала бабушка Вера и свою бабушку — добрую слепую старушку Ларису Алексеевну Пшеславскую (урожденную Корженевскую).

Маленькая Верочка, одетая в плюшевую шубку и капор, с меховой муфточкой на шелковом шнуре идет с бонной-немкой по зимней Москве к бабушке — с Пименовской улицы на Страстной бульвар. Мороз силен, и пока они добираются до особнячка бабушки, и капор, и выбившиеся из-под него каштановые пряди волос покрываются белым инеем. Бабушка хоть и слепая, а сразу узнает, кто к ней вошел. Она целует Верочку, спрашивает о здоровье родителей, а потом говорит: «Теперь веди меня к буфету!» Для Верочки наступает самая приятная часть визита. Она ведет бабушку к потемневшему от старости буфету со множеством ящиков и ящичков, и та выдвигает один, где в специальных отделениях разложены лакомства — изюм, орехи, винные ягоды...

Родной брат бабушки Пшеславской, бывший офицер Николай Алексеевич Корженевский, остался в семейных анналах благодаря своим странностям. Он был холост и жил у племянницы на Пименовской. Когда деду Корженевскому приходилось делать покупки, то вместо курицы он приносил петуха, а вместо кальсон — дамские панталоны с кружевами. Жаркими днями в Переверзеве на веранде вешали простыню от солнца. «Как это вы хорошо придумали, — восхищался дед. — Мы пьем чай здесь, а все мухи летают там, за простыней!» В сопровождении этого чудака барышням Дубасовым разрешалось «выходить». В Манеже, на выставке цветов, бабушка потихоньку убегала от него и, спрятавшись за какой-нибудь пышной корзиной, болтала со знакомым молодым офицером.

Бабушка рассказывает, а я не слушаю, потому что знаю уже наизусть все эти стародавние истории и про деда Корженевско-



*Владимир Ксаверьевич, Лариса Алексеевна Пшеславские
и брат Ларисы Алексеевны, чудака «дед» Корженевский*

го, и про костюмированный бал в Благородном собрании, и про ее гимназические сочинения «Отход поезда железной дороги», «Кремль и его святыни», и про царскую семью, которую она видела в Балаклаве.

Я укладываю в коробку моточки кружев, которые только что были маленькими человечками, путешествующими по горам и лесам — моим коленкам, покрытым зеленым стеганым одеялом. Человечки укладываются спать, засыпаю и я. А бабушка все говорит, говорит...

Тетя Дуня и Маруся Коваленко

Я была так счастлива, когда мой троюродный брат Дима — Дмитрий Арадовский — подарил мне этот старинный фотографический портрет.

Портрет заключен в овальную деревянную раму. Хорошим вкусом обладал фотомастер, выбравший именно такую форму «заключения» для прелестного, чуть широковатого лица молодой дамы, возможно еще барышни. Да, конечно, барышни — на ее руке не видно обручального кольца.

Я люблю окружности и овалы, «выпуклые замкнутые кривые без угловых точек», символизирующие покой, гармонию и бесконечность.



*Евдокия Владимировна Калзакова
(урожденная Пшеславская,
в первом браке Лопухина), тетя Дуня*



*Генерал Калзаков,
второй муж тети Дуни*

Овальная фотография — барышня сидит в фотоателье за овальным столом, юные губы чуть тронула улыбка, темные «соболиные» брови оттеняют спокойные светло-серые глаза. Прекрасные пепельно-русые волосы уложены на затылке тяжелыми косами, а завитая калеными щипцами челка придает лицу некоторую долю кокетства. Кокетства добавляет и веер, который она держит раскрытым в левой руке.

На барышне изящное светлое платье, на ней нет украшений, разве только серьги в ушах. Удивительно, но они имеют форму небольшой пятиконечной звезды, той звезды, которая нальется лет через тридцать кроваво-красным цветом...

На старинном портрете тетя Дуня (мы с Дмитрием решили, что это бабушкина тетка, Евдокия Владимировна) — сама молодость. А что такое молодость? Это ожидание счастья...

Но на портрете этом после моих тщательных сравнений оказалась не тетя Дуня, а ее племянница, бабушкина сестра, Людмила Алексеевна.

А тетя Дуня совсем другая. Портрет ее, сохранившийся у меня, вовсе не овальный, и судьба у Евдокии Владимировны трагичнее, чем у барышни на овальном портрете.

Евдокия Владимировна Пшеславская вышла замуж за одного из Лопухиных, представителя старинного княжеского рода. Кажется, он был губернатором, кажется, в Ярославле. Бабушка говорила, что жила тетя Дуня, тогда губернаторша, в большом до-

ме на главной площади города. Но брак с Лопухиным распался. Тетя Дуня обосновалась в Петербурге. Возможно еще будучи за Лопухиным, она пристрастилась к морфию. Ее второй муж, генерал Калзаков, очень ее любил. Узнав о пагубном пристрастии своей жены, он надел мундир со всеми регалиями, взял ее фотографический портрет, может быть именно тот, что хранится у меня, и объехал все аптеки Петербурга. Каждому аптекарю он предъявлял портрет и говорил: «Если вы отпустите морфий этой даме, то я застрелю вас на месте». У генерала такой был свирепый и решительный вид, что ни один аптекарь не посмел его ослушаться. Так муж отвоевал свое счастье, отучил тетю Дуню от наркотика.

В Петербурге у Калзаковых был роскошно обставленный особняк. Украшением дома была голубая гостиная. Стены, кресла, скамеечки для ног, диван карельской березы — все было обтянуто голубым штофом.

В большой зале, где стоял рояль, устраивались танцы и вокальные вечера. Частыми гостями тети Дуни были певцы, студенты консерватории, ставшие потом актерами Мариинского театра. Наша молодая тогда бабушка Вера временами гостила в Петербурге у своей тети Дуни. Это были самые счастливые дни в жизни бабушки. Она вырывалась из-под опеки родителей и оказывалась в мире артистической молодежи Петербурга. Бабушка очень подружилась со студенткой консерватории Марусей Коваленко, которая жила в доме тети Дуни, и они часто пели дуэтом арии из опер и романсы.

Мария Владимировна Коваленко стала солисткой Мариинского театра, а помогла ей окончить Петербургскую консерваторию бабушкина тетя Дуня.

Однажды тетя Дуня, к тому времени уже овдовевшая, пришла на службу в Исаакиевский собор. В углу одного из приделов она заметила стоявшую на коленях перед иконой Божьей Матери молодую, бедно одетую барышню. Она молилась самозабвенно, из ее глаз ручьем текли слезы. Весь вид этой барышнии, ее горячая, истовая молитва, ее слезы потрясли Евдокию Владимировну.



Певица Мария Коваленко

Дождавшись, когда незнакомка выйдет из собора, тетя Дуня подошла к ней и заговорила: «Я видела, как горячо вы молились перед иконой Богоматери. У вас, наверное, случилось большое горе. Может быть, я смогу вам чем-нибудь помочь?»

Молодая особа поведала ей свою историю...

Ее приемные родители-украинцы жили в 20 верстах от Елисаветграда (опять Елисаветград, папина родина!) в местечке Аджашка. Приемный отец, Владимир Прокофьевич Коваленко, был священником, приемную мать звали Мария Ивановна. Как-то Мария Ивановна ехала в поезде, оказалась в одном купе с женщиной, которая, попросив ее постеречь корзинку, вышла на каком-то полустанке. Женщина эта больше не появилась, а в корзинке оказалась трехмесячная девочка. Священник и его жена были рады появлению ребенка. Когда Марусе был один год, ее приемный отец скончался. Перед смертью он завещал жене никому не отдавать девочку, потому что, как говорил Владимир Прокофьевич, она принесет ей счастье. После смерти мужа Мария Ивановна переехала в Елисаветград, где жила у своих родителей. Ее отец тоже, как и муж, был священником.

Маленькая девочка, трехлетняя Маруся, часто пела, развлекая сидячего деда, которому ампутировали обе ноги. В семь лет Марусю отдали в Одесское епархиальное училище как сироту из духовного звания. Там же, в церкви при училище, она начала петь в хоре. Хор был прекрасный, часто в нем солировал редкой красоты бас — Константин Нежданов, брат знаменитой певицы. Сама Маруся часто пела с семинаристами, голос у нее, как она сама пишет, «был как у птички».

Когда Марусе Коваленко было тринадцать лет, в училище приехал ревизор Святейшего Синода. Он пришел в восторг, услышав пение девочки, и сказал, что ей обязательно надо учиться в консерватории. Это запало в голову Маруси. Приехав на каникулы к матери и к бабушке в Елисаветград, она не захотела больше возвращаться в училище. Был семейный скандал, Маруся устроила истерику и... победила.

В 1901 году, зимой, в январе, Маруся с бабушкой оказались в Петербурге. В кошельке было 100 бабушкиных рублей, позади епархиальное училище, впереди — вся жизнь...

В словаре А.М. Пружанского «Отечественные певцы» сказано: «Коваленко (по мужу Экскузович) Мария Владимировна*, ар-

* Кстати, кузина М.В. Коваленко, тоже родом из Елисаветграда и тоже известная певица, Леонида Николаевна Балановская, не только училась вместе с Коваленко, но по мужу была тоже Экскузович. Кто из двоюродных сестер стал брошенной женой, я не знаю. Иван Васильевич Экскузович был театральным деятелем, с 1918 года являлся управляющим петроградскими государственными академическими театрами.

тистка оперы (лирико-колоратурное сопрано) (родилась в 1873 или в 1882 году, умерла году в 1950), камерная певица и педагог. С тринадцати лет обучалась пению у Ф. Левицкого, в 1901 – 1906 годах – в Петербургской консерватории. С 1908 по 1928 – солистка Петербургского Мариинского театра... Отличалась редким по красоте голосом теплого тембра, хорошей вокальной школой и артистизмом исполнения. С 1941 по 1946 год была педагогом в Московском Большом театре. В 1924 году ей было присуждено звание народной артистки Республики».

Дирижер Евгений Мравинский писал о Коваленко: «Певица блестящего вокального мастерства, теплого лирического дарования, она является, прежде всего, большим и талантливым музыкантом исключительной тонкости и глубины» (1947 год).

Подробности своей жизни Мария Владимировна описала в «Автобиографических данных», написанных ею от руки в советские годы. Там нет никаких упоминаний о благодетельнице-генеральше Евдокии Владимировне. Оно и понятно, времена были суровые.

А тетя Дуня перед самой революцией 1917 года решила перебраться в Москву, где жили ее сестры и племянники. Она продала особняк, а всю обстановку, мебель, голубую гостиную, ковры, фарфор, огромный серебряный сервиз, одежду отдала на хранение в петербургский частный склад. Она рассчитывала купить дом в Москве и перевезти туда свое имущество. В Москве она остановилась в доме своей племянницы, бабушкиной мамы. И здесь ее застигла революция. Евдокия Владимировна лишилась всего – у нее не было ни кровя, ни вещей, ни состояния. Она гостила то у одной племянницы, то у другой. Голубая гостиная была далеким и почти нереальным воспоминанием. Тетя Дуня стала «бывшей», стала неким фантомом в облезлой собольей горжетке. Но, потеряв все, старенькая тетя Дуня не озлобилась, оставалась все такой же доброй и душевной. Но помочь кому-либо она могла теперь лишь участливым словом.

От пережитых несчастий у нее развилась мучительная экзема. Бабушкин муж, Николай Матвеевич Петров, не зная о том, что ког-



Л.В. Балановская и И.Н. Экскузович

да-то тетя Дуня была морфинисткой, выписал ей успокаивающую мазь с наркотическим веществом. Давнее пристрастие вспыхнуло с новой силой, и теперь Николаю Матвеевичу пришлось выписывать для Евдокии Владимировны рецепты на морфий.

...Смерть стала для доброй, несчастной тети Дуни избавлением от земных страданий.

«Пройдет время, и мы уйдем навеки, нас забудут, забудут наши лица, голоса...» — писал Чехов в «Трех сестрах».

Жившие до нас родные ушли навеки, но у меня остались свидетельства их существования: в памяти — рассказы бабушки Веры, а в чудом уцелевшем альбоме — старинные фотографии.

Врач из Малоярославца

...судьбы скрещенья.

Б. Пастернак

Бабушка, мамина мама, была замужем дважды. Первый ее брак быстро распался, а со своим вторым мужем, Николаем Матвеевичем Петровым, она счастливо прожила двадцать лет...

Когда я читала «Охранную грамоту» Пастернака, то сразу же, на второй странице, наткнулась на такой рассказ: «...Как потом, когда я сломал себе ногу, в один вечер выбывши из двух будущих войн, и лежал без движения в гипсе, горели за рекой знакомые, и юродствовал, трясясь в лихорадке, тоненький сельский набат. Как, натягиваясь, точно запущенный змей, колотилось косоугольное зарево и вдруг, свернув трубою лучинный переплет, кувырком ныряло в кулебячные слои серо-малинового дыма.

Как, скача в ту ночь с врачом из Малоярославца, поседел мой отец при виде клубившегося отблеска, облаком вставшего над лесною дорогой».

Тут уже можно остановиться, перевести дух, отдышаться после этой усложненной — конец двадцатых годов! — превосходной прозы. И оглянуться назад, в далекий-далекий 1903 год, известна и точная дата, 8 августа, когда по проселочной дороге ехал на лошадях (в экипаже? на дрожках?) вместе с Леонидом Осиповичем Пастернаком Николай Матвеевич Петров.

Ибо это именно он и был тем «врачом из Малоярославца». Тогда он еще не был знаком с нашей бабушкой Верой Николаевной Дубасовой (Вишняковой по первому мужу). Он женится на ней через четырнадцать лет, станет маминым отчимом и расскажет ей, как приезжал с врачебным визитом к сломавшему бедро сыну художника Пастернака, жившего на даче в Оболенском.

Известно, что нога у Бориса Леонидовича срослась неправильно и стала немного короче. И хоть я и знала, что Николай Матвеевич был замечательным врачом, в душе у меня копоши-

лось сомнение: не было ли в том его вины?

Можно было, конечно, все повернуть наоборот — не благодаря ли Николаю Матвеевичу Борис Пастернак «выбыл из двух войн», продолжал жить и написал для нас то, что ему суждено было написать?

Однако позже я узнала, что упавшего с лошади Борюшу в Оболенском на даче Кузьминой сначала посетил знаменитый московский хирург Гольдингер и что гипс ему наложил другой хирург, ассистент профессора Боброва.

На следующий день у мальчика начался жар, и отец его поехал в ближайший город, Малоярославец, за врачом и сиделкой.

Значит, Николай Матвеевич не был повинен в легкой хромоте Пастернака. Вечером восьмого августа он лишь как терапевт пытался помочь испуганному, измученному болью и вынужденной неподвижностью больному. А тот капризничал, что не понравилось молодому врачу, прошедшему с детства суровую жизненную школу.

Итак, найден повод, чтобы рассказать о Николае Матвеевиче, хотя он и без повода вполне достоин этого. Как жизнь любого человека, его жизнь была неповторимой, тем более что случайно или вовсе не случайно он соприкоснулся с такими поэтами, как Константин Бальмонт, Борис Пастернак, Арсений Тарковский.

Родился Николай Матвеевич в 1866 году в городе Шуя Владимирской губернии. Его отец, незаконный сын богатого польского помещика, был подброшен в приют, где ему дали фамилию по крестному отцу. Матвей Петров выучился на провизора и фельдшера и получил место в одном из сел Тверской губернии. Жили там карелы, переселившиеся в Россию еще при царе Василии Шуйском. Петров влюбился в девушку из семьи карелов-староверов, занимавшихся хлебопашеством и пчеловодством. Родители не захотели выдать дочь за «табачника». Тогда она бежала с ним и была за то проклята своей семьей.

Кстати, карелы живут в тех краях до сих пор. Судьбе было угодно, чтобы я прожила две недели под Лихославлем в высоком деревенском доме северной постройки. Там я видела потомков давних переселенцев, слышала их необычный язык и поняла, откуда у Николая Матвеевича были широкие скулы и узкова-



Николай Матвеевич Петров — студент медицинского факультета Московского университета



Константин Бальмонт. Фотография, подаренная им Николаю Петрову

тые глаза. Он пошел в свою мать — карелку Прасковью Макаровну.

Николай Матвеевич отлично учился в шуйской гимназии. Он рано начал бегать по урокам и уже со второго класса делал микстуры и порошки в аптеке своего отца. Тот был беззаботным человеком, увлекался бильярдом и охотой и по несколько дней пропадал из дому.

Учась в старших классах гимназии, Николай Матвеевич жил в семье Бальмонтов* — был репетитором у Константина и его брата Аркадия. Они часто ездили в имение Бальмонтов Гумнище, где вместе охотились и обучали грамоте хорошеньких горничных.

Николай и Константин поступили в Императорский Московский университет: один — на медицинский факультет, другой — на юридический. В университете тогда были революционные брожения, сходки, ждали приезда инкогнито какого-то студента — марксиста из Казани. Им оказался Владимир Ульянов.

На студенческом собрании Константин, прикрыв лицо башлыком, чтобы его не узнали «педеля»**, развернул на хорах красный флаг.

Потом пути друзей разошлись. После окончания университета в октябре 1891 года (диплом под номером 866 выдан 18 ян-

* К.Д. Бальмонт считал, что его фамилия должна произноситься с ударением на втором слоге.

** Надзиратели (студенческий жаргон).



*Дом Н.М. Петрова в Малоярославце.
Сгорел от снаряда во время войны*

варя 1892 года) Николай Матвеевич не захотел остаться на кафедре, куда его приглашали как способнейшего выпускника, и уехал работать в провинцию. Он предпочитал жить ближе к природе, чтобы иметь возможность охотиться. Он и отпуск всегда брал в августе, в охотничий сезон.

Николай Матвеевич получил место в Малоярославце. Его семейная жизнь не была счастливой — первая его жена оказалась неумной и эгоистичной.

Как-то, приехав в Москву по делам, Петров увидел афишу, сообщавшую, что в Политехническом музее будет выступать поэт Бальмонт, к тому времени завоевавший громкую славу. Николай Матвеевич пришел на его вечер. Он вошел в зал во время перерыва. На эстраде, окруженный поклонниками, стоял Бальмонт. Увидев Петрова, он закричал: «Разойдитесь, пропустите! Это мой друг юности!...»

Году в 1909-м в Малоярославец из Козельска переводят судью Ивана Ивановича Вишнякова, нашего деда, с женой и дочкой. Городок был маленький, и вскоре нашей бабушке стало известно, как несчастлив в браке врач Петров. А врач Петров узнал, что у судьи Вишнякова трудный характер, и что Вера Николаевна, его жена, очень страдает. Бабушка и Николай Матвеевич часто встречались на людях, но сдерживали взаимное влечение, чтобы не давать пищу кривотолкам.

Им помогла соединиться так называемая империалистическая война. Первое время после мобилизации в июле 1914 года



Николай Матвеевич – молодой врач

Петров работал в госпитале в Калуге. Жил он в номерах. И так случилось, что бабушка поехала в имение родителей, но ее экипаж сломался, и она остановилась на ночь в той же гостинице.

Гостиница была небольшая, двухэтажная, с кафельными печами. На изразцах были нарисованы вазы с фруктами, и под ними по-французски написано: «Утешение женщин».

Внизу, в вестибюле, висела доска, на которой постояльцы записывали свои имена. Бабушка увидела фамилию Николая Матвеевича, а он прочел ее имя. И нанес ей визит, и они наконец объяснились.

Николай Матвеевич был зачислен в 499-ю пешую Калужскую дружину в качестве старшего врача, потом служил в разных полках Десятой армии, которая

в 1916 году обороняла Рижское побережье. За отличия в делах против неприятеля он был награжден орденом Святого Станислава 3-й степени с мечами и с бантом. И все три года войны Петров проработал в госпиталях и походных лазаретах — вот уж была богатая практика, особенно хирургическая!

Бабушка, уехав от Ивана Ивановича в Москву, бисерным почерком писала длинные письма Николаю Матвеевичу и несколько раз ездила к нему на фронт.

После революции Петров демобилизовался и вместе с бабушкой уехал в город Лух к своему отцу. А потом они перебрались в Иваново-Вознесенскую губернию. Николай Матвеевич был бессребреник. Свой дом в Малоярославце он оставил первой жене и жил с бабушкой на казенных квартирах. Он получал государственную зарплату и очень сердился на деревенских пациентов, которые приходили к нему на прием с гостинцами. Правда, хитрые бабы стали оставлять узелки с яйцами, салом и творогом на кухонном крыльце его квартиры, откуда их забирала Аннушка, вскоре разоблаченная.

Скольким людям помог на своем веку Николай Матвеевич — не счесть. Врачом он был от Бога. У него была замечательная интуиция, которая сочеталась с опытом и знаниями, мягкие и точные руки хирурга. Эти руки помогли Андрею появиться на свет.

Город Юрьевец на Волге стал последним пристанищем Николая Матвеевича. Практиковать он уже не мог из-за прогресси-



Николай Матвеевич Петров с персоналом Завражской больницы

рующей стенокардии и занимал необременительную должность судебно-медицинского эксперта. В последний месяц жизни он не мог лежать и 24 февраля 1936 года умер, сидя в своем кресле. Прожил Петров семьдесят лет. После него остались книги по медицине, врачебные инструменты, охотничье ружье и старенький велосипед, на котором он ездил по вызовам.

Какое счастье, что в начале жизни нам дано ощущение нашей единственности, нашего бессмертия! Только с годами мы начинаем понимать, что уйдем так же, как ушли жившие до нас, и невозможно ни задержаться, ни зацепиться.

Можно только постараться пройти свой путь достойно, как прошли его — каждый по-своему — подросток из семьи знаменитого московского художника, лежавший в гипсе на даче в Оболенском, и молодой врач из Малоярославца, спешивший к нему тревожным августовским вечером далекого 1903 года.

Два письма. 1916 год

С тех пор прошло много-много лет. Можно посчитать: 2005 — 1916 = 89. Восемьдесят девять лет!

Давно нет на свете авторов этих писем. Ветхие пожелтевшие бумажки легко могли сгнить в водовороте грозной истории двадцатого века. Но не сгнули, потому что бабушка Вера



*Николай Матвеевич Петров –
военный врач*

Николаевна берегла их в своем фибровом чемодане, который возила за собой – из Москвы в Малоярославец, из Малоярославца в Кинешму, из Кинешмы на Красный Профинтерн, в Завражье, Юрьево... И опять в Москву.

Так сохранились эти два письма – бабушкино к Николаю Матвеевичу Петрову, который как военный врач был в армии, и Николая Матвеевича Петрова к бабушке, которая, уйдя от своего первого мужа, жила в Москве у своей сестры. Бабушке в 1916 году было тридцать шесть лет, Николаю Матвеевичу – сорок, маме – девять. Она оставалась в Малоярославце со своим отцом, Иваном Ивановичем Вишняковым, и няней Аннушкой.

На фоне событий Первой мировой войны и дальнейшей

истории эта переписка – всего лишь свидетельство драмы рядовых, ничем не примечательных людей. Но мне кажется, что их страдания – несколько аффектированные бабушкины, искренние и глубокие Николая Матвеевича – не испарились навеки, а, слившись со страданиями миллионов других людей, живут в памяти человечества, повторяются в иных судьбах.

Бабушка Вера Николаевна:

«1916 г. 30 ноября.

Мой дорогой, мой ненаглядный Котя, как тяжело, как невыносимо тяжело и грустно писать тебе эти строки и знать, что они тебя расстроят, но делать нечего, больше страдать и таить в себе не могу; я должна вылить тебе свою душу и поделиться горем. Могу сказать, не так это легко забрать себя в руки, как это казалось! Опять на меня напала безысходная тоска и отчаяние. Совершенно не могу спать, даже выпив два порошка морфия. Бедная Маруся не выходит у меня из головы; последняя моя поездка еще больше подтвердила мое всегдашнее убеждение, что жить без нее я не могу. Верить, ее просьбы не уезжать, ее слезы и скорбное личико всегда стоит перед моими глазами и укоризненно смотрит на меня.

Чего я только не перенесла, любя тебя: ругань, угрозы, побои, осуждение, дала на растерзание свое доброе имя замужней



Вера Николаевна Вишнякова (урожденная Дубасова)

женщины, шла на компромисс со своим убеждением, безропотно перенося свое нелегальное положение (ты хорошо знаешь, что этот вопрос всегда изводил меня до нельзя, и я только, как говорят французы: «Je faisais bonne mine aux mauvais jeux»*, но принести в жертву благополучие ребенка, которого я носила под сердцем, ради своего личного счастья не могу — это выше моих сил. Я знаю, что Бог меня накажет, я боюсь его возмездия. Может быть тебе не понятен мой страх? Но пойми — во мне течет кровь польки, а они все религиозны до фанатизма. Этот вопрос уже давно меня беспокоит, я оправдывала себя тем, что любить не грех... Но теперь вижу, что действительно любить не грех, но для достижения этой любви шагать через несчастье людей грех великий и непростительный. И в настоящее время, как я ни стараюсь оправдать себя и заглушить голос совести, он бьет в набат и положительно не дает мне покоя. Кажется, чего мне надо, я люблю и пользуюсь полной взаимностью, но в глубине души я глубоко несчастна! Правда говорят, что никогда не выстроишь своего счастья на чужом несчастье. Помнишь, как я всегда напоминала тебе о возмездии Провидения. Как я его боялась, зная, что рано или поздно, но за всякое неправильное дело это будет. И вот теперь я уже его испытываю, невыносимо страдаю за свой грех против ребенка. На Ивана Ивановича сетовать не имею нравственного права, т.к. ведь он очень страдает,

* «Я делала добрую мину при плохой игре» (франц.).



*Маруся Вишнякова с отцом
Иваном Ивановичем. Несколько лет
он не отдавал дочь матери*

потеряв жену, и единственным утешением его мрачной жизни служит Маруся. Зло ему сделать тоже не могу и без того он глубоко несчастлив. Доведись мне стать на его место, и я поступила так же. Веришь, на меня нашла жалость ко всем... и преследует картина семейной разрухи.

Вчера, желая хоть немного забыться ото всех этих мыслей, пошла в кинематограф. Шло «Чья вина?» — психологическая драма Вербицкой. В заглавной роли была Преображенская (мы ее видели с тобой в «Приваловских миллионах»). Играла она бесподобно, инсценировка великолепная, но сюжет для меня самый пагубный. Картина вроде моей, только с небольшими изменениями, здесь мать бросает дочь Маню ради искусства. Вели-

колепно передано страдание ребенка среди ужасной обстановки в новой семье отца; вся ее жизнь лишена забот любящей матери, затем переживания самой мамы, которая, достигнув славы и не удовлетворившись, начинает метаться в поисках за своей дочерью и когда находит, было уже поздно. Вообще, убийственная драма! Можешь себе представить, что я переживала и без этого истерзанная разными предположениями. Конечно, плакала весь сеанс и страшно расстроилась. Могу сказать одно, нет больше счастья, как чувство спокойной совести и исполненного долга.

Прости за такое грустное письмо, но что делать. Я не могу удержать крика больной души... Я думаю поехать в Ярославль навестить Марусю и если Иван Иванович согласится отпустить со мной Марусю, поеду с ней в Крым. Хочу отдохнуть от всех переживаний. Буду жить с Лизой*, иначе, думаю, он не поверит мне нашу «драгоценность».

Всего лучшего, целую тебя крепко крепко, твоя несчастная «Веруся».

Сейчас получила твое письмо от 21 ноября. Очень рада, что тебе понравился френч, носи его на здоровье. Прошу тебя при первой okazji пришли корзину, в которой были вещи — она чужая. Не думай, что я хочу тебя упрекнуть, но я отлично пони-

* Елизавета Ивановна Вишнякова, сестра Ивана Ивановича.

маю, что после того, как у тебя была «А»*, да еще играла в преферанс, мое положение, если я бы приехала к тебе, было бы еще щекотливее, чем в «П**».

P.S. Пиши, как прежде в Спасские казармы, кв. №6, мне.
Целую тебя крепко, пойми и все прости».

Итак, бабушка хоть и не очень определенно, но отказывается от своего счастья, чтобы принести себя на алтарь материнской любви. Но вопреки этому желанию она так и не вернулась к Ивану Ивановичу, который отдал ей дочь только через несколько лет.

Бедная мама, девочка Маруся! Она никогда не рассказывала мне, каким глубоким горем была для нее разлука с матерью. Жизнь без матери с суровым отцом, выпавшая на годы, когда формировался ее характер, тайные свидания с ней сделали ее застенчивой, замкнутой, закрытой. С годами мать стала для нашей мамы чужим человеком. Вот что писала бабушка Льву Владимировичу Горнунгу во время войны: «Да разве Маруся когда-либо впускала в свою жизнь! Она с детства была страшно замкнута, и стоило только к ней близко подойти, как она сейчас же, как улитка, уйдет в свою раковину. Даже подростком она не переносила никаких советов, учений житейским премудростям, а теперь и говорить нельзя!» Только предсмертная болезнь бабушки и ее смерть — я была тому свидетелем — смягчили сердце мамы, вернули любовь к матери, спрятанную глубоко в ее душе.

Передо мной ответ Николая Матвеевича. Он с такой страстью взялся за перо, что вначале говорит о бабушке, своем адресате, в третьем лице, лишь на второй странице возникает обращение к ней.

Пусть он простит меня за то, что я публикую его письмо, полное отчаяния и подлинного горячего чувства. Но и здравомыслия. И мужской воли. Он разбивает в прах бабушкины рассуждения о греховности ее любви.

«Нет сил, нет слов выразить те муки и ужас, которые я переживаю вот уже несколько дней и ночей. И горе, и печаль, и возмущение сплелись в один комок и сосут до жестокой боли мое сердце. Мысль скачет и путается то в ясных определениях, то в противоречиях. Нет покоя! Нет ничего в душе. Пустота и щемящая боль. Где же справедливость? Где Провидение? Кому же можно верить и отдать душу и жизнь? Я любил ее беззаветно, самозабвенно, всеми атомами своего существа. Верил, как фанатик, верящий в Бога и радостно идущий на крест. И что же? Раз-

* Жена Николая Матвеевича Аделаида Дмитриевна.

** Город Пернов, сейчас Пярну, в Эстонии.

бито все, разбито как-то странно, как-то не любящей и нежной душой, а какой-то формальной фразеологией.

Она сама в начале первой половины нашей любви сомневалась в моих чувствах, прошла смотря серьезно, брала слова — мои клятвы, что я никогда не брошу ее, и когда уверилась, когда стало очевидно, что я все принес к ее ногам, она начала поддаваться каким-то уверениям в противности наших отношений, жалости к тому, от чего хотела бежать. Непонятно, странно! Какой же грех — любить? Об этом тоже сто раз говорили и пришли к противоположному заключению. От этих рассуждений о греховности веет какой-то скрытой задней мыслью и неискренностью. Но я ей верю еще и не могу этого допустить. Греховность эта (конечно, теоретическая) возникла со временем христианства и возникла на почве иезуитства или языческой косности. Христос вознес любовь не только брачную, но вообще всякую до таинства (отчего и церковный брак — таинство), Бог благословил любовь. Но люди — сильные мужчины — обратили эти таинства в свою пользу и возвели насилие в принцип, создали понятие долга, обеспечивающего эгоизм мужчины и поработили женщину. Только любовь должна быть долгом. В противном случае ложь и обман, самые низкие грехи человечества. Это вот грех, а любовь — высшее благо, добродетель самого святого происхождения. Ведь мы с тобой говорили на эту тему, ты была согласна со мной и теперь тебя убедили в противоположном? Кто, чем? В чем ты увидела мщение провидения за свою любовь? Что ты страдаешь за Маню? Но ведь ты и раньше страдала, мне не понятны твои терзания, и во всяком случае можно было найти другой выход. Я предупреждал тебя, дорогая, давно, что с одним вопросом придется считаться, что ее выставят как последний козырь, чтобы связать твою волю. Что ты говорила мне, вспомни. И так недавно, в последнее свидание. Неужели ты была неискренна? Я не могу этого допустить. Я безусловно верил тебе. И если бы не было этой веры и сейчас, в душе моей мрак и ужас. Кому же верить? Ожидать всю жизнь, всю мысль тебя, верить безгранично и вдруг все — трах... с этим не мирится мой ум и никогда не помирится мое сердце. Я должен буду счесть себя оплеванным, униженным, слепым и полным ничтожеством. Тогда не стоит жить. Проклятие всему! Унижено все святое, все возвышенное! Подумала ли ты обо мне? Вот других пожалела, а меня спихнула в бездонную, мрачную пропасть.

Сколько раз, когда еще не дошли мы до последней грани отношений, просил, молил тебя подумать, способна ли на беспредельное чувство, будешь ли ты со мной счастлива; ты говорила положительно, я поверил, был брошен жребий, пережито много драм, близких к трагедии, и когда уже приблизился положительный формальный момент развязки, ты бросила меня. Объясни мне, объясни искренно, дружески. Я не могу еще взять

в толк. И мне все еще не верится, что мы уже не близки. Скажи мне все просто. На мои последние два письма ты не хочешь и ответить. Бог с тобой! Я никогда не буду навязываться, никогда не буду «требовать» любви. Но дай мне понять, что ты и что с тобой. Одно мне лишь могло бы дать ключи к уразумению, если бы ты кого полюбила. Но ты в Ярославце, в той душевной атмосфере, из которой хочешь вырваться. Значит, что-то не то. Ты разлюбила меня? Ну, ты и скажи просто.

А я люблю тебя беспредельно. Создан был, есть храм, где ты — мое божество. В нем буду служить. Буду одинок, но вместе с тем образом, который в душе. А реальный отойдет в сторону. Реальность — фикция. Если... реальность разобьет все, что казалось истиной, запачкает грязью самое дорогое, самое святое, ну, тогда умру.

Поменяемся ролями — на моем несчастье ты будешь строить свое счастье. Н.

Ты думаешь Иван не отомстит тебе в будущем, что ты любила меня? Только теперь он притаился ласковым и нежным зверенышем, и попомни меня: жестоко обидит тебя. (Вероятно, по теории праведного мщения: это за меня.) Ты думаешь, и дочь оценит твою жертву впоследствии и не нанесет обиды? Ошибаешься. (Тоже за меня.)

Прости, что пишу тебе. Не могу не писать. Неужели ты так жестока, что не напишешь мне? Если так, то больше не буду утруждать тебя своими письмами о своей больной душе.

19.XII.916».

Я уверена, что именно это письмо соединило Николая Матвеевича и бабушку на долгие годы. Иначе зачем она хранила эти странички в своем старом фибровом чемодане?

Кирилка

Я не знаю, ездила ли бабушка с мамой в тот год в Крым. Думаю, что нет. Зато определенно знаю, что в Крыму, в Балаклаве, они были несколькими годами ранее. Знаю это от мамы, знаю и по бабушкиным рассказам. Помню, что в детстве слушала эти рассказы с интересом, но никогда не задавала вопросов вроде «А что было дальше?». Поэтому путешествие бабушки и мамы в Крым, кажется в 1912 году, осталось в моей памяти не как событие, имеющее начало и конец, а как отдельные истории, главной из которой была история куклы Кирилки. Но о ней чуть позже.

Я уже рассказывала, что в детстве любила играть моточками кружев, лежавших в большой атласной коробке из-под конфет (так провозносила бабушка). А коробка эта появилась у бабушки

как раз во время ее путешествия в Крым. Чтобы не скучать в купе, она взяла с собой белые нитки кроше и вязальный крючок. Ехавший в том же вагоне молодой офицер, желавший поухаживать за молодой дамой, поинтересовался, что она собирается вязать. Бабушка ответила, что за время пути хотела бы связать себе сумочку с бахромой и со шнурами-ручками. «Бьюсь об заклад, что вы не успеете ее связать до прибытия поезда в Крым!» — воскликнул офицер. Бабушка согласилась на пари, принялась за работу и связала сумочку за одни сутки.

Офицер признал свое полное поражение, на первой же станции вышел и вернулся с роскошной коробкой, которую с поклоном преподнес бабушке. Коробка давно канула в вечность, а сумочка из кроше сохранилась. Я до сих пор восхищаюсь бабушкиным искусством, особенно шнуром, связанным крючком.

Бабушка и мама прибыли в Балаклаву и сняли квартиру. Мама вспоминала, что добрая хозяйка как-то угостила ее куриными шкварками, от которых у мамы разболелся живот.

А еще она вспоминала, что в Балаклаве они видели царскую семью, проезжавшую в открытом ландо. Все четыре девочки были в белом — в одинаковых белых платьях, с белыми бантами в распущенных волосах. Наследник — в матросском костюме. Семья показалась маме довольно заурядной, в костюмах она ощутила что-то мещанское. Конечно, это свое детское впечатление она осмыслила позже. Тогда же мама не испытала «священного трепета», а почувствовала только, что царь и царица — просто люди, как и все.

Бабушка, естественно, тоже видела царскую семью, но говорила об этом совсем в другой интонации. Рассказывала с почитанием и восторгом. Описывала платья великих княжон, шляпу и белый кружевной зонтик царицы.

Про злополучные шкварки бабушка никогда не вспоминала, зато часто рассказывала мне о том, как она выиграла в лотерею куклу Кирилку.

Эта кукла с фарфоровым личиком, с закрывающимися карими глазами пережила много невзгод, но сохранилась, и я в нее играла после эвакуации. За многие годы и за многие переезды она утратила свой роскошный наряд — кружевное платьице, панталончики и шляпу, которые можно было увидеть на фотографии, снятой в Калуге.

На карточке мама вышла заплаканной и сердитой, а Кирилка — безмятежно-прекрасной. Мама, раздосадованная тем, что для съемки бабушка завила ей волосы и наряжала то в бархатное платье, то в полосатый курортный костюмчик, плакала оттого, что Кирилка никак не хочет стоять на кресле, падает.

Не такой нарядной, но все же прелестной барышней была кукла и в Переделкине весной 1944 года. Ее красивые карие гла-

за были так же изумленно распахнуты, нежные фарфоровые щечки пылали румянцем. Я сидела на крылечке дома и переодевала Кирилку. Но резинка, на которой держалась белокурая головка с настоящими волосами, от ветхости порвалась. Голова отделилась от покрашенного в телесный цвет тела из папье-маше, упала на ступеньку крыльца и раскололась. Трещина прошла по лицу Кирилки, обнажился ужасный механизм закрывания и открывания глаз. Я долго пыталась приладить один кусок фарфоровой щеки к другому, но ничего уже нельзя было поделывать — кукла погибла.

Жизнь ее в нашей семье началась именно в тот год, когда бабушка ездила с мамой в Балаклаву, тогда не закрытый военный порт, а симпатичный курортный город. В курортном саду для публики была устроена лотерея. Разыгрывались разные предметы, но вдруг вынесли чудесную куклу с закрывающимися глазами, прелестно одетую, в носочках и туфельках. Ведущий лотереи сказал, что это кукла — «барышня» и что ее именины именно сегодня, 5 июля. И достанется она тому, кто догадается, как ее зовут.

Бабушка бегом побежала домой, открыла святцы и нашла там месяц и день именин «барышни» — 5 июля были именины Кириллы. Бабушка вернулась в парк, написала на билете имя, и ей была торжественно вручена прекрасная кукла.

Редкое имя Кирилла мне встретилось в жизни всего один раз. Но кому оно принадлежало! Дочери художника Фалька и внучке Станиславского и Лилиной. Имя моей погибшей куклы волею случая оказалось связанным с целым пластом русской культуры.



*Маруся Вишнякова
с куклой Кирилкой*

Член семьи по имени Аннушка

Однажды летом 1906 года в дом нашего деда, судьи Ивана Ивановича Вишнякова, который жил со своей молодой женой в городе Козельске Калужской губернии, постучалась какая-то крестьянка. Была она в лаптях и бедно одета. С ней пришла ее дочь, немолодая девушка. У них не было ни жилья, ни работы,

и бабушка оставила их в доме. Отцом девушки был прохожий солдат, а родом они были из ближнего села Нижние Прýски, бывшей вотчины братьев Киреевских, похороненных в Оптиной пустыни, что напротив Козельска.

Бабка — так почему-то называли в доме старшую крестьянку — стала маминой нянькой, а ее дочь, с ласковым именем Аннушка, помогала по хозяйству. После смерти своей матери она попросилась остаться у бабушки и прожила у нее почти сорок лет.

Со своим вторым мужем, врачом Николаем Матвеевичем Петровым, в 1918 году бабушка уехала на Волгу, в Кинешму. Там они обзавелись хозяйством и даже купили корову ярославской породы, черную с белым. Звали ее Голубка. Аннушка полюбила корову и ходила за ней, как за малым ребенком. Она прощала Голубке все, даже страшный удар рогами в грудь, от которого чуть не погибла.

Характер у Аннушки был не сладкий. Она или ворчала, или молча дулась, или устраивала бабушке грандиозные скандалы. Поводы были разные: то бабушка при готовке извела слишком много посуды, то взяла не то полотенце, то плохое сено сторговала для Голубки. Бабушка плакала, жаловалась Николаю Матвеевичу, но Аннушку почему-то не выгоняла.

В 1930 году Петровы переехали в село Завражье. Тогда же, в мае, в Завражье приехал погостить папа. А месяц спустя, к папиному дню рождения, бросив экзамены за последний курс, приехала и мама.

Николай Матвеевич, осмотрев папу, нашел его здоровье неудовлетворительным и прописал ему усиленное питание и парное молоко. Родители, наголодавшись в Москве, с энтузиазмом начали «питаться».

Приходила к ним в комнату Аннушка, становилась у притоки и спрашивала: «Вы сыты али голодни?» — «Голодны, Аннушка, голодны!» — «А коли голодни, то ступайте у кухню!»

Тем не менее она очень сердилась, если заставала на кухне папу и маму, что-то жующих без спросу. «Аннушка, — смущенно бормотала мама, — а мы тут кушаем!» — «Кушайте, кушайте, целый день все кушаете!»

И действительно, родители ели и днем и ночью. Страх перед неминуемым Аннушкиным скандалом не мешал им забираться в чулан и отрезать куски от висящего там окорока. Отсутствующие места они аккуратно прикрывали шкуркой. В конце концов шкурка скрывала только голую кость, что и было обнаружено Аннушкой...

Петровы переезжали с места на место, вместе с ними кочевали и Аннушка с Голубкой.

Старел и начал болеть Николай Матвеевич. Всю жизнь лечил других, а до себя руки не дошли. Он умер в Юрьевце в 1936 году, сидя в своем кресле. Лежать он уже не мог из-за сильной

стенокардии. Бабушка называла эту болезнь «грудная жаба», и мне представлялось ужасное пупырчатое существо, усевшееся на грудь к Николаю Матвеевичу и мешающее ему дышать.

После смерти мужа бабушка еще некоторое время держала корову. Но сено дорожало, денег не хватало, и Голубку продали. Аннушка, расставшись с коровой, стала еще сердитее и сильнее изводила бабушку.

А потом бабушка решила, что надо помогать маме, потому что ее оставил папа, и приехала в Москву вместе с Аннушкой и со своей громоздкой мебелью. Я не знаю, чем бы кончилась эта совместная жизнь, если бы не началась война.

29 августа 1941 года мы всей компанией выехали из Москвы в Юрьевец, где у бабушки была забронирована комната на улице Энгельса, та самая, в которой умер Николай Матвеевич.

Из этой поездки мне запомнился вагон и маленький мальчик. Абсолютно голый, он стоял на лавке и пил воду из стакана, который ему подавала мать. Другой рукой она держала ночной горшок, в который этот мальчик писал. Это необычайное зрелище так меня потрясло, что остальные впечатления от поездки я забыла. Зато хорошо помню баржу с пустыми пивными бочками, на которой мы плыли из Кинешмы в Юрьевец.

Там, в маленькой комнате в доме № 8 по улице Энгельса, мы распределились следующим образом: бабушка спала на диване, я на постели, Андрей — на складной походной кровати, привезенной с войны 1914 года, мама — на столе, на том самом, на котором в 1932 году родила Андрея.

Аннушка устроилась в конце коридора у окна, за занавеской. У нее там получилась отдельная комната — стояла табуретка, подоконник служил столом, а спала она на своем кованом сундуке, где хранились накопленные за многие годы вещи. Сундук запирался большим висячим замком, и мы с Андреем иногда удостаивались чести присутствовать при церемонии открытия сундука.

Аннушка была членом нашей семьи, но при этом сохраняла определенную автономию — берегла свою пенсию и вещи, в то время как мама и бабушка продавали и меняли на продукты все подряд.



Анна Яковлевна с Андрюшей

Однажды, лютой зимой сорок второго года, бабушка пошла на базар и вернулась без юбки, благо у нее под ней была вторая, полегче. Верхнюю юбку, сшитую из коричневой портьеры с отделкой в стиле «либерти», она выменяла на застывший в форме миски желтый кружок русского масла.

Голодали все, голодно было и Аннушке. Но расставаться со своим добром она не спешила. Вот что бабушка писала папе на фронт: «Все деньги твои получили, но имели долги, у Анны взяли на дрова. Между прочим, она, увидав, что мы стали плохо питаться, ушла от нас ухаживать за двумя детьми. Вообще зелье! У нее все вещи, что она привезла из Москвы (четыре больших тюка), целы и неприкосновенны...»

Аннушка ушла от нас потихоньку, ночью. Просыпаемся — а ни Аннушки, ни ее сундука нет. Забеспокоились, конечно. Ну а потом узнали, что ушла она в семью начальника юрьевецкого лесного хозяйства.

Теперь Аннушка питалась хорошо и называли ее уважительно Анна Яковлевна. Она привязалась к своим новым воспитанникам и часто рассказывала им о нас — о мальчике Андрюше и о девочке Марине. Она ставила нас в пример — какие, мол, они были послушные и хорошие. Аннушка очень переживала, что оставила нашу семью, и учила свою новую хозяйку запекать окорок и делать пасху по бабушкиным рецептам. Когда у ее воспитанницы родился сын, она посоветовала назвать его Андреем.

Умерла Анна Яковлевна Адриянова в 1965 году, в том же возрасте, что и наша бабушка, бывшая ее хозяйка.

Пуговицы

Деборе Адельман — в память
о московской весне 1989 года

Каким образом появилась у нас эта овальная жестяная коробка? Она явно довоенная, расписанная в народном мадьярском стиле цветами и сердечками, и на ней по-венгерски написано, что «этот кофе надо пить с цикорием Святого Иштвана». Наверное, она была привезена кем-то с фронта — с одной стороны краска на ней потемнела от огня. А может, коробка обгорела при других обстоятельствах, кто знает? С конца сороковых годов в ней лежат у нас пуговицы. Иногда, когда я остаюсь дома одна, я высыпаю их все на постель, становлюсь возле нее на колени и перебираю их, подолгу держа каждую в руке.

Вот большая черная пуговица с четырьмя дырочками. Бабушка говорила, что сделана она из пальмового дерева. Она была пришита к драповому пальто Николая Матвеевича Петрова, второго мужа бабушки. Бабушку нельзя было назвать красави-

цей, но была она веселой, кокетливой, хорошо пела и любила одеваться. У нее были чудные каштановые волосы и живые карие глаза восточного разреза — один из предков ее отца женился на увезенной из Орды татарской княжне. Была бабушка легкой и покладистой, но ревновала Николая Матвеевича и часто напоминала ему, что пожертвовала ради него своим добрым именем. Николай Матвеевич терпеливо сносил сцены и знал, что бабушку надо хвалить за хороший характер и за прекрасные обеды, но жил своей жизнью — много работал, ходил на охоту и не чуждался женщин. Задолго до знакомства с бабушкой, в бытность студентом, Николай Матвеевич скопил денег и посетил Европу. От его путешествия осталось множество пожелтевших открыток с изображением античных статуй и картин великих мастеров, которые любил рассматривать в детстве Андрей.

Пальмовые пуговицы с пальто Николая Матвеевича перекочевали на бабушкину шубу, а с износившейся вконец шубы — на черное, грубого сукна, последнее пальто бабушки. Его она носила до своей смерти в 1966 году. Почти слепая, с палкой, никого не узнавая, она ходила вдоль забора у дома в 1-м Щиповском переулке и просила милостыню у проходящих мимо людей. Собрав немного мелочи, она шла в магазин через дорогу и покупала грамм двести дешевых конфет.

Вот две медные резные пуговицы — то ли от театрального костюма, то ли действительно старинные. Их как-то принес домой Андрей, когда ему было лет семнадцать. Какой он был красивый — хорошо сложенный, широкоплечий, с густыми темнорусыми волосами, с юношески мягкими чертами лица...

А это не пуговицы, а совсем посторонние предметы — блестящая, будто лаком покрытая черная фасолина и вторая, пестрая. Это мы с мамой отобрали их из купленной когда-то на суп фасоли и оставили «для красоты». Вот папина запонка с красноватым уральским камнем, почему-то одна. Хотя понятно, почему. Она осталась у мамы, потому что была непарной. К чему папе одна запонка?

Три маленьких пуговицы с кофточки, подаренной моей редакционной сослуживицей Селестиной Маринеро. Перед возвращением в Испанию она раздавала кое-какие уже не нужные ей там вещи.

Когда шла в Испании гражданская война, мы «болели» за республиканцев и ненавидели фашистов. Поэтому, когда в сороковом году во время демонстрации Андрей увидел машину со свастикой на дверце, он что есть силы закричал: «Фашисты!» Перепуганная мама — она думала, что их сейчас же заберут, — стала его успокаивать и говорить, что это наши союзники. Но попробуй объясни ребенку то, что не поддается здравому смыслу...

Самые мои любимые пуговицы — это темно-красные, из прозрачной пластмассы, в виде палочек с косо обрезанными



Мама и Мария Георгиевна Хитрово

краями. В детстве мне казалось, что они похожи на конфеты. Эти пуговицы были на мамином черном костюме в рубчик, который ей сшила бабушкина портниха. Мама была равнодушна к одежде. В молодости носила то, что присылала ей бабушка. А после войны мы с Андреем уже не видели маму хорошо одетой. Она считала, что не имеет права тратить на себя деньги, и одевалась в случайные вещи. Мама была блондинка, с густыми длинными волосами, со спокойными серыми глазами, с нежной кожей. Мария Сергеевна Петровых говорила, что в молодости у мамы было «лицо как бы озаренное солнцем». Но эта озаренность быстро погасла. Есть пословица — каждый кузнец своего счастья. Мама была плохим кузнецом.

Она не умела устраиваться в жизни и как будто нарочно выбирала для себя самые трудные пути. Она не вышла вторично замуж, она пошла работать в типографию с ее потогонными нормами, она не поехала в эвакуацию с Литфондом — и все потому, что не могла кривить душой даже перед собой. Казалось, что в жизни ей ничего не нужно — была бы чашка чая с куском хлеба да папиросы. Вся ее жизнь была направлена на наше с Андреем благо. Но она нас не баловала, напротив, была иногда с нами слишком сурова. А в воспитании Андрея, наверное, сделала ошибку — старалась его подчинить, заставить слушаться, а это было невозможно и только отдалило его от нее.

Мамин черный костюм ей очень шел. Это видно на фотографиях, которые сделал в сороковом году Лев Владимирович Горнунг. Они были сняты в доме у нашей доброй знакомой — Марии Георгиевны Хитрово. Мария Георгиевна преподавала французский в Институте иностранных языков. Это был ее родной язык — она родилась в Париже. Молодой девушкой она познакомилась с русскими барышнями, сестрами Хитрово, и по их приглашению приехала погостить в Россию. В красавицу француженку влюбился их брат, и вскоре мадемуазель Мари стала Марией Георгиевной. Потом была революция, Гражданская война. Каким-то чудом ее миновали сталинские репрессии и немецкие бомбы. Мария Георгиевна приютила нас, когда мы приехали в Москву из эвакуации. После поезда мама повезла нас сначала в санпропуск-

ник на Трубную площадь, потом в Литфонд, а оттуда — к Марии Георгиевне. На углу Казарменного переуллка, где она жила, стоял разрушенный дом. Видны были клетушки комнат с разноцветными обоями и зацепившаяся за балку железная койка. Мария Георгиевна куда-то отлучилась, и мы долго сидели на лестнице у ее двери. Меня тошнило от голода и усталости. Андрей тоже очень устал и тихо сидел на ступеньках. От бледности веснушки на его лице стали виднее. Наконец пришла Мария Георгиевна. Она накормила нас и положила спать на свою широкую кровать красного дерева, покрытую стеганым ватным одеялом. Мария Георгиевна жила тогда одна — и муж ее, и сын были на фронте...

Я все еще стою на коленях возле кровати и перебираю пуговицы, эти странные кусочки пластмассы, дерева и перламутра, способные мне напомнить еще о многом.

«Из Эри в Онтарио...»

В воспоминаниях замечательного человека, издателя Михаила Васильевича Сабашникова, упоминается его домашний учитель географии Сергей Павлович Меч. Знакомое имя! Сергей Павлович преподавал географию в гимназии, где училась моя бабушка.

Как часто она мне рассказывала о своей гимназии, и я не могу сейчас простить себе мое «нелюбопытство». Я не знаю, в какой именно московской гимназии училась бабушка, которая с восторгом рассказывала о своих учителях. Русскую словесность преподавал у нее замечательный филолог, исследователь творчества Гоголя, автор «Материалов для биографии Гоголя», Владимир Иванович Шенрок. В Словаре Брокгауза и Эфрона сказано, что Шенрок два года работал в тульской гимназии, а потом, до 1902 года, в 3-й московской. Но в словаре не написано, была ли эта гимназия женской или мужской.

Бабушка с гордостью говорила, что получила у Шенрока высокие отметки, пять с крестом, за свои сочинения «Прибытие поезда железной дороги» и «Кремль и его святыни». Меня особенно волнует последняя тема. До революции на территорию Кремля люди входили, обнажив головы... Большевики надругались над кремлевскими святынями, погубили многие из них. По святым камням топали сапоги палачей, а жители России много лет не могли видеть своих самых главных площадей и соборов.

Вернусь к имени географа Меча. С какой любовью произносила бабушка имя Сергея Павловича! Он великолепно знал свой предмет, а для лучшего запоминания географических названий придумывал короткие, но выразительные и забавные стишки. Некоторые из них помогли и мне запомнить на всю жизнь, что река Иртыш — это приток Оби, а остров Суматра находится у самого экватора.

Обь с Иртышом —
Сергей Палыч с карандашом.

Суматра, Борнео, Ява, Целебес
Под самый экватор залез.

Из Эри в Онтарио
Течет Ниагара,
Шумит же она
Посильней самовара.

Ни бабушка, ни мои родители, ни я никогда не видели Ниагарского водопада. Но одна пожилая француженка рассказала мне, что она несколько лет жила рядом с этим знаменитым водопадом. Постоянно, и днем и ночью, слышался его мощный шум. Но однажды она проснулась от необычной тишины — грянули морозы, и водопад замерз...

Мне кажется, что этот рассказ о замерзшем водопаде очень понравился бы Сергею Павловичу Мечу.

А я вспомнила историю о замерзшем водопаде в октябрьские дни 1985 года. Я еще ничего не знала о смертельной болезни брата, но бессонными ночами почему-то в голове моей крутились строчки о смерти:

Когда мы слышим тишину?
Когда затихнет звук колес,
И ты останешься один на полустанке.

Когда мы слышим тишину?
Когда умолкнет шум воды,
И неподвижно повиснут струи ледяные.

Когда мы слышим тишину?
Когда не станет биться сердце...
Но этой тишины ты не услышишь.

Революционная деятельность Александра Тарковского

8 декабря 1884 года прокурор Одесской судебной палаты написал свое «Заключение по делу о Елисаветградском народолюбивом кружке».

Это отнюдь не означало, что следствие было окончено, — еще три года арестованные проведут в заключении. Среди проходивших по делу сорока одного человека первым назван врач

Афанасий Иванович Михалевич, а вторым — «дворянин Александр Карлов Тарковский, 22 лет».

Вот что написано о нем в «Заключении»:

«Из имеющих в дознании сведений, еще в 1880 году, будучи одним из организаторов общественных чтений между некоторыми учениками Елисаветградского земского реального училища, Тарковский уже в то время имел возможность добывать издания социал-революционной партии и снабжал ими своих товарищей.

В 1882 году, побывав в Киеве, Тарковский по возвращении в Елисаветград встает во главе образовавшегося в его отсутствие кружка саморазвития, который под его влиянием завел библиотеку и приступил к практической революционной деятельности, выразившейся в попытках организовать побочные кружки, устройстве гектографа и оттисках значительного количества программ и прокламаций Исполнительного Комитета, разосланных затем по почте разным лицам, причем как в гектографировании, так и в рассылке он принимает наиболее значительное участие.

Оставляя Елисаветград для поездки в Петербург, Тарковский обещал прислать на свое место опытного руководителя, через некоторое время действительно приехал из Харькова специально для руководства кружком нелегальный Ценьковский.

Уже из-за этого одного факта можно с достоверностью заключить, что Тарковский имел связи с лицами, принимавшими участие в социал-революционном движении вне города Елисаветграда, каковое предположение по крайней мере относительно революционных деятелей, проживающих в г. Харькове, вполне установлено показанием Виктора Верняковского.

Возвратившись снова в Елисаветград в начале 1883 года, когда во главе кружка стоял уже Левандовский, Тарковский занял видную роль «помощника главаря» и настоял на принятии кружком наименования «народовольческий». Затем Тарковский принял самое деятельное участие во всех преступных предприятиях кружка, являясь организатором большинства из них. Пропагандируя же идеи, ярким последователем которых являлся он сам, Тарковский ввел в кружок несколько новых лиц; при его энергическом содействии отгектографированы и пущены в обращение разные запрещенные издания, также изготовлены для сбора денег листки в пользу партии «Народной воли»...

В последнее время Тарковский принял на себя заботу о сохранении нелегальной части кружковой библиотеки, и место хранения таковой осталось необнаруженным. Выезжая на более или менее продолжительное время в Харьков, Тарковский по возвращении оттуда каждый раз привозил с собою большое ко-

личество запрещенных изданий... Вместе с тем Тарковский оказывал свое содействие и лицам, занимавшимся пропагандой в среде рабочих, причем это содействие выразилось в снабжении их книгами и запрещенными изданиями и в посредничестве при завязывании необходимых для пропаганды знакомств.

Насколько серьезное значение имело содействие Тарковского рабочей организации, видно из того, что когда Горбунов выехал из Елисаветграда и прибыл в Харьков, то Тарковский познакомил его с двумя неизвестными лицами, которые расспрашивали Горбунова о положении пропаганды в Елисаветграде и обещали снабдить его «связью» в Полтаву.

При допросе на дознании Тарковский признал себя принадлежащим к партии народовольцев («Да, я имею честь принадлежать к партии «Народная воля»!), но о подробностях своей деятельности и лицах, с коими он имел сношения, отказался давать показания. Как это обстоятельство, так и вообще все имеющиеся в дознании данные указывают на Тарковского как на человека, который, вполне проникнувшись преступными идеями, отдался на служение им со всею энергией молодости и своего холерического темперамента.

Ввиду этого, а также принимая в соображение, что Тарковский, являясь лицом материально обеспеченным, не скрывает своего намерения при первой возможности скрыться за границу, представляется необходимым принятие относительно его одной из наиболее серьезных административных мер»*.

Елисаветградские кружки и их предатели

В «Очерке революционного движения 80-х годов в городе Елисаветграде», написанном в 20-е годы, участник украинского кружка «Громада», друг семей Тобилевичей и Тарковских доктор Афанасий Иванович Михалевич пишет, что свидетельств о деятельности кружков почти нет, потому что «архив жандармского управления был кем-то похищен из архива окружного суда и продан базарным торговкам на вес как оберточная бумага».

Но вопреки этому обескураживающему сообщению Афанасия Ивановича кое-что сохранилось. Есть протоколы показаний Михалевича и Тарковского, есть так называемый «Обзор, написанный рукою обвиняемого Дудина во время содержания его под стражей в Елисаветградском Тюремном замке и составленный по показаниям его, Евгения Хороманского и Виктора Верняковского во время совместного их содержания».

* ЦГИА Украины, г. Киев.

Выдавали товарищей трое из арестованных (Хороманский, Верняковский, Дудин), а Евгений Чикаленко в «Воспоминаниях» называет и четвертого — служащего земства Дьяченко.

Благодаря усердию художника Дудина, подробно написавшего о работе Елисаветградского кружка самообразования, в конце февраля 1883 года переименованного в Елисаветградский народовольческий кружок, я узнала подробности противоправительственной деятельности дедушки Александра Карловича. Как тут не возникнуть крамольной мысли о пользе предательства!

Если же говорить серьезно, то во всей драматической истории провала кружков мне интереснее всего понять мотивы предательства Хороманского и Дудина — «главных» предателей. При этом надо учесть, что в 80-е годы в Елисаветграде физических воздействий на подсудимых не допускалось.

История Евгения Хороманского, о котором сложилось мнение как о «легкомысленном, неустойчивом молодом человеке, которого рабочие иначе чем «Женька» не называли»*, — это история слабого человека, не выдержавшего давления и угроз следователей и позже раскаявшегося в своей слабости.

Хороманский — дворянин, интеллигент, учился в реальном училище, но курса не окончил. Арестованный одним из первых по делу народовольческого кружка, он находился сначала в елисаветградской тюрьме. В городе скоро стало известно, что он выдает своих товарищей, и когда через пять месяцев он выходит на свободу, никто из знакомых не здоровается с ним. Говорят, что он и Дудин, тоже выпущенный из тюрьмы, находятся в постоянной связи с жандармерией. Хороманский уезжает в Харьков, где жандармы обещали ему работу, но обещанного места не получают.

И Хороманский и Дудин были уверены, что за свое сотрудничество с жандармами они получают свободу. Но через год с неболь-



*Афанасий Иванович Михалевич, врач,
член «Старой Киевской Громады»*

* «Красные вехи. Сборник воспоминаний и материалов по истории революционного движения на Зиновьевщине». Под редакцией Магри. Первый выпуск. Зиновьевск, 1925.

шим их вновь арестовали и отправили в Москву, в Бутырскую тюрьму, где содержались подследственные елисаветградцы.

В Бутырях Евгений Хороманский написал письмо своим бывшим друзьям — оно было передано тайком из Северной башни будущему автору книги «Ненастоящая тюрьма» Коцюбе*. Вот отрывок из письма Хороманского: «Я был арестован. Описывать вам возмутительные сцены выпытывания, запугивания я не буду, так как они хорошо известны каждому из вас; но то, что на взрослого здорового человека не оказало бы влияния, на мне не могло не отразиться самым губительным образом.

Вышедши на свободу после пятимесячного заключения, я был вполне уверен, что избавился от каторги и, к стыду своему, радовался. Но это было только на первых порах. Долго обманывать самого себя, успокаивать нелепыми афоризмами было невозможно. Начались мучения, вызываемые угрызениями совести, которые возрастали по мере возвращения сознания, овладевшего мною...

Как ни странно, но я был способен ходить к жандармам, с непонятным для меня цинизмом я смеялся над тем, чему недавно поклонялся... Мои действия не были у меня проявлением свободной воли. Это было одно из проявлений гипнотизма...»

В конце письма Хороманский просит у товарищей прощения за свой иудин грех.

Когда Евгений Хороманский вернулся из ссылки на родину — он отбывал ссылку в Енисейской губернии и был отпущен досрочно, — от него отвернулись решительно все. Он был вынужден уехать из Елисаветграда и умер вскоре от разрыва сердца в городе Каменец-Подольске.

Грустная и старая как мир история. История предательства, раскаяния и гибели...

С Самуилом Дудиным дело обстояло иначе. Вот его характеристика из статьи «Народовольческие кружки (1879–1884)»: «Дудин стоит того, чтобы сказать о нем несколько слов. Крестьянин по происхождению, с несомненными организаторскими способностями, художник, человек, который исполняет хорошо и точно всякое дело, за которое возьмется, — это была натура с несколько скептическим настроением. Народовольчество его не удовлетворяло. В последнее время он весь входит в изучение Маркса, делает длиннейшие выписки и вырабатывает странную теорию. «Настоящий социализм будет, он придет мирным путем и последовательно. Революция вредит только социализму».

Об этой теории Дудина рассказывает А.И. Михалевич в своем «Очерке революционного движения 80-х годов в городе Елисаветграде». «Настоящий социализм, по его (Дудина) мнению,

* Возможно, фамилия Коцюба — псевдоним автора.

должен распространиться последовательно и мирным путем. Все насильственные действия, все идеи переворота и революции крайне вредны для распространения социализма, и самые опасные враги — это революционеры. Поэтому для будущего торжества социализма их нужно уничтожать всеми способами. И он, Дудин, начинает эту борьбу и отдает в жертву своих товарищей, прочищая таким образом путь для социализма. Он в это время читает Маркса и делает из него длиннейшие выписки и в то же время, обладая колоссальной памятью, сообщает жандармерии всю фактическую сторону революционеров и соприкасавшихся с ними лиц, в общем до 120-ти фамилий, дает тонкие характеристики. Он не щадит и себя, отлично зная, что пострадать ему не придется. Не довольствуясь этим, он составляет очерк революционного движения в гор. Елисаветграде, очень ценный документ по своей обстоятельности и детальности. Мало того, он рисует на память портрет члена харьковской организации, жившего несколько месяцев в Елисаветграде и руководившего кружком. Этот портрет должен был служить для ареста последнего, так как его фамилия была неизвестна. Дудин выдал и рабочий кружок, т.к. он был связью между народолюбческим и рабочим кружком...» Итак, Дудин из идейных соображений выдает товарищей по кружку, в то время как сам в течение трех лет был его участником. Безо всякого принуждения, по своей воле, он работал для кружка — вырезал печати, принимал участие в гектографировании воззваний, встречался с рабочими.

Есть упоминание о том, что Тарковский не доверял Дудину. И Дудин как умный человек не мог этого не чувствовать. Из его «Обзора» очевидно, что фигура Тарковского его раздражала. Ведущая роль Тарковского подчеркивается Дудиным с нескрываемой иронией. Он не отказывает себе в удовольствии обрисовать его со смешной стороны. «1 марта 1883 года была попытка внести некоторое разнообразие в программу. В этот день сперва предполагалось поговорить по поводу события 1 марта 1881 года, выяснить его значение для русской жизни, для партии, а потом порешили и отпраздновать этот день, но в самый вечер его такая программа была забыта, и из вечера, который должен был иметь демократический характер, он обратился в пьяную вечеринку, о которой мы и говорить не станем.

Правда, со стороны Тарковского была попытка произнести речь, но эта попытка была пьяная и окончилась ничем, как и весь вечер».

Слова, которыми Дудин описывает деятельность Тарковского, подбираются с оттенком уничижения: «Тарковский вздумал было издавать сборник статей», «Началась индивидуальная работа, которой из Харькова лично дирижировал Тарковский».

Теория мирного перехода к социализму была, по словам самого Тарковского, придумана Дудиным для оправдания своего гнусного поступка. А ведь какая замечательная теория! И как бы мне хотелось оправдать умницу Дудина, пришедшего к этой теории задолго до революции и Гражданской войны!

Но почему же он не выступил с ней году в восьмидесятом, когда в Елисаветграде началось брожение среди молодежи? Почему он не пропагандировал ее и не отстаивал свои взгляды? Почему он заговорил о ней только тогда, когда начались аресты кружковцев? Почему он не раскаялся в своем предательстве, как Хороманский, а продолжал жить как ни в чем не бывало?

После ссылки в Забайкальскую область, которую он не отбыл целиком, Дудин переезжает в Петербург (ему было позволено жить в столице), поступает в Академию художеств и кончает ее. Его выпускной работой были иллюстрации к «Кобзарю» Тараса Шевченко. Дудин остается работать в Академии художеств, какое-то время он был там, кажется, библиотекарем. Но все же Дудин нашел применение своему художественному таланту — занялся фотографией. Коллекцией его снимков гордятся Этнографический музей и Кунсткамера в Санкт-Петербурге.

Прошло более ста лет со времени елисаветградского дела. Ошибки благородных бунтарей, желающих через кровь и насилие прийти ко всеобщему благоденствию, теперь очевидны. Солдатский сын Самуил Дудин был прав — к социализму надо идти мирным путем.

Но оправдать его предательство я не могу.

«День творенья» — 25 июня

Да не коснутся тьма и тлен
Июньской розы на окне...

А. Тарковский

Ощущение приближения праздника возникало задолго до двадцать пятого.

Волнение постепенно нарастало — надо было подготовиться к этому дню, подумать, что купить папе, что надеть. Денег обычно было немного, так что на роскошный подарок не хватало. Однако что-то покупалось — или одеколон (папа любил «Лаванду»), или крем для бритья. Как-то я подарила папе старинный флакон с серебряной пробкой, помню еще байковую, красную с черным, рубашку. Зачем я перечисляю свои подарки, ей-богу, не знаю. Жалею, наверное, что все это были какие-то мелочи и что ни разу не подарила папе чего-то значительного, как, к примеру, Андрей, который для него привез из-за границы электрическую бритву.

Помню дни рождения, которые отмечались на Аэропортовской. Собиралась разная публика — список приглашаемых составляла Татьяна Алексеевна, поэтому, помимо папиных друзей или знакомых того или иного периода (менялось время, менялись друзья), были и так называемые «нужники». Эти, может быть, милые люди чувствовали себя не в своей тарелке и стеснялись остальных. Мы, папины дети, расценивались Татьяной Алексеевной тоже как гости и наравне с другими заносились ею в список приглашенных.

Веселее проходили дни рождения в Голицыне. Если была хорошая погода, то все выходили в садик. Там папа делал шашлык, пек картошку. Вообще, праздничный стол обычно организовывал папа. Иногда он сам ходил на рынок, в магазин, покупал закуски, вино. Приезжающие из Москвы гости дополняли арсенал вин, привозили торты к чаю. Татьяна Алексеевна готовить не любила, она могла купить что-нибудь из полуфабрикатов, разложить по тарелкам нарезанные ветчину и сыр. Но все эти ненужные, может быть, подробности вспоминаются сейчас. А тогда было очень радостно прийти к папе, поздравить его, поцеловать свежесбриту щеку, увидеть, как он разворачивает сверток с подарком, услышать его радостные восклицания, почувствовать его ответный благодарный поцелуй.

На более поздние дни рождения, когда к папе пришла слава, когда у него появились ученики и поклонники, съезжалось очень много народа, причем это происходило стихийно и невозможно было ограничить число гостей — каждый хотел поздравить папу с его днем. Хорошо, если заказывался стол в Доме творчества или в Доме литераторов, тогда можно было посадить и угостить всех, выслушать поздравления, тосты и пожелания. Сказать по правде, мне больше нравились те, давние дни рождения, когда папу не окружала толпа поклонников, среди которых было много случайных людей...

День рождения 1985 года, такой счастливый для меня! Я предложила папе и Татьяне Алексеевне отметить день рождения у нас (они тогда уже жили в Доме ветеранов кино), и — о радость! — Татьяна Алексеевна согласилась. Конечно, тесновато, но об этом не думаю, как-нибудь усядемся все. Приглашено человек двадцать, да еще пришла съемочная группа — два человека, поставили осветительные приборы, камеру. Кинорежиссер Вячеслав Амирханян будет снимать здесь эпизод для будущего документального фильма об Арсении Тарковском.

А я рада, что приготовила замечательный стол, что гости будут есть не засушенные казенные пирожки, а домашние пироги — с капустой и сладкие, к чаю. Все мои задействованы — Саша раздвигает стол, перемывает бокалы, Катя ставит приборы.



*На дне рождения папы.
Катя играет для дедушки
Я показываю гостям его фотографию*



Я ношусь из кухни в комнату, забыв, что на волосах бигуди, а оператор снимает и снимает.

Позже, когда Слава Амирханян показывал отснятый материал, Татьяна Алексеевна заметила: «Марина сияет!» (Помню ироническую интонацию ее голоса.) Я действительно «сияла», мне так всегда хотелось, чтобы мы с папой были одной семьей и чтобы я не была только гостьей за его столом, как бывало все прежние годы...

И был последний папин день рождения, 25 июня 1988 года. И вспоминать об этом дне мне мучительно больно, но я все-таки расскажу о нем, потому что мне надо расстаться наконец с этой болью и простить тех (не знаю, смогу ли?), кто причинил боль не только мне, но и папе, старому, больному и беспомощному человеку.

В июне 88-го года стояла страшная жара. Двадцать пятого часов в двенадцать – телефонный звонок, голос Татьяны Алексеевны: «Марина, сейчас друзья нас увозят в Протвино». – «Как, Татьяна Алексеевна, туда ехать сто километров, такая жара, папа очень слаб, он просто не доедет». – «Ничего, мы откроем окно». Разговор окончен.

Приехали с дачи Катя и невестка Наташа (она ждала тогда второго ребенка), но поздравить папу им не довелось. У нас дома мы грустно отметили дедушкино рождение.

Папа часто в шутку называл меня «моя Корделия». Где им было знать, этим дамам (а в заговоре, помимо папиной жены, принимала участие и бывшая жена Андрея, Ирма, которую тогда я считала своим верным другом), увозившим от меня папу (как выяснилось позже, на дачу в Голицыно), что этот день был дорог нам не только светлой радостью, но и всеми прожитыми годами, всеми пережитыми невзгодами и потерями, памятью о маме и об Андрее. У нас с папой отняли этот последний день его рождения, но не смогли отнять нашу память и нашу любовь...

Папиных дней рождения довоенных мы не знали, были малы. К тому же каждое лето мама нас вывозила из Москвы, поэтому в лучшем случае мы с Андреем под «идейным руководством» взрослых осчастливливали папу нашими поздравительными каракулями. Мама пишет папе с хутора Горчакова:

«25 июня 36. Дорогой папочка! Сегодня день твоего рождения, Андрюшка рисует тебе картинку. Мы сидим под соснами за столом, а Мышка бегаёт в полосатом платъице и норовит уйти рвать зеленую смородину...»

Во время войны и мама, и мы, конечно же, помнили про папин день рождения. Мама считала этот день знаменательным и относилась к нему почти мистически.

«15 июня 42. Милый Ася! Поздравляю тебя с рожденьишком и желаю скорей-скорей кончить эту войну, прогнать немцев и здоровым вернуться домой. Думаю, что к 25 письмо дойдет. Твои письма шли одно 7 дней, второе — 9. Вспоминай 25 про нас, мы будем в этот день говорить и думать про тебя... Напиши, что будешь делать на рождение... Мариночка поздравляет тебя со днем рождения и посылает (оба посылают) тебе лепестков от розы.

Маруся».

«25 июня 42. Милый Асик! Еще раз поздравляем тебя со днем рождения, будь здоров и поправляйся скорей! Сегодня мы праздновали твое рождение: у нас был пирог с саго и 3 литра пива. Даже Мышу дали немного. И случайно пришла та тетя (Екатерина Александровна Дружинина. — М. Т.), где мы с Андреем играем на пианино, и пили за твое здоровье. Вот уж, теперь-то все у тебя будет хорошо!

Маруся».

«25 июня 42 г. Милый папа! Поздравляю тебя с днем рождения! На твое рождение мы пекли пироги. У нас вернулся Груздев без ноги с войны, они живут на той стороне коридора. Они все рады... Целую крепко-крепко.

Андрей Тарковский».

«8 июля 42. Милый Асик!... Раз день рождения у тебя прошел благополучно, теперь я совсем на твой счет спокойна — я совершенно непоколебимо уверена, что ты вернешься благополучно.

Маруся».

А если говорить о мистике, то возвращение с фронта соседа Груздева, потерявшего ногу, о котором писали папе и Андрей и мама, возможно, предвещало папину судьбу.

«26 июня 42. ...На днях вернулся совсем наш сосед. У него нет ноги, но сколько было радости! У него трое детей, и ему, и жене по 26 лет. Визг радостный стоял на весь дом. Даже наши ребята сидели на окне и ждали, когда он придет (вещи принесли раньше). Когда все успокоилось, и я их, наконец, разложила по постелям, Марина подняла вой: когда же приедет наш папа. Кое-как ее уговорили...

Маруся».

Прошел еще один долгий-долгий военный год.

«29 июня 43. Дорогой папа! Поздравляю тебя с днем рождения и орденом Красной Звезды! Папа, напиши, за что ты получил орден. Кто рисовал картинки на открытке?... Целую крепко-крепко.

Твой А.Т.».

Все проходит, кончилась и война. Папа вернулся...

Он прожил долгую жизнь. И было в его жизни много-много дней рождения, «малиновых» и «серых» — военных и мирных, грустных и веселых, которые он отмечал в «эпохи» трех очень разных жен в очень разных домах. И в этот значительнейший из его дней иногда рождалось стихотворение. Я насчитала восемь стихотворений, под которыми стоит дата 25 июня. Они написаны в 1928, 1931, 1934, 1936 (два стихотворения), 1938, 1940, 1945 годах. В публикациях папа иногда менял год написания стихотворения; понять причину таких изменений теперь, увы, невозможно. Стихи также писались в июне и до и после дня рождения. Стихотворение «Кто может умереть — умрет», написанное 11 июня 1940 года, в рукописных тетрадах имеет заголовки — в одной «25 июня 1939 года», в другой — «25 июня 1940 года». Такая работа над июньскими стихами — свидетельство особого внимания поэта ко дню 25 июня.

Шли годы, папа уже не писал стихотворений в свой день рождения. Он мучительно переживал начало старения, а каждый прожитый год приближал его к старости.

Пора бы мне собственный возраст понять,
 Пора костылями поменьше стучать,
 Забыть о горячке певучей,
 Пора наполнять не стихами тетрадь,
 А прозой без всяких созвучий...

«Детей надо баловать, — скажет Арсений Тарковский в конце жизни. — Меня очень любили. Мне на день рождения пекли воздушный пирог».

После 1917 года воздушный пирог никогда больше не пекли. Но день рождения остался самым важным днем в жизни папы, днем радостным, полным приятных волнений, праздничных приготовлений, ожиданием гостей, встречами с друзьями... Однако этот день ощущался папой не только как праздник. День рождения был для него важным духовным рубежом, днем подведения итогов еще одного прожитого года, днем внутреннего очищения, днем надежды на счастье и на возрождение.

Хорош ли праздник мой, малиновый иль серый,
 Но все мне кажется, что розы на окне,
 И не признательность, а чувство полной меры
 Бывает в этот день всегда присуще мне...

В 1976 году папа написал стихотворение о своем рождении. Свое появление на свет он ощущал как событие грандиозное, которое можно сравнить лишь с днем сотворения первого человека:



Асик Тарковский

Душу, вспыхнувшую на лету,
 Не увидели в комнате белой,
 Где в перстах милосердных колдуний
 Нежно теплилось детское тело.

Дождь по саду прошел накануне,
 И просохнуть земля не успела;
 Столько было сирени в июне,
 Что сияние мира синело.

И в июле, и в августе было
 Столько света в трех окнах, и цвета
 Столько в небо фонтанами било
 До конца перевозданного лета,
 Что судьба моя и за могилой
 Днем творенья, как почва, прогрета.

В 1907 году 12 июня старого стиля появилось на свет маленькое существо, и Господь вложил в него душу, и чудо это никем не было замечено в белой комнате одноэтажного дома № 49, что против мельницы Озерянского на Александровской улице в Елисаветграде.

Просто у Марии Даниловны и Александра Карловича Тарковских родился еще один мальчик – Арсений, Асик, домашнее прозвище – Муц.

Вокзал, сирень и белая акация

Дмитрию Баку

«Есть блаженное слово – провинция, есть чудесное слово – уезд. Столицами восторгаются, восхищаются, гордятся. Умиляет душу только провинция.

Небольшой городок, забытый на географической карте, где-то в степях Новороссии, на берегу Ингула, преисполняет сердце волнующей нежностью, сладкой болью».

Есть город, на реке стоит,
 Но рыбы нет в реке,
 И нищий дремлет на мосту
 С тарелочкой в руке.

.....
 Но вспомнить я хочу себя
 И город над рекой.
 Я вспомнить нищего хочу
 С протянутой рукой, —



Вокзал в Елисаветграде

Когда хоть ветер говорил
 С тарелочкой живой...
 И этот город наяву
 Остался бы со мной.

«Город держался на трех китах: Вокзал. Тюрьма. Женская гимназия.

Шестое чувство, которым обладал только уезд, было чувство железной дороги. В названиях станций и полустанков была своя неизъяснимая поэзия, какой-то особенный ритм, тайна первого колдовства и великого очарования...

А за зеркальными стеклами первого класса мелькали генеральские околыши, внушительные кокарды; и женская рука в лайковой перчатке еще долго размахивала батистовым платком, и запах французских духов, которые назывались «*Sœur de Jeannette*»*, смешивался с паровозным дымом, и в сердце было какое-то замирание и трепет.

Раздавался пронзительный свисток машиниста, и начальник станции, в красной фуражке, высоко и многозначительно подымал свой фонарик, и длинный поезд, огибая водокачку, тюрьму и женскую гимназию, исчезал за шлагбаумом, в сумерках короткого осеннего дня».

* «Сердце Жаннетты».

Как сорок лет тому назад
 Я вымок под дождем, я что-то
 Забыл, мне что-то говорят,
 Я виноват, тебя простят,
 И поезд в десять пятьдесят
 Выходит из-за поворота.
 В одиннадцать конец всему,
 Что будет сорок лет в грядущем
 Тянуться поездом идущим
 И окнами мелькать в дыму...

Прозаический текст написан поэтом Дон-Аминадо, Аминадом Петровичем Шполянским (1888–1957). (Не его ли родные — братья Шполянские — держали в Елисаветграде типографию?) В воспоминаниях «Поезд на третьем пути» город своей юности Елисаветград он назвал Новоградом. В стихах Тарковского, родившегося почти на двадцать лет позже, название отсутствует, есть просто Город.

И Дон-Аминадо, покинувший «Новоград» задолго до революции, а после нее уехавший в эмиграцию, и Тарковский, проживший в России свою «горчайшую жизнь», вспоминают этот город с особой ностальгической любовью.

Но какое разное мироощущение у двух поэтов-земляков: «Потерянный, невозвращенный рай!» — восклицает Дон-Аминадо, и «Бедный город мой», — пишет Тарковский. Всего несколько десятков лет, а какие они разные, эти два города, отделенные один от другого революцией и двумя войнами. Давным-давно нет «генеральских околышей», «внушительных кокард» и дам в лайковых перчатках. Прошло детство, ушла юность. Остался разбитый войною вокзал...

А какие разные характеры у авторов — один бойкий, восторженный гимназист, изгнанный из «новоградской» гимназии «за бросание фуражек на сцену» городского театра «в момент предельного пароксизма» — восторга от «Принцессы Грёзы» Ростана. В эмиграции Дон-Аминадо — популярный газетный фельетонист, уверенный в себе, остроумный, дерзкий, победительный. И другой, трагически задумчивый, «похожий на Раскольникова с виду», переживший в детстве Гражданскую войну, гибель любимого брата, смерть отца, несчастливую любовь, затем еще одну войну и тяжелое ранение в 1943 году. И самое трудное — многолетнее отлучение от читателя.

И все-таки так много общего в воспоминаниях и того и другого!

«Но в Царстве небесное будут допущены только те, кто не стыдился невольно набежавших слез, когда под окном играла шарманка, в лиловом бреду изнемогала сирень...»



«Плеточки» белой акации
из письма Асика

...Дождь по саду прошел накануне,
И просохнуть земля не успела;
Столько было сирени в июне,
Что сияние мира синело...

И появится в стихах Тарковского то же, что и у поэта-эмигранта, сравнение детства в Елисаветграде с навсегда покинутым раем:

Давно мои ранние годы прошли
По самому краю,
По самому краю родимой земли,
По скошенной мяте, по синему раю,
И я этот рай навсегда потеряю...

В Новограде-Елисаветграде «под густолиственным шатром уездной акации» признавался легкомысленно-искренний гимназист Шполянский в любви прелестным гимназисткам. И так же, через двадцать лет, когда гимназистки стали называться ученицами единых трудовых школ,

поздним вечером, скрываясь от вечно ищущей его беспокойной матери под цветущей акацией, впервые сказал заветные слова любви юный Асик Тарковский. Звали его богиню Ольга Рапорт. Это она, красавица блондинка, нанесет ему первую сердечную рану. Это о ней много-много лет спустя скажет поэт с горькой иронией:

...А все-таки меня любили —
Одна: — Прощай! — и под венец...

А дальше: «Другая крепко спит в могиле». Это уже о Марии Густавовне Фальц.

«А третья», которая «у чужих сердец

По малой капле слез и смеха
Берет и складывает эхо...» —

это самая великая, самая чистая и бескорыстная любовь поэта — его Муза.

Пройдет еще несколько лет, и Арсений Тарковский уедет из родного-неродного города (уже Зиновьевска) в Москву искать свою судьбу, как уезжали до него тысячи провинциальных юношей.



Асик и Маруся

В 1928 году, приехав на два недели навестить мать, забрать то, что осталось от его библиотеки (в суровые годы Гусевы продали большую часть книг), и проститься навсегда со всем, что его связывало с этим городом, Асик пришлет в письме своей юной жене Марусе веточку белой акации.

«31.05. Муариск ты мой! Собирается дождь, ветер ужасный. Тоска невообразимая. Я сплю все время: должно быть у меня страшная сонная болезнь. И за что это? Два письмочка ... я получил и радовался, как (Прутков говорил) — скрипач канифоли... Сейчас я пойду за акацинной веткой, и самую маленькую плеточку положу, чтобы ты увидела, что это за дикая штука.

Акации буйствуют, на улице сплошной белый удушающий сладкий дым этих подлых акаций... Я страшно скучаю. Только твои письма и спасают меня от тоски и беспокойства... Я живу от письма до письма. Золотусь мой! Не забывай своего мужа, он же медведь, он же собака, он же тебя очень, очень любит...»

Арсений тоскует, ждет почту, считает дни, оставшиеся до отъезда в Москву, и пишет, пишет, пишет Марусе сумасшедшие письма. Здесь его раздражает все: материнская опека, визиты к родственникам, жара, ветер, пыль и даже запах воспетой романтиками белой акации. Он рвется в Москву, ему скучно в Елисаветграде, ставшем Зиновьевском, — друзья разлетелись, Марию Густавовну проводили в Одессу.



Папа у дома детства в Кировограде, 1955

В середине июня Арсений уезжает, чтобы на следующее лето еще раз захватить ненадолго к матери, которая года через два тоже переберется в Москву. Кажется, что уже ничего не связывает его с родным городом.

Но в военные и в послевоенные годы Тарковский вспоминает об оставленной, казалось бы, без сожалений родине и о матери, заботы которой некогда так докучали ему.

А все-таки жалко, что юность моя
 Меня заманила в чужие края,
 Что мать на перроне глаза вытирала,
 Что этого я не увижу вокзала,
 Что ветер зеленым флажком поиграл,
 Что города нет, и разрушен вокзал...

В последний раз Тарковский приедет в Елисаветград-Кировоград спустя много-много лет, в 1955-м. Все уже стало иным — и время, и город, и настроение поэта.

Позднее наследство,
 Призрак, звук пустой,
 Ложный слепок детства,
 Бедный город мой.

Тяготит мне плечи
 Бремя стольких лет.
 Смысла в этой встрече
 На поверку нет...

Но вслед за этими стихами в письме к Николаю Станиславскому он напишет совсем другие слова: «...Я понял, что на родине надо бывать почаще, иначе высыхаешь сердцем, а родина, наш город – хорошая причина для слез».

Уезжаем, уезжаем, укладывая чемоданы,
 На тысячу рублей билетов я выстоял у судьбы,
 Мы посетим наконец мои отдаленные страны,
 Город Блаженное Детство и город Родные Гробы...

А в далеком Париже эмигрант Дон-Аминадо, про которого М.И. Цветаева сказала, что этот совершенно замечательный поэт никогда не будет писать всерьез, бесконечно тоскует о навсегда потерянной родине:

О, помню, помню!.. Рывкнул паровоз.
 Запахло мятой, копотью и дымом.
 Тем запахом, волнующим до слез,
 Единственным, родным, неповторимым,

Той свежестью набухшего зерна
 И пыльною уездною сиренью,
 Которой пахнет русская весна,
 Приученная к позднему цветенью.

Два поэта, родившиеся в одном городе и так одинаково любившие его, не знали друг друга. Только, наверное, в детстве слышали семейные фамилии – Шполянские, Тарковские. Городок ведь был небольшой...

Три друга из Елисаветграда

Князь Гога, он же Жорж, виконт Николая, граф Арсений – так звали друг друга члены этого тесного дружеского кружка. За этими высокими шутивными прозвищами скрывались вовсе не аристократы, а беститульные молодые люди – Юра Никитин, Коля Станиславский, Асик Тарковский. Существовал еще и маркиз Рюэтти, личность которого остается для меня загадкой. Все друзья выросли в Елисаветграде, все пережили трагическое расставание с безмятежным, благополучным дореволюционным детством. Все были увлечены одной прекрасной да-

мой — Марией Густавовной Фальц. Все обожали поэзию и сочиняли стихи. «Ты лежишь подо мною распятая», — писал совсем юный Коля Станиславский, и друзья рукоплескали этим смелым строчкам.

Самым младшим из компании был Асик Тарковский, он же первый покинул родной город и переехал в Москву. Связь с друзьями юности, Николаем Станиславским и Юрием Никитиным, не оборвалась. На первых порах чужим и холодным городом была для папы Москва. Поэтому летят письма в Зиновьевск (так в 20-е годы звался Елисаветград, в котором родился один из известных большевиков — Зиновьев), продолжается манерная игра в титулованные персонажи, продолжается изысканная литературная игра.

Вот письмо папы к Николаю Станиславскому от 10 октября 1926 года:

«Милый друг, Ты, конечно, простишь мою не в меру разболтавшуюся Музу: она долго молчала — и потому разболтаться ей было необходимо; сей тихий бессвязный бред принял несколько неподходящую форму онегинских строф: да простит меня Тот, чьим именем освящена первая страница этого послания, более длинного, чем блестящего, и более искреннего, чем совершенного.

Мой милый visont, Твой тончайший вкус — выберет места, достойные внимания, и пропустит слабые и негодные, сознаюсь, имеющие место в этом длинном письме. Но если Ты прочтешь в нем единственное, что я хотел Тебе дать понять им — то цель моя будет достигнута; дружественнейшая любовь к Тебе, нежнейшая грусть, смешанная с болью сожалений о милом нашему сердцу невозвратном шумном прошлом — темы этого послания.

Наши общие друзья — маркиз Рюэтти и князь George, — как и восхитительная супруга последнего, да примут мои наилучшие пожелания и выражения радости по поводу переезда их в новые, блестящие (как гласят страницы газет) апартаменты.

Прими уверения и прочее.

Твой гр. А. Тарковский».

К письму прилагается упомянутая выше поэма, из которой видно, как весело и беззаботно (думаю, что это сильное преувеличение — а деньги-то откуда брались?) проходила юность друзей в нэпмановские годы.

...«Палас», «Америкен» и новый
Тот ресторан, что держит Брант,
Где к вечеру, на все готовый,
Нас ожидал официант,
«Сильнее смерти», «Баядерку»,
Всю «Коломбину» и «Венгерку»



Арсений Тарковский



Николай Станиславский

Из Жильбера... Звенит стакан,
 Давно мой милый Гога пьян,
 По приказанью Николая
 Скрипач безумствует. Но вот
 Встает и медленно идет
 К дверям мой Гога. Исполняя
 Заветы дружбы — с ним идем...
 ...в «Америкен» — и снова пьем.

Проходят годы, друзья мужают, женятся. У Арсения — сын, в проекте еще ребенок. «Восхитительная» Наталья, жена Юрия, родила ему дочь. Николай Станиславский породнился с Юрием Никитиным, женился на его сестре Татьяне. И Николай и Юрий уже не живут в родном городе. Но галантная игра в аристократов продолжается.

«18. III. 33.

Богодивный и прекраснейший!

На мой взгляд, дуэль на 20 шагов (стрелять с десяти) — несколько устаревшая форма искупления обид. Увы! Теперь в моде кукушка через выстрел в темной комнате: каждому дуэлянту дается право 40—50 выстрелов. Секундантов — не надо. О, разночинцы! Они проникли даже в благородный мир дуэли. Надеюсь, что ты стрелялся по правилам не нашего века...»



Юрий Никитин

Послание кончается словами: «Жду ответного письма, дабы иметь лишнее доказательство Твоей дружбы и блестящий образец эпистолярного стиля.

Тв(ой) А.

Спешно сообщи мне Юрий севастопольский адрес».

Следующее из сохранившихся папиных довоенных писем к Николаю Станиславскому датируется датой знаменательной — 18 июня 1941 года. Через пять дней начнется война.

За годы, прошедшие со дня написания предыдущего письма, много воды утекло. От Юры Никитина ушла любимая жена. Его маленькая дочь так любила своего отца, что нового «папу», отчима, хотела застрелить из игрушечного ружья. Юрий уже жил в Киеве, преподавал худо-

жественное слово в Киевском театральном институте. Позже работал на Киевской киностудии вместе с Довженко. В 1938 году был арестован, обвинен в шпионаже, осужден на пять лет и отправлен в северо-восточный лагерь Магаданской области. Юрий Никитин был учеником также репрессированного знаменитого украинского театрального режиссера и педагога Леся Курбаса.

Сероглазый красавец, талантливый чтец-декламатор, Юрий Васильевич Никитин продержался в лагере два с половиной года. Он погиб в Бухте Нагаева в 1940 году в возрасте тридцати пяти лет.

С 38-го года поселилась в папином сердце глубокая скорбь по Юрочке Никитину. «С какой нежностью и радостью я рассматривал Юру в книге о Курбасе! Как хотелось бы мне поговорить о нем, о нашей ранней юности! Все-таки, нам есть о чем вспомнить, улыбнуться чему и над чем поплакать», — писал папа Станиславским в шестидесятые годы.

К Николаю Дмитриевичу Станиславскому (1905—1970), театральному режиссеру, заслуженному деятелю искусств Украинской ССР (кстати, Станиславский — это его подлинная фамилия, не псевдоним, как у знаменитого Алексева-Станиславского), судьба была более благосклонна. В последние годы жизни он вместе со своей женой Татьяной Васильевной

жил в Житомире, был главным режиссером Музыкально-драматического театра. Папа виделся со Станиславскими летом 1970 года. Он и Татьяна Алексеевна приехали в Житомир на машине после туристической поездки во Францию. Гостили на их даче в знаменитом Тригорье, связанном с именами Эвелины Ганской и Бальзака. А в октябре Николая Дмитриевича не стало.

После кончины Коли Станиславского папа стал думать о смерти. Он приехал ко мне и попросил меня взять старинный перстень, принадлежавший когда-то его отцу. Он не хотел, чтобы после его смерти эта семейная реликвия попала в другие руки. Я уговаривала папу носить кольцо и дальше, но он так настаивал, что я взяла этот перстень с условием, что по первому слову верну его папе. (Кто мог знать, что однажды папина жена, Татьяна Алексеевна, приводя в порядок свою прическу, выдвинет ящик моего туалетного столика, откроет коробку с моей бижутерией и обнаружит там папин перстень. Скандал! Папа исподтишка показывает мне кулак, я за спиной Татьяны развожу руками, мол, кому придет в голову, что она может рыться в моем ящике. Но перстень остался у меня, папа так и не взял его обратно.)

А весной 41-го года папа встречался со Станиславским в Йошкар-Оле — Николай Дмитриевич работал тогда в Марийском государственном театре.

И вот последнее предвоенное письмо папы к Николаю Дмитриевичу. Друзья еще молоды, но уже нет в этом письме и намек на галантную игру бывших «аристократов». Есть самоирония, грусть и любовь, которая не кончится и после смерти Станиславского.

«18.VI.1941.

Милый, дорогой Коля!

Вот я получил приглашение на юбилей (какой? Может быть, пятилетие образования Марийской АССР? — М.Т.), а приехать не могу. Лежу я в постели, немощный, убогий, недужный, хворый, больной, бессильный, слабейший, замученный и неподвижный. У меня воспаление желчного пузыря. А как я хотел тебя видеть, родной мой!

От меня теперь — радости никакой, злюсь я на все и на всех, а пить мне нельзя еще 1/2 жизни, кормят меня манной кашей, но и это не помогает...

Люблю я тебя нежно и вспоминаю о тебе очень часто — и представляю себе, как ты сидишь у своего радиоприемника, и пою, — охрипший голос мой приличен песне. — Черная ночь, край наш и плюйте на все!

Вероятно — скоро, если я смогу двигаться, меня увезут в санаторий.

Пожалуйста, Колечка, позвони мне: Кировская 31784, я подползу к телефону и поговорю с тобой, мое сердце. Достань, родной, у фотографа наши изображения и пришли мне ту (те?), где мы с тобой вместе... Целую тебя крепко и нежно.

Твой А.».

В санаторий папа не попал. Мирная жизнь кончилась. До 16 октября 1941 папа оставался в Москве, где готовился в ополчение, потом попал в Чистополь, потом — на фронт. А фотография, изображение, где он вместе с Колей Станиславским снят в Йошкар-Оле, у папы появилась спустя много лет. Тогда он мне ее и подарил с надписью:

Дочка дорогая, дорогая дочка.
Точка, запятая, запятая, точка...

Шуба

Всё еще близко, всё еще больно... Каждый вечер, прежде чем заснуть, я с маниакальным упорством занимаюсь одним и тем же бесплодным и утомительным делом — прокручиваю назад, как старую, истертую киноплёнку, все, что произошло с Андреем, с мамой, с папой. Как сумасшедший Доменико из «Ностальгии», ищу ту точку, с которой все началось. Но, найдя ее, я понимаю, что бессильна что-либо изменить.

Шло счастливое лето 1976 года. Все потери были еще впереди, у меня росла чудесная маленькая дочка, и я наслаждалась материнством.

К тому же это было лето на папиной даче в Голицыне, папа с женой Татьяной Алексеевной приезжал довольно часто, и встречи с ним, продолжительные и такие домашние, добавляли мне счастья.

Я почему-то совсем не вспоминаю трудностей, связанных с маленьким ребенком, — бессонных ночей, кормлений, стирок. А помню, например, что к осени в саду созрело несметное количество яблок. Огромные, обманчиво восковые с виду и сладкосочные на вкус яблоки «белый налив» падали на землю и глухо трескались от удара.

Я изо всех сил старалась справиться с их избытком — варила каждый день компот и часами мешала повидло, которое пытело на плитке и время от времени плевалось горячими брызгами.

Татьяна Алексеевна, тщательно осматривая каждое яблоко, укладывала их в сумки, а приходивших гостей радушно угощала падалицей. Наши с ней отношения были вполне добрыми.

Но меня давно интересовали кое-какие подробности одного события. И вот однажды вечером, когда дочка моя уже спала,

очередная порция повидла была разлита по банкам, а ползунки и колготки развешаны по веревкам, за вечерним чаем в саду я собралась с духом и спросила Татьяну Алексеевну: «А помните ли вы вашу замечательную шубу? Из какого она была меха?» Она не насторожилась, как обычно, от моего вопроса, а с воодушевлением стала рассказывать давнюю историю о покупке своей знаменитой шубы из нещипаной выдры.

Шуба из мягкого коричневого меха была шита с заграничным шиком — с глубокими карманами, с поясом и даже с хлястиками на рукавах. Такой шубы не было ни у одной писательской дамы, и Татьяна Алексеевна по праву гордилась ей.

— Да, я помню, очень красивая была шуба. А скажите, в каком году вы ее купили?

И в этом вопросе она не почувствовала ничего подозрительного и ответила, что шуба была куплена летом 1947 года. Татьяна Алексеевна зашла в комиссионку на Петровке, увидела шубу, прибежала домой, и папа дал ей денег на покупку.

Вот это-то мне и надо было выяснить. Значит, действительно покупка совершилась именно вторым послевоенным летом, когда мама, не зная, куда нас деть на каникулы, отправила Андрея и меня сначала в Малоярославец к своему отцу, а потом в дом тестя своего двоюродного брата на станцию Петушки.

Я очень хорошо помнила то лето.

Дом дедушки в Малоярославце был большим и просторным. Но во время войны из окон вылетали все стекла, и они были заколочены досками. В доме было почти темно и пахло лежащим больным: дедушка Иван Иванович из-за болезни ног не вставал с постели.

Вообще-то, он слег не от болезни, а от пережитого во время войны. Оба его сына были в Красной Армии, и когда немцы подошли к Малоярослаvcу, дедушка с женой и дочерью убежали в лес, опасаясь расправы. Когда после долгих скитаний они вернулись, дом их был занят немецкими солдатами, а вещи растащены соседями. Вот тогда-то ослабевший от голода и болезни дедушка и перестал вставать, а ухаживала за ним его последняя жена, настоящая мачеха из страшной сказки. Но о ней нужен отдельный рассказ...



*Татьяна Алексеевна Озерская
с сыном Алешей*



Андрей рисует

С собой в Малоярославец мама дала нам две буханки черного хлеба и несколько селедочек. Александра Ермиловна готовила из селедочных внутренностей, лука и сыворотки окрошку, которую ни Андрей, ни я не могли есть. Мачеха сердилась, но обижать нас не могла, все-таки мы были гостями.

Тем не менее мы старались уходить из темного дома, где хозяйничала Ермиловна и молча лежал обросший седой щетиной дедушка, которого мы совсем не знали и боялись.

Мы спускались по крутым склонам к реке Луже и долго шли по берегу, ощущая босыми ногами упругую влажность болотистой тропки. Андрей нес привезенный из Москвы этюдник с красками. Наконец он выбирал место, и мы останавливались. Меня Андрей сажал для оживления пейзажа. Я любила эти часы, проведенные среди летнего блеска и зеленых трав. Андрей рисовал, изредка вскидывая голову, чтобы взглянуть прищуренными глазами на натуру. Взгляд его был цепким и отрешенным одновременно. От всей фигуры Андрея исходило ощущение силы и надежности, а одержимость его захватывала и меня. Я ждала момента, когда из непонятных пятен на картонке возникнет наконец картина. Андрей писал берег речки с корявой ветлой, поворот дороги, темную ель на опушке леса...

Остаток этого лета мы провели под Москвой, в деревне около Петушков, жили одни в заброшенной, полуразвалившейся избе. Там не было ни Ермиловны, ни лежачего дедушки, но нам

было совсем плохо. Как это у Некрасова? «В мире есть царь, этот царь беспощаден...» Да, нас мучил голод. Мама работала, и по субботам мы шли на станцию ее встречать. По дороге мы мечтали о том, что она привезет, и играли в странную игру: Андрей рисовал на дорожной пыли, чего бы он хотел поесть, а я должна была угадывать, что именно он нарисовал.

Привезенные мамой скудные продукты исчезали очень быстро, и конец недели был самым мучительным. Мы рвали красную рябину, но, даже испеченная на костре, она не утоляла голод. Грибы в тех местах росли какие-то странные, похожие на белые, но горькие и несъедобные. Другого «подножного корма» не было.

Андрей совсем забросил живопись, и мы без дела шатались по окрестностям. Однажды в лесу мы набрали на небольшую делянку с картошкой. Был конец августа, и картошка уже была крупной. Она была какого-то замечательного сорта — удлиненной формы, розоватая, необыкновенно вкусная.

В первый раз Андрей нарыл немного — сколько уместилось за пазухой. На следующий день он уже взял с собой сумку. Я сидела «на шухере» и шепотом торопила его: «Хватит, Андрей, пойдем!» Но он только нетерпеливо дергал в мою сторону ногой — отстань, мол. Если бы вдруг пришли хозяева, они нас, возможно, убили бы. Избили бы наверняка. Но все обошлось. А скоро то лето кончилось, и мы уехали домой, в Москву.

Начались школьные занятия, а Андрей записался еще и в художественную школу. Ему хотелось поскорее начать работать маслом, но пришлось рисовать карандашом пирамиды, кубы и аканты. А в ноябре Андрей простудился и заболел туберкулезом. Врачи сказали, что из-за сильного истощения защитные функции его организма ослаблены и не могут оказывать сопротивления палочкам Коха...

Тогда на даче в Голицыне Татьяна Алексеевна не поняла, почему меня интересовали подробности покупки ее шубы из нещипаной выдры, случившейся почти тридцать лет назад. И слава богу, а то начала бы что-то объяснять, оправдываться.

А в чем она, собственно, была виновата?

В поисках Селибы

Селибой называлась большая поляна в лесу неподалеку от Игнатьева, вернее, между деревнями Игнатьево и Томшино (это то самое Томшино, о котором идет речь в начале фильма «Зеркало»). Надо было пройти километра полтора по красивейшей томшинской дороге, потом повернуть налево, пройти немного через светлый лес с высокими тонкоствольными березами, и вот она Селиба! Красавица поляна с широко раскинувшими-

ся старыми дубами, с елочками по опушкам, где так хорошо было находить пузатые, с темно-коричневыми шляпками белые грибы.

«Сялиба» — по-белорусски значит «подворье», «хутор», и действительно, на поляне, если приглядеться, можно было разглядеть заросшие травой следы каких-то построек, очертания бывших фундаментов. Говорили, что здесь когда-то был хутор белорусских переселенцев. Это придавало поляне еще больше очарования — здесь, в таком красивейшем месте, когда-то жили люди... И мне тоже хотелось поселиться на Селибе, построить домик с палисадником и обязательно с русской печкой. В общем, в моих мечтах присутствовали уединение и уют — что это по Фрейдю? Думаю, ничего хорошего...

Каждое лето, наверное, раз в неделю я бывала на Селибе. Походы в лес за грибами всегда заканчивались этим ритуалом — выйдешь из лесной чащи, найдешь зарослям и болотам, обойдешь по краю всю поляну, посидишь под дубом, подумаешь, помечтаешь...

Прошло много лет. И мы стали снова снимать дачу в Игнатьеве, уже не для сына, а для дочки. И снова я стала ходить в лес, и очень хотелось мне попасть на заветную Селибу. Но каждый раз я не могла найти к ней дорогу. Мы плутали по лесу, иногда находили похожие длинноствольные березки, казалось, еще немного — и мы выйдем из чащи на простор поляны. Но лес все продолжался — изрытый кабанами, сырой, заросший малиной, папоротником или осокой. В лесу было много лосей, правда, мы не встретили ни одного, только противные лосиные мухи пробирались под платок, как клещи. И так каждый наш поход в лес кончался полнейшим поражением. «Но ведь должна же быть там поляна, — думала я, — не могла же она исчезнуть с лица земли!»

Поиски Селибы стали моей навязчивой идеей. Меня уже не радовали прогулки по некогда любимой мною Долине Ботаники, названной так органистом и композитором, профессором консерватории Александром Федоровичем Гедике, который до 1936 года часто гостил в Игнатьеве у своего друга композитора Максимилиана Максимилиановича Крутицкого. На месте дома Крутицкого на берегу Москвы-реки до сих пор растут старые туи и безымянные кусты с белыми пушистыми соцветиями.

Долина Ботаники шла вдоль небольшой речушки, весело журчащей на перекатах по каменистому дну, которая на карте обозначена как река Гнилушка, местными жителями называлась Романихой, а мама до войны звала ее Вороной. Так называл ее и Андрей. Вороной обычно зовется глубокое место, бочаг, но мама, видимо, перенесла это название на всю речку. Вода в ней была кристально чистой и ледяной. (В картине «Зеркало» есть сцена купания мальчика в этой речке. Представляю, как замерз маленький Филипп Янковский, который играл героя фильма

в детстве.) Андрей уже с первого лета на хуторе купался в Вороне. А я совсем маленькая, летом 1936-го мне не было еще двух лет, страшно волновалась, когда мой брат, которому было четыре года, бежал в воду. «Оба они купаются, и когда Андрей один лезет в речку, Марина кричит: «Аррей, Аррей, ди (иди), Аррей! Ду...ля». Она боится, что он один лезет в воду», — из маминого письма к папе 15 июля 1936 года.

Итак, в семидесятых годах, когда мы жили в Игнатьево с маленькой Катей, продолжались мои поиски Селибы. Каждый раз я сворачивала с томшинской дороги именно там, где нужно, углублялась в лес, находила длинностовольные березы... И опять возвращалась ни с чем, мокрая, усталая, еле волоча ноги в резиновых сапогах, с ведром переросших, изъеденных улитками подберезовиков.

И наконец, сдавшись, я спросила у кого-то из деревенских, почему это я не могу никак найти Селибу. «Да ее давно засадили лесники. Нет этой поляны, заросла она!» Это был удар в самое сердце. После этого известия мне уже было легче перенести дальнейшее разорение любимых мест — постройку дачного поселка по Долине Ботаники вдоль речки Гнилушки-Романихи-Вороны и дороги — через сосенки к этим дачам.

Я не езжу больше в Игнатьево. Зачем? Ведь реальной Селибы давно нет, а та, что помню, всегда со мной.



Персонажи фильма «Зеркало» в подлинном виде. Слева направо: Витя и Кляня Горчаковы, Марина и Андрюша Тарковские. Хутор Горчакова, 1935

Воспоминания о старом шкафе

Это был высокий шкаф из мореного дуба, украшенный поверху резьбой — деревянные листья и розы, — штучная работа уважающего себя мастера-краснодеревщика позапрошлого века. Шкаф назывался «шифоньер», в нем было три широкие полки и один выдвижной ящик. А еще его называли «зеркальный», потому что в его дверцу во всю ее ширину и длину было вставлено большое зеркало.

Когда-то шкаф этот принадлежал бабушкиной матери, Марии Владимировне, и стоял в собственном доме Дубасовых на

Пименовской улице. Когда Мария Владимировна умерла, он по разделу имущества перешел к бабушке, самой младшей из ее дочерей. Можно сказать, что с этого момента и начались злоключения зеркального шкафа.

Сначала его перевезли из Москвы в Козельск, где первый муж бабушки, Иван Иванович Вишняков, получил место судьи. Из Козельска шкаф вместе с бабушкой и дедушкой переехал в Малоярославец.

Дедушка Иван Иванович на своих молодых фотографиях выглядит добрым сероглазым блондином, и только стоящие густым ежиком волосы наводят на мысль о его жестком и неуживчивом характере.

Бабушка рассталась с ним во время Первой мировой войны и приехала в Москву со своими вещами, в числе которых был и зеркальный шкаф. Правда, хранить в шифоньере ей стало почти нечего.

Иван Иванович, узнав об измене бабушки, хотел застрелить ее из револьвера, а когда она выскочила в окно и убежала, заперся в комнате и всю ночь резал на узкие ленточки ее красивые дорогие платья, сшитые в Варшаве у лучших портних.

В Москве бабушкина мебель стояла какое-то время в квартире ее сестры, генеральши Людмилы Николаевны Ивановой, в Спасских казармах. Сам генерал был на фронте, и бабушка, не стесняясь, могла петь в огромном двусветном зале, где голос ее звучал замечательно.

После революции она уехала на Волгу со своим вторым мужем, Николаем Матвеевичем Петровым. Шкафу тоже пришлось последовать за ней в багажном вагоне. Тогда-то и обломилась с одного края веточка на его резном кокошнике — грузчики уже не церемонились с чужими вещами.

После кончины Николая Матвеевича, примерно года за полтора до войны сорок первого года, бабушка, получив у юрьевоцкого начальства броню на свою комнату, переехала в Москву. Она уже знала, что папа оставил семью, и решила помочь маме нас воспитывать. Мама не нашла в себе мужества запретить ей приехать. И в двух маленьких комнатках на Щипке в один прекрасный день кроме мамы, Андрея и меня оказались: бабушка, ее бывшая домработница Аннушка и мебель — огромный письменный стол Николая Матвеевича, красный плюшевый диван и зеркальный шкаф, он же шифоньер.

Вещи похожи на людей, им тоже нужен уход и хорошие условия. Их нужно любить и лелеять, их нельзя запихивать в тесные сырые углы. Исторические катаклизмы также не идут им на пользу.

Когда началась война, в красивую дубовую поверхность шкафа пришлось ввинтить кольца для всячего замка. Мы уезжали в эвакуацию, всего взять с собой не могли, и кое-что при-

шлось оставить в шкафу. Например, кусок черного бархата — папин подарок. Когда-то папа мечтал увидеть маму в бархатном платье.

Соседям, которые заняли в войну нашу первую комнатку, пришлось очень постараться, чтобы выдрать кольцо и открыть шкаф. На гладком дереве появились безобразные рубцы, а мамин бархат был продан соседским сыном на зацепской толкучке.

По мере того как мы подрастали, вещи в доме утрачивали красоту и бывшее величие. Мама была к ним равнодушна, и бедная бабушка в одиночку боролась с нашими разрушительными инстинктами.

Как-то Андрей узнал, что бывают спички, которые могут загораться от любой поверхности. Он стал чиркать спичками по зеркалу. Они, конечно, не загорались, потому что были совсем другого сорта, но Андрей все чиркал и чиркал. Бабушка возмущалась, но поделаться ничего не могла, и на зеркале появлялись все новые и новые полосы...

Годы шли, от шкафа отпадали и утрачивались навсегда какие-то декоративные кружочки и уголки. Его хозяйке, бабушке, теперь уже было совсем безразлично, что с ним происходит.

Я вынула широкие полки и устроила из шифоньера гардероб, и бабушка никак не реагировала на это событие. Через некоторое время она умерла.

А шкаф пришлось перевезти в Бирюлево — дом № 26 по 1-му Щиповскому переулку освобождали под общежитие для рабочих. Мама в Бирюлеве не жила, она приехала к нам на Юго-Запад, и шкаф несколько лет простоял в пустой комнате.

Потом произошло то, о чем я не люблю вспоминать.

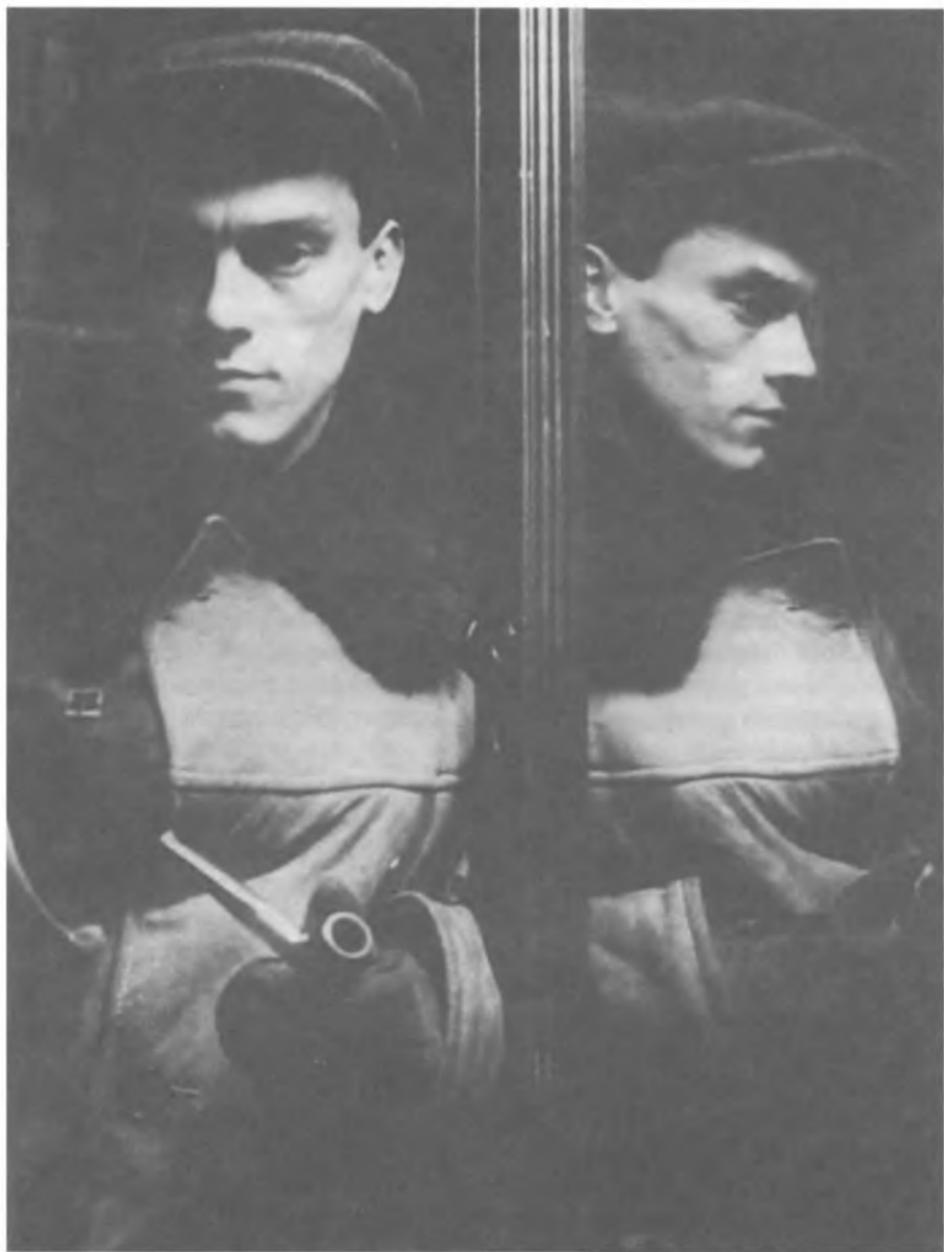
Если бы я оказалась на космической станции, летающей по орбите вокруг планеты Солярис, Океан материализовал бы этот зеркальный шкаф. Дело в том, что пришлось освободить мамину комнату в Бирюлеве, а в нашу тесную квартиру он не входил. И пришлось его уничтожить. Да-да... Мы сняли зеркальную дверцу с петель и стали разбивать шкаф — было невозможно выбросить его целиком.

Мы его убивали, а он не хотел умирать. Он мог прожить еще лет триста: ведь он был на редкость прочно сделан уважающим себя столяром-краснодеревщиком...

Мы бросили стенки от шкафа на бирюлевской помойке, а дверцу перевезли к себе.

Как хорошо, что Андрей когда-то не слушался бабушку и оставил на зеркальной поверхности следы от своих спичек, драгоценные линии-напоминания.

Этому зеркалу суждено было стать первым и главным Зеркалом в судьбе Андрея, прообразом всех зеркал в его жизни и в его фильмах. Оно было покрыто в старину настоящей серебряной амальгамой, поэтому отражение в нем смягчено и чуть загадочно.





Таинственная суть зеркала впервые обнаружилась, когда друг наших родителей, Левушка Горнунг, принес отпечатки сделанных возле него снимков — папа в кожаном пальто и папа с маленьким Андреем на коленях. Позже Лев снял у зеркала уже повзрослевшего, шестнадцатилетнего Андрея.

Покрытое амальгамой стекло повторяло облик позирующих, но это повторение не было их точной копией. В нем угадывалось что-то иное, как будто зеркало проявляло то, что в реальности было скрыто под привычными чертами...

Я гляжу в его тусклую поверхность и вижу свое отражение. Андрей всегда был старше меня. Теперь — старше я. Пройдет еще немного времени, и мы с ним встретимся.

По ту сторону зеркального стекла.

Памяти безвестного поэта

Каждый раз, приходя к нам на Щипок и здороваясь со мной, дядя Володя Любин откидывал назад голову с остатками седоватых волос и, по-поэтически вибрируя голосом, произносил: «О Марина, соименница моря!»

Мне, «соименнице», было лет двенадцать, и я воспринимала слова Володи как необходимую, ритуальную часть его прихода. И так как я в очень большой степени соответствовала определению Пушкина, то есть была «ленива и нелюбопытна», то не интересовалась, чью же это строку с таким пафосом повторяет Любин.

Володя — почему-то никто не называл его по отчеству — был из компании московской поэтической молодежи и в начале тридцатых годов подружился сначала с папой (они писали вместе пьесы для клубов и для радио — стихи с «прослойкой» прозы), потом — с мамой, стал приходить к ним на Гороховский, затем — на Щипок. После развода родителей он продолжал чаще бывать у мамы. Володя жил на редкие гонорары за переводы, которые ему помогали добывать литературные знакомые, а последняя жена папы не очень-то привечала таких «бесполезных» и плохо одетых людей.

С ранней юности Володя писал стихи. Поэзия была его единственной страстью, его призванием, смыслом жизни. Он трепетал, читая любимое, замирал, слушая чужое, декламировал свое, закрыв сильно косившие глаза, самозабвенно завывая и подчеркивая стихотворный ритм торжественными паузами.

Почувствовав мамину русскую сказочную прелесть, Любин посвятил ей стихотворение «Аленушка».

В послевоенные годы существовал еще обычай заходить к кому-либо не «в гости», а просто. Время было полуголодное, поэтому приходящие не претендовали на угощение, а хозяева

не бросались их потчевать. Хорошо, если было что-нибудь к чаю. Важна была сама встреча с близкими по духу людьми, необходимы долгие беседы.

Иногда случалось так, что одновременно на Щипке сходились и Володя Любин, и папа. Сидели у бабушкиного овального стола, накрытого клеенкой, на венских стульях с коварными выщербленными сиденьями, на сундуке. Мама устраивалась у печки, чтобы дым от ее папиросы уходил в вытяжку.

Говорили о друзьях, о переводах, о литературе. Мама каким-то особым тихим голосом просила: «Почитай, Арсений» — и папа читал свои новые стихи. Слушали внимательно, оценивали с голоса. Просили почитать еще.

Любин высоко отзывался о папиной поэзии, в его словах не было ни зависти, ни подхалимства. Он судил о стихах как поэт, хотя и сказал однажды маме: «Вы с Арсением умнее и тоньше меня...»

Володя родился в богатой еврейской семье. Он был единственным сыном, и можно себе представить, какой любовью окружали его родители. Володя окончил классическую гимназию, потом еще где-то учился, но, кроме литературной, никакой профессии не приобрел. В советское время он оказался вместе со своей мамой в одной комнатке квартиры, когда-то принадлежавшей их семье.

Когда мама умерла, Володя растерялся и затосковал. На мои дни рождения он приносил подарки: длинные четки из четырехгранных деревянных бусин и крохотные, ссохшиеся от времени шелковые черные перчатки — вещи, оставшиеся от его покойной мамы.

Владимир Любин не умел жить — не писал бездарных гимнов в прославление власти, и ему не нашлось места ни в советской поэзии, ни в советской действительности.

Правда, ему везло. Живым вернулся с фронта — он не был годен к строевой и всю войну прослужил интендантом. В годы, когда железная метла в числе прочих выметала и «гнилых интеллигентов», его не посадили. Странно, ведь Любин не был ни ловкачом, ни угодником и даже, как мог, пытался сохранить свою честь.

Однажды, когда он получал в милиции паспорт, его попросили назвать свою национальность. «Иудей», — с достоинством произнес он. Паспортистка красивым почерком вписала в соответствующую графу слово «Индеец». Вот с таким паспортом и жил дядя Володя.

Время шло. Он старел, дичал, стал реже выходить из своего захламленного, пыльного угла. Единственное место, которое он еще посещал, была диетическая столовая на Басманной.

А потом Володя Любин умер. Его смерть прошла совсем незамеченной — не было ни некрологов в газетах, ни речей в крематории...

Давайте же хоть теперь помянем нищего поэта, скромного служителя Эвтерпы и Эрато, прожившего нескладную, безрадостную жизнь — не мог же он всерьез радоваться диетическим обедам — ради того, чтобы оставить после себя тонкую книжечку переписанных от руки, никому не известных стихов.

А я все-таки узнала, кому принадлежит торжественная строка-обращение «О Марина, соименница моря!», которой некогда приветствовал меня дядя Володя Любин. Это из стихов Софии Парнок, посвященных Марине Цветаевой, 1915 год.

Две пьесы

Мы с Андреем учились в разных школах, он — в знаменитой на все Замоскворечье 554-й, в Стремянном переулке.

Как говорится, каков поп, таков и приход. Директор школы № 554 не был твердых правил и любил выпить, поэтому успеваемость и дисциплина в школе хромали.

Во время большой перемены школа являла собой подобие ада. Из дверей уборных вырывались клубы табачного дыма, который пластами стелился по коридорам. В этом ядовитом тумане носились ученики, сметая всех, кто попадался на их пути, — первоклассников, учителей и случайных посетителей вроде меня.

Я думаю, что среди грешников, обретавшихся в этом аду, Андрей был одним из самых злостных. Весь его дневник был исписан учителями, взывавшими к маме: «Мешал работать на уроке», «Вертелся и разговаривал с соседом», «Читал постороннюю книгу», «Опоздал на урок», «Пел на уроке»...

Наша женская школа № 559 была совсем другой, недаром она называлась у районных мальчишек «монастырем святой Ксении». Это нашу директоршу звали Ксения Николаевна, и она действительно превратила вверенную ей школу в нечто вроде монастыря. Тумбочки для цветов были покрыты белыми салфетками, на уроках была тишина, а на переменках мы чинно прохаживались по коридору под надзором дежурной учительницы.

Но роднила обе наши школы любовь к театральному искусству. И в той и в другой были драматические кружки, только мужские роли у нас приходилось играть девочкам, а в Андреевой женские исполнялись мальчишками. Вот такое неудобство породило раздельное обучение.

Я тоже записалась в кружок, хотя, как быстро выяснилось, публичные выступления мне были противопоказаны — от страха я не могла произнести на сцене ни слова. Но не обо мне речь.

Примой нашего драмкружка была, конечно, Галька Иванова, блондинка с бледным широким лицом, вдоль которого свисали две тонкие косички. Галька играла все главные роли — она была Гердой в «Снежной королеве» и Зоей в пьесе Маргариты Алигер.

...Кончилась первая четверть, и было объявлено, что на Седьмое ноября в нашей школе будет вечер с художественной самодеятельностью. Об этом вечере узнали ребята из 554-й школы, и Андрей сказал, что они покажут у нас свою пьесу. Я ждала этого вечера с особыми чувствами.

Зал был полон, учителя во главе с директоршей сидели в первом ряду. Завуч в отглаженной гимнастерке поздравил всех с праздником и сообщил об «итогах первой четверти». Потом началась самодеятельность. Читали стихи о Великом Октябре и танцевали бессмертный матросский танец «Яблочко». Девочка-узбечка, жившая в узбекском представительстве на Полянке, сыграла на пианино «Похороны куклы». Наконец объявили «Зою». Зал, негромко гудевший во время «Похорон», затих.

Галька Иванова прошла к середине сцены и устроилась полужела на полу. Сидящие в задних рядах вытягивали шеи, чтобы лучше видеть. Некоторое время она лежала молча, входя в образ, потом приподнялась, как бы очнувшись, протянула руку, показывая в дальний угол зала, и проговорила: «Кто это там стоит у окна?» Все зрители повернулись к дальнему окну. Раздался смех, потому что там на подоконнике сидела наша одноклассница, хулиганка и двоечница Валька Сидоркина.

Но Галька, не обращая внимания на смех, как настоящая актриса, продолжала: «Ах, это вы, Иосиф Виссарионович!» Смех умолк. Теперь все очень серьезно смотрели на сцену. «Простите, я не могу встать, у меня болят ноги, но я сидя выслушаю ваш приказ»...

Гальке долго хлопали, и она, откланявшись, довольная, пробежала на место, которое мы уважительно держали ей в зале.

И вот объявили, что выступит драмкружок из 554-й школы. Я была счастлива — сейчас все увидят моего брата. Андрей был объектом моей гордости и давал мне некоторое превосходство над одноклассницами — только у меня одной в классе был старший брат.

Вот и он — в длинном бабушкином платье времен нэпа, в черной шляпе из японской рисовой соломки со страусовым пером. Нарумяненный, с накрашенными губами, Андрей изображал неверную графиню, которая, проводив мужа на охоту, принимала кавалера.

Друг Андрея, Слава Петров, играл глуповатого увальня графа, который с криком: «Графина!» — в неурочный час вваливался на сцену. Изменница графиня, то и дело поддегивая сползающий бюст, прятала любовника, а граф бегал за ней со шпагой в руке.

Зал хохотал — пьеска была хоть и глуповатой, но веселой и не похожей на то, к чему все привыкли. И ребята играли смешно, особенно Андрей с кокетливыми ужимками и подушкой вместо бюста.

Но вдруг я увидела лицо нашей директорши. Оно было застывшим как маска. Директорша не смеялась. Перестала смеять-

ся и я. Ну все. Теперь начнутся разборки — кто придумал эту пьесу, кто разрешил выступать? Андрею попадет, еще из школы выгонят, если дело дойдет до роно.

Но Ксения Николаевна, видимо, не захотела выносить сор из избы. Репрессий не последовало. Только наша историчка, узнав, что это мой брат «блистал» на вечере, сказала: «Ну и ну» — и покачала головой. Но глаза у нее смеялись.

Девчонкам нашим пьеса, в общем-то, понравилась. А Андрей был так хорош с покрашенными губами, что я потом долго таскала ему записки от старшекласниц.

Картина

Война еще не кончилась, где-то далеко от Москвы гремели выстрелы и гибли люди, а товарищ Сталин решил заняться народным образованием. Он захотел, чтобы советские мальчики и девочки учились раздельно.

Ничего не поделаешь, мы с Андреем оказались в разных школах. Он в 554-й, недалеко от дома, в Стремянном переулке, а я — в 559-й, в Казачьем, на Полянке, куда надо было ездить на трамвае.

А еще через год, в сорок пятом, ввели школьную форму, сначала только для девочек. Мальчикам повезло больше — они еще долго ходили кто в чем, сохраняя неповторимость. А мы превратились в гимназисток — коричневые платья и черные фартуки. Но сталинская идея сделать из нас отштампованных по единому шаблону школьниц не прошла. Семьи-то были разные — и совсем бедные, и побогаче. Поэтому у одних девочек платья были из шерсти, у других — из сатина. И естественно, что при шерстяном платье и фартук был пофасонистее, а при сатиновом попроще.

У меня форма была не из лучших, но вполне приличная — бабушка постаралась, вспомнив свой гимназический наряд. За неимением ничего более подходящего она пришила к моему воротнику-стойке старинные валансьенские кружева. Мне они очень не нравились, явно допотопные, из бабушкиного сундука.

Была я девочка тихая, училась хорошо и сидела на первой парте. Поэтому со мной часто сажали для исправления отъявленных хулиганок и двоечниц, из которых получались потом ровки и районные проститутки. Но мне с ними нравилось сидеть, было веселее, чем с правильными отличницами.

На уроке рукоделия, от которого я была освобождена из-за распухших и растрескавшихся от авитаминоза рук, мы устраивались на полу возле теплого радиатора и рассказывали анекдоты. Помню, например, один. Идет военный. Ему интересно узнать, в честь взятия какого города салют. Навстречу ему бабка, несет в бидоне суфле (было такое соевое молоко). Военный спрашивает

ет: «Бабушка, что взяли?» — «Суфле, милый, суфле». — «А где это Суфле?» — «Да тут, за углом!»

Вот от таких анекдотов мы тогда умирали со смеху...

Однажды наша учительница сказала, чтобы завтра мы пришли с чистыми воротничками и в глаженных галстуках — к нам придет художник.

На следующий день в класс вошел небольшого роста человек с артистической копной черных с проседью волос, похожий на Чарли Чаплина. Мы чинно сидели и смотрели на него, а он разглядывал нас. Он искал модель для своей будущей картины, которая должна называться не то «Школьница», не то «Отличница».

Выбор художника пал на меня. Я должна была стоять у доски и писать мелом «Слава товарищу Сталину!» Почерк у меня был неважный, и эти слова за меня приходилось писать учительнице.

И вот я начала оставаться после уроков и стоять у доски с мелом в руке. На завтрак в школе мы получали одну баранку и две конфеты-подушечки, поэтому к концу уроков очень хотелось есть и начинала кружиться голова. Но я все стояла у доски и стояла...

Наступила весна. Мои одноклассницы играли на школьном дворе в лапту или, взявшись под ручки, шли в «Ударник» смотреть кино. А я с мелом в онемевшей руке, поднятой к точке восклицательного знака, позировала у доски художнику.

Наконец он сказал, что кончил писать фигуру и что теперь ему надо делать эскиз головы. И велел прийти к нему домой.

В бедной, обставленной случайными вещами комнате царил беспорядок и пахло кошкой. Скинув что-то со стула, художник усадил меня и начал рисовать. Но тут пришла сотрудница из районной библиотеки и, достав формуляр как обвинительный документ, стала требовать задержанные книги. «Чарли Чаплин» и его жена побледнели, засуетились и, сваливая друг на друга вину за пропавшие книги, бросились их искать. Библиотекарша, олицетворяя непреклонную власть, стояла посреди комнаты с выражением брезгливого презрения на лице. По ней было видно, что у нее в комнате всегда полный порядок.

Наконец книги были найдены, и библиотекарша удалилась. Но сеанс был испорчен. Художник не мог работать, у него тряслись руки, и меня отпустили домой.

Но картина все же была дописана. В светлом классе, какие могли быть только в советской школе, стоит худенькая девочка в гимназической форме, с пионерским галстуком на шее, и выводит красивым, как на прописи, почерком здравицу великому вождю.

Но что-то было не то в этой картине, чего-то ей не хватало. Оптимизма, что ли?

Брошка-паук

Когда Андрей и я были маленькие, мама учила нас быть «лисыцами». Играют лисята возле норы, а мать-лисица где-то поблизости. Вдруг — опасность. И по первому сигналу матери они сразу понимают, что надо спастись, бежать в нору.

Так и мы должны были понимать маму с полуслова, с полувзгляда, и не только в тех случаях, когда речь шла об опасности. По выражению ее лица, по едва заметному пожатию маминой руки нам было понятно, как вести себя в тех или иных обстоятельствах, с тем или иным человеком.

Я была хорошим «лисенок», с Андреем было сложнее. Он не нуждался в чужом опыте и руководстве. Он должен был сам все испробовать, все испытать, набить себе синяков и ссадин...

Некоторые правила были для нас такими же непреложными, как, скажем, мытье рук перед едой. Нельзя брать чужого и нельзя лгать. Нельзя тянуть первым руку, когда здороваешься со взрослым. В транспорте надо уступать места старшим. Когда тебя угощают чем-нибудь, например яблоками, надо взять то, которое поменьше.

Когда мамы не стало, я записала на листе бумаги другие ее «заповеди», некоторые из которых были скорее житейскими советами, чем нравственными нормами или правилами поведения.

Например, мама, которой многие годы приходилось занимать деньги, чтобы как-то сводить концы с концами, учила меня вовремя отдавать долги: «Если ты хоть раз подведешь человека и не отдашь долг в срок, ты уже туда не сможешь обратиться. Раз ты обещала, достань, перезайми, но обязательно верни, как обещала».

А еще как-то мама процитировала мне фразу из Чехова, что человек должен так себя держать, чтобы своим присутствием не создавать неудобств окружающим. Сама она жила и вела себя именно так — и в коммунальной квартире, и в трамвае, и на работе.

Были у нее и другие правила — не болтать зря и не рассказывать никому о своих несчастьях и заботах, о промахах и ошибках своих детей.

Не изворачиваться и не скрывать своих «преступлений», потому что «все тайное рано или поздно становится явным».

А еще, говорила мама, не спеши делать добро.

Как?! А я только и делала, что бросалась всем на помощь — переводила через улицу старушек и детей, провожала слепых, подхватывала чьи-то сумки.

«Да нет, — морщилась мама (она всегда недовольно морщилась, если ее не сразу понимали), — я говорю не об этом. Бывают ситуации, когда ты жертвуешь последним для кого-то, а эта жертва не соответствует тому, ради чего она была принесена.

Ты помнишь соседку со Щипка, Ленку Осипову? Однажды прибегает она к нам на кухню, вся встрепанная, глаза безумные.

«Марь Иванна, ради бога, одолжите мне двадцать пять рублей. Я вам через неделю отдам. Мне так нужно, так нужно. Не знаю, что я буду делать, если не достану!»

У меня, — продолжала мама, — было ровно двадцать пять рублей, я думала дожить на них до полочки. Но как тут не дать! Ленка прибежала в таком виде, наверное, у нее стряслось что-то серьезное. Отдала я ей эти двадцать пять рублей. Минут через пятнадцать снова появляется Ленка. Она входит спокойно, на лице ее написаны радость и глубокое удовлетворение.

«Марь Иванна, большое вам спасибо! Как вы меня выручили! Понимаете, приходит знакомая спекулянтка и приносит брошки. А у меня денег не хватает! Там разные были — зеленые, синие. Я выбрала этого. Смотрите, правда прелесть!»

На груди у Ленки был приколот ужасающего вида медный паук с длинными изогнутыми ногами и с огромной красной стекляшкой вместо живота — очень модная тогда брошка.

Ленка была вполне счастлива, а мне пришлось заниматься, чтобы хлеба купить.

Это мелкий случай, бывали и посерьезнее. Так что никогда не бросайся помогать — дай человеку осмотреться, подумать, всегда выход найдется. Помогай, когда это действительно нужно».

Но мама была доброй и сама очень часто нарушала эту «заповедь».

Елка

Катеньке в день ее семнадцатилетия

Новый год мы всегда встречали с елкой. Уж так было заведено, что тридцать первого декабря в доме появлялось это колючее дерево. Оно расправляло сведенные веревками и морозом ветки и наполняло комнату свежим запахом хвои. Доставался ящик с елочными украшениями. За год мы успевали их забыть и теперь радостно узнавали знакомые игрушки. Вот мои любимые балерины, розовая и голубая. Сидят на качелях в ватных юбочках, покрытых сверху блестящим искусственным настом...

В послевоенные годы было трудно купить елку. У Павелецкого вокзала продавцов гоняла милиция, и они прятались по дворам и подворотням. Задача покупателя — найти продавца. Вот такая была игра на свежем воздухе.

Наступает новогодний вечер, а елки у нас еще нет. Мы с Андреем изнываем от нетерпения. Наконец мама одевается и уходит, не говоря нам ни слова. Но мы знаем, что она пошла искать елку. Мы начинаем ждать. На улице трещит мороз, Новый год неумолимо приближается, а мамы все нет. Наше беспокойство возрастает: «Купит ли? Не опоздает ли к Новому году? Успеем ли елку на-



Андрюша и Марина. Довоенная елка

рядить? И вообще, куда мама пропала?» В догадках и тревожных разговорах проходит время. Но вот открывается уличная дверь, теплый воздух из кухни, столкнувшись с морозом, обволакивает и маму, и елку. «Ура! Скорей, скорей! Как же ты ее дотащила? Где купила?» Мама, промерзшая, с красными, распухшими руками, но радостно возбужденная оттого, что она дома после темной морозной улицы, начинает подробный рассказ о своем походе, который кончается встречей с мужиком, продающим елку у Даниловского универсама.

И этот рассказ, и сама мама, и елка, которая начинала отгаивать и шевелиться в углу, — это и был наш новогодний праздник.

Кошачьи истории

В нашей семье любили животных, всяких-разных, и лошадей, и собак, и кошек.

Может быть, из-за любви к лошадям папе так часто снился один и тот же сон. Он лежит на кровати и слышит издали стук копыт по деревянному полу. В открытую дверь вбегает лошадка, маленькая, меньше, чем пони, темно-коричневая. Она подходит к папе, и он гладит ее. Но ведь это был лишь чудесный сон, наяву таких миниатюрных и милых лошадок не бывает, а большие лошади невозможны в городской комнате. Но зато в такой комнате может прекрасно ужиться другой зверь...

Папа и мама поженились в 1928 году. Жили они в одной комнате коммунальной квартиры. Комната была светлая, солнечная, окно ее выходило в сад. Родители были тогда слушателями Высших литературных курсов, то есть студентами. Жили они бедно и голодно, иногда их ужином был «поджаренный» на воде репчатый лук. На последние деньги они покупали папиросы, потому что оба курили. Но у папы были плохие легкие, поэтому даже зимой в их комнате часто была открыта форточка.

И вот в один прекрасный воскресный день в эту открытую форточку впрыгнула кошка, обыкновенная тигровая кошка. Она задержалась на минуту, и родители увидели, что в зубах кошка держит кусок мяса величиной с ладонь. Оглядевшись и не обращая

никакого внимания на наблюдавших за ней хозяев комнаты, незнакомка спрыгнула вниз, положила на пол у печки мясо и исчезла за окном. Через несколько минут она снова появилась, и снова с куском мяса, который занял свое место рядом с первым. Потом снова исчезла и снова вернулась, и опять с таким же куском антрекота. Больше она уже не уходила, а уселась возле печки и стала вылизывать свою шерстку.

Родители, обомлевшие от происходящего, решили, что это сам Господь послал им роскошный ужин. Они вымыли три антрекота, поджарили их на сковородке (масло по такому случаю заняли у соседней) и сытно поужинали впервые за несколько дней, не забыв угостить тигровую киску. Таким чудесным образом пришла в дом молодых Тарковских кошка Муська и прожила с ними какую-то часть своей короткой кошачьей жизни...

Сколько видимых и невидимых миру слез пролито детьми, жаждущими иметь собаку или кошку! Родители выкидывают за дверь притащенного с помойки котенка, выгоняют беспризорного щенка, принесенного со двора. Когда мы с Андреем подросли, то мама и бабушка не запрещали нам иметь в доме животных, хотя они порою и доставляли всем неприятности. В Юрьевце, в эвакуации, мы, конечно же, не могли обойтись без кошки. Эта наша подруга прославилась тем, что принесла в дом (вернее, в одну маленькую комнатку) массу блох, которые радостно переселились с кошки в наши желтые одеяла из верблюжьей шерсти, купленные еще до революции Николаем Матвеевичем. Приходилось время от времени вывешивать одеяла на мороз и вычищать их щеткой — скребком, которым некогда мыли корову Голубку...

Но самой любимой кошкой в нашей семье была кошка Капа, которая прожила на Щипке больше десяти лет.

Ранней весной 1945 года, гуляя на заднем дворе, мы с Андреем увидели большую пушистую кошку. Тогда в Москве было совсем мало живых существ, почти не было ни собак, ни кошек, да и людей было немного, война опустошила город. Разве что только крыс развелось порядочно, давно известно, что



*Это мама с котенком.
Сзади виден деревянный Щелкунчик*



Андрей с кошкой Капой

они сопутствуют беде и разорению. И вдруг — кошка. Да еще пушистая. Мы ее приманили, поймали и принесли домой, абсолютно не думая о том, что она может быть чьей-то. Кошка осталась у нас, а летом в деревне, где мы жили «на даче», она родила котят. Как-то утром, проснувшись в деревенском доме в комнате с бревенчатыми стенами, вместо обычных кошачьих «подарков» — дохлых мышей и бурозубок — я обнаружила у себя на кровати двух маленьких котят, детей пушистой кошки. Один был тигровый, другой — белый с пятнами. Кстати, вскоре выяснилось, что котята — девочки. Пуши-

стая кошка оказалась дрянной матерью, и котят выпестовала я. Белую кошечку я назвала Ясой, а тигровую, за пятнышки-капочки на животе, — Капой. Капа осталась у нас, второго котенка отдали, как говорится, «в хорошие руки». Была Капа удивительно умной кошкой, узнавала шаги своих еще издали, в коридоре, и бежала к дверям встречать маму, Андрея или меня...

Капа жила с нами и тем голодным летом 1947 года, о котором я писала в рассказе «Шуба». Теперь я знаю точное название того места: станция Усад, деревня Молодино. Мы с Андреем выходили из дома бродить по окрестностям, а кошке строго-настрого наказывали сидеть дома и оставляли ее под замком. Но дом был весь худой, и Капке ничего не стоило выбраться наружу. Дорога наша шла вдоль капустного поля, и кошка, зная, что ей не велено с нами идти, бежала среди кочанов капусты, жалобно мяукая, но не показываясь на дороге. Мы долго делали вид, что не слышим кошачьих стонаний, но наконец снисходили, и я говорила тихим голосом: «Ну, Капочка, иди сюда». И она радостно выскакивала на дорогу, взбиралась на мое плечо, и дальнейшая прогулка совершалась уже втроем — Андрей, кошка и я...

Мы очень любили Капу, но когда прошли годы и я выросла, у меня появились другие интересы и занятия. Я уже меньше интересовалась судьбой кошки... До сих пор я ощущаю вину перед памятью этого маленького существа, за которое должна была нести ответственность.

Таким сокращением называлось учебное заведение, где учились родители. «Высшие Литературные Курсы при Всероссийском Союзе Поэтов, находящиеся при Москпрофобра». (Эта «Москпрофобра», чудовищная и безграмотная аббревиатура, обозначала «Московское профессиональное образование»)

Литературные курсы с правами высшего учебного заведения возникли на руинах Литературного института, созданного В.Я. Брюсовым и после его смерти закрытого. Многие преподаватели, приглашенные Брюсовым, стали работать и на курсах. Среди них были такие замечательные ученые, как пушкинист М.А. Цявловский, философ Г.Г. Шпет, литературовед И.Н. Розанов. Помещения у курсов не было, вечерние занятия проводились в классах московских школ.

Папа приехал в Москву учиться из маленького городка степной Украины, Елисаветграда, через который совсем недавно прокатились волны Гражданской войны. В 1924 году город был переименован в Зиновьевск, в честь родившегося там вождя, не отличавшегося, как видно, излишней скромностью. Стоит сразу сказать, что в 1934 году он стал Кирово-Украинским, а в 1936-м — Кировоградом и называется так до сих пор. К семнадцати годам Асик Тарковский, мальчик, обожаемый родителями, познал ужасы насилия. Видел избитых солдатами отца и брата, пережил смерть брата, лишился дома (семья переехала в 1919 году в дом его тетки, О.Д. Гусевой, — вместе было легче пережить войну). Мальчиком папа был арестован патрульными атаманши Маруськи Никифоровой, а потом (согласно рассказу Татьяны Никитиной-Станиславской) — органами ЧК. Он и его друзья напечатали в газете антиленинское стихотворение-акростих. По дороге в Николаев папа убежал из вагона, долго скитался по степной Украине «без копейки в кармане». Боясь вернуться в Елисаветград, он прибил к рыболовецкой артели на Азовском море, был подмастерьем у сапожника.

В Зиновьевске остались папина мать, Мария Даниловна, родные могилы и женщина, которую он «горше всех любил».

В Москву папа приехал с тетрадью юношеских стихов, он твердо знал, что станет поэтом.

Экзамены при поступлении на курсы заключались в чтении абитуриентами своих произведений и в собеседовании о литературе. У папы экзамен принимал поэт и теоретик поэзии Георгий Аркадьевич Шенгели, ставший его наставником и старшим другом.

Папа поступил на первый курс в 1925 году и учился вместе с Марией Сергеевной Петровых и Юлией Моисеевной Нейман, с которыми его связала на всю жизнь и человеческая, и творче-



Мама школьница

ская дружба. На их курсе были будущий муж Марии Петровых Виталий Головачев и сын писателя Даниил Андреев.

Мама в том же 1925 году поступила на подготовительное отделение курсов. Она окончила школу в городе Кинешме, что на Волге, где жила с матерью и с отчимом.

Слушатели курсов должны были изучать гуманитарные дисциплины, хотя на подготовительном отделении и на первом курсе в программу были включены экономическая география и биология. Изучались русская литература (преподаватели — профессора Орлов, Розанов, Шамбинаго, Цявловский), европейская литература (Верховский, Коган, Рачинский), греческая и римская литература (Ермилов, Грушкá), история искусств

(Сидоров), языковедение (Каринский), психология художественного творчества (Бережков), эстетика (Шпет), поэтика (Ярхо, Григорьев), прозология (Локс), стиховедение (Рукавишников), драматургия (Валькенштейн), клубоведение (Ребельский).

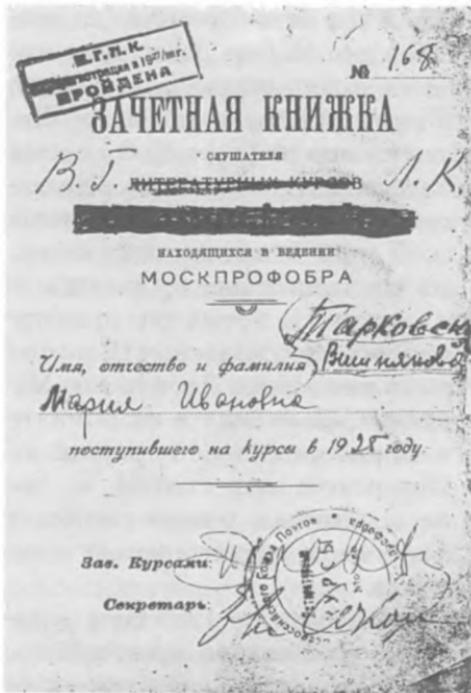
Обязательными предметами были также политэкономия, история ВКП(б), история классовой борьбы в России и история западноевропейского революционного движения.

Заведующим учебной частью был поэт Захаров-Мэнский, большой оригинал, погибший впоследствии в лагерях, как очень многие из профессоров и слушателей курсов.

Мама училась на одном курсе с Наташей Радченко — будущей писательницей Натальей Баранской, с Ниной Лурье-Алексеенко, с Надеждой Лапшиной-Терпсихоровой. Наталья Владимировна Баранская вспоминает, что программа курсов была несовершенна, не проводилось творческих семинаров. Занятия проводились вечером, публика была разнообразной. Среди слушателей встречались нэпманские дочери, дети «классово чуждых», которых государственные вузы не принимали.

Занятия на курсах были платные, а жили родители, как тогда говорилось, «на фуфу», то есть на то, что им присылали из дома. Маме помогали больше, ее отчим как врач зарабатывал неплохо. У бабушки было свое хозяйство, и мама часто получала посылки. А еще мама была счастливой обладательницей своей собственной комнаты.

Зачетная книжка ВЛК
Марии Вишняковой-Тарковской



1925 года

Отделения Подгородный

№	Преподаватель	Предмет	Экзаменная отметка	Подпись экзаменатора	Экзаменная отметка	Подпись экзаменатора
1	Т.А. Раймонис	Общ. нар. сл.		[Signature]		[Signature]
2	Н.Н. Захаров-Минин	Лек. нар. сл.	Зачет	[Signature]		
3	А. Дринов	Нар. нар. сл.	Зачет	[Signature]		
4	Я. Зудович	Школа		[Signature]		[Signature]
5	Яковлев	Нар. нар. сл.		[Signature]		[Signature]
6	Александров	Русский язык		[Signature]		[Signature]
7	Богарев	Нар. нар. сл.		[Signature]		[Signature]
8	Назарович	Як. нар. сл.		[Signature]		[Signature]
9	Бонин-Бучев	Биология		[Signature]		[Signature]

ЗАЧЕТЫ ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ

1926 года

Отделения I курс

№	Преподаватель	Предмет	Экзаменная отметка	Подпись экзаменатора	Экзаменная отметка	Подпись экзаменатора
12	проф. Кузнецов	Лит. нар. сл.		[Signature]		[Signature]
13	проф. Илья	Язык		[Signature]		[Signature]
14	Зудович	Сем. на 2000		[Signature]		[Signature]
15	Гантше	Як. нар. сл.		[Signature]		[Signature]
16	проф. Давид	Новейшая лит.		[Signature]		[Signature]
16	проф. Рубинштейн	Сем. на 2000		[Signature]		[Signature]

ЗАЧЕТЫ ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ



*Ася, Маруся и медведи.
На фоне японского шелкового ковра.
Москва, Гороховский переулок*

А вот папе приходилось совсем худо. Мария Даниловна жила на маленькую вдовью пенсию и помогала ему очень мало. Жилья у папы не было. Одно время он снимал комнатку на Двадцатой версте Белорусско-Балтийской дороги, потом жил в какой-то развалюхе возле Таганской площади. На время его приютили Георгий Аркадьевич Шенгели и его жена Нина Леонтьевна Манухина. Папа жил в их комнате в Борисоглебском переулке на Поварской, под столом, и, как он вспоминал, у него там была даже своя электрическая лампочка.

А в феврале 1928 года родители официально поженились. В 1927 году папа со своим «приданным» — голубым ватным одеялом, подушкой и стопкой книг —

переселился к маме в Гороховский переулок.

В 1929 году после скандального самоубийства одной из слушательниц — дочери крупного военного — Литературные курсы были закрыты властями, но студентам было разрешено сдать зачеты и экзамены при 1-м МГУ.

К тому времени папа был уже сотрудником газеты «Гудок». Туда его привел Шенгели, который писал для «Гудка» стихотворные политические фельетоны и вел раздел судебной хроники. Георгий Аркадьевич решил уйти из газеты, а на свое место порекомендовал папу. И папа оставил курсы, чтобы работать, писать стихи и заниматься самообразованием.

Но мама хотела доучиться. Ей было обидно бросать, проучившись три года. К тому же она понимала, что диплом о высшем образовании поможет ей в жизни.

Мама писала стихи и прозу. Другим нравилось, как она пишет, и один из них даже прозвал ее «Толстой в юбке». От ее работ остался лишь небольшой набросок рассказа, остальное мама уничтожила. О ее литературной одаренности можно судить по ее замечательным письмам и по отрывочным дневниковым записям. Вот одна из них, по которой можно многое понять в мамином характере и в ее судьбе. «...Я теперь поняла в чем весь кошмар: я — «натура» (мама ставит кавычки, потому что не любит высоких слов. — М.Т.) творческая, то есть у меня есть все, что должны иметь творческие люди — и в отношении к окружа-

ощему, и способность обобщать, и умение процеживать, и, самое страшное, требования к жизни, как у «творца». Не хватает одного — дарования — и вся постройка летит кувырком и меня же стучает по макушке, а требования мои никогда не смогут быть удовлетворены, потому что они мне не по силам. Т.* когда-то мне сказала, что она мечтала быть другом, правой рукой какого-нибудь большого человека, а я удивлялась, потому что я хотела сама быть создателем.

В четырнадцать лет я писала:

Я хочу музыки дикой и властной,
 Я хочу жизни широкой, опасной,
 Я не хочу на земле пресмыкаться,
 Я хочу с вихрями, с бурями мчаться.

Это смешно, конечно, даже стыдно писать это и об этом, но в таком детском бунте — мысли-то мои, пусть бездарно оформленные, — и заключаются дальнейшие несчастья: я думала, что хотеть — значит мочь.

Быть приживалкой чужого дарования! Надо иметь дар самоотречения. И насколько в жизни и в быту он мне свойствен по полному безразличию к тому, от чего я с легкостью отрекаюсь, настолько я жадна к своему внутреннему миру, и попробуйте сделать из меня святую! Потому-то я и не смогла бы быть ничьей нянькой и вот поэтому-то я и не могу никак изменить свою жизнь».

Вот такой была наша мама. Андрей не читал этих записей, но он хорошо ее понимал и чувствовал. Поэтому в финале «Зеркала» старая мать ведет маленьких детей не с добрым и нежным, а с напряженным и суровым лицом. Она выполняет свой материнский долг, она любит своих детей, но только в этом не может заключаться смысл ее существования на земле. А самое главное в ее жизни не состоялось...

Но вернемся к истории с курсами. Наступило лето 1930 года. Папа уезжает со своей тещей, маминой мамой, к ней на Волгу в село Завражье — ему надо было отдохнуть и поправить здоровье. Мама же, оставшись в Москве, должна была за десять дней досдать необходимые экзамены и приехать к ним в деревню.

14 июня папа, бабушка и собачка родителей Туська отправились в дорогу. Ехать им надо было через Кинешму. По прибытии туда, 15 июня, с вокзала папа посылает маме открытку с просьбой о скорейшем ее приезде к нему.

16 июня мама пишет папе письмо, в котором она очень разумно обосновывает необходимость закончить курсы. Папину открытку она еще не получила.

* Тоня, Антонина Александровна — вторая жена А.А. Тарковского.

Примерно 18 июня она получила эту открытку, а вслед за ней и телеграмму, в которой папа умоляет ее бросить все и немедленно приехать.

24 июня мама выезжает из Москвы в Завражье, так и не сдав экзаменов, необходимых для получения свидетельства об окончании курсов. Зато папино двадцатитрехлетие они отмечают вместе.

Вот так закончились для мамы занятия на ВГЛК. В анкетах при поступлении на работу в графе «образование» ей приходится писать «неоконченное высшее». Поэтому работала она корректором в типографии и даже не пыталась устроиться редактором — без высшего образования на эту должность не брали.

Бирюзовые серьги

Я очень люблю вещи. Но не потому, что они приносят пользу или имеют определенную цену. Я люблю вещи за то, что они связаны с дорогими мне людьми. Вещь, соприкоснувшись с человеком, хранит его тепло и от этого сама становится почти одушевленной.

Я берегу многое, связанное с памятью моих близких. И сейчас жалею, что сразу после смерти мамы вынесла на улицу все из ее комнаты — кровать, кресло, китайское шерстяное одеяло, подаренное мне ею самой, сумочку, которая лежала под ее подушкой. Тогда эти вещи казались мне врагами. Они слишком агрессивно и жестоко напоминали о ней, и я безжалостно их уничтожила.

Сейчас я не могу выбросить ни маминой старой шерстяной шапки, ни папиного голубого свитера, съеденного молью еще при его жизни.

Мама не была такой сентиментальной фетишисткой. Она легче переживала материальные утраты. А если речь шла о жизни и здоровье ее детей, она без колебаний расставалась с любой вещью.

До войны у мамы были серьги из бирюзы — два довольно крупных кругло обточенных камня, оправленных в золото, на котором арабской вязью было выгравировано изречение из Корана.

Когда мама вышла замуж за папу, она стала носить эти серьги, потому что папе нравилась мама с серьгами. Они действительно ей шли, и она носила их, несмотря на бабушкины слова, что, по примете, бирюза приносит блондинкам несчастье.

Когда папа ушел, мама больше не надевала серег, у нее даже дырочки в ушах заросли. Хотя теперь, когда папа ее бросил, уже можно было не бояться плохой приметы... Серьги лежали в шкафу, а когда началась война, мама взяла их в эвакуацию.

Но стоит рассказать об их истории, а для этого надо обратиться к бабушкиным родственникам. Ее отец, Николай Васильевич Дубасов, принадлежавший к старинному московскому бо-



*Мама с веткой калины.
Хутор Горчакова. 1935*

ярскому роду, был женат на Марии Владимировне Пшеславской, дворянке русско-польского происхождения.

Тетка ее, некрасивая старая дева, разочаровалась в светской жизни и отправилась паломницей в Иерусалим. Она хотела поклониться Гробу Господню, а заодно попросить у митрополита благословение на монашеский постриг. Тетушка поселилась в гостинице при русской колонии и в ожидании приема у владыки выстаивала все службы в православном храме. Там ее заметил один грек, тамошний врач. Когда она в назначенное время пришла к владыке за благословением, тот сказал: «Дочь моя, я благословляю вас не в монастырь, а на брак с нашим уважаемым врачом господином Мазараки».

Тетке ничего не оставалось, как выйти замуж. Она счастливо прожила много лет в Иерусалиме и вернулась в Москву только после смерти своего обожаемого супруга. Всем родным она привезла подарки. Бабушке она подарила серьги с бирюзой, которые потом перешли к маме.

В эвакуации пришлось продавать и менять на продукты самые разные вещи. Постепенно исчезали фаянсовый кувшин и таз, доха и велосипед Николая Матвеевича, мамин клетчатый джемпер и плюшевый жакет.

Очередь приблизилась к серьгам. Думать об их продаже мама начала только весной сорок третьего года, когда возвращение в Москву стало реальным делом. Надо было подниматься в дорогу, покупать билеты, а пока — дожить до отъезда.

В апреле мама написала об этом папе. Бирюзовые серьги она называла просто «голубые сережки». «Хотим продать голубые сережки», «У меня покупают голубые сережки». Андрей в «Зеркале» говорит, что продать их она пыталась в Завражье. Но сделать это было непросто, людям тогда было не до роскоши.

Как-то мама опять пошла за Волгу и опять взяла с собой серьги. Вместо них она принесла в мешке меру картошки. Эти слова «мера картошки» так часто повторялись бабушкой, что стали привычными. «Серьги Маруся отдала за меру картошки». Мера — эта неканоническая мера объема — небольшое прямое ведро. Сколько в нем было килограммов? Может быть, восемь...

Говорят, что камни бирюзы болеют и умирают, как люди.

Интересно, живет ли еще мамина бирюза?

Пожарище

Этот удивительный случай произошел с мамой, когда она во время войны ходила выменивать на продукты кое-какие вещи, привезенные из Москвы.

Мама, еще молодая, ей было тогда тридцать пять лет, вышла рано утром из дома, перешла Волгу по зимней дороге, об-

ставленной вешками, чтобы в пургу нельзя было заблудиться, и пошла вдоль реки Унжи по заволжским проселкам от деревни к деревне.

Было на ней подпоясанное старое пальтишко, на ногах лапти, а за собой она везла деревянные санки с приготовленными для обмена вещами. Это были старые занавески, какие-то носильные вещи и специально сшитые бабушкой детские капоры. Делались они из старого плюша по стандартному фасону, дошедшему еще из прошлого века. Мне бабушка тоже сшила такой капор. Андрей хорошо запомнил, как он выглядел: точно такой же на девочке — сестре героя — в фильме «Зеркало».

Чтобы угодить вкусу деревенских жительниц, бабушка пришивала к капорам украшения — бант, оборку или розетку из ленты. Эти украшения у нас назывались «вырви глаз».

Итак, мама со своими санками долго шла по студеной зимней дороге — сначала полем, потом лесом. Она чувствовала, что скоро будет деревня, и радовалась возможности наконец закурить.

Курила она тогда в лучшем случае махорку, а в худшем — нарезанную мелко обыкновенную сушеную траву, от которой она только кашляла, не получая никакого удовольствия.

Тогда курево у нее с собой было, беда в том, что не было спичек. Потому-то мама и обрадовалась, завидя вдалеке деревню. Ей так хотелось поскорее закурить, что она постучалась в самую первую избу.

Постучаться в деревенский дом — значит в него войти. И вот мама в теплой избе. Печка была уже истоплена, это чувствовалось и по теплу, и по тому особенному вкусному запаху, который бывает в избах, где с утра истопили русскую печь. Русскую печь, в которой стоит чугунок со щами, томятся крынки с молоком и сковородка с картошкой, залитой яйцом. Даже страшно все это перечислять!

Но мама и не надеялась на угощение. Накормить ее могли люди, у которых она должна была ночевать.

Сейчас она попросила у хозяйки уголька, чтобы закурить «козью ножку». Сердитая хозяйка даже не пригласила маму сесть и обогреться, хотя было ясно, что мама не здешняя и пришла по морозу издалека.

«Нет у меня углей, я и печку сегодня не топила!» — закричала она. «Нет так нет», — ответила мама и вышла. Было очевидно, что хозяйка врет — ей просто не хотелось лезть в печку за углем.

Мама снова впряглась в свои санки. Она не была злым человеком, и хотя ей было обидно, она не могла пожелать зла этой женщине.

Но когда мама пошла прочь, в голове ее возник образ какого-то большого пожара и пронеслась странная мысль: «Сейчас она жалеет уголька, а ведь сколько будет огня!»

В какой-то другой избе мама обогрелась, прикурила самокрутку и пошла дальше в знакомое село.

Через день она возвращалась обратно. Вот и деревня, в которой мама просила огонька. Вместо крайнего дома, в который она заходила, стояла среди обгоревших раскиданных бревен закопченная русская печь с высокой трубой.

Маме стало нехорошо, и она чуть не села на свои санки.

Придя домой, она рассказала нам про этот случай, который стал первым в Андреевой коллекции мистических историй.

Цветы

В голодном 1946 году одна знакомая рассказала маме про свою соседку, которая весьма успешно подрабатывала продажей цветов. Не садовых, нет, всю землю в Подмосковье тогда использовали под огороды, а тех, что тогда в изобилии произрастали в лесу или в поле. И лета два подряд мама занималась этим, казалось бы, поэтическим делом.

Как всегда, для нас с Андреем была снята дача — часть деревенского дома. Обычно мама приезжала к нам в субботу вечером после работы. Мы ждали этого дня с нетерпением — во-первых, успевали соскучиться и как-то одичать за неделю, а во-вторых, знали, что она привезет какой-нибудь еды. Помню пыльную дорогу к станции Петушки, на которой мы рисовали прутиком, чего бы нам хотелось. Андрей нарисовал тарелку с геркулесом и бублик. На станцию мы приходили заранее и подолгу сидели на пустынной платформе, пропуская поезд за поездом...

Но радость от приезда мамы омрачалась необходимостью собирать цветы. Ух и ненавидели мы это занятие! Одно дело — составить во время прогулки милый букетик, и совсем другое — «массовый» сбор на продажу. К тому же из-за этих цветов в воскресенье мама должна была уехать пораньше, чтобы успеть продать их до темноты. На следующий день после ее приезда, наскоро поев, мы отправлялись на промысел. «Красной книги» тогда еще не было; весной мы рвали черемуху и ландыши, летом — всякие полевые цветы.

Андрей хорошо помогал только на заготовках черемухи — он как обезьяна лазил по деревьям и добирался до самых красивых верхних веток. Мы с мамой стояли внизу и говорили, какую сорвать, а он их нам сверху скидывал. Сбор других цветов навел на него тоску, он ныл и придумывал разные предлоги, чтобы побездельничать. Маме в конце концов надоело его понукать, и она оставляла его в покое. Какое-то время он сидел где-нибудь поблизости и вырезал узоры на очередной ореховой палке, а потом потихоньку исчезал — на речку купаться или домой читать.

Черемуху мама увязывала в плотные тюки и везла их наперевес. Она спешила распродать ее прямо у вокзала, потому что мокрая черемуха могла «сгореть», а сухая быстро вяла.

После черемухи шли ландыши. Их надо было набрать много-много, сделать букеты, обложить каждый листьями и перевязать травинками. А это не так-то просто. Да еще комары кусаются...

И маме и мне больше нравились букеты из полевых цветов. Они у нас были на любой вкус: «мещанские» — плотные, цветков к цветку, из одних ромашек или васильков, и наши любимые — из ромашек, клевера, скабиозы, в которые мама добавляла тимофеевку, лисохвост или воздушный подмаренник. Трудное было время, только война окончилась, а людям были нужны цветы, пусть такие простенькие. Их хорошо брали у вокзалов, у рынка, у входа в магазины.

Однажды с корзинкой, где оставалось несколько последних букетов, а они продавались труднее всех, мама вошла в трамвай и пошла по проходу. Кое-кто из пассажиров ее останавливал и покупал цветы. Какой-то немолодой человек долго выбирал, наконец взял букет, но вместо того, чтобы заплатить, стал быстро пробираться к выходу и на ближайшей остановке вышел. Мама, приехав, рассказала нам эту историю. Она была огорчена и недоумевала: «Такой на вид интеллигентный и букет выбрал не «мещанский», с темно-красным клевером. А не заплатил. Неужели у него не было тридцати копеек? Сказал бы, я бы так отдала». А потом вдруг засмеялась: «Выглядел он нарядным, наверное, в гости ехал. Представляете — приходит, целует даме ручку, преподносит букет. А ей и в голову не приходит, что он ворованный...»

Особых капиталов от продажи цветов у нас не появилось. Сколько мама выручала, мы не знали — она не любила посвящать детей в денежные дела. Деньги считала одна, поздно вечером, когда все уже спали. И записывала в самодельную тетрадку: «30 июня 1946 года. Цветы — 6 руб. 55 коп.»

Баня

«Художественные предпосылки наготы» — кажется, так называлась довольно толстая книга большого формата, в один прекрасный день оказавшаяся в нашем доме. Книгу эту, изданную, наверное, в начале века и поразившую воображение Андрея, он взял у кого-то на время. Оставаясь один, он, по всей вероятности, внимательно ее рассматривал. Смотрела ее и я. Почему-то среди многочисленных и всевозможных изображений женского тела, начиная с древних глиняных фигурок и кончая кубистскими нагромождениями кругов и треугольников (а между этим, боже мой! — и Венера Милосская, и Даная, и Маха раздетая, и обнаженные Ренуара и Мане), меня привлекла средневековая немецкая гравюра. На ней изображалась женская баня, и моющиеся

в ней женщины были представлены в характерных «банных» позах, хорошо знакомых мне по нашим Строченовским баням. Одна, задрав локоть, пыталась получше потереть себе спину, другая, поставив одну ногу на лавку, намыливала между ног, третья окатывалась из ушата. А тем временем в окошко бани за ними укордкой подсматривал средневековый горожанин в берете.

В наше время, чтобы избежать подобного, женские отделения бань располагались на вторых этажах. Но, чтобы рассказать подробнее о банных делах, мне надо вернуться в послевоенное прошлое и оказаться в субботу на пути в Строченовские бани, ибо если театр начинается с вешалки, то баня начиналась с улицы. Два потока сталкивалось на ней. Один, нервный, озабоченный, немый, шел по направлению к Строченовскому переулку: кто с тазом, в котором помещалось чистое белье и банные принадлежности, кто с сумкой, без таза, рассчитывая на банные шайки («У вас шаечка не свободна?»). Другой поток — распаренный, чистый, спокойный, в белых платочках, видневшихся из-под теплых платков и шапок, шел навстречу. И те (я говорю здесь только о женской половине моющихся советских граждан), кто шел из бани, испытывали чувство некоторого превосходства над теми, кто спешил им навстречу. Те, кто шел в баню, озабоченно спрашивали тех, кто шел из бани, есть ли горячая вода и много ли сегодня народу. Чаще всего ответ был один: «Много! Очередь аж с первого этажа!»

Купив в кассе билет и получив вместе с билетом кусочек вонючего простого мыла, надо было занять очередь, которая вилась по лестнице на второй этаж. Постояв в очереди положенное время, вы оказывались в предбаннике, где надо было поскорее найти и занять свободное место.

Очень противно вспоминать обо всем этом. Мама считала, что общая баня — это издевательство над человеком. «Даже у простого крестьянина была своя отдельная баня! — говорила мама Валечке Кренгауз. — И не надо было ему при всех раздеваться!» Нам она таких крамольных слов не говорила, не хотела внушать протестантских, антибанных идей.

Помывочное отделение бани напоминало вокзал — там гулко раздавались стук шаяк, звуки льющейся воды, громкие голоса. Было оно также похоже и на ад — горячая вода, пар, клубящиеся голые тела. Когда я была маленькая, я до ужаса боялась ходить в баню, мое слабое сердце не выдерживало духоты, и я часто теряла сознание. Ненавидела я и саму процедуру мытья. Мама, вымыв лавку с мылом и обдав ее кипятком, клала меня животом вниз и начинала тереть мочалкой так, что всеми своими ребрами я ощущала это каменное ложе. А мытье головы! Мыло, выедающее глаза, и страх задохнуться под потоком воды, льющейся из таза на голову.

До войны мама мыла нас дома, потом ходила в баню только со мной, а Андрея продолжала мыть дома, потому что не хотела смущать повзрослевшего мальчика видом женских прелестей.

Грелась в кухне вода, в комнате на две табуретки ставилось корыто. Андрей не мог сидеть тихо, вертелся, рискуя свалиться вместе с корытом, не хотел, чтобы ему намывливали голову. И однажды маме пришлось слегка стукнуть его по голове консервной банкой из-под американской свиной тушенки, из которой она смывала ему голову. Край банки был неровный, с острыми зазубринами. Потекла кровь, мама страшно испугалась, испугалась и я, помогавшая маме мыть Андрея. Это была скорее неглубокая царапина, чем рана, но почему-то и Андрей, и я запомнили тот случай. Вспоминая о нем, мы с ним, смакуя свои переживания, забывали о маме, не давая себе труда представить, как мучительно трудно ей жилось, как ужасающе был быт, как уставала она от работы, от повседневных материнских обязанностей, от однообразной серости жизни, из которой она не могла вырваться даже на один день.

Но мне не хочется кончать этот банный рассказ на печальной ноте. Когда я стала постарше, походы в баню стали обрастать приятными свойствами. Мы ходили в баню вдвоем с моей школьной приятельницей, Олей Метляевой, милой светловолосой и сероглазой девочкой. Ее дедушка был из молокан и работал до революции приказчиком у сахарозаводчика Терещенко. К тому времени его уже не было в живых. Оля, ее мама с мужем по фамилии Целуев (родной отец Оли был репрессирован, маму тоже выслали из Москвы в Коканд) и бабушка жили в одной комнате деревянного дома в 3-м Павловском переулке.

Для посещения бани мы с Олей обычно выбирали будний день, чтобы было поменьше народу, но не четверг, потому что по четвергам в бане парились татарки и стоял такой жар, что можно было задохнуться. Оля заходила за мной, и мы чинно шли в баню со своими тазами. Терли друг друга спины, всласть окатывались и, набрав в тазы воды для окончательного омовения ног, шли в прохладный предбанник. Сидя на разостланных полотенцах, мы не спеша, с удовольствием (после бани сильно хотелось пить) съедали по принесенному из дома яблоку — мне мама всегда давала антоновское.

Когда мы, чистенькие, румяные, хорошенькие, в белых платочках, медленно брели домой, нам навстречу попадались торопящиеся в баню озабоченные женщины. И на их вопрос, много ли в бане народу, мы обе радостно отвечали: «Нет никого!»

Записки на клочках

Мама работала корректором в Первой Образцовой типографии, бывшей Сыгина. Работа была каторжная — целый день напряженного внимания. Если, к примеру, в издательстве корректор читает печатный лист (шестнадцать страниц) за целый день, то типографский корректор должен был прочесть его за час.

В Образцовой печаталось многое, прошедшее, конечно, Главлит. Были и политиздатовские заказы, и БСЭ, и словари, и учебники, и художественная литература.

Читая в напряженном ритме все подряд, мама натыкалась порой на что-то, останавливающее ее внимание. То, что казалось ей интересным или забавным, она выхватывала из потока и записывала на чем попало — на клочке типографской бумаги, на рапортнике, на старом конверте. В свободную минуту на таком же обрывке она могла записать и свои собственные мысли или строчку письма, которое обдумывала, список расходов или перечень долгов.

Мне показалось, что если читать подряд эти случайные записи, то можно составить хоть и отвлеченное, но довольно правильное представление о вопросах, занимавших маму.

Сама она, несомненно, была выше многих прописных истин, которые были ей нужны как подтверждение собственных мыслей и наблюдений.

«Истинным стимулом человеческой жизни является завтрашняя радость». Макаренко.

«Язык — орудие мышления. Обращаться с языком кое-как — значит мыслить кое-как». Федин. «О мастерстве».

«Если что-нибудь не сделано, то все не сделано». Бурятская пословица.

«Столичная знать, располагавшая людьми и богатствами, — вот кто вершил уже тогда судьбами страны». «Всемирная история», том 1, стр. 153, 4-й абзац*.

«Пароксизм (припадок) — приступ болезни, внезапно возникающее обострение».

«Я знаю, что правильно, но не имею склонности следовать ему; я знаю, что неправильно, но не могу отказаться от него». Санскритское выражение.

«От Андрея перевод — 600 р. — 21 июня 53 г.»**.

«...шкатулочные души литературных историков». Фучик.

«Так везде, но в дороге особенно ясно: стоит направить свое внимание и волю к определенной цели, как сейчас же появляются помощники». Пришвин.

«Коммунистическая партия оберегает советское искусство от влияния упадочного искусства буржуазии...»

Мама комментирует этот абсурд: «А разве искусство не является (согласно учению КП) плодом, надстройкой и т. п.? Так зачем же «оберегать» — какова почва, таково будет и искусство».

* Запись сделана из-за стилистической ошибки («судьбами» вместо «судьбы»), которая свидетельствует о безграмотности автора-историка.

** 26 мая 1953 г. Андрей уехал в Сибирь с геологической экспедицией. Мама не случайно делает запись — это первые заработанные Андреем деньги, и он их присылает домой.

«10. VI. 1955.

Марина поехала в Ладыжино — билет 4 р. 15 к.*

Хлеб — 2 батона по 1.38 — 2 р. 76 к.

11. VI.

Я — дорога — 8 р. 30 к.

Метро и т.п. — 1 р. 30 к.

Хлеб — 1 батон и 1 булка — 2 р. 06 к.

Макаронны — 500 гр. — 2 р. 75 к.

Чайник алюминиевый — 28 р. 90 к.».

«Само стремление к охвату общего уже спасает нас от косности». Ленин.

«Эпитет — это ужасная, это вульгарная вещь. Эпитет надо употреблять с большим страхом, только тогда, когда он нужен, когда без него нельзя обойтись, когда он дает какую-то интенсивность слову, вернее, когда слово настолько заезжено или настолько обще, что нужно подчеркнуть его эпитетом».

«Самоконтроль необходим для устранения страстей, затрудняющих сосредоточенность и препятствующих хорошему поведению».

«Непонимание причинной связи — источник всех трудностей».

«Никогда доброе отношение к человеку не унизит того, кто его проявляет. Наоборот, тот, к кому оно проявляется, становится моральным должником».

«...тот, кто способен на большие дела, держит язык за зубами». Лондон.

«В жизни, видимо, необходим хотя бы маленький элемент театра. Загадочности, неожиданности, всякие дымки. Кто не талантлив в этом, тот пресен».

«Не говори такого, чего нельзя поправить».

«Из 2000, что дал Арсений в марте 1955 г.

Отдано долгов:

Володе Л. 100 р.

Буцик 400 р.

Наде Л. 200 р.

Белке 100 р.

Анне Игнатьевне 25 р.

Ирине Ш. 225 р.

Наташе 10 р.

Юльке 5 р.

1065 р.».

«Сердце любит до тех пор, пока не истратит своих сил...»

* Летом 1955 г. мы снимали дачу в деревне Ладыжино под Тарусой. Там жили Андрей и его однокурсник Саша Гордон. Я приезжала к ним с продуктами по выходным дням.

Любовь

Мне хотелось рассказать о маме, и я написала рассказ, где пыталась прокомментировать два отрывка из ее писем папе на фронт.

Но мои слова оказались неуклюжими, беспомощными, ненужными. Поэтому я перечеркнула все, что написала, и оставила только заголовок.

«19.VII.42 г. Дорогой наш папочка! Вчера мы вернулись из деревни и принесли земляники: большую стеклянную крынку и еще отдельно шесть чашек больших. Конечно, целый день в лесу дети питались ягодами с хлебом и ужинали в деревне тоже ягодами. В общем, набрали стаканов 20–25 — правда, молодцы? Маринка прекрасно выдержала все 18 километров туда, целый день в лесу и 18 км обратно. Ночевали две ночи у какой-то бабы-яги — ужасно противная бабка, если бы не она, мы еще остались бы на день.

Мне очень хочется написать тебе про тот день в лесу — нам было так хорошо, детишки ни разу не поссорились, старались, собирали ягодки, потом играли, Маринка устроила на пеньке столовую, продавала земляничные обеды, черничные ужины, бегала на базар за покупками, лазали по деревьям.

А потом мы шли в деревню по узенькой тропиночке среди огромного поля нежно-зеленого льна. Мышик* шел впереди в коротусеньком синем платьице с коричневыми босыми ножками и нес в левой ручке баночку на тесемочке, полную ягодок, и так красиво было кругом, и ягодки были красные, и баночка мелькала среди зелени. Мы с Андрюшкой шли сзади и любовались нашим Мышиком, и льном, и баночкой с ягодками, и я сказала ему, чтобы он запомнил хорошенько этот день и Мышика, идущего среди льна под вечерним солнышком.

Он понял как-то интуитивно и был такой нежный с нами, целовал мне руки.

На рассвете вчера я вернулась на это место в лесу, где мы играли. Мне хотелось, пока спят дети, собрать еще ягодок и уже идти в Юрьевец. На опушке было тихо. Голосишки ребячьи уже замолкли навсегда в этом месте; у пенька, где была «столовая», валялись грибки-тарелочки и спичечная пустая коробочка. Мне сделалось так грустно, а потом так страшно. Только вчера здесь было так уютно, как в хорошем домике, и вдруг сделалось торжественно, как после похорон. Я плюнула на ягоды и побежала скорей к детишкам — живым: умер только вчерашний день и вчерашние голоса.

Я что-то написала очень бестолково и непонятно. Мне очень хочется тебе объяснить, только не знаю, так ли сумею.

* Одно из моих детских домашних имен.

Да и нужно ли тебе сейчас все это? Но ты прочти и постарайся представить, как было, запомни и ты этот день. Он какой-то совершенно необыкновенный, и мне нужно, чтобы ты его запомнил.

Асенька, милый, как ты нам часто бываешь нужен, как мы тебя все любим. Андрюшка в припадке нежности всегда называет Маришку Асиком. Нам было очень жаль, что ты не видел Мышика с баночкой...»

«30.VI.42 г. ...Асик, родной мой, мне так хочется написать тебе хорошее, ласковое письмо, чтобы тебе сделалось хорошо и весело, а когда человеку хорошо и весело — ему во всем удача. Когда тебе будет плохо — вспоминай о Мариночке (Андрюша



Андрей и Марина. 1939



*Андрей на съемках документального фильма «Поэт кино».
Фото Донателлы Балливо. Италия, 1983*

уже слишком похож на тебя, и судьбы ваши слишком одинаковы) — и тебе сразу делается хорошо. То же я буду впоследствии говорить и Андрею.

Я очень счастлива, что Андрей будет не один, с Мариной я за него спокойна. Она его так любит, что охранит от всяких бед и напастей именно своей любовью.

Не считай, что я впадаю в мистику, я никогда этим не грешила, я считаю только, что любовью, именно настоящей, можно сделать что угодно. Любовь неосязаема и необорима, как невидимка».

Мама писала это, когда Андрею было всего десять лет. Она уже тогда знала его судьбу.

Но мама ошиблась в другом. Я не смогла ни защитить, ни спасти Андрея своей любовью. Он мало в ней нуждался. Жил по-своему — летел прямо в огонь и сгорел.

Танечка

Вот как оно бывает: первая жена Андрея, которую я много лет знала и любила, как сестру, предательски лишила меня дорогих семейных реликвий, а человек, почти незнакомый, вдруг одарил меня — и своим душевным движением, и драгоценным подарком. Я не буду называть здесь имя той женщины — воспоминание о ней вызывает у меня чувство боли и брезгливости одновременно.

Имя человека, передавшего мне папку с письмами — мамиными, Андреевыми и моими — папе на фронт, я назову с радостью. Это кинорежиссер Вячеслав Амирханян. Благодаря ему восстановилась переписка военных лет — папины письма, хранившиеся у мамы, соединились с нашими письмами, хранившимися у папы. Папа возил их с собой, они были с ним в госпиталях и в его бездомных скитаниях после ухода от второй жены. Лежали они в папке с надписью «Письма мне на фронт от Маруси и детей».

Жалкий и трогательный вид у этих пожелтевших писем и открыток — конверты склеены из старых бухгалтерских книг, из газет, из тетрадных обложек. Много треугольничков — они доходили до адресатов незаклеенными. И на всех письмах, открытках, «закрыточках» («Выше черты не писать, ниже черты не писать») стоит штамп «Проверено военной цензурой».

Много часов провела я над этими письмами, много слез пролила над ними. Мама, которая не умела ни лукавить, ни наигранно бодриться, ни с помощью романтического флера казаться иной, чем она есть, даже больше чем откровенно писала о трудной жизни в эвакуации — вчетвером на десяти метрах одной комнаты, о беспокойстве, которое вызывал у нее Андрей, о ссорах с бабушкой, с которой у нее никогда не было общего языка.

Папа отвечал терпеливо, мудро и любовно, лишь изредка обижая маму непониманием мелочей тыловой жизни, которые

ему там, на линии огня, казались ничтожными. Почти в каждом письме, как заклинания, звучат его слова: «Пока у меня все благополучно». «Пока» — потому что каждую минуту могла оборваться его жизнь. Бои, бомбежки, артиллерийские обстрелы, после которых попасть под снайперские пули было почти счастьем...

Итак, один адрес — Полевая почта 14073 А, другой — г. Юрьевоц Ивановской области, ул. Энгельса, дом 8. Время — с лета 1941-го по лето 1943 года. Некоторые письма даются в сокращении.

«28.IV.1942. Милый Ася! Вчера получила твою открытку, где ты пишешь про аттестат. Дня через два схожу в военкомат. Получила и письмо от Володи* из Москвы. Жаль, что он не с тобой. Письмо очень интересное, со стихами, только стихи неважные: видимо, на него нахлынуло столько, что он не смог толком пережевать, а так бродит стихом около и не по существу, но чувствуется масса интересного. Есть такие, и он именно такой, у которых внутри и в разговоре все интереснее и больше, чем в творчестве.

То, что Танечка пишет тебе большие письма, мне что-то не нравится, напиши, серьезное ли что она пишет или так, от нечего делать, без всякой цели. Я стала очень беспокоиться после того, как ты молчал. Детишки тоже ждали письма — не волнуй, пожалуйста, пиши чаще. У нас холодно, с гор дует северный ветер — страшно выйти, а ходить нужно. Целый день сегодня хочу спать и как-то расклеилась. На Волге огромные серые волны, нужно ехать на ту сторону, чтобы попасть к Нежитину**, и так не хочется. Сейчас поташусь за водой на ключ (далеко), а потом с Мариной в лес за этой проклятой крапивой, она, окаянная, мелкая, ее нужно выстригать ножницами из прошлогодней травы и мусора. Все это очень долго и неудобно. По радио сейчас говорят всякие ужасы о хозяйничанье немцев на Украине и от этого еще становится хуже. Ну, до свидания. Будь здоров и пиши чаще. Андрюша в школе.

Маруся».

«9.VIII.1942. Роднуся Маруся и кошки! Пишу опять второпях. У меня все благополучно — пока. Получаю от Танечки письма почти ежедневно, пишут ее подруги. Написать в Союз*** я еще не собрался, был в разъездах. Завтра напишу непременно. Теперь Союзом управляет Скосырев, он, конечно, все сделает, что сможет. Целую всех вас нежно и крепко. Попроси кошек-ребяти-

* В. Любин (см. рассказ «Памяти безвестного поэта»). Во время войны короткое время работал вместе с папой в газете «Боевая тревога». Позже служил техником-интендантом.

** Село на левом берегу Волги, стоит на Унге. Там жили знакомые бабушки и мамы — семья учителя Каллистова.

*** Речь идет об обращении в Секретариат Союза писателей СССР о переводе нашей семьи в г. Чистополь или его окрестности.



*Папа и художник Евгений Рачев.
Действующая армия*

шек написать мне письмо. Целую бабушку. Пожалуйста, пиши мне почаще.

Твой А.».

«Как ты думаешь, собирается ли Танечка в Москву? А, может быть, знаешь определенно ее планы? Муж ее как будто поправляется и, наверное, дурить ей больше не даст, а, впрочем, это, наверное, обычное при параличе временное улучшение. Что говорят врачи и сведущие в этом люди? Кто из знакомых получает от нее письма? Я что-то совсем не представляю сейчас ее жизни и положение...

Пиши, ответь на все вопросы, очень-очень нужно...

Грустно, Ася, напиши что-нибудь ласковое.

Маруся».

«19.VIII.1942. Родные Марусенька, Андрюша, Мариночка и бабуся Веруся!

У меня пока все благополучно. Танечка пишет часто, можно подумать, что она только тем и занимается, что сидит за письменным столом. Она изводит столько чернил, что непонятно, где их берет. Я очень скучаю по детишкам, очень-очень их обоим люблю. Как-то вы, мои кошки, все живете? Прислал ли Чагин (Гослитиздат) денег и сколько, если прислал? Простите меня, что пишу мало, сейчас надо садиться за работу. Да много писать и трудно как-то — скучаю и все тут — по всем. Как же мне долго пришлось не видеть детусей и долго, верно, еще не придется увидеть. Целую Андрюшу и Маришку, и тебя, и бабушку — крепко-крепко. Напишите мне, родные мои.

Ваш папа А.».

«11.X.1942. Милый Ася! Очень тебя прошу, ответь обязательно на это письмо и ответь поскорей, так как от этого ответа будет зависеть мой дальнейший образ действия. Я решила категорически перебираться домой и очень хочу знать твое мнение на этот счет. Т.е. что оно отрицательно, я знаю, но мне важно знать причину. Если здесь играют роль Танечкины капризы и прихоти, то они меня мало трогают, разве только ее приезд, на который, пожалуй, рассчитывать не стоит. Материальная сторона меня трогает меньше. Здесь все равно мне предстоит

довольно трудная жизнь плюс крайне угнетенное моральное состояние, идущее от выбитости из колеи, отвратительного окружения и почти немыслимой в совмещении со мной и детьми бабуси...

Крепко целую и очень жду письма. Будь здоров.

Маруся».

«22.X.1942. Милая Марусенька и ребятишки! У меня пока все хорошо. Что вы мне не пишете? Я без ваших писем очень скучаю. Как у вас с теплыми вещами на зиму? Как с продуктами и дровами? Началась у нас зима: снег идет, лежит на земле, а дождь идет еще осенний, пишете мне почаще, а то я стал беспокойным и трудно не знать, что с вами, как вы живете. Не забывайте своего папу. Я думаю, что Танечка ни к какой весне к нам не переедет, муж ее не отпустит, а он не стронется, верно, с места. А там — кто его знает. Целую вас и бабушку крепко и нежно.

Ваш папа А.».

«23.X.1942. Милый Ася! Я тебе давно толком не писала, мне ужасно некогда. Как-то сразу накопилась масса дел: дрова в лесу и за Волгой, огромная стирка, грузка дров для школы, полы, всякие заплатки и т.д. За последнее время у меня только одно приятное впечатление: я получила очень милое письмо от Вовы Вишнякова*, а через два дня Маринке он прислал ко дню рождения сто рублей, причем извиняется, что посылает не ко дню рождения, а в самый день рождения — третьего. Милый мальчик, никто о нем не горевал, не беспокоился, он был во всех боях с самого начала войны, все пережил один, потом его послали на отдых и учиться. Сейчас он лейтенант и пока в Кирове Мурманской области...

Мне говорили, что Танечка в Казань пишет, что именно не знаю. А пишет ли тебе бабушка Тарковская? Нам она прислала к рождению 50 рублей и с тех пор пока молчит. Видимо, наших писем не получила... Мы купили на 245 рублей 16 кочней капусты, сейчас мне предстоит мыть и парить кадку и солить капусту. Марина ее очень любит, надо бы купить еще и оставить свежей, так как картошка уже дорожает.

Все это, Асик, для тебя не интересно, когда ты имеешь дело с более серьезными вещами, но если подумать, во всех этих капустах и картошках замаскировано все то же: жизнь и смерть, только видимость не такая эффектная, как на войне.

* В.И. Вишняков — брат мамы по отцу от его второго брака с Ириной Яковлевной Лаатс, эстонкой, преподававшей в гимназии Малоарославца немецкий язык. Умерла молодой, оставив мужа с тремя детьми. В.И. Вишняков принимал участие в освобождении Будапешта. У меня сохранилась открытка — вид Будапешта — со словами Володи: «А на этой улице я стрелял из пушки». Был тяжело ранен. После войны окончил геологический институт, работал маркшейдером в ГДР.

Гарик* под Сталинградом, Жоржик** мне совсем не пишет, видимо, с ним что-нибудь случилось, поскольку не пишет и его мать...

Пиши, Ася, будь здоров и берегись, в твоей землянке хоть и уютно, но, наверное, мокро. Целую крепко.

Маруся».

«14.XI.1942. Дорогая Марусенька! Теперь у Танечки обстановка меняется, видимо, с переездом к ней тети Анны. Конечно, муж у Танечки ослабел, стал нудным, и она ставит его почти всегда на свою дорожку. Но ведь Танечка и ее муж не одни на свете, и я смотрю на их будущее оптимистически.

У меня пока все хорошо, сегодня получил Танечкино письмо, но я его потерял, не распечатав конверта. Но ее письма такие, что я тому обрадовался, в них всегда есть что-то неприятное — и почерк, и содержание, и особый характер им свойственной напряженности.

Мы уже не там, где были, у нас сухая, пьяная, бесснежная зима, похожая на наши херсонские зимы.

6.XII будет 11 месяцев моей фронтовой жизни. Как мало и как безумно много всего: и войны, и того, что с войной. Я уже перестал представлять себе, что возможна какая-то другая жизнь, чем эта — безбытная. Стихи я постараюсь найти и что смогу переписать, пришлю. Никогда не сердись на меня за письма, я тебя очень — чуть не написал люблю, да ты рассердишься.

Целую тебя крепко и нежно. Вкладываю по письму Андрюше и Мышке. Какие они — ребята — чудесные.

Твой А.».

«22.I.1943. Милая Марусенька! Я плохо себя чувствую, у меня невралгия, болит нога, и я не могу спать ночами***, потому я и пишу тебе мало, ты не сердись. С Андрюшкой все будет хорошо, он вырастет и будет хороший, не надо расстраиваться и раздражаться. А Марина и теперь уже чудесная. Поцелуй их и скажи им, что я напишу им на днях. Мне отказали в отпуске, говорят «пока». Я от этого в унынии. Я очень постарел, похудел, стал очень некрасивый, и у меня такое лицо, словно у меня всегда болит живот, противно смотреть в зеркало. Относительно Танечки вот что я думаю: ее мужу лучше теперь, не знаю, насколько надолго, он ведь такой болезненный, нетвердый, рыхлый человек. Может быть, весной тетя Аня придет помочь, без нее в доме будет вечная чепуха, ссориться они будут все время. Приехать тетя Аня должна поздно или рано, она очень энергич-

* Игорь Михайлович Балинов, сын Л.А. Тарковской-Балиновой, по второму мужу Шокотко, папиной сестры по отцу. Вернулся с фронта живым.

** Георгий Николаевич Хитрово, сын нашей доброй знакомой, Марии Георгиевны Хитрово. Был ранен, вернулся живым, работал архитектором.

*** Из последующих писем папы ясно, что у него был острый ревматизм.

ная старушка и наведет в конце концов порядки. Будет ли это скоро — мне она не написала, да если б и написала, то у нее семь пятниц на одной неделе и свои планы; она хитрая, но вообще хорошая, хоть, конечно, и эгоистка.

У нас зима, вьюга, холод. Днем из-за самолетов топить нельзя, и мы мерзнем, ночью отогреваемся. Нога у меня болит, точно в нее вбит гвоздь — левая, повыше щиколотки. В остальном все пока благополучно, все по-прежнему. Я очень устал от беспрерывного писания стихов для газеты, и дает себя знать этот год — такой бесконечно долгий и трудный. Целую тебя и детишек и бабуся-Верусю.

Твой А. ».

«6. II. 1943. Родной мой старый пес! Получили твое второе письмо «выше черты не писать». Очень славные закрыточки, только мало в них места. Знаю я, что тебе не пишется, а все жду большого письма. Как-то тоскливо и страшно. Сейчас вечером мы были с ребятишками одни. Я рылась в шкафчике и вытаскала твою черную тетрадку. Сперва стала читать одна, потом детишки меня облепили, и я стала читать вслух. Пусть не понимают, это неважно... Мариночке очень понравилось «Река Сугаклея», и она попросила ее еще раз прочитать...

Насчет Таниного мужа — он действительно очень плохой хозяин и от этого страдает вся семья. Все уже знают, что придет тетя Аня, и ждут ее с нетерпением. Сейчас слушала последние известия — как хорошо идут наши вперед! Гарик был под Сталинградом. Далеко ли от тебя И. Балинов?..*

Я что-то не поняла в твоём письме, куда пишет Танечка — в Москву? Это странно, так как она, кажется, с москвичами нашими поссорилась — обиделась... Пиши, Асенька, чаще, теперь письма твои идут дольше, видимо, ты тоже двигаешься вперед.

М. ».

«10. III. 1943. Милая Маруся! У меня пока все хорошо. У меня оказия: едут в Москву, там бросят. Относительно Танечки. Она теперь нездорова, но при ее характере от нее всего можно ожидать, если не теперь, так позже. Муж у нее хороший, но беспорядочный, и они никак не сладят друг с другом. Такая семейная жизнь может долго тянуться, причем то она над ним, то он над ней. А в общем, кто их знает, это их семейное дело — пусть живут, как хотят. У меня пока все хорошо, будем верить, что и дальше так будет. Пиши и кошек попроси мне написать. У меня жизнь теперь переменная: то в редакции, то на передовых, редакция отличается от передовой в той же мере, как Москва от редакции. Вообще же — я здоров и целую всех вас.

Твой А. ».

* Гарик и И. Балинов — одно лицо, сын папиной сестры. Мама пытается узнать таким образом, не под Сталинградом ли находится папа.

«11.V.1943. Милые Марусенька и ребята, и Вера Николаевна!

Я был в Москве проездом, уже вполне выздоровев, и вот что выяснил: что с пропусками произошла какая-то путаница, которую очень трудно распутать, что в Москву надо приезжать не теперь, а будущей весной или, в крайнем случае, осенью этого года. Это связано с тем, что в Москве будет много трудностей с продуктами, чем где бы то ни было. Танечка тоже, как и вы, рвется в Москву, но у нее другое положение, ей пока нельзя рассчитывать на пропуск, но она отчаянная душа и может решиться на приезд в Москву и без пропуска, тоже очень, пишет, соскучилась в эвакуации. Таким образом, я против переезда в Москву, не нужно вам слушаться тетю Аню.

Что касается Тани, то она очень, говорят, поправилась. Муж ее тоже хорошо выглядит, несмотря на то, что им трудно пришлось. Ты пишешь о школе для Андрея, о музыке, что же, с этим можно и пообождать. Нужно послушаться меня и в Москву не ехать пока никаким образом...

Я очень люблю и Андрюшу и Марину, получил все их письма и радуюсь на них. Прости, что пишу так мало, сейчас поздно, и у меня слипаются глаза, я только в обед нынче вернулся к себе. Целую деток, тебя, бабушку.

Твой А. ».

Письмо без первой страницы. Судя по тексту, лето 1943 года.

«...Пришел Андрей с луком* — был в лесу. Что слышно о Танечке? Она несколько раз писала в Горький. Мы ее письма видели — ничего интересного. Получит ли она пропуск и поедет ли в Москву? Об этом мы не знаем. Напиши, что она тебе пишет. Сейчас отпустила Андрея купаться около ОСВОДа**. Боюсь, не украли бы у него штаны, которые сшила бабушка из твоих лыжных, а в смысле утопления, не думаю, чтобы он стал тонуть у ОСВОДа и на ровном месте.

Велела скорей приходиться и смотреть за штанами. Что я еще могу? Идти с ним? На глазах у всех мальчишек? Дети тонут, но в малом проценте, а привязанные к маминому хвосту все без исключения становятся или крестинами или лгунами и матерене-навистниками, и все равно привязать нельзя. А где надо, я сделаю по-своему, ты не бойся. Завтра твое рождение, послезавтра я дежурю на площадке*** у Мариночки, в понедельник пойдем с Андреем в Завражье посватать кое-какие вещи, покупаемся, попасемся, побудем дня два, нарвем щавелью и будем дружно-дружно разговаривать. Мы очень любим быть вдвоем. И с Мариноч-

* Андрей любил мастерить из орешника луки и стрелы.

** Общество спасения на водах.

*** Летом 1943 г. администрацией г. Юрьевца при средней школе была устроена детская площадка — что-то вроде дневного пионерского лагеря.

кой любим быть, только она с 8 уходит и в 9 приходит. Она на площадке на месяц, как раз до отъезда. Придем оттуда, пойдем за годами...»

Я опубликовала здесь лишь некоторую часть из военной переписки родителей, часть писем, в которых упоминается имя некоей Танечки. Оно встречается подозрительно часто — звонки, письма, здоровье Танечки и ее родственников постоянно занимают и папу и маму. Папе Танечка писала постоянно, маме в Юрьевец не писала, зато слала письма по соседству, ниже по Волге, — в Саратов, Горький и Казань. Танечка существовала не одна — у нее был муж, поначалу какой-то слабый и бесхарактерный, а потом научившийся справляться с капризами жены. Была еще родственница, тетка Анна, хитрая, эгоистичная, но довольно энергичная старушка. Она должна была приехать и навести порядок в семействе, страдающем от плохого характера Танечки. Тетя Аня не оправдывала надежд, все тянула с приездом, было у нее семь пятниц на неделе.

Но убей меня бог, не знала я среди наших родных и знакомых такой семьи! Была, правда, у мамы двоюродная сестра, Татьяна Гурьянова, жившая в Саратове, но о ней так и говорилось в письмах как о Татьяне Гурьяновой. С Татьяной Озерской и ее мужем ни папа, ни мы еще не были знакомы, это произойдет позже.

Я написала Александре Александровне Петровой, теперь покойной вдове маминого сводного брата, которую мама очень любила за ее ум, доброту и тонкую душу. Жила она в городе на Волге, Кинешме, это у нее мы останавливались летом 1941 года по дороге в Юрьевец. Вот ей-то я и задала вопрос: «Дорогая тетя Шура, не знаете ли вы, о какой Танечке идет речь в военных письмах папы и мамы?» И тетя Шура ответила, что, расставаясь на время войны, родители договорились, что в переписке Танечкой они будут называть гитлеровскую армию.

Ну как же я не догадалась?! Теперь все стало ясно! «Танечка на даче, она здорова — на даче уже несколько дней. До этого звонила каждый день по телефону», — писал папа в августе 1941 года из Москвы. И мама понимала, что немцы (тогда слово «фашисты» употреблялось редко) подошли к самому городу, а до этого нещадно его бомбили. «Танечка несколько раз писала в Горький. Мы ее письма видели — ничего интересного» — это означало, что немецкие самолеты пролетали над Юрьевцем бомбить Горький — малоприятное зрелище!

Муж Танечки — это Красная Армия и ее командование. А пресловутая тетя Анна, речь о которой зашла в сорок втором году, — это Англия и Америка, наши союзники, которые не спешили с открытием второго фронта в Европе. А с какой надеждой этого ждали у нас — и на фронте и в тылу, — видно из этих писем. Как известно, союзники высадились в Нормандии лишь 6 июня 1944 года...

А что же военная цензура? Ясно, что ее не насторожили частые упоминания о капризной Танечке. Мало ли какая родня бывает у военнослужащих. Обошлось, слава богу.

Про обувь

Обувь, обувка — в толковом словаре Даля — «одежа для ног». А у Шекспира и в сказках еще и единица измерения времени — «не успела износить башмаков», «три пары башмаков износила».

А у меня получается, что обувь — это единица воспоминаний.

Сколько пар я истоптала в детстве? Наверное, не так уж много. Но думать не хочется об этих ботинках с лохматыми шнурками, обязательно черных и всегда ненавистных, спортивных тапочках, тоже на шнурках и тоже нелюбимых, о вечно полных песку сандалиях с перепонками, от которых на загорелых, в цыпках ногах оставались белые следы.

И не вспоминается туфель, которые бы, по Толстому, «веселили ножку».

Но как-то раз папа пришел на Щипок с коробкой. Стоял сентябрь, и я только начала ходить в школу. Сейчас я уже была дома, сидела за письменным столом и, одержимая благими намерениями, старательно переписывала расписание уроков.

Папа, войдя, поцеловал меня — родной запах, лаванда и медовый табак, — сел, устроил в углу палку и начал развязывать шпагат, которым была перевязана эта обувная, явно «не наша» коробка.

В ней, как близнецы, по одному завернутые в тонкую белую бумагу, лежали туфли. Для меня. Папа вынул и распеленал их. Они были прекрасны — из синей кожи, с такими же синими замшевыми язычками-отворотами. Гладкая подошва. Низкий каблук. (А зачем, спрашивается, высокие каблуки двенадцатилетней девочке?)

Мы поставили обе туфли на мой топчан, и папа стал рассказывать, что сделаны они в Чехословакии, на известной во всей Европе фабрике Бати, которая уже Бате не принадлежит, но продолжает по привычке шить хорошую обувь.

— А теперь примерь, — сказал папа.

Я постелила на пол газету и стала надевать правую туфлю на мой коричневый в резиночку чулок. Туфля была мала.

— Мала, палец упирается!

— Сильно упирается?

— Да, очень сильно.

— Померь другую, — в панике сказал папа.

— И эта мала.

— Наверное, у тебя толстые чулки, — папа еще надеялся на чудо.

Я сняла чулки и стала мерить туфли на голые ноги.

— Все равно сильно жмут.

— Как же так, ведь ты носишь тридцать четвертый номер?

— Да, но за лето ноги, наверное, выросли.
 — Хорошо, — сдался наконец папа. — Оставим туфли, а завтра ты пойдешь с мамой в Даниловский универмаг и поменяешь их на большие. Маруся! — папа стал звать маму.

Когда на следующий день мы с ней пришли в универмаг, таких туфель уже не было. Были другие, тоже чешские, желто-коричневые, похожие на мужские полуботинки, с рисунком, выбитым дырочками на глянцевої коже. И хотя пахли они великолепно, а на шелковых шнурках у них болтались кожаные бомбошки, я носила их без удовольствия.

Пропускаю несколько «необувных» лет и вспоминаю, как были куплены мои самые любимые босоножки.

Это было осенью пятьдесят третьего года. Мы с Андреем идем по нашему переулку, время от времени останавливаясь, — Андрей за руку здоровается со встречными приятелями.

Он — крепкий, загорелый. Он только что вернулся из енисейской тайги, где проработал лето коллектором в геологической партии. В Москву он приехал в прожженной у костра телогрейке, с длинными по плечи волосами — не захотел стричься в Красноярске (он признавал только парикмахерскую в гостинице «Метрополь») — и с тяжеленным чемоданом.

На площади у трех вокзалов Андрея остановил милиционер, проверил документы и попросил раскрыть чемодан. Чемодан был набит камнями — курейскими серыми сланцами с вкрапленными квадратиками золотистых пиритов...

Теперь у Андрея совсем цивилизованный вид — он постригся в «Метрополе» и надел свой пиджак с широкими плечами. А вообще он сильно изменился, стал мягче, ласковее, видно соскучился по дому.

А как я соскучилась по нему за лето! Ног под собой не чую от гордости и от счастья, что иду рядом с ним. Андрей ведет меня в универмаг на Серпуховской площади — хочет из полученных за экспедицию денег что-нибудь мне купить.

Дорогой он рассказывает о реке Курейке, о маршрутах по тайге, о буре на Енисее, смывшей с лодки его рюкзак, об амнистированных уголовниках, которые захватывали пароходы и под черными флагами плыли до Красноярска.

«А я все-таки решил поступать во ВГИК, на режиссерский», — вдруг говорит он, неожиданно меняя тему...

В магазине мы купили черные замшевые босоножки с широкими перехлестами на подъеме. Мне удалось обновить их той же осенью — было еще несколько сухих, солнечных дней.

Проходит еще время. Мама, мама... Как мне не горевать, как не плакать по ней!

Вот она приезжает из Солнечногорска — была в гостях у своего брата. Володя с женой недавно вернулись из Германии, проработали там несколько лет.

Я беру из маминых рук сумку и вижу, что на ногах у нее вместо старых туфель на «микропорке» чудесные ботиночки на меху. «Мама! Как здорово!»

Мама пытается бодро улыбнуться, но такая бодрая улыбка — знак того, что у нее что-то не так. Она скидывает пальто, садится на стул и торопится развязать шнурки. А потом, морщась, долго трет пальцы и ступни.

— Это мне Наташа подарила. Говорит, примерьте, Мария Ивановна, я их себе покупала, но у меня еще есть.

— Мама, но ведь у Наташи тридцать пятый номер, а у тебя тридцать седьмой!

— Я померила, хотела снять и надеть свои. Но Наташа сказала: «Поезжайте в новых, они вам так идут!» А возвращалась я в Москву вместе с Бенедиктом Евгеньевичем. Не могла же я при нем переобуваться в электричке...

А ну-ка, Мышастик, надень!.. Ну вот, я так и знала, что они тебе будут в самый раз.

Яблоки сорта «аркад»

Чем больше лет отделяют меня от того ясного осеннего дня, тем чудеснее становится он в моих воспоминаниях. Но он и в реальности был удивительно прекрасен.

Мы — мама, Миша и я — идем из Ладъжина, что под Тарусой, в деревню Шишкино за яблоками. Маме сказали, что там у одной жи-



Мама, Миша, собака Найда. Деревня Ладъжино под Тарусой

тельницы есть чудесные яблоки сорта «аркад». Был конец августа, погода стояла удивительная. Было тепло, синело небо, ясное уже не полетному. Мы шли напрямик через березовые рощи. Яркое солнце насквозь пробивало лес, чуть колыхались березовые ветви, в которых только-только стали появляться желтые прядки. Горели в лучах солнца красные кусты бересклета с висячими сережками, зеленели стройные можжевельники. И на душе было спокойно и радостно...

Я не пошла с мамой в деревню, боялась разговаривать с незнакомой хозяйкой сада, и мы с Мишей остались в лесу ждать маму.

Да, я забыла, с нами была еще хозяйская собака Найда, милейшее беспородное создание, напоминающее лайку. Она очень украшала наш поход в Шишкино, да и вообще жизнь в Ладыжине. Тогда мы не могли предположить ее грустной участи — хозяйка состарилась, сын увозил ее к себе в Серпухов, а Найда бежала за машиной, пока не выбилась из сил...

Мы с Мишей ждали маму, потом она пришла и принесла яблоки. Таких яблок я не видела никогда. Они были прекрасной, совершенной формы, несколько удлиненные, и светились насквозь. Яблоки были такие спелые, что можно было услышать, как гремят в них косточки.

Мы сидели под березами на моем плаще и ели яблоки райского сорта «аркад». И хотя лето кончилось, а впереди нас ждала Москва и сырая холодная осень, мы все трое — мама, Миша и я — были счастливы.

Папины строчки «Вот и лето прошло, словно и не бывало» еще не были написаны.



*На Оке, с сыном Мишей.
Деревня Ладыжино, 60-е годы*

*Сводка с прессов**

Уезжала в Германию Белочка Меклер, уезжала в неизвестность на так называемое «постоянное место жительства». Прощалась со своей прежней жизнью мамина «девочка» из типографии, которую Андрей изобразил в «Зеркале». Помните ученицу из эпизода в корректорской?

* Часть ныне устаревшего типографского процесса, оттиск с матрицы.

Белочка обожала маму, как могла обожать свою классную даму воспитанница института благородных девиц, — тут было и преклонение, и восторг, и ревность:

Если Вы ушли куда-то
И, конечно, не курить,
Вы когда-нибудь начнете
Мне об этом говорить?

А вот еще давнишние Белочкины стихи о маме:

Она в негодном платье
И в рыженьком жакете*,
Но лучше и красивей
Немногие на свете.

Она всегда замучена —
Нет денег, но есть дети,
Но веселее и умней
Нет никого на свете!

Она не видит света
От чтенья корректуры,
Но успевает приласкать
Свою собаку-дуру.

И данная собака
Смиренно нос ей лижет,
А если в разных сменах,
Стихи плохие пишет.

Белочка любила маму бескорыстно и преданно, почувствовала день ее смерти и именно в этот день приехала с ней проститься.

Теперь, перед отъездом в Германию, она написала мне письмо, которое я не могу читать без слез.

«Дорогая моя Мариночка!

Я еще здесь, а уже пишу тебе письмо. Письмо-воспоминание, письмо-поклонение памяти твоей мамы. Моей Марии Ивановны. И письмо мое имеет название: «Сводка с прессов».

Наверное, я тебе когда-то рассказывала об этих сводках, потому что их читала мама, а все, что она делала в жизни, начиная с обычных будничных тягомотин, могла так делать только Мария Ивановна.

Например, когда она стояла у раковины в знаменитой щиповской кухне и полоскала белье, оторваться глазу от нее было

* Перешитом из «знаменитого» пиджака Андрея.

нельзя — от ее ловких, быстрых изящных движений. Это было искусство, какая-то пластическая поэма. И — исчеркала мно́ бумаги, никак не найду слова, какими сказать, что даже стирал она одухотворенно. А впрочем, могло ли быть иначе, это ведь ес такое органичное свойство, так ей было дано.

Но я отвлеклась от сводок с прессов. Их читали два человека — мама и Евдокия Петровна, нелюдимая, всегда настороженная старая дева. Работа, как ты знаешь, была сдельная, и не рассказывать же тебе, что значил мамин заработок в вашем бюджете. Собственно, это он и был, ваш бюджет, в основном.

Так вот, каждую смену мама несла денежные потери. Потому что необразованной Евдокии Петровне трудно было читать пространные и формульные тексты, и такие сводки мама брала себе. Всегда. А Евдокии Петровне доставались самые простые и легкие. Они стоили чуть дешевле, но были гораздо выгоднее, поэтому в другой смене их строго чередовали. На сводках, которые брала себе Мария Ивановна, она теряла не только деньги, но и свое здоровье, потому что они были чрезвычайно трудоемкие, а читать их нужно было так же быстро, как и легкие.

Мариночка, можно ли себе даже теоретически представить такое самопожертвование не от случая к случаю, когда у напарницы какой-то сбой, а каждый день — в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и даже субботу (тогда была шестидневка) на протяжении многих лет?! Поступать так, не задумываясь, не придавая значения. Делать иначе, вернее, не делать так, для мамы было так же неестественно, как, скажем, ходить на руках, когда есть ноги.

Надо сказать, что Евдокия Петровна очень ценила это, обожала маму, приносила ей нехитрые гостинцы того времени, рассказывала о своих делах, а наши дела — это, как правило, наши горести. Когда ее угрюмая физиономия оборачивалась к маме, колючие глазки заволакивало выражение собачьей преданности. И тут я понимала, что это хороший (так оно и было), порядочный человек. Просто ей страшно и одиноко. А мама — это был ее особый дар — приводила ее к самой себе.

Уж об этой способности нашей с Евдокией Петровной Марии Ивановны я знаю не по наслышке. Все, что во мне есть хорошего (хочу надеяться, что-то слегка есть), получено от твоей мамы. Из рук в руки. Она раскрывала людей, расширяла их»...

А я помню Евдокию Петровну, о которой пишет Белочка в своем письме! С ее именем у меня было связано что-то деревянное и дровяное, потому что жила она в переулке недалеко от Дровяной площади, куда мы во время войны ездили за дровами, в старом двухэтажном деревянном доме. Как-то раз мы с мамой к ней заходили. По дороге мама мне говорила о Евдокии Петровне, о ее нелегкой жизни, о ее одиночестве. И конечно же, ничего не говорила мне о том, как помогает ей.

Я очень любила ходить куда-нибудь с мамой, любила разговоры с ней, причем чаще мама что-то мне рассказывала, а я слушала и молчала. Это были рассказы о людях, которых она знала, об их судьбах, сложных и трудных. Как я поняла позже, эти рассказы о людях, ничем не выдающихся, об их добрых или плохих проявлениях, были маминым «педагогическим методом». Так, ненавязчиво, не напрямую, как бы вскользь, она учила меня ценить людей, учила даже в малоприятном человеке находить что-то интересное, видеть черты, достойные уважения. В ее рассказах всегда было сочувствие к этим людям, и если она и осуждала кого-либо, то только за проявление непорядочности или глупости. «Ты представь себе, читает наша корректорша Вера Васильевна письма Чехова к Книппер (в типографии шел полный Чехов. — М.Т.) и говорит: «Какое безобразие, Чехов, интеллигентный человек, а жену называет «собака»!»

«Вера Васильевна сказала сегодня о какой-то своей знакомой: «У нее хорошие вкусовые качества!» Это вместо того, чтобы сказать: «У нее хороший вкус»».

Самым страшным для мамы было проявление мещанства, глухого и самодовольного. Она передала эту нелюбовь и Андрею, который изобразил в «Зеркале» антипод Матери — Докторшу в креп-сатиновом («креп-сатиновом», как говорили некоторые) халате. Помните ее вопрос в сцене примерки серег: «А они меня не грубят?»

Героиня Маргариты Тереховой бежала из докторского дома, не продав своих сережек. Во время съемок фильма Терехова убеждала Андрея, что Мать не смогла бы так поступить, что она осталась бы, чтобы накормить голодного сына, и взяла бы в подарок курицу, которую ей пообещала докторша. Думаю, что в жизни мама поступила бы именно так: и осталась бы, и курицу взяла, и претерпела бы все унижения ради детей. Ей многое пришлось в жизни претерпеть.

Смерть мамы

Существование мамы было непреложным и вечным. Казалось, что она будет всегда и что с ней никогда ничего не случится.

Но — случилось. Сначала один инсульт, затем, через год, второй.

После второго прошло уже полгода, а маме не становилось лучше. Она была очень слаба и могла лишь с трудом сидеть на постели. После обоих инсультов я не отдавала маму в больницу — почти все дни мне разрешили выполнять редакторскую норму дома, — но теперь стало понятно, что я не могу обеспечить необходимого лечения — массаж, гимнастику, логопеда. Без больницы не обойтись, и я позвонила Андрею (была весна 1979 года). «Андрей, — сказала я, — маме не становится лучше. Помоги положить ее в хорошую больницу». Думаю, что хлопот

ты о больнице он поручил своей жене, Ларисе Павловне, потому что дальнейшие переговоры я вела с ней.

Прошел май, наступил июнь. А в июле у меня должен быть отпуск, законные три недели. Моей дочке Кате было тогда четыре года, и мне надо было хоть на время вывезти ее за город. Мы снимали чулан и терраску в Игнатьеве на станции Тучково, в тех местах, где жили до войны на даче и где в 1973-м были съемки «Зеркала». Воспитанная мамой, я была запрограммирована на то, что ребенок должен хоть изредка дышать чистым воздухом и пить деревенское молоко.

Места в больнице все не было, и я, оставив маму на своего мужа, уехала с Катей в деревню. Звонить маме (телефон стоял у ее кровати) я бегала каждый день километра за два, в Поречье. Однажды мама не взяла, как обычно, трубку, и я поняла, что ее увезли в больницу.

Пока все шло неплохо. В больницу ездил мой муж, однажды заехали Андрей и Лариса. Когда Саша сменил меня в деревне, поехала я...

У маминой постели сидит врач, Валентина Абрамовна, и кормит маму с ложки. (Кстати, она не знает, что перед ней мать известного режиссера).

Валентина Абрамовна отчитывает меня, что я за неделю приехала впервые. «Но ведь муж ездит каждый день, и брат с женой приезжали!» — «Это все не то, — отвечает она. — Вашей матери нужны именно вы, дочь!» Я лепечу что-то про отпуск, про маленькую дочку...

(Когда я забирала маму из больницы, я не смогла отдать врачу с трудом добытую коробку шоколадных конфет — рука не поднялась так расплатиться за добро.)

Еще через неделю я стою на площадке широкой больничной лестницы. Мне только что сказали о страшном диагнозе. И я не в силах вернуться в палату к маме. Я боюсь, что она, чуткая ко всему, что со мной происходит, сразу поймет — что-то случилось. Я стою на площадке, а по ступеням не торопясь поднимается Ирма, Андреева первая жена. Через несколько лет она предаст и мамину память, и меня, а сейчас она идет, вырастая передо мной с каждой ступенькой, — безмятежная, погруженная в свои мысли. Я не ожидала ее увидеть, она меня тоже. Оказывается, Саша попросил ее приехать, он не смог сегодня освободиться от работы. «Что ты плачешь?» — спрашивает она. Я говорю ей о мамином диагнозе. Мы постояли на площадке. Надо было идти в палату — мама знала, что я вышла ненадолго, только поговорить с врачом. Мне повезло, что пришла Ирма, мамино внимание не будет сосредоточено только на мне, и мне легче будет продержаться...

Проходит еще неделя. Я уже в Москве, еду в больницу. Саша с дочкой в Игнатьеве. Я готовлюсь забрать маму домой —

в неврологическом отделении нужна койка для «перспективного» больного. Притащила из Дома мебели матрас — толстый, мягкий. Убрала комнату, постелила белье. И вот еду за мамой.

В больнице уже все готово. Мне выдают запечатанный конверт с выпиской. Иду к дежурной сестре и прошу чего-нибудь успокоительного. Та протягивает мне целый флакон микстуры. «Да зачем так много?» — «Берите, берите, пригодится!» — добродушно отвечает сестра. Маму везут в инвалидной коляске. Стоим, ждем лифта. «Дай-ка мне выпить микстурки!» — просит мама. Я даю ей глотнуть из горлышка. Потом пью сама, чтобы она, не дай бог, не подумала, что я боюсь пить после нее. А я боюсь, не знаю, заразен ли рак. Мы едем в санитарной машине. Путь не скорый — через всю Москву по диагонали — из Измайлова на Юго-Запад. Мы сидим рядом. Я задергиваю шторку, мне кажется, что мелькание за окном утомляет маму. «Нет, нет, открой. Интересно смотреть, где мы едем». Она называет район и улицы, по которым мы проезжаем. Она так хорошо знает Москву...

Если у меня и бывали секреты от мамы, то они быстро становились ей известны. Я не могла долго жить со своей тайной. Я не говорю что-то маме, значит, я ее обманываю, а положение обманутого человека унижительно. Так как же я могу оставлять ее в этом положении? Теперь я должна обманывать маму изо дня в день, и так до конца. Я говорю, что у нее плохо с сердцем. Живу в состоянии испепеляющего горя, бессилия и лжи... Мама дома. Мне сказали, что я должна вызвать к ней районного онколога. И вот он пришел — молодой человек с широким восточным лицом. В передней я прошу его не называть маме ее болезнь. Врач быстро и уверенно проходит к ней в комнату, садится на стул против кровати, держа в руках больничную выписку. В балконную дверь бьет яркий солнечный свет. Мама, такая беспомощная, доверчивая, отвечает на вопросы врача. А я боюсь, что она посмотрит на листок, который он держит на коленях, и увидит там свой приговор. Я начинаю что-то громко говорить врачу, чтобы отвлечь маму от листка, и повторяю про себя, собрав всю волю: «Смотри на меня, мама, смотри на меня!» Потом врач собрал бумажки, встал. Он наверняка перевидал много больных, этот врач-онколог. Но от нас он уходил другим — потемнев лицом, почти шаркая ногами. А я только после его ухода сообразила, что без очков мама ничего не смогла бы прочесть в больничной выписке.

Лето прошло. Вернулись Саша с Катенькой. Приехал из экспедиции наш сын Миша... Наступило время обезболивающих уколов. Я не могу рассчитывать на районную медсестру — боли возникают неожиданно и в любое время суток. Колю сама, хотя опыта у меня нет. «Хорошо колешь, совсем не больно», — утешает меня мама. Ночью она старается меня не будить, иногда терпит до утра. Приезжали Андрей с Ларисой. Они с шутливой тор-

жественностью на руках внесли в комнату к маме красивый, с начесом, голубой халат. Но он ей теперь уже не нужен.

По очереди дежурят мамины двоюродные сестры — ведь на мне висит редакторская норма, которую я день ото дня запускаю. Теткам трудно ездить от «Аэропорта», они уже не молоды. Были Белочка, Валя Невская, Валя Кренгауз*.

Так мы и жили в последние ее недели. Я в каком-то безумии, она — понимая, что больна серьезно. «Марина плачет, — говорила она кому-то по телефону, — значит, дела мои плохи». Единственным моим «достижением» было то, что мама поверила, будто у нее болит сердце. Еще недавно она часто звонила «родным и знакомым Кролика». Сейчас ей это не нужно. Курить ей уже давно не хочется. Миша подолгу сидит у нее в комнате, играет на гитаре. Маме это нравится.

Я чувствовала, что она уходит. «Мамочка, кого к тебе позвать, кого бы ты хотела увидеть?» — мне хотелось, чтобы перед смертью она повидалась с папой и с Андреем. Но она ответила: «Никого, будь только ты». Второго октября мама впала в забытие. Четвертого утром пришла в себя, даже попросила поесть. Я воспользовалась улучшением, умыла ее, передела, сменила белье на кровати. Она была такой чудной, шутила насчет брусничной воды, которой я ее поила. У нее были необыкновенные, неземной красоты, глаза. Часам к пяти мама опять потеряла сознание. Приехала Белочка, ее Белочка, которая почувствовала, что надо приехать именно сейчас... Утром мама еще дышала. Я позвонила Андрею. Я понимала, что должна вызвать его. Он сразу же приехал. Мы думали, что может понадобиться еще промедол — у меня оставалась всего одна ампула. Андрей съездил в Институт кардиологии к Бураковскому и привез еще две. Они негодились. Мама умерла около часа дня 5 октября 1979 года. Андрей отер ей лицо. Пришел Миша, и мы все трое долго сидели возле нее.

Без названия

Повидайся со мною, родимая!
Появись светлой тенью на миг...
Н.А. Некрасов

Смерть мамы оказалась для меня катастрофой. И не только оттого, что я лишилась ее физического присутствия. При жизни мамы мир казался логичным и полным гармонии. Да, в нем существовали ложь, злоба, жестокость, глупость, мещанство, и мама глубоко переживала свои столкновения с ними. Но меня

* Мамины «девочки», могу сказать, ее духовные дочери: Б.Д. Меклер, В.Ф. Невская, В.Э. Кренгауз.



Август 1962 года. С Мишей встретили маму. Она приехала к нам в Игнатьево из Москвы на выходные дни

она ограждала от всего страшного и гадкого. Под ее сенью я чувствовала себя безмятежной и счастливой — достаточно было слушаться ее, не делать бесчестных поступков, обходить стороной злых и глупых людей. Став взрослой, я продолжала держаться за ее теплую, ласковую руку.

Мама не была сентиментальной. Ее любовь ко мне выражалась в ее близости, в ее внимании к моей жизни, к моему внутреннему миру. В разговорах нам был важен не сам обсуждаемый факт, а наше с ней отношение к нему, обмен мыслями. Нам было интересно друг с другом. Чаше говорила мама, а я слушала, иногда отмалчиваясь. «А коврик молчит!» — говорила тогда обо мне мама словами из детской книжки о щенке Бобке...

Помню летние вечера 1977 года. Она, уже тяжело больная, ждала, когда я кончу работать или возиться по хозяйству и приду посидеть с нею. Нам были необходимы эти ежевечерние беседы. О чем мы говорили? Обо всем — о книгах, о людях, о ее внуках — о Мише, о Сене*, о Кате. Об Андрее говорили мало, это была ее боль. Мама страдала оттого, что у него редко возникала потребность в общении с ней. Она согласилась сниматься в «Зеркале» только из любви к Андрею, из уважения к его режиссерской работе. Мама с детства была застенчивой, а тогда стеснялась своей

* Сеня — Арсений Андреевич Тарковский, сын Андрея от первого брака. Врач-хирург.

старости. Жизнь в Тучкове, в чужой обстановке, необходимость общаться с киногруппой и стоять перед камерой были для нее мучительным испытанием. «У меня каждый день болело сердце», — сказала мама, вернувшись со съемок домой.

Она не была избалована вниманием и была благодарна любому проявлению добрых чувств. Больше всего на свете она страдала от непонимания. И радовалась, когда ее понимали с полуслова...

Иногда мне кажется, что мама не исчезла навсегда и живет рядом. Вот и сейчас, когда мы смотрели телевизор, Саша пошутил смешно, я засмеялась и вдруг почувствовала, что в комнате с нами — мама. Это чувство было настолько реальным, что я снова, спустя шестнадцать лет, ощутила ее присутствие. Это был счастливый момент. Что это было? Почему возникло такое чувство? Может быть, это почти материализовалась моя тоска по ней? Тогда почему она приходит ко мне так редко?

Вера Ивановна и Зинаида Петровна

Мама была человеком необыкновенным. Это понимали не только люди, близко ее знавшие, но и совершенно посторонние, соприкоснувшиеся с ней случайно.

Однажды в электричке я услышала разговор пассажиров. Один из них вспоминал о пожилой женщине, с которой случайно оказался на теплоходе, идущем по Волге в Москву. Эта попутчица рассказала ему, как она снимает «дачу» — сначала вместе с внуком они ищут по карте место, удаленное от больших городов, заводов и фабрик, и обязательно на реке. Потом она добирается туда и снимает жилье на лето.

— Это была моя мама, — сказала я. И добавила, увидев сомнение в глазах соседа: — На голове у нее была синяя косынка, и она курила «Север».

Пассажир посмотрел на меня с изумлением — приметы совпадали...

Мама действительно выбирала места поглуше — ее привлекали милые названия маленьких городов и речек: Выкса, Муром, Судогда, Вянка, Юхоть.

Следуя такому своему пристрастию, весной 1971 года мама сняла «дачу» ни больше ни меньше как в Оптиной пустыни, в этом знаменитом некогда монастыре.

В то время туда еще не возили экскурсантов, а о возрождении действующей обители никто и не помышлял. Монастырь был почти весь разрушен, и на его территории располагалась школа механизаторов. Сохранившиеся монастырские постройки использовались под учебные корпуса, а в скиту, в домиках старцев, жили учащиеся. И стояла посреди скита на зеле-

ной траве деревянная чудо-церковь как надежда на возрождение...

С этими замечательными местами, прославленными русской литературой, наша семья была связана давно. Мамин отец, Иван Иванович Вишняков, уроженец Калуги, окончив юридический факультет Московского университета, в начале века работал судьей в Козельске. Городок этот, по одной из версий послуживший Достоевскому прообразом его Скотопригоньевска, расположен в полутора километрах от Оптиной пустыни.

Живя в Козельске, бабушка часто ездила в монастырь и однажды, правя лошадей, сбилась с брода и застряла с телегой посреди реки Жиздры. Была бабушка молодой, веселой и заливалась смехом, глядя, как сестра ее мужа, скучная старая дева, недовольно ворча, спасает свои юбки от журчавшей кругом воды. А ехала тогда бабушка к старцу, чтобы спросить у него, разводиться ей с Иваном Ивановичем или нет, уж очень трудный был у него характер...

И вот весной 1971 года мама вспомнила свое раннее детство и решила съездить «на разведку» в Козельск. В самом городе ей не понравилось, и она отправилась в Оптино, как тогда называлось селение на месте монастыря. Там она сняла на лето комнату в одноэтажном деревянном доме старой постройки.

В двухкомнатной квартирке с кухней жили две соседки-подруги. Они принадлежали к абсолютно противоположным типам людей и составляли классическую пару, много раз описанную в литературе. С той только разницей, что «литературные» пары — Иван Иванович и Иван Никифорович, Хорь и Калиныч или Бувар и Пекюше — являлись особами мужского пола.

Наша хозяйка, Вера Ивановна, была небольшая, худенькая старушка с выцветшими серыми глазами и с реденькими седыми волосами, собранными в тощий пучок. Одета она была в байковое платье-халат с пуговицами донизу, а на ногах носила кожаные спортивные тапочки на шнурках.

Отец ее был дьячком и пострадал от советской власти, и это семейное несчастье тяготело над Верой Ивановной многие годы. Совсем молодой она устроилась на почту в Козельске и была исполнительной и тихой служащей. Замуж не вышла, долго мыкалась по чужим углам, пока не получила комнатку в Оптине. Был у Веры Ивановны небольшой огородик, на котором она сажала картошку. Жила она на крохотную пенсию, но своей жизнью была вполне довольна и говорила, что у нее все есть.

Соседка, Зинаида Петровна, уговорила Веру Ивановну переехать в общую кухню и сдать маме комнату на лето. Зинаида Петровна хотела, чтобы на вырученные деньги Вера Ивановна справила себе новое зимнее пальто.

Зинаида Петровна была совсем не похожа на свою подругу. Она была крупной и ширококостной. Ее круглое веснушчатое лицо обрамляли рыжие с проседью кудряшки лихой «шестиме-

сячной». Носила она темно-синий сарафан со спиной, перешитый из старого платья, и шерстяную кофту цвета электрик.

В отличие от Веры Ивановны Зинаида Петровна не претендовала на культурность, говорила громко, резала правду-матку, перемежая ее порой нецензурными речениями. На руке у нее можно было прочесть наколку «Коля. Любовь», что наводило на мысли о бурной молодости Зинаиды Петровны.

Эти широкие руки с распухшими суставами свидетельствовали и о том, что ей пришлось много и тяжело работать. Она перепробовала отнюдь не женские профессии — была и откатчицей на шахте, и укладчицей асфальта, и пропиточницей шпал. В свое время Зинаида Петровна вышла замуж и родила сына, но муж у нее давно спился и умер, а сын пропал в тюрьме...

Жили обе соседки тихо и мирно, общая кухня в их квартире была чистенькой, кастрюльки блестели, а ведра с водой были накрыты аккуратными фанерками.

Иногда летним вечером, после длинного дня, заполненного бесчисленными немудреными делами, Вера Ивановна выходила на крыльцо и садилась на ступеньки, не на проходную часть, а в уголок, чтобы не испачкать свое платье-халат.

Приходила Зинаида Петровна, усаживалась рядом. Обе подруги закуривали, и начинался неспешный разговор: вспоминали прошлое, обсуждали виды на урожай огурцов, рассказывали последние оптинские новости — пьяный ученик-механизатор своротил трактором угол у столовой.

Комары звенели в теплом воздухе, смеркалось... Постепенно на тихие голоса беседующих собирались местные бездомные кошки, которых опекала Вера Ивановна. Требовательно мяукая, они терлись об ее ноги в коричневых чулках в резиночку. Не желая выглядеть на людях сентиментальной, она притворно грубым голосом гнала кошек прочь. Потом, как бы нехотя, вставала, брала «кошачье» ведро и шла в столовую к механизаторам за отходами от ужина.

Кошки стаей бежали за ней. Их вертикально поднятые тонкие хвосты напоминали лес пик, как на картине Веласкеса «Сдача Бреды».

Вера Ивановна называла кошек «девками». Кормила она их каждый вечер, а мой сын Миша помогал ей...

Порой Зинаида Петровна выносила на крыльцо баян, оставшийся от мужа, и, растягивая мехи, пела песни хриплым, прокуренным голосом. Это был плохой признак — баян появлялся тогда, когда Зинаиде Петровне доводилось выпить. А уж если она начинала пить, то остановиться не могла — Зинаида Петровна была запойной.

«Забуксовала Зинаида Петровна», — говорила в таких случаях Вера Ивановна. Она делала все, чтобы ее подруга не появля-

лась пьяной на людях, — приносила ей в комнату водку и еду, а в дни ее дежурств убирала кухню.

Примерно через неделю Зинаида Петровна с красным, помятым лицом выходила из своей комнаты. Она была неразговорчива и, пряча глаза, старалась поскорее уйти из кухни. Вера Ивановна никогда не укоряла подругу за ее слабость и резко пресекала все пересуды о своей соседке во дворе.

После нашего отъезда из Оптина мама переписывалась с Верой Ивановной. Из ее писем мы узнавали оптинские новости и известия о жизни соседок.

Первой умерла Зинаида Петровна — сердце не выдержало очередного запоя. Вера Ивановна еще какое-то время продолжала писать маме и в ответ на ее бандерольки с гостинцами прислала баночку крыжовенного варенья и нитку сухих опят. «Спасибо за валенки, — благодарила она маму, — все столовские ходят по очереди на них смотреть».

А потом пришло письмо, написанное чужим почерком: «Уважаемая Мария Ивановна, подруга ваша, Вера Ивановна, скончалась...»

Мы с мамой и с Мишей прочли письмо, погоревали и стали вспоминать добрую Веру Ивановну и то лето в Оптиной — сказочный сосновый бор, светлую песчаную речку Жиздру и святые источники, бьющие из-под земли.

— Бабушка, а как же теперь кошки? — спросил мой сын.

Тюрьмы Александра Карловича

До 1884 года в тихом, провинциальном Елисаветграде не было политических арестов. Там и тюрьмы-то путной не было — тюремное здание, перестроенное из бывшей женской гимназии, городские власти снимали у частного лица. Сидели в этой тюрьме злостные банкроты, воры и бродяги. Режим был довольно либеральным, вследствие чего большая часть обитателей тюрьмы по праздникам напивалась до бесчувствия.

В книге «Ненасоящая тюрьма» уроженца Елисаветграда, бывшего харьковского студента, народовольца по фамилии Коцюба, которую я обнаружила в дедовском архиве, я нашла сведения об аресте участников народовольческого и украинофильского кружков Елисаветграда.

Привожу цитату из книги Коцюбы: «Жандармский капитан в Елисаветграде был, но старый, ленивый, зажившийся на одном месте, «совестливый», по его собственным словам. Но вот старика сменили, и вместо него налетел молодой капитан, пылавший желанием «найти революцию» и отличиться. Появились новые жандармы, зашныряли по улицам, заросшим дере-

зой* и репейником, субъекты с воровскими глазами. Издан был приказ о прописке паспортов. Словом, город приобщался к российской официальной цивилизации...»

Аресты начались летом 1884 года. Первыми забрали двух гимназисток. В августе арестовали еще несколько человек, в том числе учащегося Евгения Хороманского и солдатского сына, художника Самуила Дудина, сыгравших роковую роль в судьбе многих участников кружков. Продолжаю цитировать Коцюбу: «В нашем маленьком городке, где аресты были впервые, секреты держались плохо, и мы скоро узнали, что один из арестованных выдает. Сообщил это в клубе смотритель тюрьмы. Допросы происходили в его квартире, в зале. Смотрителя, конечно, высылали, но из залы выходила дверь в спальную, а там сидела смотрительша, славившаяся большой любознательностью и необыкновенно тонким слухом...»

Производил аресты вновь назначенный жандармский штабс-капитан по фамилии Дремлюга** и по прозвищу Халамидник***, по словам Коцюбы, «плюгавый капитанишко, а теперь всеильный представитель центральной власти». Арестованных препровождали в местную, «ненастоящую» тюрьму, о которой в книге Коцюбы говорится следующее: «Вот и обнесенная стеной тюрьма. Смотрителя разбудили: «Вот спать не дадут. Целую ночь все возят и возят...» Камера имела аршина**** три в длину и аршина два в ширину. Окно было высоко под потолком, узенькое. Вся мебель состояла из черного столика и узкой кушетки. Впоследствии я узнал, что начальство звало эту камеру секретной, а арестанты — карцером...» В ту ночь, когда арестовали Коцюбу, привезли еще восемь человек. В это время Александр Карлович Тарковский гостил у своей сестры, Веры Карловны Ильиной, в деревне Козловка Воронежской губернии. Вероятно, в конце августа был арестован и он. Некоторое время его содержали в воронежской тюрьме, а затем переправили в елисаветградскую, которая хоть и была «ненастоящей» тюрьмой, но официально называлась Елисаветградским тюремным замком.

В своей книге Коцюба рассказывает об Александре Карловиче, изменив только одну букву в его фамилии. «Самый старший из нас... Марковский, или Карлыч, как мы его величали по отчеству, категорически отрезал на первом допросе, что «имеет честь принадлежать к партии “Народная воля”» и больше никаких ответов не даст. Он действительно не давал их, если не счи-

* Ракитник (*семейство бобовых*).

** В документах Дремлюга называется и штабс-капитаном и штаб-ротмистром.

*** Оборванец (*укр.*).

**** Аршин — 0,71 метра.

тать заявлений в крайне открытой и грубой форме, что он думает о Халамиднике. Из тюрьмы Карлычу удалось как-то переслать контрабандой письмо невесте* на волю, в котором была, между прочим, поговорка «Бог не выдаст, свинья не съест». Халамидник письмо перехватил; допрашивая потом невесту Карлыча, он подчеркнул ногтем поговорку и злорадно крикнул: «А вот и съем! А вот и съем!» Нужно сказать, что Халамидник был уже озлоблен на Карлыча и уверял всех, что упечет его на двадцать лет в каторгу... Халамидник мечтал устроить процесс о елисаветградских революционных кружках, но ему это не удалось». Анекдотические перипетии карьеры штабс-капитана Дремлюги очень напоминают традиционные истории про царских жандармов, хотя нет повода сомневаться в правдивости рассказа бывшего студента-народовольца, прозванного его харьковскими товарищами «карасем-идеалистом».

«Дремлюга через год арестовал единственного сына богатой землевладелицы. Через свою любовницу, жену городского головы**, Дремлюга дал знать матери, что за двадцать тысяч рублей он или выпустит ее сына, или смягчит наказание. Мать стала торговаться и дала четыре тысячи, которые были вручены Дремлюге. Через несколько месяцев городской голова застал у своей жены Дремлюгу en flagrant délit***. Дремлюга позорно бежал через окно, оставив свой мундир, сапоги и прочее. Жена Дремлюги пришла в ярость... Она донесла на него, чтобы отомстить. Дремлюгу не отдали под суд, но перевели в другое место, в сыскное отделение в Петербург, а теперь он с повышением назначен начальником жандармского управления в Николаеве». (Типично российская история!)

Арестованные по делу кружков социалисты встретили в «настоящей» тюрьме Рождество 1885 года, в конце января часть из них была переведена в Херсон, а наш дед и Афанасий Иванович Михалевич — в Одессу. В своем письме к Виктору Гюго (о нем речь впереди) дедушка подробно рассказал о своем пребывании в одиночке одесской тюрьмы. Затем елисаветградских «бунтарей» отправили в московскую Бутырскую тюрьму. Штабс-капитан Дремлюга продолжает выступать в роли анекдотического персонажа. Он разрешает подследственным взять с собой сочинения Маркса. Снова цитирую Коцюбу: «В Часовой башне в «Бутырской академии» в Москве товарищи удивлялись, почему в партии так много экземпляров «Капитала» и все привезены елисаветградцами».

* Невеста Тарковского, Александра Андреевна Сорокина, гимназистка, также была арестована, но через 1–2 месяца выпущена на свободу.

** Городским головой в то время был потомственный почетный гражданин г. Елисаветграда купец 1-й гильдии Александр Николаевич Пашутин, занимавший эту должность с 1878 г. А.Н. Пашутин — автор «Исторического очерка г. Елисаветграда». Елисаветград, Литотипография бр. Шполянских, 1897.

*** На месте преступления (*франц.*).

В Бутырках елисаветградцам удалось добиться «конституции», то есть послаблений в тюремном режиме, в частности, им было разрешено переходить из Часовой башни в Северную, где содержались их земляки. Кстати, в Северной башне сидел Евгений Хороманский, выдавший многих членов елисаветградских кружков и теперь страдавший от угрызений совести.

В Бутырской тюрьме подследственные узнали наконец о мерах наказания, вынесенных им без суда, в административном порядке. Все арестованные были разделены на три группы: особо опасные злодеи-преступники (к ним относились Тарковский и Михалевич); участники кружков, находящиеся под сильным влиянием злодеев; невинные жертвы, втянутые злодеями в революционную деятельность. 10 декабря 1886 года вышло «Повеление», согласно которому доктор Михалевич, секретарь съезда мировых судей Журавский, вольнослушатель Харьковского университета Тарковский будут сосланы на пять лет в Иркутскую губернию; земский служащий Дьяченко — в Енисейскую губернию на три года; учащиеся Хороманский и братья Верниковские* — туда же на три года; Дудин, художник, ссылается в Забайкальскую область на три года. Бывший опекун Александра Тарковского, Иван Карпович Тобилевич, отправляется под надзор полиции в Новочеркасск...

Предатели Хороманский и Дудин возвратились из ссылки раньше срока, остальные отбыли ее до конца. Дудин после этой истории закончил Петербургскую Академию художеств, занялся фотографией, и его снимки являются украшением петербургских музеев...

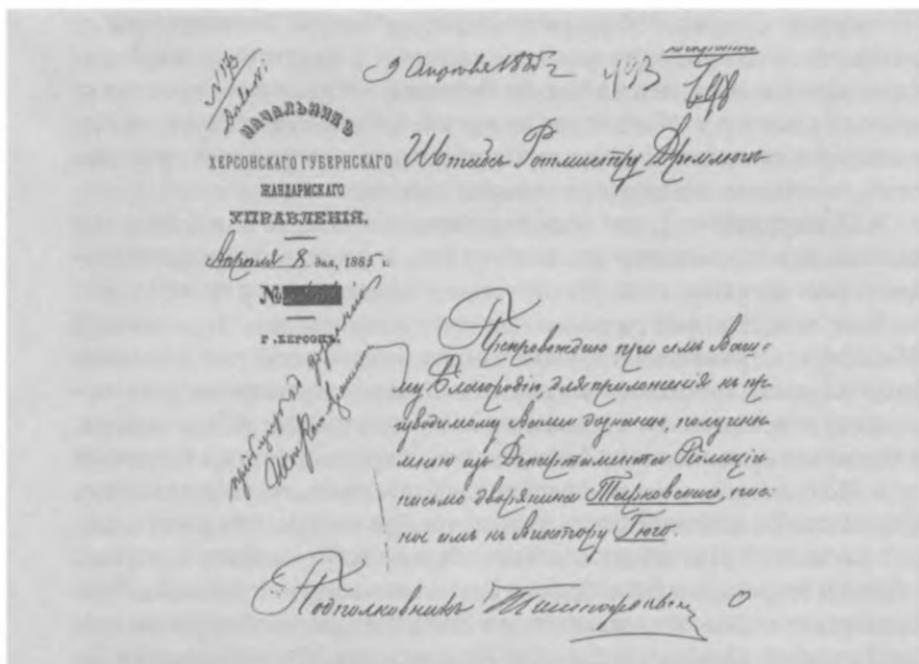
Александр Карлович вернулся в Елисаветград в 1892 году и на первых порах работал секретарем земского начальника. С 1897 года по 1920 год он был помощником бухгалтера и бухгалтером в Городском Общественном банке. Занять более значительное место он не мог, так как находился под гласным надзором полиции. Тарковский на несколько трехлетних сроков избирался гласным Елисаветградской Думы. Он был избран также членом городской управы, а затем — товарищем директора Общественного банка. Но из-за того, что не был утвержден губернатором, не смог занять этих двух должностей.

Письмо к Виктору Гюго

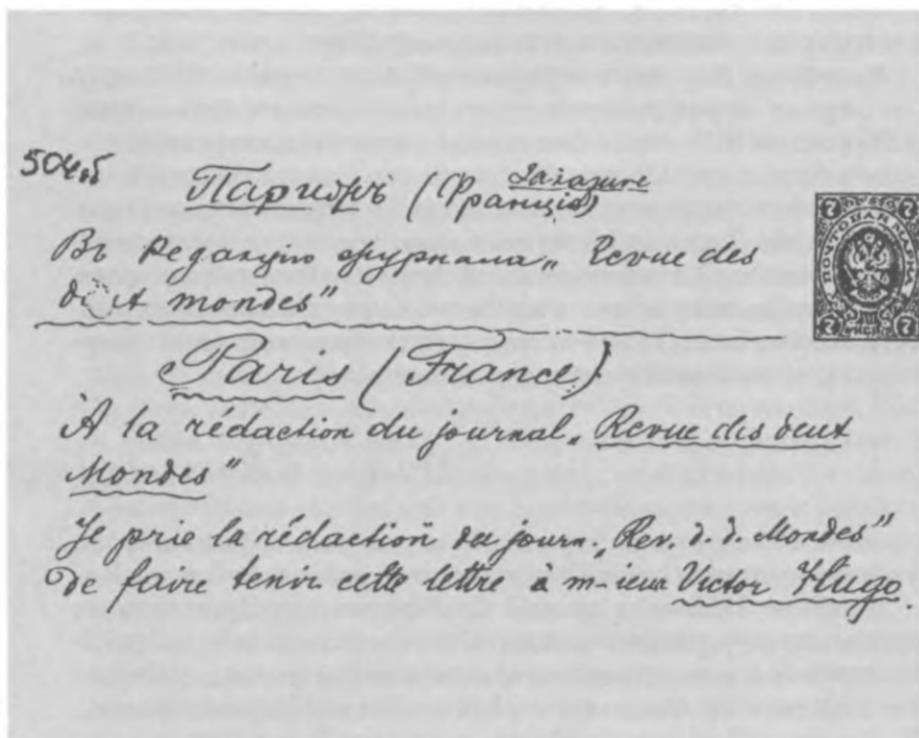
Дознание по делу елисаветградского народовольческого кружка, по которому привлекался 41 человек, шло долго и неторопливо.

В апреле 1855 года на имя штаб-ротмистра Дремлюги из Херсонского губернского жандармского управления пришел пакет с письмом содержащегося под стражей Александра Карловича Тарковского. Заказное, с семикопеечной маркой письмо,

* В документах имеется разночтение — Верняковские.



Сопроводительная записка жандармского управления.
 Слева – подпись штаб-ротмистра Дремлюги



Конверт письма А.К. Тарковского к Виктору Гюго

адресованное Виктору Гюго, было перехвачено и попало к Дремлюге для приобщения к делу.

Дедушка написал письмо 18 февраля, а на сопроводительном бланке с грифом «Секретно» стоит дата «Апреля 8 дня, 1885». Уже прошло полтора месяца с тех пор, как сидящий в одиночке дедушка послал Виктору Гюго свое письмо. Раскаявшийся преступник ждет помилования, а крик его души так и не дошел до адресата — письмо пронумеровано и подшито к делу. Содержание его вряд ли могло повлиять на приговор. Есть свидетельства, что вышеупомянутый штаб-ротмистр хотел сделать себе карьеру на деле елисаветградского кружка и чрезмерно его раздул.

Через сто с лишним лет письмо Александра Тарковского было обнаружено в Центральном государственном историческом архиве Украины бывшим тогда директором музея-заповедника «Хутор Надія» Николаем Васильевичем Хомандюком и опубликовано им на украинском языке в приложении к газете «Народное слово». Николай Васильевич любезно предоставил мне ксерокопию письма моего деда.

На девятнадцати половинных страничках Александр Карлович изложил по-французски свою историю. Письмо интересно не только с точки зрения биографии и психологии, оно — образец эпистолярного жанра конца позапрошлого века. Автор обращается к великому Гюго и пишет высоким стилем в духе французского романтизма.

Не забывайте, что автору всего двадцать два года, не смейтесь над его самонадеянностью и наивностью, над высокопарностью слога и напыщенностью некоторых фраз. Александр Тарковский еще только начинающий литератор.

Не презирайте его за отказ от революционной борьбы — очевидно, что убеждения Тарковского были не настолько глубоки, чтобы превратить его в человека, фанатически преданного идее. Имейте в виду, что во время следствия он держался достойно и не назвал ни одного своего товарища по «Народной воле».

Переводя письмо дедушки на русский язык, я старалась сохранить не только его слог, но и некоторые шероховатости, говорящие о непосредственности и искренности автора.

«Господин Гюго!

Получив это письмо, Вы, без сомнения, удивитесь. На взгляд, что может быть общего между Виктором Гюго, знаменитым писателем, поэтом, политическим деятелем, французом, и автором этого письма — человеком совершенно неизвестным, русским, политическим преступником из России. Почему свою просьбу, о которой я напишу ниже, я адресую именно Вам? Почему я хочу рассказать Вам о том, что гнетет мою душу?

Это общее существует. Вы — автор «Отверженных», «Собора Парижской Богоматери», «93-го года», «Человека, который смеется», «Последнего дня осужденного», «Истории одного преступления» и других произведений. Вы провозглашаете в них горячую любовь к страждущим, Вы призываете людей к высоким идеалам правды и милосердия, Вы призываете к состраданию. Всю Вашу жизнь Вы боретесь против зла за право и добро, Вы утешаете страждущие души превосходными поэтическими образами. Одним словом, Вы — Виктор Гюго, а я, я — человек, которому надо протянуть руку. Достаточно, Вы меня понимаете!

Теперь я должен сказать, кто я такой и каковы причины, побудившие меня написать это письмо.

Я русский, мне двадцать два года. Я получил образование в русском среднем учебном заведении, затем был студентом Харьковского университета. Из-за ареста я ни теперь, ни в будущем не могу продолжить свое образование.

Несчастья преследуют меня всю жизнь. Сначала умерла моя старшая сестра*, затем одновременно умирают мои родители. Потом после долгих страданий на моих глазах умирает моя любимая сестра**, заменившая мне мать, и которая меня страстно любила...

Эти удары судьбы меня не сломили, но они сильно потрясли мою нервную и впечатлительную натуру...

Наконец судьба, казалось, насытилась моими несчастьями. Горизонт моей жизни прояснился, луч счастья блеснул для меня. Я полюбил девушку, теперь она моя невеста, и она также полюбила меня. В радостях и наслаждениях первой любви я забыл свои несчастья, моя страдающая душа успокоилась и расцвела. Мы рисовали тысячи планов нашей жизни, нашего будущего. Мы мечтали, мы жили, как говорится, один для другого, и я чувствовал, что можно быть счастливым, что можно возместить потери прошлого. Жизнь вырисовывалась передо мной во всем ее очаровании. Я радовался ей и любил, так любил, как любят впервые в мои годы. Моя невеста меня тоже любила не меньше и жила для меня. Но это было лишь мгновение, или, если можно так выразиться, лишь перерыв в цепи моих несчастий. Безумец! Я осмеливался думать о счастье! Злая участь еще не отпустила меня и готовила мне тем временем новый удар. Она вырвала меня из объятий невесты и бросила туда, где, как на дверях Дантова ада, написано: «Lasciate ogni speranza voi ch'entrate»***.

Полгода назад я был обвинен в политических преступлениях, арестован и заключен в тюрьму. Солнце моей жизни закатилось, счастье, планы на жизнь, наслаждения взаимной

* Евгения Карловна (в замужестве Титаренко).

** Надежда Карловна (в замужестве Тобилевич).

*** «Оставь надежду всяк сюда входящий» (итал.).

любви — все это развеялось как дым, и я оказался в душевном мраке. Еще полгода назад я был на вершине счастья, теперь я в глубокой пропасти несчастья, вчера я жил, сегодня я всего лишь мертвец.

Так долго ждать счастья, получить его на миг и внезапно его утратить — это так ужасно, что может сломить человека более сильного, чем я...

У меня нет надежды! Все потеряно безвозвратно. В России политический арест портит человеку почти всю жизнь и карьеру.

Как бы незначительны ни были мои политические преступления (я обвиняюсь в принадлежности к русской революционной партии и в распространении революционных брошюр), я наказан очень сурово. (Не забывайте, что к нам применяют военные законы и что почти во всей России введено чрезвычайное положение.) Каков бы ни был исход моего дела, я не смогу уже вернуться в мое прежнее состояние.

Самое лучшее, на что я могу рассчитывать, это ссылка на жительство в какой-нибудь дикий район Сибири вроде Якутска. А это только гибель, это медленная смерть.

Представьте себе драму моей жизни: череда несчастий, краткое счастье, потеря молодой жизни, будущее — Сибирь. Добавьте к этому невозможность для меня исправить настоящую ситуацию, и Вы поймете весь ее ужас! Помните ли Вы Жильята*, схваченного осьминогом? Но у Жильята был нож, у меня его нет, у него была свободная левая рука, я же связан судьбой по рукам и ногам...

Но это еще не все. Знаете ли Вы, что такое одиночное заключение? Знакомо ли Вам душевное состояние заключенного, который долгие годы находится в одиночестве, оторванный от внешнего мира, лишенный не только удобств, но даже вещей, составляющих его духовную пищу, принужденный молчать и не видеть людей? Знакома ли Вам эта пытка? Нет, незнакома! Это нечто ужасное!

Господин Гюго, Вы в своей «Истории одного преступления» описали тюрьму Мазас, Вы представили нам ее внешнюю картину, но не дали психологического исследования жизни заключенных в одиночных камерах. Позвольте мне Вам предложить слабый набросок этого ужасного положения.

Я буду говорить о себе, но описание моего морального состояния может служить образцом состояния всех таких заключенных.

Впервые я вошел в тюрьму вечером. От одного только вида этого мрачного здания у меня сжалось сердце от страха и тоски. После необходимых формальностей меня привели в секретный

* Герой романа В. Гюго «Труженики моря».

номер*. Я не буду описывать внешний вид политических тюрем России, Вы сами помните Мазас 1851 года.

Меня препроводили в приготовленную для меня камеру, загляли лампу. Щелкнул ключ в замке, и я остался один...

Сначала я впал в оцепенение, которое затем перешло в ужас. Звук замка вызвал во всем моем существе живую боль, ужасную тоску и беспомощность, похожую на состояние человека, которого ведут на эшафот. В этот миг я понял, что для меня все кончилось, что жизни нет, что впереди только бесцельное существование, медленное угасание. Я с безнадежностью почувствовал, что мои идеалы развеялись, что мои идолы поникли, что мечты мои никогда не осуществляются, что мое личное счастье лишь только мираж, что несчастье, напротив, было и будет моей участью. Одним словом, я почувствовал, что перестал жить, что я — труп, у которого, к несчастью, есть чувства живого человека.

Еще вчера жизнь была наслаждением, сегодня же, из-за одного звука тюремного замка, она — только череда страданий.

Я бросился на койку, чтобы забыться сном. Сон меня немного успокоил и принес отдых. Я проснулся узником в тюрьме — печальное пробуждение! И началась эта жизнь, которая способна превратить порядочного человека в негодяя, юношу — в старика, которая способна разрушить все и не дать ничего взамен.

Одно из первых занятий заключенного — это чтение надписей, которыми испещрены стены камеры, несмотря на тщетные старания надзирателей их стереть.

Иногда в нескольких строках представлена подлинная драма. Вы читаете имена заключенных, цитаты на разных языках из Монтескье, Руссо, Шиллера, Гёте, Байрона, Некрасова, из Евангелия. Есть, наконец, надписи лирические, например: «Матушка, сколько мук я тебе принес!», «Я слабею, я болен, тюрьма отняла у меня последние силы», «Сегодня мне исполнился 21 год», «Света, больше света!», «Тяжело умирать молодым!», «Будьте прокляты!», «Смелее, не отчаивайтесь!» — и прочее и прочее.

Эти надписи можно увидеть повсюду, и не надо быть психологом, чтобы понять весь их драматизм...

Но вот все надписи прочитаны и изучены. Что делать? Писать? Но иметь бумагу и чернила строжайше запрещено. Читать? Но мне не разрешается получать книги из личной библиотеки, а в одесской тюрьме их совершенно нет. Все, что я могу иметь, это несколько книг по математике, купленные на мои собственные деньги. Но они меня не удовлетворяют, так как именно сейчас я жажду чтения живого, могущего развеять мою грусть, придать несколько смысла моему существованию.

* Камера-одиночка.

Отвлеченные математические формулы меня только раздражают.

Но чем же заняться? Этот вопрос стоит передо мной, как Сфинкс перед Эдипом: «Разгадай меня, или я тебя пожру». Но ответа нет и быть не может. Чтобы занять себя какой-нибудь работой, надо иметь материал и инструменты, необходимые для этой работы, к примеру молотки, гвозди, ножи и прочее, но об этом я не могу даже и думать — строго-настрого запрещено нам все это давать.

И вот несчастный узник ищет средства, чтобы развлечься, чтобы забыть хоть на время свое нестерпимое положение, заглушить нравственные страдания. Однако узник изобретателен. О радость! Средство найдено! Можно себя занять на два или три часа. Спички — вот средство для развлечения. Мои восторги бесконечны. Я высыпаю спички и начинаю их считать и пересчитывать по-русски, по-французски, по-немецки. Затем я складываю из них разнообразные фигуры.

Наконец спички сочтены, все фигуры сложены. Тогда я начинаю изучать математику. С отвращением рисую квадраты, кубы, пишу формулы. Я говорю «с отвращением», потому что, как я уже сообщал, я хочу того, чего мне недостает, — живого чтения, которое может меня унести в тот мир, от которого я отделен толстыми решетками, которое бы меня успокоило, которое бы меня заставило немного забыть. А отвлеченные математические формулы не приносят ни страданий, ни радостей — они чужды этому миру.

Наконец мне наскучили и спички, и надписи, о которых я говорил, и математика. Тогда я начинаю ходить из угла в угол — час, два, три, пока у меня не начинают болеть ноги. Я ложусь, но тотчас снова начинаю ходить из угла в угол, вновь ложусь... Ужасная бездеятельность! Мне кажется, что я хотел бы оказаться в положении пусть худшем, но не таком однообразном. И я начинаю мечтать о Сибири. Там есть люди, здесь — полная изоляция.

Вообразите себе! Моя мечта — это Сибирь!!! Это однообразное бездействие убивает тело, разрушает душу человека и толкает его к безумию и к самоубийству, и подобные случаи не так уж редки. В этом положении я чувствую, что разрушаюсь и морально и физически. Одиночество невыносимо! Я хотел бы говорить, общаться с людьми, даже с уголовниками моей тюрьмы (каково было бы общество!!), но это невозможно, я этого лишён.

Многие часы я слышу только звуки моего собственного голоса, потому что уже давно привык громко разговаривать сам с собой...

Быть всегда одному, без человеческого общения, без чтения, без письма, без какого-либо занятия или развлечения, ис-

пытывать угнетающую изолированность — все это для интеллигентного человека пытка, которую можно понять, только испытав ее лично.

Но, господин Гюго, Вы — поэт и потому можете вообразить все это...

Но день — это еще не все. Развлечение, каким бы оно ни было, можно найти. Приближается вечер, ужасное время, когда моя тоска становится непреодолимой. Тюрьма хранит молчание, кругом абсолютная тишина. Рассудок, чувства работают с удвоенной силой. Воспоминания о прошлом, безвозвратно потерянном, встают передо мною, охватывают мою душу, и счастье и прошлая жизнь рельефно вырисовываются на сумрачном фоне настоящего. Воспоминания эти зовут меня, говорят, что я еще могу жить, что я еще молод, что я еще могу быть счастливым...

Отделаться от них я не в состоянии, однако они по контрасту с моим положением приносят мне только новые душевные мучения. В этот момент меня охватывает жажда жизни. Знаете ли Вы, что такое жажда жизни? Знаете ли Вы, что существование человека превращается не в пытку, а в кошмар, если он не может ее удовлетворить?

Кажется, что не только мое существо, но и стены, мебель, сама тюрьма, все вокруг меня повторяет: «Жить, жить, жить». Я сержусь, нет, я прихожу в ярость, я трясущу решетку, я кусаю подушку, и я слышу только одно слово: «Жить, жить, жить».

И очаровательные картины возможного счастья рисуются передо мной и прибавляют только горя к моему существованию, и я думаю о самоубийстве...

Такое раздраженное состояние продолжается несколько дней, и мое положение становится непереносимым. Меня раздражает малейший шум, один только вид жандармского мундира приводит меня в ярость.

Ходить из угла в угол я не могу, меня мучит звук моих шагов. Лежать, сидеть, считать спички или изучать математику скучно. Что же тогда делать? Каково мое моральное состояние? Вообразите себе, если можете!

Я не могу забыться даже в грезах. Иногда я вижу дорогих мне людей. Почти всегда вижу тюрьму, цепи, охранников...

Но это не все. К этим, если можно так выразиться, личным страданиям присоединяются страдания дорогих для меня существ — моей единственной сестры* и моей невесты, которых я потерял и которые меня потеряли. Я знаю, я чувствую, что они страдают, я вижу их слезы, но я не имею возможности их утешить, и это усиливает мою боль. Я страдаю за себя и за них, мои страдания удваиваются. Для сестры я — единственный брат. Вы можете себе представить, каким ударом был для нее мой арест.

* Вера Карловна (в замужестве Ильина).

Моя невеста хоть и не арестована, но ей предстоят следствие и суд. Некоторое время назад умерла ее мать, ее отец абсолютно слеп, а я, я — в тюрьме... Это настоящая драма!

Иногда я получаю от нее письма. Несмотря на то что она пытается меня утешить, в каждой строке прячутся боль и слезы. Разве это не мука?.. И я, человек с чистой совестью, я могу лишь спрашивать у судьбы: «Почему? Что же я сделал? Что за ужасное преступление, за которое я так расплачиваюсь? Плачу счастьем, плачу собственной жизнью?..»

Но короче! Итак, Вы имеете бледный очерк моего положения, я Вам его описал лишь в некоторых чертах. Можно ли не предаваться мрачным мыслям? Все это причины, которые вызвали это письмо.

Все вместе — моя молодость, мои страдания, страдания моей сестры и невесты, мое желание и моральное право продолжать жить, то, что я уже жестоко наказан за мои политические преступления, и то, что Вы, г. Гюго, обладаете таким знаменитым именем и можете многое сделать, заставляет меня просить Вас, г. Гюго, направить прошение нашему Правительству, гг. Министрам Внутренних дел и Юстиции. Я Вас прошу обратиться с убедительной просьбой о моем освобождении из-под стражи, о возвращении мне свободы, которая вернет меня к жизни, об освобождении меня из-под следствия и суда, о разрешении мне жить в Елисаветграде (моем родном городе, где живут мои родные и моя невеста). Я обещаю в будущем быть мирным человеком, не принимать участия в деятельности революционной партии России и воздерживаться от деятельности, направленной против Правительства России. Я стану учиться, я подготовлюсь к прекрасной деятельности, которой привержен, к литературной работе. Если гг. Министры не сочтут все это возможным, я предлагаю другое решение — я обязуюсь навсегда покинуть мою родину, Россию, в указанный срок. Признаюсь, что это было бы для меня очень прискорбно.

Еще прошу Вас, г. Гюго, походатайствовать перед гг. Министрами о моей невесте (Александре Андреевне Сорокиной, г. Елисаветград Херсонской губернии, Россия) и попросить их сжалиться над этой обездоленной барышней, совершенно невинной, и освободить ее от судебного следствия и суда.

Господин Гюго! Я не напрасно обращаю к Вам свою просьбу. Вы — Виктор Гюго, я повторяю, Вы можете войти в мое положение, протянуть мне руку, помочь мне. Я надеюсь, что голос, который к Вам взывает из далекой России, найдет в Вашем лице внимательного слушателя. Спасите меня, г. Гюго.

Извините мне мой плохой французский язык, но надеюсь, что Вы меня поймете.

Ваш читатель и поклонник Александр Карлович Тарковский.
18 февраля 1885. Россия, Одесса, Одесская тюрьма».

Абрамцево

Почему я люблю Абрамцево? Нет, не сегодняшнюю туристическую усадьбу-музей, а то послевоенное Абрамцево, когда ближайшая станция называлась Пятьдесят седьмой километр, когда не было деревянной лестницы и мостика через овраг. Когда, просыпаясь утром, знаешь, что тебя ждет чудесный летний день.

Надо было пройти сумрачным еловым леском, спуститься по тропке в глубокий овраг, подняться на его противоположный склон. И наверху передохнуть, потому что ехали мы из Москвы всегда нагруженные узлами и сумками.

Мы — это мама, Андрей и я. Мы снимали «дачу» в деревне Мутовки, в пяти километрах — час ходьбы — от станции.

Деревенский дом, ориентир — скотный двор. Правда, скотины в нем не было, колхоз в Мутовках был никудышный. Но зато были коровы у местных, а значит, мы пили молоко. Молоко и черный хлеб. Детство, счастье...

В Мутовках было два особенно привлекательных места — река Воря и абрамцевская усадьба. Я не ошиблась в порядке — узкая извилистая речка была у нас на первом месте. Купались мы в бочаге, нестрашном и веселом днем, при ярком солнце, темном и таинственном в сумерках, когда стелился туман по болотцам у реки и начинало сильно пахнуть дикой смородиной и крапивой.

Правда, для меня радость от купания кончилась быстро. Андрей захотел научить меня плавать и, следуя известному методу, швырнул меня в речку. Сделать это ему не составило труда — была я маленькая и такая худая, что в то лето меня звали «вымирающий индус». Пла-

вать, правда, я тогда не научилась, но зато еще долго боялась воды.

Возле этого злосчастного бочага был песчаный пляжик, на котором, вытянув стройные ноги, загорала красавица Валя В., приехавшая на лето к своей деревенской бабушке.

Андрей, конечно же, влюбился в Валу, он всегда влюблялся в самых красивых девушек. «В купальнике черном, на желтом песке» — первая строчка посвященного ей стихотворения, которое Андрей так и не закончил...

Через абрамцевскую усадьбу мы ходили от станции в наши Мутовки. Никаких заборов и сторожей не было, и ее аллеи, церковь, мостик были для нас будничными дорожными приметами, конечно не лишенными очарования.



Марина — «умирающий от голода индус»



Андрей у реки Вори. Лето 1954 года. Вверху слева виден дом Веденевых, где когда-то снимали дачу Мандельштамы и Пастернаки

«Абрамцево — это русская идея», — сказал отец Павел Флоренский. Вряд ли Андрей осознавал тогда всю полноту этой идеи — славянофилы с Аксаковым, Троице-Сергиева лавра, мамонтовский круг.

А разбитые кресты у часовни и изрядно загаженная прохожими васнецовская «избушка на курьих ножках» с надписями, выражающими непривлекательное подсознание их авторов, мало способствовали ее развитию.

Но он мог ощущать прелесть старинного дома с широкой верандой, заросшего пруда, расшатанного бревенчатого мостика, красоту резного шкафа, сделанного погибшим на войне хозяином избы в Мутовках.

Не случайно, что именно в Абрамцево Андрея впервые обуяла мания живописи. Наша хозяйка подарила ему этюдник, забытый каким-то прежним дачником, а муж маминой подруги, художник дядя Коля Терпсихоров, дал остальное — палитру, куски загрунтованного холста, не до конца истраченные тюбики с масляными красками.

Какие завораживающие названия — «парижская синяя», «марс коричневый», «сиена натуральная», «киноварь», «земля зеленая»! Тюбики были свинцовые, наполовину выжатые, помятые. Из них Андрей по чуть-чуть выжимал драгоценную краску. И раскладывал он краски на палитре не кое-как, а со смыслом — от теплых к холодным.

Мне позволялось присутствовать при этом действе, и казалось, что нет ничего красивее этой палитры, которая вмещала в себя все еще не написанные им пейзажи и натюрморты.

Теперь Андрей часами просиживал с этюдником, писал ель, камыши, закат солнца. Потом ему пришла в голову идея написать ночной пейзаж — деревня ночью. В сумерках он уходил из дома, а возвращался под утро, когда я уже крепко спала.

Дядя Коля, любивший пошутить, прозвал Андрея Ван Гогом. Мне кажется, что прозвище было метким.

Консерватория

Для нас — улица Герцена, для мамы — Большая Никитская. Виден фасад с торжественным подъездом — тогда еще не было Чайковского с березками.

Консерватория! Просторный вестибюль, яркий свет, широкие белые лестницы с коврами. И вот он — Большой зал.

Сначала, конечно, портреты. Мы отгадывали по очереди всех композиторов в овальных портретах по стенам. Меньше всех мне нравился Глинка в феске — была в нем какая-то идейная суровость. А вот Шуберт в очочках, с полными усмевающимися губами нравился очень. И Чайковский. Андрею — романтический Вагнер в бархатном берете.

Темноватый по сравнению с фойе зал с огромным органом над сценой приводил нас в какое-то необычное состояние. Да и мама была здесь иной — напряженной, строгой, и держалась она прямее, чем обычно.

Вот появляются оркестранты, рассаживаются по местам и настраивают инструменты. Вот каким-то особым, «консерваторским» голосом объявляют первый номер программы. Выходит дирижер, взмахивает палочкой...

И начинается для меня кошмар и тоска. Сперва я слушаю музыку внимательно, ведь я помню, что про эту вещь рассказывала нам мама по дороге. Потом мое внимание начинает ослабевать, звуки лишаются смысла. Я перестаю их слышать, зеваю и начинаю думать о своем — о школе, о кошке Капе, о бабушке, о новых туфлях Оли Ефимовой.

Искоса взглядываю на маму и на Андрея. Они поглощены музыкой, у Андрея брови нахмурены, правая рука отбивает на коленке такт.

Я встряхиваюсь и снова стараюсь слушать. Знакомая тема немного оживляет меня. Но через несколько минут я снова теряю нить. Начинаю смотреть на дирижера. Забавно видеть, как он размахивает руками, трясет взлохматившейся от резких движений головой и делает страшные глаза оркестрантам.

Я переключаюсь на публику. Ах эта московская публика конца сороковых — драгоценные остатки былой московской интел-

лигенции! Старенькие кофточки, поношенные костюмы. Те, кто помоложе (их немного), — в гимнастерках. Некоторые слушатели в валенках или в бурках. Студентки-консерваторки одеты без намека на модность. Прийти в консерваторию в каком-нибудь панбархате казалось неприличным. Наш гордый и самолюбивый Андрей не стеснялся бывать там в своем единственном костюме — лыжном, байковом...

Но вот нарастают заключительные раскаты симфонии. Дирижер подпрыгивает на носках и все сильнее машет руками. Потом одним широким движением как бы захватывает звуки в кулак и душит их. Тишина. Аплодисменты. Я хлопаю изо всех сил — кончились мои мучения.

Но хоть и считали меня дома вовсе лишенной музыкального слуха, я довольно скоро научилась слушать музыку и уже не могла обходиться без нее.

С Андреем с самого начала все было иначе. У него был абсолютный слух. Когда его до войны принимали в музыкальную школу, сбежались все преподаватели.

Его учительница музыки, Нина Александровна Григорович, ученица Николая Рубинштейна, прочила Андрею славное будущее. Но инструмента мама купить не могла, занимался он у соседей и к урокам почти не готовился. Играл по слуху. «Ох уж эти мне слухачи!» — возмущалась Нина Александровна и откладывала спичку после каждого сыгранного с ошибкой упражнения. Три упражнения — три спички, значит, играй все сначала...

С первого же посещения консерватории Андрей был очарован музыкой. Ему-то не надо было учиться ее слушать. Когда они с мамой вышли после концерта на улицу, он оглянулся назад и спросил: «Мам, а мы сюда еще придем?»

Однажды, году в сорок восьмом, в конце лета, когда вдруг как-то по-осеннему заходило, мама зашла к своему двоюродному брату. Его жена удивилась: «Маруся, да ты никак без чулок? По такому-то холоду!»

«Да, — ответила мама беспечно. — Старые износились, а на новые денег нет. Зато я купила ребятам абонементы в консерваторию. На все симфонии Бетховена. Костя Иванов будет дирижировать!»

Таежный рассказ

Прощание с Институтом востоковедения* было у Андрея недолгим и, казалось, не слишком болезненным. Он вроде бы чувствовал себя прекрасно: встречался с друзьями — стилистами и нестилистами, гулял по Серпуховке и по «Бродвею» — улице Горького, ухаживал за девушкой. Но появляться в институ-

* После окончания школы в 1951 г. Андрей полтора года проучился в Институте востоковедения.



Андрей «стиляга»

те не хотел — послал меня обходить с «бегунком»* кафедры, канцелярию и библиотеку. В глубине души он был растерян и не представлял, как сложится его дальнейшая жизнь. И мама была встревожена — судьба Андрея, как ей казалось, была под угрозой. В стиляжничестве она видела только пошлость (это сейчас мы его приравниваем к социальному протесту) и боялась, что безделье погубит Андрея. Мама стала искать возможность определить его к какому-нибудь делу, удалить из Москвы, вырвать из компании «бездельников». Она развила бурную деятельность и через знакомых договорилась, что его возьмут в геологическую партию, которая отправлялась в Восточную Си-

бирь, как раз в те места, где отбывал некогда ссылку умерший месяц назад Сталин.

18 апреля 1953 года Андрей был оформлен коллектором Люмаканской партии Туруханской экспедиции Научно-исследовательского горноразведывательного института, больше известного под названием «Нигризолото». Экспедиция выезжала в конце мая. Тогда этого не говорилось, но задачей ее были поиски алмазов в Туруханском крае. (Через два года алмазы были открыты в Якутии.)

Вот что писала мама в своих дневниковых записях:

«19 мая. В понедельник Андрей едет. Конечно, не выход, но, все-таки, выход. Обозлен, бросается, груб, но я одна... Нужна хорошая семья с мужчиной во главе и полное благорастворение чувств в доме.

2 июня. 26 мая в 9.25 Андрей отъехал. Не нарадуюсь, что его нет на вонючей Серпуховке. А что там? Пока, вероятно, плывет по Енисею, то есть хорошо».

Да, утром 26 мая мы с мамой поехали провожать Андрея на Казанский вокзал. С собой у него был чемодан, рюкзак и этюдник с палитрой и красками. Мы простились на все лето — никогда еще мы не разлучались на такой срок. Даже писем от него мы

* Обходной лист.



Андрей – студент Института востоковедения

не ждали – партия должна была три месяца провести в тайге в районе реки Курейки.

Вернулся Андрей поздней осенью, не предупредив нас ни письмом, ни телеграммой. Он ввалился в дом в прожженной у костра телогрейке, с длинейшими волосами (не постригся ни в Туруханске, ни в Красноярске, потому что признавал только парикмахерскую в московском «Метрополе»), с тяжелейшим чемоданом, полным горных образцов, которые собрал для себя.

Конечно, брат рассказывал об экспедиции, но его рассказы были лаконичны, а кое о чем он и вовсе умалчивал. И это лето осталось бы для меня во многом неизвестным, если бы в 1991 году я не получила письмо от Ольги Тимофеевны Ганчиной, участницы той далекой экспедиции. Из ее дневников и воспоминаний я узнала, каким было для Андрея то «холодное лето». Он не рассказывал нам подробностей о трудных маршрутах по тайге, о километрах, пройденных по азимуту по болотам, под дождем, порой без еды и хлеба. Об еще дымившемся костре, на который однажды натолкнулась их маленькая группа (может быть, там только что грелись беглые уголовники?), об амнистированных по указу Берии зэках, захватывающих пароходы, идущие вверх по Енисею, к Красноярску. Он не рассказывал нам, каким надежным другом стал для своей спутницы,



*Андрей (стоит слева), рядом с ним – Ольга Ганчина.
В экспедиции на реке Курейке*

практикантки-геодезистки Ольги Ганчиной, звонков от которой с нетерпением ждал в Москве. И тем более не говорил о том, как тосковал по дому*.

Любимым таежным рассказом Андрея была история об одном таинственном происшествии.

Как-то Андрей оказался один в глухой тайге. Внезапно поднялся сильный ветер, началась гроза. Он привязал лошадь к дереву, а сам укрылся в охотничьей избушке. В одном углу было навалено сено, и он лег на него, подложив под голову рюкзак. Снаружи бесновалась непогода – выл ветер, порывы дождя обрушивались на избушку, сверкали молнии, гремел гром. Андрей сильно устал и стал задремывать. Вдруг он услышал голос: «Уходи отсюда!» Ему стало не по себе, но он продолжал лежать. Прошло какое-то время, и таинственный голос прозвучал снова: «Уходи отсюда!» Андрей не двинулся с места. Но когда в третий раз голос произнес: «В последний раз тебе говорю, уходи отсюда!», он схватил рюкзак и выскочил из избушки под проливной дождь. И в тот же миг огромная столетняя лиственница, как спичка, сломавшаяся под порывом ветра, упала наискось на избушку, как раз на тот угол, где только что лежал Андрей. Он вспрыгнул на лошадь и поскакал прочь от этого страшного места...

* Г а н ч и н а О.Т. Таежное лето Андрея Тарковского. / «О Тарковском». Воспоминания в двух книгах. М.: Дедалус, 2002.



Марина. Осень 1953

С самого первого раза, а брат любил повторять эту историю, я почувствовала, что это вымысел, — я слишком хорошо знала Андрея. Про тот случай он рассказывал многим друзьям, а в последний раз я слышала от него этот рассказ летом 1956 года на берегу Оки, наутро после проведенной у костра бессонной ночи. Я уже не спорила с Андреем и дала ему полную возможность насладиться своей таинственной историей.

Недавно один из школьных друзей брата, журналист, опубликовал статью о мистических случаях в жизни Тарковского. Там автор упоминает и о таежном происшествии.

Я спросила у Ольги Тимофеевны Ганчиной, мог ли такой случай произойти с Андреем. «Нет, конечно. Во-первых, в маршруты мы никогда не ходили поодиночке. Во-вторых, потому, что в пятьдесят третьем на Курейке эту историю рассказал нам один геолог. Тогда, — добавила она, — мне показалось, что геолог этот, возможно, фантазирует». Андрей вруном не был. Он мог, как говорила мама, «уклоняться от истины», то есть умолчать о чем-либо. Он знал, что мама не терпела лжи, да и сам ее не любил — впоследствии у него даже была идея сценария, где муж сжигает свою лживую жену на костре*.

Почему же ему так хотелось, чтобы поверили в его таежное приключение? Мне кажется, что он так любил все загадочное, необъяснимое, что сам начинал верить в подлинность того случая. Воображение позволяло ему добавлять всё новые детали к рассказу. Он видел именно себя лежащим в избушке, озаряемой вспышками молний, сам слышал раскаты грома, вой ветра и таинственные предупреждения.

Тогда, в пятидесятых, я посмеивалась над братом, хотя каждый раз во время его рассказа у меня мурашки пробегали по спине. Андрей говорил тихим голосом, серьезно глядя мне в глаза... Теперь я поняла, что рассказ этот был для него живым творческим актом.

А таежные рисунки Андрея пропали; он рисовал летом пятьдесят третьего года не только для себя, но и для геологов. Разыскивая его альбом, я позвонила в архив «Нигризолота». Там альбома не оказалось. Куда он исчез? Это тоже таинственная и еще не разгаданная история.

Как я не стала востоковедом

Весной 1953 года, ко всеобщему ужасу, стало известно, что Андрей был отчислен из Института востоковедения. Было загадкой, как его вообще приняли, потому что этот институт был полужакрытым учебным заведением. Правда, туда не требовалась

* А. Тарковский рассказывает об идее такого сценария в фильме «Время путешествия А. Тарковского и Т. Гуэрры».

рекомендация райкома комсомола, как при поступлении в Институт международных отношений, но правила приема отличались от правил приема в обычные вузы.

Андрей знал об этих особенностях, и помню, как он волновался, когда шел подавать туда свои документы, ведь он не был комсомольцем. Как ни странно, он был принят, набрав двадцать два балла из двадцати пяти и пройдя мандатную комиссию.

Хорошо зная наклонности Андрея, я заранее была уверена, что он не станет учиться в языковом вузе. Но тем не менее исключение его из института стало нашим семейным горем. «Неужели ты думала, что он станет учиться в этом институте?» — утешала я маму.

Летом 1953 года, когда Андрей был в Туруханском крае с геологической партией, я решила поступать в его бывший институт, и тоже на арабское отделение. Я хотела доказать тем, кто исключил Андрея, что не такие уж мы безнадежные люди. Кстати, я, как и почти все в нашем классе, была комсомолкой, что увеличивало мои шансы на поступление по сравнению с Андреевыми.

Почему-то я была уверена, что поступлю. Экзамены сдавала хорошо. Последним был французский язык. За него я совсем не боялась, отвечала с блеском и только выйдя из аудитории, посмотрела в экзаменационный листок. Там стояла «четверка». Уверена, что преподавательница получила соответствующие инструкции, потому что отметка была явно занижена.

На мандатной комиссии девица — генеральская дочь в модном креп-сатеновом платье с аппликацией и шнуровкой, была принята. Меня вызвали вслед за ней.

И вот я, восемнадцатилетняя, худенькая, в самодельной кофточке без рукавов (рукава я не научилась вшивать), стою в большом светлом полукруглом зале перед огромным столом, вокруг которого сидят члены комиссии. И один из них сообщает мне, что я не прошла по конкурсу. Я, осмелев от оглушительного сообщения, спрашиваю, почему же принята только что вышедшая отсюда абитуриентка, у которой такие же баллы, как и у меня, и получаю ответ: «Мы учитываем заслуги родителей!»

Я пришла домой убитая. Весь оставшийся день проплакала. Мама позвонила папе и попросила его пойти к председателю приемной комиссии, чтобы восстановить справедливость. «Ведь у тебя тоже есть заслуги», — сказала она папе.

Но папа ответил, что никогда ничего ни у кого просить не будет. Я понимаю, почему он не захотел поехать в Востоковедение. Ему было противно и унижительно доказывать официальным лицам, что он — член Союза писателей, участник войны, орденносец, инвалид.

А я — я через год поступила на вечернее отделение университета, на филфак, и стала работать корректором в Первой Образцовой типографии, где работала мама.

Я не стала арабистом и не познала прелестей студенческой жизни — вечеринок, походов и песен под гитару, то есть всей так называемой романтики студенческих лет. Но я об этом не жалею. Жизнь прожита так, как прожита. А насчет справедливости, так нам еще Пушкин сказал: «Нет правды на земле».

Но я верю, что она есть «выше».

Поступление во ВГИК

Андрей уволился из «Нигризолота» в апреле 1954 года и стал готовиться к поступлению в Институт кинематографии. Он узнал о существовании этого учебного заведения от нашего знакомого по одному лету в Кратове, Димы Родичева, который тогда, в 1954-м, уже был студентом режиссерского факультета и учился в мастерской Льва Кулешова.

Как часто судьба человека зависит от случайного ряда обстоятельств! Здесь протянулась целая цепочка. По совету своей знакомой, переводчицы Нины Герасимовны Яковлевой, мама сняла на лето дачу — небольшой отдельный домик — в подмосковном Кратове, и мы летом 1949 года оказались соседями семьи Сергея Дмитриевича Родичева, тогда заместителя министра легкой промышленности. Сергей Дмитриевич (это выяснилось много позже) со школьных лет дружил с оператором Валентином Ефимовичем Павловым, который работал на «Мосфильме» со знаменитым Пырьевым. Видимо, по совету Павлова Дима поступил во ВГИК. До этого он учился на филфаке заочного отделения университета. Подростком Дима заболел костным туберкулезом и несколько лет пролежал в гипсе. Лежачим он был и в то лето в Кратове, когда мы познакомились. Каким счастьем было для нас с Андреем увидеть его через некоторое время в Москве уже на ногах!

Андрей часто бывал у Родичевых в их квартире на Таганке. Его влекла туда дружба с Димой и его сестрой Любой, которая до сих пор хранит странички школьного дневника Андрея. Суrowsого Сергея Дмитриевича почти никогда не было дома, и Андрея и меня всегда приветливо встречала мать Димы и Любы, чудесная Нина Степановна.

Дима знал об актерском увлечении Андрея, понимал, что он достаточно образован и начитан, и посоветовал Андрею поступать на режиссерский факультет. Кстати, по рекомендации Димы весной 1954 года Андрей попал на съемку в учебную студию ВГИКа, где сыграл роль капитана баскетбольной команды, а я стала подрабатывать моделью (тогда это называлось «актриса по вызову») в учебной фотостудии.

В то время Андрей знал кино лишь как обычный зритель и не представлял себе, что такое на самом деле профессия кино-



На даче в Кратове. В центре – Дима Родичев

режиссера. Но Дима увлек его своим энтузиазмом, и Андрей начал собирать документы для поступления. Взял в «Нигризолоте» характеристику. Сам напечатал фотографии, снятые летом в Абрамцеве. (Я при сем действе присутствовала, сидела с братом при красном свете и впервые наблюдала чудо появления изображения на фотобумаге.)

Написал Андрей рецензию на недавно вышедший фильм С. Юткевича «Великий воин Албании Скандербег»*. С этой своей первой работой о кино Андрей приехал в Голицыно, чтобы папа и Татьяна Алексеевна прочли ее и сделали свои замечания. Помню, что папа и его жена были растеряны, так как совершенно не знали этого специфического жанра, да и фильма самого не смотрели.

Составил Андрей и свою автобиографию. Естественно, тогда ему и в голову не приходило, что когда-нибудь киноведы и историки кино будут изучать по ней его жизненный путь. Он не захотел вдаваться в детали («Я родился на Волге, в г. Юрьевце», а не в селе Завражье), кое-что преувеличил («В течение занятий в школе занимался музыкой», на самом деле окончательно бросил занятия к пятому классу). Конечно, было бы ему глупо писать, что он был отчислен из Института востоковедения за неуспеваемость и непосещаемость, и в автобиографии появилась

* Рецензию эту кто-то выкрал из архива ВГИКа.



Андрей и Марина летом 1954 года

история о сотрясении мозга, полученном на занятиях физкультурой, в результате которого ему пришлось покинуть институт.

Наш папа близко к сердцу принял известие о решении Андрея. Волнений было много. Папа обратился к знакомым, имеющим отношение к кино. Написал (или позвонил?) Виктору Борисовичу Шкловскому. Шкловский, который любил папу и выручал его в трудные минуты (во время войны помог перевезти его в московский госпиталь), направил нас с Андреем к человеку со знаменитой фамилией Бендер, который работал во ВГИКе, кажется, ассистентом-преподавателем. «Направил нас», потому что и я собралась поступать, конечно же, на актерский факультет. Поразительно, что Андрей одобрял мое намерение, хотя невооруженным глазом было видно, что я абсолютно лишена актерских способностей и до неприличия застенчива. Дома я перед бабушкой с воодушевлением читала отрывок из «Отрочества» Толстого («Солнце склонялось к западу и косыми жаркими лучами невыносимо жгло мне шею и щеки...») и монолог Татьяны («Я вас люблю (к чему лукавить?), но я другому отдана...»), а на экзамене, оказавшись перед комиссией, состоявшей из большого числа взрослых серьезных людей, пробормотала что-то вроде извинения и с позором ушла.

Итак, мы пришли к Александру Александровичу Бендеру домой, и он беседовал с нами о наших вкусах и интересах, говорил, какими будут экзамены и как надо к ним готовиться.

Написал папа и другому своему знакомому, Ростиславу Николаевичу Юреневу, который с 1939 года преподавал во ВГИКе историю кино. В ранней юности Юренев писал стихи, и познакомились они в какой-то поэтической компании. Однажды папа навязал Славу Юренева в провожатые нашей маме, беременной Андрюшей, а сам остался «шляться с друзьями», как она говорила. Маме пришлось вытерпеть этот поступок папы, но Юренев чувствовал ее недовольство. Они ехали на трамвае в Гороховский переулочек, и мама была, как вспоминает Юренев, вежлива, но неразговорчива.

И вот теперь папа пишет письмо Ростиславу Николаевичу.

«Дорогой Славочка!

К тебе придут мои дети: который мальчик — Андрей, которая девочка — та Марина. Очень прошу тебя, мой дорогой, поговорить с ними и помочь им, чем ты можешь, советом. Делом и доброй волей: они метят в ГИК.

Милый мой и хороший, прошу тебя, не откажи мне, помоги им устроиться в институт — они оба хорошие и способные дети. Я, их бедный родитель, не нахожу в себе умения и силы, чтобы помочь им попасть в ВУЗ и рассчитываю на твою дружбу. Вызови их на откровенность, и тогда ты увидишь, какие они славные. Пожалуйста, сделай для них то, что мог бы сделать для меня. Кланяюсь Тамаре. Приезжай в Голицыно.

*Любящий тебя Арсений Тарковский**.

От Шкловского и от Юренева набравший курс М.И. Ромм знал, что к нему будет поступать сын поэта Тарковского. Уверена, что Михаил Ильич не собирался влиять на экзаменаторов, не такой он был человек. Конкурс был огромный, после первого тура отсеялось много абитуриентов. Андрей очень серьезно готовился и сдал все экзамены и специспытания на «отлично» и только за сочинение получил «посредственно», наверное за правописание.

Мне помнится, что на экзамене по специальности (стихи и проза) он читал отрывок из «Войны и мира» (многие поступавшие видели Андрея в знаменитом желтом пиджаке и с книгой Толстого под мышкой. Эта книга, подаренная папой, до сих пор живет в моей библиотеке). Это был отрывок из первой части второго тома — сцена дуэли Пьера Безухова и Долохова: «Место для поединка было выбрано шагах в 80-ти от дороги, на которой остались сани...» — толстовская проза, перемежающаяся напряженными диалогами участников дуэли и кончающаяся ранением Долохова, бретёра и буяна и вместе

* Ю р е н е в Р. Который мальчик — это Андрей / Андрей Тарковский: начало... и пути. ВГИК, 1994.

с тем нежного сына и брата. Очень интересная психологически сцена.

Стихотворение Михаила Луконина «Коле Отраде», которое Андрей выбрал для чтения, тоже было нелегким — со сложным, спотыкающимся ритмом, с не всегда точными рифмами, такое же трогательное и резкое одновременно, каким был сам Андрей. Луконин написал эти стихи в память своего друга-пота, погибшего на финской войне. Брат мой дома заучивал наизусть это стихотворение, а я следила и поправляла его по книге.

Я жалею девушку Полю.

Жалею

за любовь осторожную:

«Чтоб не в плену б».

За:

«Мы мало знакомы»,

«не знаю»,

«не смею»...

За ладонь,

отделившую губы от губ.

.....
А когда он поднял автомат, —

вы слышите? —

Когда он вышел,

дерзкий,

такой, как в школе,

Вы на фронт

прислали ему платок вышитый,

Вышив:

«Моему Коле!».

У нас у всех

были платки поименные, —

Но ведь мы не могли узнать

двадцатью зимами,

Что, когда

на войну уходят

безнадежно влюбленные —

Назад приходят

любимыми...

Уже поступив на первый курс, Андрей по просьбе преподавателей читал это стихотворение перед однокурсниками. Он так читал, что многие девушки плакали.

Записки и стихи

Я не чувствую себя счастливым, когда люблю женщину,
я чувствую себя потрясенным.

А. Тарковский.

(Из фильма-интервью Донателлы Бальиво
«Поэт кино Андрей Тарковский»)

Ирма Рауш. Эти вполне заурядные немецкие имя и фамилия казались мне когда-то необыкновенно романтическими.

Я заглядываю в аудиторию, где только что окончились занятия у студентов-режиссеров первого курса, — мне надо передать Андрею принесенные из дома бутерброды. На улице день, а в аудитории горит электрический свет, плотно задернуты темно-серые шторы. Воздух душен и сперт от присутствия пятнадцати — двадцати молодых людей. Я уже знаю многих Андреевых сокурсников и сокурсниц по именам и узнаю теперь рыжеволосую гречанку Марию Бейку, трагическая партизанская эпопея которой мне уже известна со слов Андрея, прелестного мальчика Люку Файта, сына знаменитого актера, Васю Шукшина, красивого сибиряка с широким скуластым лицом и узкими серыми глазами, Сашу Гордона, кажется уже успевшего в меня влюбиться, высокого Бескадарного, симпатичную Дину Мусатову с открытой улыбкой...

А вот и она, знаменитая Ирма Рауш, в которую уже полгода влюблен Андрей. Она невысока ростом, с хорошей фигурой, которую складно облегает черное суконное платье, заколотое у ворота латвийской серебряной брошью-сактой. Ее светлые волосы, которые даже на взгляд кажутся мягкими, собраны в пучок черной лентой. Одного взгляда достаточно, чтобы понять, что у Ирмы Рауш хороший вкус и что она самая красивая девушка на ромовском курсе.

Учебные тетради Андрея испещрены ее портретами, он рисует ее в профиль, так у него лучше получается. Профиль мил — крутой лоб, изящный носик,



Ирма Рауш, студентка ВГИКа



*Андрей во дворе дома
в 1-ом Щипковском переулке, 1955*

чуть выпяченная нижняя губа, сейчас это ее не портит, а придает всему лицу некоторую пикантность.

Как складывается непросо в жизни — он любит ее, а она его — нет. Она не спешит влюбляться, да и как это можно сделать по заказу? Еще один однокурсник претендует на ее чувства, и она, равнодушная, замкнутая на себе, не знает, кому отдать предпочтение. А Андрей жестоко страдает и после очередного объяснения, окончившегося разрывом, пишет наивные, но искренние стихи.

НЕЧЕСТНОЙ И ВЕТРЕННОЙ, КАК БОЛЬШИНСТВО ЖЕНЩИН

Уж не посмотрю я нежным взглядом,
Твоего покоя не нарушу,
А когда ты зло проходишь рядом,
Я тебя ни капельки не трушу.

И не злюсь за то, что изменила,
Ни к кому на свете не ревную,
Просто глупо и ненужно оскорбила
Ты любовь к себе — чужую, но большую.

Странно, что таким, как ты, на свете
Хорошо и радостно живется,
Но «люблю», что бросила на ветер,
На твоей любви к другому отзовется.

И немного жалко, что истратил
На тебя всю душу, и другую,
Что честней, красивей и умнее,
Полюбить наверняка уж не смогу я.

Я люблю — не скрою при ответе.
 Ну а ты? Нет... ты и не любила.
 Ничего, должна другого встретить;
 Помнишь, ты мне как-то говорила?
 17.III. 1955.

Казалось бы, сейчас, после разрыва, самое время забыть про неудачную любовь. Но Андрей не может расстаться со своим чувством. «Не бросайся в любовь, как в глубокий колодец, не будь как листок на ветру» — все эти папины советы он, одержимый любовью, во внимание не принимает.

И вскоре появляется еще одно стихотворение — боже мой! — о раздвоении личности и о самоубийстве, написанное Андреем на следующий день после его дня рождения — 5 апреля 1955 года.

ТЕНЬ

Я и молод и стар, я и мудр и глуп,
 Смертью пахнет левкой, флоксы — грецким орехом.
 А брезгливая складка у обиженных губ
 словно шепчет «не нужно» с насмешливым смехом.

Но любил или нет, я не знаю, но то,
 Что я вспомнил, запело расстроенным ладом,
 И лохматый двойник с пистолетом в пальто,
 Неотвязно и честно ты шествовал рядом.

Если рядом стена — ты скользил по стене,
 Если лужа — подрагивал в солнечной луже...
 Можно б в темной квартире... и так... на ремне...
 Не могу без тебя! Ты мне, право же, нужен!

Ты сможешь в кармане нащупать курок
 И поднять к голове черный ствол вороненый,
 И останешься ты навсегда одинок,
 Верный друг мой, безмолвный, слепой и покорный.

Как-то в это мучительное для всех нас время (мы с мамой видели, что происходит с Андреем, хотя стихов этих еще не знали), доведенный почти до безумия Андрей уезжает к папе в Голицыно и оставляет дома записку для Ирмы. И она впервые приходит в наш дом, за этой запиской.

Удивительно, как запоминаются на всю жизнь какие-то эпизоды, и, видимо, не случайно запоминаются. Эта сцена стоит у меня перед глазами. Она пришла, когда и мама, и я были дома. Села у овального стола, стоявшего в первой комнате у окна. Ма-

ма передала ей записку Андрея, и она ее при нас прочла. На лице Ирмы Рауш ничего не отразилось, никаких комментариев не последовало. Все то время, что она провела у нас, во все время нейтральной беседы об институтских делах, все эти пятнадцать-двадцать напряженных для всех нас минут она машинально крутила Андрееву записку, скручивала ее в трубочку, раскручивала, снова скручивала бессознательными движениями своих острых пальцев. А потом встала, сказала «до свидания» и ушла, а записка нашего Андрея осталась лежать на столе в виде скрученной трубочки. Мама, кивнув на записку, произнесла то, что было ясно и без слов: «А ведь она его не любит», разорвала бумажную трубочку на мелкие кусочки и выбросила в свою пепельницу-раковину, стоявшую у стола на подоконнике...

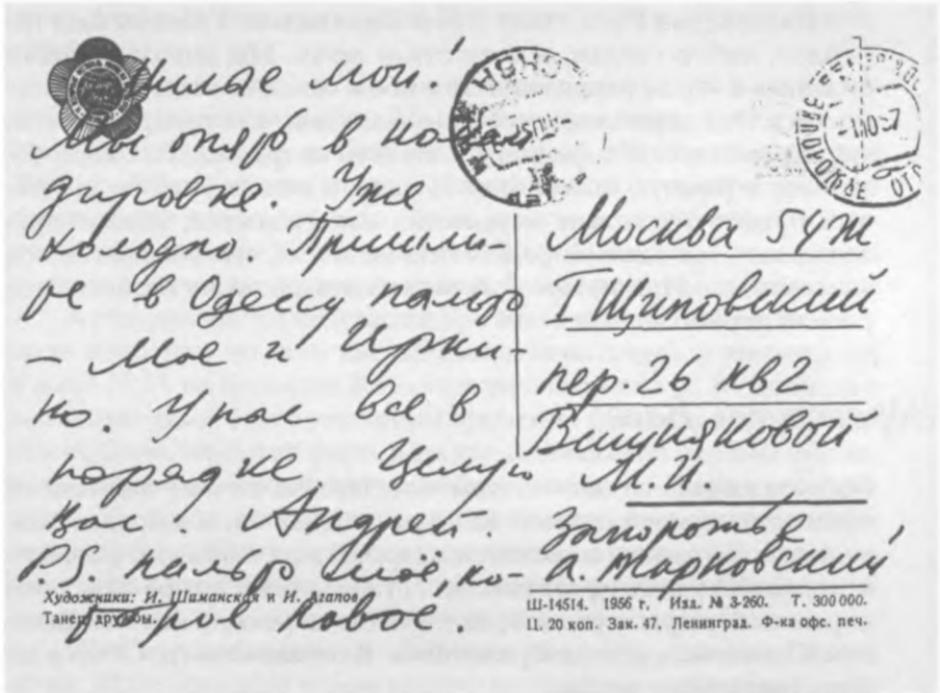
Женитьба

В конце лета 1956 года едут на целину студенты-однокурсники Андрея. «Ирме Рауш будет очень полезно поработать на уборке урожая с целинных земель, это даст ей, будущему режиссеру, богатый материал», — гласит характеристика, подписанная директором ВГИКа, секретарем парторганизации и секретарем комсомола.

Вряд ли пригодились Рауш впечатления, полученные на целине, но поездка эта запутала еще больше ее отношения с Андреем. Однокурсник, бывший с нею на уборке урожая, занял место в третьем углу рокового треугольника, и страдания Андрея достигли высшей точки. Он стал бледным до синевы, нервным до предела, дома появлялся поздно вечером и, ничего не говоря, ложился спать. Дело дошло до того, что Андрей и его соперник договорились между собой, что ни тот ни другой не будут больше подходить к Ирме, не будут разговаривать с ней, пока она сама не сделает выбор. Они, бедные, не понимали, что ей не был нужен никто из них...

Первым сломался Андрей, и началось все сначала: свидания, на которые она то приходила, то не приходила, долгие провожания, бесплодные объяснения.

И педагоги, и сокурсники видели, что творится с Андреем, и думали, как ему помочь, а он, чтобы разрубить наконец этот сложный узел, ответил согласием на предложение педагога, милейшей Ирины Александровны Жигалко, и своего друга Саши Гордона разобраться в ситуации всем курсом. (Это было время, когда люди из лучших побуждений считали себя вправе вмешиваться в чужую личную жизнь.) И вот собрались все, и однокурсник стал публично выяснять с Ирмой отношения, и неизвестно, чем бы окончились эти разбирательства, если бы Андрей не встал, не подошел к ней, не взял бы ее за руку и не сказал: «Пойдем отсюда!»



Открытка, посланная Андреем с практики

Ни мама, ни я ничего об этом эпизоде не знали тогда. Мы увидели только, что в коробке с документами нет Андреева паспорта, и поняли, что он собрался жениться. А через какое-то время он нам объявил о своем решении. Казалось бы, так радостно закончилась эта томительно-долгая эпопея Андреевой любви к Ирме Рауш. Но почему я, оставшись дома одна в этот апрельский день 1957 года, долго плакала, узнав о заключении «законного брака»? Должна была бы радоваться, а плакала. Потому что знала, что Андрей уходит от нас навсегда...

По большому счету все так и случилось, а по малому он вроде бы никуда и не уходил. Свадьбу молодые решили не устраивать, и, хоть с нами не советовались, мы с мамой одобрили такое их решение. Мама считала все эти свадьбы мешанскими затеями, напрасным переводом денег, которых, кстати, и не было.

Сначала молодожены очень короткое время жили в нашей тесноте — как говорится, по месту прописки, потом мама стала снимать им комнату, а очень скоро они, красивые, веселые и полные надежд, уехали в Одессу на производственную практику, куда, кстати, был направлен и Вася Шукшин, и Андреев побежденный соперник. Вернувшись, продолжали жить в снятых комнатах, и помню, что Ирма со смехом рассказывала, как Вася шутя говорил: «Вот когда мы будем знаменитыми, возникнут трудности, на какой дом вешать мемориальные доски. Столько квартир мы все сменили!»

Итак, Ирма Рауш стала Ирой Тарковской. Рубикон был перейден, выбор сделан, и всем стало легко. Мы довольно часто виделись с Ирой (оказывается, у нее в семье ее называли именно так). Она держалась свободно и мило и, как говорила мама, «не строила из себя фифочку», то есть не фыркала на нашу более чем скромную обстановку. И мама, и я полюбили ее за веселый нрав и отсутствие мещанских наклонностей. Жизнь продолжалась, и я даже и представить не могла, чем обернется мое знакомство с Ирмой-Ириной, милой девушкой из Казани, Андреевой первой женой...

Здравствуй, Вася!

Год назад я шла из одного издательства. Район был мне совсем чужим, но за моей спиной маячила телебашня, и я представляла, в какой стороне находится метро. Я шла к нему по какой-то незнакомой улице вдоль унылых, стандартных домов из серого кирпича. И вдруг я увидела на стене дома доску с именем Василия Шукшина, с его изображением. Я остановилась. Стою и не могу двинуться с места...

Значит, нашелся все-таки дом, где тебе, Вася, повесили памятную доску. Помнишь, ты шутил, мол, по стольким квартирам мотался, что неизвестно, на каком доме должна будет висеть мемориальная доска.

Но как страшно видеть тебя на этой доске! Какой ты худой, изможденный. Я не знала тебя таким.

Вот ты пришел к нам на Щипок, это 4 апреля 1955 года, день рождения Андрея. Убогая обстановка, скромное застолье. Друзья Андрея, моя школьная подруга.

О тебе я уже слышала восторженные рассказы брата, и теперь ты сидишь за столом прямо напротив меня, спиной к входной двери. И ты мне очень нравишься. Нравишься тем, что не болтлив, что, не вступая в общий разговор, вглядываешься исподволь в лица, прислушиваешься к говорящим. Нравится твое скуластое лицо, узкие глаза, красивые губы. Ты напоминаешь мне Мартина Идена, моего любимого героя. И я могла бы в тебя влюбиться, но сердце мое, увы, занято другим.

Но вот моя школьная подруга вздумала вдруг уходить домой. И я прошу тебя проводить ее до остановки в надежде на продолжение вашего знакомства. Ты быстро вернулся и был чем-то смущен. «Понимаешь, — рассказал ты Андрею, — я ее к забору прижал, хотел приобнять, а она мне пощечину влепила». Думаю, что эта моя подруга жалела потом о своей тогдашней неприступности...

Помню встречу Нового года в студенческом общежитии. А потом я вижу тебя на учебной сцене ВГИКа. Ты играешь главную роль в «Ученике дьявола» Бернарда Шоу. Ты произно-

сишь монолог перед казнью. И монолог этот звучит замечательно.

После того, как все вы закончили институт, были у нас какие-то случайные встречи. Да, помню одну: зима, холод, вечер. Мы с Сашей (кстати, его мать звали так же, как и твою, — Мария Попова. Жаль, что ты этого не знал) вместе с тобой встречаем твоих дочек у детского сада. Твою жену и девочек я тогда в темноте не рассмотрела, помню, что Лида была в простом сером платке. А дочки, совсем маленькие, были закутаны до глаз...

А еще раньше ты недели две-три жил у нас на Таганке. Мы снимали квартиру, то есть две комнатки-пенальчика в коммуналке в доме № 14 на Большой Коммунистической улице. В одном «пенальчике» (наш был проходной) временно поселился ты. Прописки не было, жилья не было, а ты уже снимал свой первый фильм, который до сих пор смотрят и любят зрители, — «Живет такой парень». Ты приходил со студии, за ужином пил пиво, а иногда и кое-что покрепче. К пиву приносил креветки... А потом ты сидел у себя и писал что-то. Как выяснилось позже, рассказы. Никогда не читал их нам, вообще ничего не говорил о своем творчестве.

Почему-то общение с тобой связано у меня с зимой, с морозами. Шли однажды утром вместе из дома до метро. Был сильный мороз, и я говорю: «Так холодно, что даже уши мерзнут от серег». Ты удивился — как это так? «Вот так, серьги серебряные, протеты в уши, вот и холодно». Тебя это позабавило.

Как жаль, что не ты снялся у Андрея в роли двух братьев-князей в «Рублеве». Ведь роль была написана для тебя, Андрей мне не раз об этом говорил. Но ко времени запуска фильма у вас уже не было прежней близости.

Прошло еще несколько лет, и опять зима, и опять мороз. А я в ситцевом халатике и в косынке убираю свою квартиру. Да, у нас уже есть своя квартира, она в Марьиной роще. Это пятиэтажная «хрущоба», но в улучшенном виде, ибо — кооператив. Внизу под нами живет семья: она — зубной хирург, он — большой любитель женской красоты. Частые скандалы. Убираю квартиру, мою пол и слышу на лестнице какие-то громкие голоса. Особенно громко кричит соседка — зубной хирург. А через минуту — звонок ко мне. Открываю дверь и вижу тебя, Вася. Ты в белом нагольном тулупе, кажется, в бурках (или ошибаюсь?). «Вот зараза баба. Я позвонил к ней, а она сразу — орать».

Как выяснилось, мы теперь жили в одном примерно районе. Ты уже получил квартиру, стал москвичом. Вы с Сашей встретились в автобусе, и ты спросил у него адрес. Записать было нечем. «Да я так запомню», — сказал ты. И запомнил, вот только этажом ошибся и нарвался на Розу...

Наверное, мой вид — халатик и косынка — спровоцировал тебя на откровенность, да и пришел ты немного «под хмельком». И я узнала, что... «Почему же ты мне раньше этого не ска-

зал? Ведь ты мне тоже нравился», — ответила я, не очень поверив твоему признанию. «А я не смел», — ответил ты. Ох уж эти комплексы... Думаю, что именно они и развели тебя с Андреем...

Потом пришел мой муж Саша, и вы сидели за столом и выпили все, что было в доме, и пошли купить еще. Пьяный ты был тяжел, никак не мог успокоиться и заснуть. Утром, когда вы еще спали, я ушла на работу.

Вот, собственно, и все. Потом, я слышала, ты пить перестал, только работал, работал.

Из курса М.И. Ромма набора 1954 года ты один из первых ушел из жизни. В начале октября 1974 года была на удивление солнечная погода, и невозможно было поверить, что тебя не стало.

Тебе было всего 45 лет. Так мало ты жил. Так измучили тебя и твой неумный характер, и твои «начальнички». Помнишь песню, которую ты пел студентом? «Ты, начальничек, ключик-чайничек...» Не дали они тебе снять твоего «Стеньку».

И теперь вдруг я опять встретилась с тобой. И так было больно, и так защемило сердце. И хотя стояло жаркое лето, мне вспомнилась давняя холодная зима, и ты, молодой, в белом полушубке, и твои неожиданные слова о несостоявшейся любви, которым я не поверила.

Как-то по телевидению на всю страну было сказано, что ты и один популярный музыкант похожи между собой. Представляю, как бы ты выругался, а может, и поколотил автора такого сравнения. Но не верь, Вася, этим словам. Нельзя тебя ни с кем сравнивать. Ты был и останешься единственным, ни на кого не похожим.

Четверостишие

Я вдруг перестала спать по ночам. В семьдесят девятом, когда умирала мама, я не спала. А почему сейчас?

Я хожу взад и вперед по комнате, стараясь не шуметь, чтобы не разбудить домашних. От двери — к балкону, от двери — к балкону. А там кружится с ветром, бьется о стекло, мелькает в полосе света и исчезает в темноте первый снег.

От двери — к балкону. Опять косо мчатся снежинки за окном, и их движение страшно в своей механической неотвратимости — из освещенной полосы во тьму. И помимо моего сознания складываются строчки:

Белая бабочка близкой зимы
Вьется, порхает.
Черная тень близкой беды
Сердце сжимает.

Какой из меня поэт! Пошловатые слова — «белая бабочка... зимы», да и «тень беды» не лучше. Но я почему-то записываю эти четыре строчки на листе бумаги и даже ставлю дату — ноябрь 1985-го.

Так откуда моя тревога? Почему мысли об Андрее не дают мне уснуть? Волноваться нечего, я знаю, что он в Швеции, снимает картину.

От двери — к балкону, от двери — к балкону. «Белая бабочка близкой зимы»... Просто я не люблю ноябрь. Черная мерзлая земля, низкое небо, а впереди долгая-долгая зима. Близость зимы, близость беды...

И беда пришла. Сначала до меня доходили неопределенные слухи о болезни Андрея, потом они стали конкретными, а в январе восемьдесят шестого выпустили к Андрею сына — «в виде акта гуманизма». Смертельная болезнь его уже стала очевидной и для советских начальников.

О состоянии Андрея я узнавала от дочери его жены. «Все хорошо, на снимках не обнаружили ни одной раковой клетки». Но я знала, что «хорошо» быть не может.

Я дала телеграмму в ЦК на имя Горбачева с просьбой разрешить мне выехать во Францию «в связи с тяжелой болезнью моего брата». Уже идет «перестройка», но страшная система работает четко. Мою телеграмму пересылают в ОВИР, и его сотрудница объясняет мне, что «к командированным за границу» выезд родственников они не оформляют.

Но через полгода им все-таки пришлось «оформить» нам выезд — на похороны. Оказывается, все можно сделать за один день...

А потом я прочла дневник Андрея, «Мартиролог», выдержки из которого вошли в фильм Эббо Деманта «В поисках утраченного времени».

«8 ноября 1985. Сегодня я видел ужасный, печальный сон. Я опять увидел озеро на севере. Как мне кажется, где-то в России. Рассвет. На другом берегу два русских монастыря и церкви необычайной красоты. И мне было так тоскливо, так печально на душе!

10 ноября. По делам, связанным с Андрюшей, пока ничего. Завтра состоится вторая встреча с Пальме... Нам хотят помочь. Как?.. Из Москвы поступают плохие вести. Ужасные дни, ужасный год. Господи, не покинь меня!

18 ноября. Я болен. Бронхит и нечто абсурдное в затылке и в мышцах... И в то же время надо озвучивать фильм. А время уходит.

24 ноября. Я болен. Даже довольно опасно...

30 ноября. Ужасные споры из-за длины фильма. Я болен. Пришлось сделать общий анализ крови и рентген легких...»

В декабре страшный диагноз уже был поставлен.

Икра. Поездка в Париж

Бытует расхожее мнение, что в России икру ели ложками. Позвольте с этим мнением не согласиться. Икру мы вообще не ели — ни ложками, ни вилками. Как-то получалось, что об икре вообще речи не заходило в нашем доме. Вот о морковном соке — да, об овсянке — да, и даже о рыбьем жире речь шла, а вот чтобы об икре говорилось — нет. Конечно, мы знали, что такой продукт существует, слышали, что в одной знакомой семье ребенок бросался в родителей бутербродами с икрой, — мама нам приводила в назидание этого избалованного ребенка.

Но икра, конечно же, продавалась. В конце войны — в коммерческих магазинах, где ее и покупали родители избалованного ребенка, а позже — в рыбных магазинах, где она лежала в овальных белых эмалированных тазах, приподнятых так, чтобы покупатели могли хорошенько ее рассмотреть. Мы, конечно, знали, что икра бывает красная и черная, зернистая и паюсная, но почему-то она никогда не была для меня чем-то вожделенным, как, например, колбаса с крапинками или бело-розовая пастила.

Я не любила ходить в рыбный магазин. Меня не привлекал даже вид живых карпов, обреченно разевающих рты в большом аквариуме с водопроводной водой, около которого, прижавшись носами к стеклу, всегда толпились дети, а экзекуция с доставанием карпов сачком вызывала у меня ужас. Я не знала тогда, что в банках с таинственной надписью «Снатка», вздымавшихся египетскими пирамидами позади аквариума, лежали крабы. Я их полюбила много позже, когда они стали навсегда исчезать из обихода. Говорили, что Хрущев запродавал за валюту всех крабов, и мы надолго забыли их вкус.

Итак, в детские годы рыбный магазин меня не вдохновлял, не то что керосиновая лавка в 1-м Щиповском, где стоял прекрасный запах керосина и глаз невозможно было оторвать от бутылок с химически-лиловыми переливами спирта-денатурата. Возможно, я не любила рыбу оттого, что меня заставляли глотать эту мерзость — рыбий жир, и никакая корочка черного хлеба не могла заглушить отвратительный вкус этого якобы очень полезного зелья.

После войны в рыбном магазине «под часами» мы почти ничего не покупали. Правда, на один Новый год мама купила там что-то рыбное. Она хотела сделать нам сюрприз и долго не говорила, что принесла в свертке из толстой серой бумаги. Как выяснилось позже, это был кусок мороженой осетрины. Из него она сварила нам в качестве новогоднего угощения суп, который мне страшно не понравился из-за его запаха и острых костяных бляшек, которые вылавливались вместе с луком и картошкой. Однако пришлось суп есть и радоваться, чтобы не огорчать бед-

ную маму, ведь ей хотелось угостить нас в новогодний вечер чем-то особенно вкусным.

А икра все как-то не приживалась в нашем доме, даже когда у меня самой появился ребенок. Когда Миша был маленький, она еще продавалась в рыбном «под часами». Икра лежала все в тех же корытцах, склонно к посетителям магазина, и я иногда с полочки покупала грамм двести, конечно только для маленького сына. Потом икра исчезла из магазинов, и только в праздничных заказах, которые мне выдавали на работе, можно было иногда получить заветную, зеленую с оранжевым, жестяную баночку красной икры.

Я веду к тому, что, с моей точки зрения, икра в России никогда не была широко распространенным национальным блюдом. А позже икра стала для меня ассоциироваться с самым тягостным временем в моей жизни — временем тяжелой болезни мамы, болезни и смерти Андрея.

Когда стало ясно, что мама безнадежно больна, мы стали «доставать» икру, где только можно. Сохранялась эта скорбная традиция — поддерживать тяжелобольного калорийной икрой. Саша бегал по мосфильмовским буфетам и приносил время от времени баночку для мамы...

В январе 1986 года мне позвонила теща Андрея, Анна Семеновна, и сказала, что она и Андрюша получили разрешение на выезд за границу к больному Андрею. Улетали они на следующий день, и я поехала к ним прощаться. На счастье, в холодильнике у меня лежала баночка красной икры. Письма Андрею я не посылала (а ведь надо, надо было послать!), я знала, что он смертельно болен, и любые мои слова были бы жалкими и лицемерными. К тому же я знала, что читать их будет не только Андрей, и боялась комментариев чужого мне человека. Я решила на словах передать мои слова любви к нему, а с собой взяла эту баночку икры.

В тот день стоял сильнейший мороз, Москва застыла в морозной дымке, на улице было пустынно. На полупустом промерзшем троллейбусе я доехала до Мосфильмовской.

Почему-то комната, где был хорошо знакомый мне кабинет Андрея, была абсолютно пуста, там стояли лишь несколько стульев и швейная машинка Анны Семеновны. Я подумала, что ошиблась и сейчас меня провели в какую-то другую комнату, но вроде бы все совпадало — здесь стоял диван, на котором спал Андрей, вот подоконник, где были цветы, за которыми он любовно ухаживал, вот дверь на лоджию. Я не из тех, кто задает вопросы, поэтому причин опустошения Андреева кабинета не знаю до сих пор.

Анна Семеновна была в предотъездных хлопотах. С балкона врывался в комнату морозный воздух, оттуда доставались банки с вареньем для Андрея. Помню, говорила она о том, что позво-

нили из Гускино, привезли ей и Андрюше документы на выезд и билеты, что она не хочет оставаться за границей долго и что умирать хочет вернуться на родину.

Я находилась тогда в состоянии отчаяния, когда живешь, говоришь, что-то делаешь лишь по инерции. Я попрощалась с Анной Семеновной, с Андрюшей, вышла на морозную улицу. На Мосфильмовской не было ни одного человека, посмотрела на часы — около двенадцати. Мороз усилился, сквозь туманную дымку светились круги вокруг фонарей. Я долго стояла на троллейбусной остановке, совсем напротив проходной «Мосфильма», через которую ходил Андрей и через которую, я знала, он уже никогда не пройдет. Было что-то апокалиптическое в этой абсолютной безлюдности, в проникающем до костей холоде. Мне было страшно, и я думала, что сейчас меня очень легко может кто-то убить и как ужасно быть убитой в такой сильный мороз. Наконец остановилась какая-то машина. И вот я дома, раздеваюсь и вдруг вспоминаю, что баночка икры, которую я хотела послать Андрею, осталась у меня в сумке. И я опять выхожу на улицу, иду по пустому двору в ледяном неподвижном воздухе, опять жду, ловлю машину, еду на Мосфильмовскую. Мне открывает дверь удивленная Анна Семеновна, и я отдаю ей эту баночку красной икры...

И прошел почти год, и в Москве конец декабря, и опять сильные морозы, и мы ходим по Москве, чтобы сделать фотографии на иностранные паспорта, и единственная мастерская, где делают эти фотографии, — на Курском, возле дома, где жил когда-то Андрей. А потом мы едем в банк, чтобы поменять какие-то деньги, и банк тоже находится на Курском, тоже недалеко от его прежнего дома. Банк закрыт, сегодня предновогодний день. Сейчас опять мороз, но светит яркое солнце. И я хожу по всем этим делам, как автомат, ничего не понимая, кроме одного, кроме того, что случилось. Во все дни после смерти Андрея я была, видимо, в шоке, потому что происходящее запечатлелось в памяти не как последовательно происходящие события, а как отдельные фрагменты, не связанные между собой.

Вот мы в самолете, летим на похороны Андрея. Нас, родственников, несколько человек. Сейчас новогодние праздники, в самолете пусто, поэтому можно сидеть где угодно. А я лежу, мне очень плохо, видимо у меня что-то с сосудами, с давлением. Отдельно от нас Ларисины родные — ее племянник, дочь с мужем. Не знаю, летела ли с нами Антонина Павловна, сестра Ларисы, ее помню уже в Париже. Где-то рядом Сеня, старший сын Андрея.

И вот аэропорт имени Шарля де Голля. Что-то невероятно яркое, сверкающее, какие-то эскалаторы, витрины. Заполняем въездные бумажки, проходим паспортный контроль, и я спрашиваю у полицейского, где выход. И он отвечает, добавляя к от-

вету слово «мадам». Надо было мне прилететь в Париж, в этот легендарный город, о котором столько знали мои родители, в который так мечтала попасть я, прилететь на похороны брата, чтобы услышать это непривычно вежливое к себе обращение.

Ларису я увидела через стеклянную стену у выхода из аэропорта. В пальто из черной ткани с блестящим отливом, она, подойдя к этой стеклянной стене, каким-то подчеркнuto театральным жестом — сверху вниз — провела рукой по стеклу. Думаю, что она была обрадована, увидев свою дочь, для которой приезд на похороны был, конечно, печальным, но все же поводом выехать из СССР, чтобы остаться за границей. Нас Лариса не ждала, потому что в списке родственников, поданном ею в советское посольство, наших имен не было. Не было также имени папы, который поехать на похороны все равно не мог из-за очень плохого здоровья. Об этом списке я узнала позже, а сейчас, при встрече, я обняла и поцеловала Ларису. Я испытывала к ней чувство сострадания и думала, что случившееся может сблизить нас.

Госкино получило разрешение сверху «оформить» всех родственников, которые пожелают поехать на похороны. Нас предупредили, что встречать нас будет представитель «Совэкспортфильма». И действительно, к нам подошел приятный светловолосый молодой человек, который опекал нас во все время нашего пребывания в Париже. Он был на машине. Ларису привез какой-то высокий брюнет, и само собой получилось, что мы с Сеней оказались в машине совэксспортфильмовской, а родные Ларисы поехали с ней. Наша машина ехала вслед за Ларисиной. Помню, как мы вошли в квартиру на первом этаже большого дома на улице Пюви де Шаванн. Это была квартира продюсера Анатоля Домана, вернее, одна из его квартир, которую он предоставил Андрею с женой еще во время его болезни. Я ничего этого не знала, когда входила в светлую комнату, где на серванте стоял красивый букет сухих цветов. В комнате еще не было многолюдно. Большой стол, на котором были расставлены какие-то закуски, уже был готов к приезду родных Ларисы. Открывалась бутылка с шампанским, а посреди стола в прозрачной хрустальной посуде лежала горой и светилась оранжевым светом красная икра.

И неуместное в этой ситуации шампанское, и эта ваза с какой-то очень крупной, «заграничной» икрой, и слова Ларисы, что всем нам завтра надо будет пойти в парикмахерскую, чтобы выглядеть прилично на похоронах, весь этот неуместный и странный мусор я отметала от себя и все вглядывалась в лицо Ларисы, все старалась найти в нем что-то родное, близкое, все старалась понять, за что, за какие, может быть скрытые, незаметные, незаметные черточки и проявления смогла бы я теперь ее полюбить.

Прогулки по Парижу. Завещание Андрея

Оглушенная горем, еле живая после перелета, с сосудистым кризом — в таком виде я очутилась в Париже. Но многое, что там происходило, я помню, только не в виде последовательных, связанных друг с другом событий, а каждое событие, каждую картину — отдельно.

Нам всем, приехавшим из Москвы на похороны Андрея, надо было явиться в советское консульство, о чем Ларисе напомнили вежливым звонком оттуда. Помню, кто-то сказал, что в здании, где сейчас советское консульство, во время немецкой оккупации находилось гестапо. Мы явились туда в полном составе — сестра Ларисы Павловны, дочь Ларисы Ольга со своим мужем, племянник Ларисы Алеша Найденов, сын Андрея от первого брака Арсений, мой муж и я.

В консульстве ощущалось состояние некоторой паники. Сотрудники его, возможно, еще не получили четких указаний, как им себя с нами вести, то ли в духе хозяев здания времен войны, то ли как-то иначе. Человек, который вышел к нам, пожал нам руки. Помню, что рука его была холодной и влажной от пота, так он волновался. Он спросил, сколько времени мы собираемся провести в Париже. Все назвали дату отъезда, которая стояла в наших визах. Я понимала, что дочь Ларисы не вернется назад, что этот грустный повод поможет ей навсегда остаться за границей.

Ночевали мы в гостинице «Мерседес», неподалеку от дома, где жила Лариса. Гостиницу, наверное, оплачивало Госкино, во всяком случае, не мы. У нас почти не было денег. Симпатичный представитель «Совэкспортфильма», который нас опекал в Париже, снял нам приличную гостиницу, но она была далеко вато от квартиры Ларисы. И по ее настоянию для нас были сняты номера в ближайшей гостинице. Эта «Мерседес» была очень плохонькая гостиница, какая-то затертая, с грязными шторами на окнах. Да какая была нам разница! Мы только ночевали там, а утром приходили на улицу Пюви де Шаванн, в квартиру, где жила Лариса.

Там мы познакомились с приятельницей Ларисы, дамой по имени Кристиана Бертончини. Она приехала из Германии. Кристиана почему-то ходила по квартире босиком. У нее были длинные пышные светлые волосы и милая улыбка. Кристиана действительно была обаятельной. (Как я узнала позже, это она по заданию Ларисы Павловны вычеркивала из готовящегося в Германии первого издания дневников Андрея нежелательные имена — папы, Сени, первой жены Андрея, мое.)

То ли в первый день, то ли во второй Лариса Павловна сказала, что надо пойти в магазин за продуктами, так как предполагалось, что в квартире на улице Пюви де Шаванн на следующий день будет много народу.

И вот мы — Лариса, Кристиана, Саша, Сеня, я, может быть и родственники Ларисы — выходим из дома. Почему я потащилась за этими покупательницами, не понимаю. Была как сомнамбула.

Париж в новогодней иллюминации, на улицах толпы народу. Везде какие-то освещенные магазины, какие-то бесконечные лотки то с рыбой, то с фруктами и зеленью, то с какими-то раковинами и кораллами. Я чувствую, что сойду с ума от этого шума, обилия огней, товаров. Все это лишнее, раздражающее. Трогуары узкие, мы идем гуськом. Впереди в длинных шубах Лариса и Кристиана, запах их духов, как шлейф, тянется вослед. Лариса с прической, как у героини «Жертвоприношения», Кристиана с распущенной гривой волос, у обеих под запахнутыми шубами — открытые платья. Наконец приходим в какой-то гастрономический магазин. Мы останавливаемся у дверей, Лариса и Бертончини идут к прилавку, за которым стоит высокий продавец-итальянец. Он в белом колпаке и длинном белом фартуке. Дамы заказывают мясную нарезку, продавец какой-то машинкой режет мясо. Он шутит, сверкают его белые зубы, дамы весело отвечают на игривые шутки, они смеются. Смеется Кристиана, смеется Лариса. Они в восторге от общения с продавцом.

Андрей еще не похоронен, он лежит в морге.

На следующий день небольшая квартира Домана стала наполняться людьми. Нас ни с кем не познакомили. Может быть, этого не положено делать в скорбные дни? Не знаю, да мне было тогда не до кого. Появилась какая-то молодая женщина-болгарка, видимо из добровольных Ларисиных помощниц. Из соседней комнаты до меня доносился ее однообразный голос. Она рассказывала кому-то о своих эмигрантских мытарствах.

Люди все приходили, на креслах, на кроватях росли горы одежды. Вот я сижу рядом с незнакомой женщиной. Она невысокого роста, с хриловатым голосом. Меня раздражает ее особенность — она курит не переставая, закуривая одну сигарету от другой. Небольшая комната заполняется дымом. Бог со мной, но мой бедный муж — астматик. И я очень деликатно говорю незнакомой даме, что нельзя так много курить, что это вредно, в общем, несу общеизвестную чепуху. Но вот Лариса предлагает этой заядлой курильщице погулять с нами и показать нам Париж. Боже мой, еще одна прогулка!

Но мы одеваемся и идем гулять. Я «гуляю», слушаю объяснения нашего гида. Да, тогда я уже знала имя нашей спутницы, Лариса называла ее Наташей и, если я не путаю, даже посылала ее в магазин за вином. Во время прогулки я задаю ей какие-то дурацкие вопросы, вроде: не скучает ли она по России, не забывают ли ее дети русский язык. И на все мои «провокационные» вопросы Наташа терпеливо отвечает.

Много позже, уже в Москве, я узнала, что нашим гидом по Парижу была известная поэтесса Наталья Горбаневская, имя кото-



*Панихида во дворе храма
Св. Александра Невского на рю Дарю*

рой для меня всегда было символом бесстрашия и мученичества.

Вечером сидим за столом у Ларисы. Пришли важные особы, солидный пожилой господин и красивая дама в роскошном норковом берете, с бриллиантами в ушах и на пальцах. Русские и тоже эмигранты. И меня они тоже раздражают. Вот они-то и уговорили Андрея остаться, действовали заодно с Ларисой, которой очень хотелось жить за границей. Ларисе нет дела до того, что ее желание остаться за границей погубит Андрея, испортит жизнь его старшему сыну, лишит папу возможности печататься. Я была уверена, что Андрей решил заявить о своем невозвращении под сильным нажимом. (Тогда я еще не

знала, что день пресс-конференции, на которой им было сделано заявление о невозвращении, он назовет «самым отвратительным днем в своей жизни».)

Вот с такими чувствами я сидела за столом в квартире на рю де Шаванн. Красивая дама в бриллиантах, видимо, привыкла царствовать. Она говорит громким голосом, а ведь собрались все по поводу смерти моего брата. Куда-то испарились моя деликатность и застенчивость, мной руководила только боль за Андрея. И я говорю: «А почему вы так громко разговариваете?» Дама опешила от моего хамства, но быстро нашлась: «А я всегда так разговариваю! Я вообще хабалка!»

Красивая дама в бриллиантах оказалась знаменитой певицей Галиной Вишневской. Через несколько дней, уже после похорон, она пригласила всех родственников Андрея к себе на обед. Она была по-царски великодушна и не подавала виду, что помнит мое замечание. Рядом со мной за столом сидел солидный господин, который приходил с Вишневской на рю де Шаванн. Это был Владимир Максимов. Он сказал мне: «Я дико тоскую по России. С первым поездом вернусь, когда будет возможно, приползу!»

Галина Павловна показала нам свою квартиру, построенную как Площадь Звезды — центральная комната, а вокруг боковые. Ее мужа, Мстислава Ростроповича, не было дома, сразу после похорон Андрея он уехал на гастроли.

А потом мы слушали кассету с русскими романсами в исполнении Вишневской. Когда она запела «Ни слова, о друг мой,



Во время панихиды. Слева направо: Арсений Андреевич, Лариса Павловна, Марина Арсеньевна, Андрей Андреевич Тарковские, Александр Витальевич Гордон

ни вздоха...», я не выдержала, заплакала. Подошла к Вишневской, благодарила ее. И сейчас ей благодарна...

За эти девять дней, проведенные в Париже, было много встреч и много событий. Но смысл нашего пребывания там до похорон сводился к одному — уговорить Ларису похоронить Андрея в Москве. Юридически только она имела право решать вопрос похорон. Она пренебрегла нашими просьбами и письмом папы, в котором он просил похоронить Андрея в России, дать ему возможность проститься с сыном. Нам Лариса продемонстрировала весьма сомнительное «духовное завещание» Андрея, содержащее оскорбительные слова в адрес всех нас, его московских родных.

На следующее утро после похорон мы — Саша, Арсений, сын Андрея, и я — должны были снова поехать на кладбище в Сент-Женевьев-де-Буа. Поездка несколько задержалась. По какому-то странному стечению обстоятельств все четыре шины автомобиля нашего сопровождающего оказались проколоты. Прямо какой-то детектив! Однако спустя час мы все-таки выехали из Парижа. Нам очень не хотелось встретиться на могиле с вдовой, но она там не появилась.

Вечером на рю де Шаванн в присутствии всех родных Лариса устроила чтение другого, уже «материального», завещания Андрея, в котором все его наследство передавалось ей, вдове. Сама процедура оглашения завещания напоминала дур-

ной спектакль, безвкусную пародию на добропорядочное буржуазное семейство, тем более что нам и в голову не приходило думать о каком-либо завещании. Было оскорбительно видеть торжествующее лицо Ларисы, когда в комнате находились оба сына Андрея, ни словом не упомянутые в завещании. И не отпускала боль за Андрея, за ужас его последних месяцев жизни...

Владелец кинотеатра на Елисейских Полях, в котором шли русские фильмы, пригласил всех родственников Андрея на просмотр фильма «Жертвоприношение». Просмотр был назначен на 11 часов утра. И вот мы в кинотеатре, Саша, Арсений и я. Нас встречает хозяйин и его жена, милая молодая русская женщина. Не могу передать то волнение, которое нас охватило. Сейчас мы встретимся с Андреем, увидим его последнее произведение, услышим его предсмертные слова, его подлинное завещание, завещание всем нам. Мы садимся в конце небольшого зала. Сеанс не начинается, потому что нет Ларисы и ее близких. Ждем пятнадцать, двадцать, тридцать минут. Хозяева немного нервничают, они боятся, что не успеют показать нам весь фильм из-за следующего сеанса, на который уже продаются билеты.

Наконец решаются начать показ фильма. Я забываю обо всем на свете, смотрю на экран и думаю, что не буду отвлекаться даже на чтение французских субтитров, чтобы не упустить что-то важное в кадре. Странный ландшафт продутого ветрами северного острова, непривычной формы можжевелник, странные диалоги Александра и почтальона, шутка мальчика, привязавшего веревку к велосипеду почтальона. Я все больше и больше погружаюсь в мир, созданный Андреем, так не похожий пока ни на один из его фильмов. Вот уже подъезжает машина с гостем, ведь сегодня день рождения героя фильма, которого играет Эрланд Юсефсон. Вот...

И вдруг гаснет экран, зажигается свет, и я снова в зале небольшого кинотеатра. Я грубо вырвана из экранного мира Андрея. Оказывается, это прибыли Лариса и ее родные. Они садятся далеко от нас, в начале зала, и жена хозяйина кинотеатра садится с ними, чтобы переводить им фильм. И мы смотрим фильм сначала, и я снова погружаюсь в уже узнаваемый мир фантазий Андрея. Погружаюсь в эту во многом автобиографическую притчу о несчастном господине Александре, своей жертвой отратившем мировую катастрофу. И я рыдаю уже вовсю, когда на экране под божественные звуки Баха дрожит на сверкающем фоне моря тонкое дерево, готовое покрыться молодой листвой надежды...

Вот оно, завещание Андрея.

Толя Солоницын

Хочется сказать так, как говорит Маргарита Терехова, — Толенька... Но называть так Толю не имею права, не была с ним настолько близко знакома. Но горжусь, что первой, еще до Андрея, знала, что именно он будет играть великого иконописца.

Весной 1964 года мой муж попросил меня приехать к нему на «Мосфильм». Он был там по делам своей молдавской картины, и ему почему-то захотелось меня срочно увидеть. Соскучился!

И вот я стою в проходной «Мосфильма», знаменитой проходной, о которой часто пишут актеры. Стены этого небольшого помещения были выкрашены в традиционный синий цвет. В деревнях, говорят, такой цвет нужен, чтобы не привечать мух. Хозяйственники «Мосфильма», наверное, мух тоже не любили, не любили они и людей, поэтому вид у проходной довольно мрачен. Вдоль длинной стены, что против окошечек, где выдают пропуска, стоит ряд поломанных кресел с дерматиновыми сиденьями, слева на стене висят телефонные аппараты, внешний и самый важный, внутренний, по которому взволнованные посетители «Мосфильма», надрываясь, сообщают сидящим внутри студии-крепости о своем прибытии. Ожидающие заветного пропуска набились в проходной. Шум, гам, толчея.

Напротив, возле входа, замечаю человека. Он один, стоит, прислонившись к замызанной стене. Мне ясно, что он уже позвонил по внутреннему телефону и теперь ждет, когда за ним кто-то придет. Он в темном пальто с поднятым воротником. Руки в карманах. Кажется, что он спокоен, но я ощущаю его внутреннее напряжение. Человек этот лысоват, глаза глубоко посажены, нос красивый, небольшой рот. Лицо, лицо у него светлое. Вот что главное в этом человеке. Вот что отличает его от остальных.

Я знаю, что Андрей наконец запустился с «Рублевым» и сейчас ищет актера на главную роль. И я абсолютно уверена, что незнакомый мне человек со светлым ликом-лицом идет к Андрею и что именно он будет играть древнего иконописца.

А вот и Саша, в руках у него мой пропуск. Мы уходим, а мой «Андрей Рублев» остается стоять в проходной на сквозняке возле поминутно открываемой двери. Мы с Сашей ходим по студии, заходим в какие-то кабинеты, потом идем в буфет. «Хочешь, зайдем к Андрею?» — спрашивает меня Саша. Вот дверь с табличкой «Андрей Рублев». Режиссер А.А. Тарковский». Входим в большой светлый кабинет. За столом, тоже немаленьким, сидит Андрей. Перед ним на стуле — мой знакомый незнакомец из проходной. Андрей представляет нас ему. Настроение у Андрея веселое. Видимо, первое впечатление от Солоницына (теперь я знаю фамилию этого актера) хорошее.

Не знаю, запомнил ли меня Солоницын, думаю, что тогда ему было совсем не до этого. А я его, конечно, запомнила. Спустя несколько месяцев стою я в подъезде дома где-то в районе Таганской площади. Здесь живут мои друзья, Ира и Виталий Стацинские. Я жду лифта и вдруг слышу, что в подъезд кто-то входит. Понимаю, что это какой-то мужчина и что он тоже ждет лифта. Стоит позади меня. Неприятно, страшно. Я оборачиваюсь и вижу, что это Солоницын. Воротник пальто все так же поднят, лицо наполовину закрыто шарфом. Он не узнает меня, но я уже смело шагаю в лифт. Он за мной. «Вы к Стацинским?» — спрашиваю я. (К кому же еще?) Он мычит что-то в ответ. Уже в квартире, за столом выясняется, что Солоницын готовится к съемкам, что режиссер запретил ему разговаривать, так как первой будет сниматься финальная сцена — обретение Рублевым голоса после обета молчания.

Потом были встречи у Андрея в квартире в 1-м Мосфильмовском переулке. «Посмотри, какую лампу мне подарил Толя!» — с гордостью говорит Андрей. На столе и впрямь стоит чудо, настольная лампа начала XX века. Не чета моему подарку, тоже лампе, но современной, немецкой. Ей, правда, тоже нашлось место — на придиванной бельевой тумбе...

И вот премьера «Гамлета» в Театре им. Ленинского Комсомола. Меня встречает помощник Андрея Седов, раздеваюсь я в кабинете, где уже свалено на креслах много всякой одежды. Я волнуюсь. Но спектакль мне нравится. Королева в кроваво-красном платье — по-королевски великолепная Терехова. Очень средневековая (и прическа и платье — с картин старых мастеров) Офелия — Чурикова.

Толя Солоницын — Гамлет. Наш эталон — Гамлет англичанина Пола Скофилда. Это темпераментный красавец с огненными глазами, в бархатном камзоле. Он покорила московскую публику, и меня в том числе. Прекрасный, традиционно романтический датский принц. А Гамлет Солоницына уже не молод. Он не отличается ни красотой, ни быстротой движений, ни излишним темпераментом. «Что за Гамлет, у него и глаз-то совсем не видно!» — возмущается наша добрая знакомая, преподаватель зарубежной литературы во ВГИКе Нина Александровна Аносова. Она права. Глаза у Гамлета глубоко запавшие, лицо измученное, серое. Серый камзол, никакого бархата и никаких страусовых перьев. Это не принц, это обычный человек. Обычный наш замученный современник.

Финальная сцена. Поверженные тела — жертвы человеческой низости и коварства. Но вот... дрогнула рука у Гамлета, вот он встает, вот он протягивает руку матери, и поднимаются-воскресают жертвы этой трагедии, которую мы только что пережили. Прощение. Ведь в этом сущность христианства, не так ли?

Я спешу за кулисы, чтобы поздравить Андрея. Вижу Толю. Подхожу к нему, благодарю. Целую его нескладно в лысый потный лоб. И понимаю, как устал Толя, как нелегко дается ему эта роль, сколько сил отнимает...

1979 год, октябрь. Похороны мамы. На кладбище было много народу, но я никого не видела. Дома на поминках папа с Татьяной Алексеевной, Андрей, Рита Терехова, Толя Солоницын. Толя говорит о том, что все мы встретимся когда-нибудь там, после смерти. Он рассуждает о смерти, и ни ему, ни нам — никому в голову не приходит, что через несколько лет не станет ни его, ни Андрея.

После маминой смерти я виделась с Толей у Андрея. Я была замкнута, он неразговорчив. Так мы с ним и промолчали все наши встречи. Потом узнала, что он женился вторично и счастлив...

А потом известие о его болезни и потрясение — Толи не стало...

Сейчас появились воспоминания с осуждениями в адрес Андрея. Навестил больного Солоницына только один раз и больше не появлялся. Да, это так. Не был Андрей добрым самарянином. Уж таким он родился. Ему было больно видеть умирающего Толю, и он избегал тяжелых ситуаций, когда надо было бодрым голосом говорить у постели умирающего: «Ничего, Толя, мы еще поживем». Да, жестоко. Но и Андрей испил свою чашу...

И заливает свет сцену театра, и встает поверженный Гамлет, и протягивает руку в смертельной испарине и своему врагу, и своему другу... Смерть примиряет всех.

Возвращаясь к началу «Андрея Рублева»

«А не кончается ли на Тарковском развитие кинематографа?» — такой вопрос задал и себе и нам польский кинорежиссер Кшиштоф Занусси.

А я задаю вопрос только себе: «А не кончается ли интерес к творчеству Тарковского?» Хочу надеяться, что нет. Поэтому для тех, кому интересна предыстория фильма «Андрей Рублев», решила все-таки опубликовать фрагменты двух писем — письма папы к Андрею и Андрея к неизвестному мне адресату, Екатерине Александровне.

В папином архиве сохранился отрывок черновика письма, которое он писал Андрею после прочтения сценария будущего фильма. Думаю, что, прежде всего, папа был тронут доверием сына. Зная хорошо папу, я уверена, что он без промедления взялся за сценарий и очень внимательно его прочел. И ответил



*Андрей Тарковский на съемках
фильма «Андрей Рублев»*

большим письмом, в котором говорится не только о содержании сценария, но и о сущности искусства вообще.

Может быть, письмо в полном объеме находится в архиве Андрея, которому и были адресованы папины слова. У меня же, повторяю, есть только копия чернового, неупорядоченного отрывка, который начинается с разговора о творчестве Марины Цветаевой, о художнике-творце.

«...для меня неприемлема творческая и философская концепция поэзии Марины Цветаевой, личной самостихии художника. О нет, художник — сосуд скудельный того, кому он подчинил (заранее) свой дух (или кто подчинил его дух) — Богу, 3-му Интернационалу и т.п.

В начале творчества — подчинение своей души руководителю превыше тебя, затем — выполнение чуждой воли и только. Только тебе, обладающему (пусть некоторой?) свободой воли



Кадр из фильма «Андрей Рублев»

подчиняться чуждой добру стихии, равнодушной, олимпийской, пушкинской стихии анархического произвола темных страстей. Вот в чем разгадка! Понимание совести как своего, личного суда над своим произведением искусства, т.е. — пытку: не погрешил ли против своего наваждения (шабашного). Не поддался ли склонности к добру (а олимпийство Цветаевой — и есть безразличие к нему, ибо «Добру и злу внимай равнодушно, раз ты слушаешь скрипку Аполлона»). Она не договаривает до конца, но должна была бы договорить. Отсюда эта «кирсановщина» и арелигиозное самоубийство в конце (Маяковский, Есенин и... Цветаева).

Она утверждает жизнь превыше искусства (в прозе). Но где это утверждение проявилось в поэзии Цветаевой? Разлад, корень которого в искусственном олимпийстве.

В статьях Цветаевой — путаное и неясно выраженное в противоречиях отношение к жизни и поэзии. Цветаева противопоставляет одно другому, тогда как это единство; отсюда ее ошибки.

Как бы мы ни мудрили, мы обречены на заимствование цвета, светотени, звуков, смысла из пространства и времени, ибо другого ящика с тюбиками для нашей палитры нет. Нельзя измыслить даже абстрактную картину так, чтобы она не связалась задним числом с реалиями; как жизнь немыслима, порожденная небытием, так и искусство немыслимо вне бытия, оно его составное: как же можно противопоставлять одно другому? В самом противопоставлении — неверие в свое дело, залог декаданса, т.е. разлада формы и внутренней сущности искусства, повод к дроблению формы и вывороту этой сущности.

Доверься себе как художнику и осуществляй слитность своей — чуждой художественной воли (отсюда — ты сам свой высший суд), памятуя, что ты будешь прав, найдя в себе и силы и право на «высший суд».

Нельзя понимать совесть как олимпийское право не нарушать равнодушия к добру и злу. Правда в сочетании равновесном морального и эстетического законов: скрипка Аполлона — инструмент, враждебный творческому началу человека, потому что в нем живет не только он сам, но и все и всё, и есть (по слову самой же Цветаевой) круговая порука добра, в которой заключен скудельный сосуд творческой личности. Иного пути — нет и не может быть».

Далее в письме отец делает ряд конкретных замечаний по сценарию (к сожалению, я не знаю, какую версию читал папа. — М.Т.), смысл которых сводится к религиозной идее, которая должна лежать в основе авторского взгляда на личность Рублева и происходящие в его эпоху события. Папа рассматривает сценарий как вещь сугубо историческую. Примечательно, что некоторые замечания отца Андрей принял во внимание, некоторые

не принял. Почему — будет ясно из его письма к Екатерине Александровне.

Продолжаю цитировать письмо отца: «История с выколотыми глазами сомнительна до крайности. Даже история с ослеплением строителей Василия Блаженного — вероятно — выдумка. Попытка скомпрометировать Великого князя — из области газетной утки. (А как же история Василия Темного или убийство Бориса и Глеба? — М.Т.).

Беглые монахи — преступники (и довольно тягостное это преступление); побег из монастыря — все же редкость. Вообще — соблазн и его власть были несомненно меньше, чем ты хочешь изобразить, идея религиозная — более сильна. Раскалывание икон — недостоверно, потому что в келье не могло скопиться множество икон (живопись служила религиозной потребности, иконы расходились сразу же); икона не только картина, но образ святых или Бога, прежде всего, и уже не собственность художника.

Непонятно иудино поведение Кирилла (скоморох). Зачем? Как? Почему? От бездарности? Предательство Иуды, между прочим, не могло бы совершиться без Божественной воли, потому что это один краеугольный камень страстей Господних, происшедших ради искупления первородного греха.

Отречение Петра трактуется ошибочно. Это минутная человеческая слабость: Петр — учредитель христианской церкви, великомученик, искупивший проступок (а не грех) отступничества праведною кончиной (распятие головой вниз).

Кинематографическая фиоритура (исключительное поведение объектива) центрируется на периферии, на украшениях, а не на основном (сюжет, характер).

Исключительность личности Рублева у вас — вне религиозной идеи (художество противопоставлено ей в сценарии), тогда как эта исключительность именно в этой идее. Разлада как основного (у вас) двигателя души у него не могло быть.

Разлад этот — явление 20 века, он основа декадентства (Леонид Андреев, Брюсов), порожденного конфликтом: воля к творчеству — бездарность (Брюсов).

Нехорошо: Рублев — Дурочка. Зритель вместе с плохими предполагает (Достоевский) момент связи Рублева с Дурочкой. Предположить же это можно только, не усвоив, что вы говорите о Рублеве. Момент привносит разлад художника и зрителя, то есть — напрасности того, что вы делаете, неверие в свои (авторские) силы. Вот в чем грубая слабость эпизода.

Примитивны взаимоотношения Великого князя и младшего брата, трактуемые как мелкая зависть».

На этом черновик письма обрывается. Я не знаю, как Андрей отнесся к полученному папиному письму. Состоялся ли у них после этого разговор, хотя бы по телефону? Ответил ли Андрей папе также письмом?

Но что удивительно. Кто-то (к сожалению, не помню, кто именно) передал мне оригинал письма, написанного на машинке Андреем и адресованного незнакомой мне Екатерине Александровне. Это письмо является как бы ответом на письмо папы, которое вы только что прочли. Привожу здесь целиком письмо Андрея, хотя первая его часть и не относится к «Рублеву».

«1 апреля 1966

Уважаемая Екатерина Александровна!

Я только что вернулся из экспедиции во Владимир, где мы снимали куски «Рублева», и поэтому только сейчас могу ответить на Ваше письмо, которое пришло 23 апреля. (Андрей, видимо, ошибся в дате своего письма. — М. Т.). Прежде всего я Вам очень благодарен за все хорошие слова, которые Вы адресуете «Иванову детству». У меня же к этой картине отношение определено двойственным.

С одной стороны она дорога мне как первая моя картина, как «юношеское сочинение», с другой же — раздражает меня наивностью, местами выпренности и дурным вкусом, выражающимся часто в т.н. авторском волнении и нажиме. Недавно, все в том же Владимире, на встрече со зрителями мне после большого перерыва снова довелось увидеть «Иваново детство». Должен Вам с сожалением признаться — я был поражен ее несовершенством. Я мужественно просидел в зале полтора часа, чтобы отомстить себе за удовлетворение, полученное мной от работы над этой картиной и от собственного впечатления от нее тут же после ее завершения.

Что же касается другой части Вашего письма, имеющей отношение к «Андрею Рублеву», то должен признаться, что она произвела на меня сильнейшее впечатление. Я с благодарностью читал письмо и с волнением человека, с которым делятся — блестяще и одухотворенно — идеями и мыслями — глубокими и ясными. Ваши соображения по поводу «Иванова детства», напечатанные где-нибудь в периодике, были бы самыми оригинальными и выразительными, и мне жаль, что они остались, конечно, по причине Вашей скромной незаинтересованности в себе, лишь частным письмом к автору фильма. Пожалуй, только одно эссе по поводу «Ивана» было столь же блистательно и своеобразно. Это статья Ж.-П. Сартра в «Уните» (Unita). Правда, он в ней более увлечен социологическими проблемами, тогда как Вас интересуют эстетические и духовные аспекты творчества.

Теперь о фильме «Андрей Рублев». Да и не только о нем.

Много раз художники обращались к истории для того, чтобы воскресить и дать новую жизнь и Галилею, и Цезарю, и Наполеону, и Леонардо, и Годунову, и Пугачеву, и Гоюе и т.д. Все, кто это делал, — я имею в виду талантливых людей, — конечно же,

и знали историю и досконально изучали обстоятельства духовной жизни этих людей. Но, тем не менее, всегда оказывалось, что личности эти становились в конечном итоге выразителями того времени и тех идей, к которым имел отношение автор.

В фильме о Рублеве мне меньше всего хочется совершенно точно восстановить обстоятельства жизни инока Андрея Рублева. Мне хочется выразить страдания и томление духа художника в том виде, как понимаю их я, исходя из времени и проблем, связанных с нашим временем. Даже, если бы я задался целью именно восстановить время Андрея и смысл *его* страдания и обретения, все равно я не смог бы уйти от сегодня. Вы можете сказать, что именно только в этом количестве и форме может жить современная душа автора, что этого достаточно. Думаю, что нет, ибо в абсолютном понятии всегда живет невозможность его преодоления и соразмерность точности неопределенна. Так же, как любое количество объективных истин никогда не сложится в абсолютную, в силу невозможности завершить цикл. Раз так, Ваше (приписываемое мной условно) возражение, вернее, Ваша эта позиция, не принципиальна.

Я очень благодарен Вам за мысли о Боге, которые Вы связываете и с Сергием и с Рублевым, и о святости, и о смысле иночества их круга. Это все очень важно и необходимо. Что же касается творчества Андрея (то место Вашего письма, где вы говорите о том, что его творчество является продуктом его религиозной жизни и второй ступенью его творчества), то ведь, несмотря на точность Ваших соображений, исследование такого рода привело бы к философскому или искусствоведческому, или историографическому анализу жизни Андрея. А я далек от этого, ибо моя цель найти Андрея и его путь в своих мыслях, в своих страданиях, в своих обстоятельствах, и наоборот. Меньше всего я думаю о каких-то параллелях и намеках. Они недостойны искусства. Речь идет лишь о том (увы!), что я знаю и чувствую. Ибо цель моя — породнить всех духовно одаренных людей посредством своим и (условно!) Андрея. Такова задача. Хотя она могла бы, может быть, и выглядеть иначе: заразить примером творчества Андрея Рублева, ибо оно, скорее всего, истинно.

Я не стану растекаться в доказательствах, вернее, в желании объяснить свою позицию. Я думаю, что Вы поняли меня, уважаемая Екатерина Александровна.

Да! Потом еще существует эстетика кино, это я к тому, что касается первой части Вашего письма, связанной с рассуждением об образе. Мне бы не хотелось спорить с впечатлением, которое произвел на Вас мой фильм. Однако даже в кино существует пока еще никому неведомая специфика, от которой зависит вполне система образов в кино. И, на мой взгляд, «Иваново детство» в огромной степени хаотичная и в эстетическом смысле беспринципная картина».

Два небольших последних абзаца письма содержат благодарности Екатерине Александровне — замечательно тонкому и умному человеку, и подпись — А. Тарковский.

Храм Покрова на Нерли. Владимир

Февральским утром мы сели в синюю иномарку и поехали во Владимир. Вообще-то «тойота», взятая напрокат, была не синяя, а грязно-серая — февраль не баловал ясной морозной погодой. Было пасмурно, туманно, все текло. Грязь от встречных машин залепляла окна.

Нас было четверо: наши друзья — Жерар Беф, парижанин, ставший в России совсем русским и православным, красавица гречанка Наташа Синессиу из Лондонского университета, выучившая русский язык, чтобы смотреть фильмы Андрея без перевода, мой муж и я.

Мы ехали во Владимир.

Говорят, что «Войну и мир» надо перечитывать в каждый из жизненных периодов. Так и с посещением святой владимирской земли. Я приезжала во Владимир в туристической группе вместе с сотрудниками нашего издательства. Было это в 1963 году, когда Андрей еще не начинал снимать свои «Страсти». Было лето, и было первое знакомство с владимирскими соборами, с Суздалем, с полуразрушенным Боголюбским монастырем, по ступеням которого некогда влачили убитого князя.

А с храмом Покрова на Нерли встреча тогда была совсем особенной. Чтобы увидеть его, наша группа упростила водителя автобуса задержаться на ночь. Мы остановились на берегу реки. Спать в автобусе было невозможно — кто-то дремал, кто-то разговаривал тихонько. И как только забрезжило утро, мы двинулись к храму. Шли по цветущему росистому луку, а перед нами вставал храм, весь золотой и розовый в первых лучах солнца.

Потом я увидела уже знакомые храмы в фильме Андрея. На премьеру «Рублева» мы с мамой еле прошли. Нас проталил через толпу у входа оператор Ардашников. Была морозная зима 1969 года, и гардеробщица не хотела брать мамин валенки. Эти валенки явно оскорбляли достоинство гардеробщицы. «И кто это щас в валенках ходит!» — возмущалась она.

Рассказываю о валенках, потому что не хочу говорить о фильме, о впечатлении, которое он произвел на нас. Пусть оно останется со мной — об «Андрее Рублеве» много написано...

Сейчас февраль 1995-го. Все изменилось — нет на свете родителей, ушел Андрей. И я уже не та молодая женщина, что далеким ранним утром шла через росистое поле.

К храму Покрова нет проезжей дороги, туда можно попасть по тропке, ведущей от Боголюбского монастыря. Мы долго кру-

тимся в Боголюбове и наконец притыкаем машину у деревянного сарайчика в чьем-то дворе.

Спускаемся на лед изгибающейся под железнодорожным мостом Нерли, минуем рыбаков, терпеливо нахохлившихся над лунками, взбираемся на берег.

Мы в поле. Кроме нас — ни одной живой души. Дует ледяной ветер. Снега мало, местами из-под него торчат сухие стебли и зонтики прошлогодних трав. Далеко справа виднеются очертания монастыря, впереди — храм Покрова. Слава богу, что к нему нет подъездного пути. К храму надо идти пешком, и тогда он возникнет перед путником как награда за его скромный послух.

Вот он приближается на холме в полукруге замерзшей старицы. Перед ним группа деревьев — черные вязы на фоне размытого розовато-серого убывающего дня. Храм все ближе и ближе, на его куполе светится крест.

Совсем близко от церкви, на фанерном, дрожащем от ветра щите, читаем: «Въезд машин и вход на территорию храма с собаками и в купальниках запрещен».

Ветер пронизывает нас насквозь. Но на дверях храма висит замок, а попытка войти в белый домик, стоящий поодаль, оказывается безрезультатной. «Ключа от храма у меня нет, а в дом я и родного брата не впущу!» — говорит человек, вышедший на наш стук.

Мы опять ходим вокруг храма. Как прекрасен он, и как безобразны стоящие рядом опоры электропередачи. Кажется, что их поставили здесь нарочно, чтобы испортить его вид. А он не обращает внимания на эти конструкции. Он не знает себе равных, и что ему какие-то железки!

Замерзаем окончательно и снова стучимся в домик. На этот раз сторож впускает нас в сени. «Вот тут и грейтесь!» Возникает неловкость. Сторож не прочь с нами поговорить, но он раздет, и стоять ему в сенях холодно. Мы топчемся у распахнутой двери, тепло выходит. «Да вы заходите сюда», — говорит сторож. И вот мы уже в теплой кухне. То ли наш замерзший вид, то ли появившаяся у мужа в руках фляжка коньяка располагает к нам сторожа. Завязывается разговор. Выясняется, что храм относится к теперь действующему Боголюбскому монастырю, что в храме проводятся богослужения, что батюшка очень строгий, что в домике живут монахи, которые ушли в монастырь на службу.

Мы стоим на половике у входа в кухню, а сторож, назвавшийся Аркадием, выносит кусок сала, варенье в банке, хлеб и приглашает нас к столу. Мы благодарим и отказываемся — не хотим подводить Аркадия. Лицо у него чистое, розовое, сам он не старый, небольшого росточка, темно-русый, нос длинноватый.

Нам хорошо, тепло. Мы выпили коньяку, налили Аркадию. «Хорошая вещь, можно не закусывать!» — одобряет он. Беседа продолжается. Узнаем, что этот дом — нижняя часть колоколь-

ни, разрушенной в тридцатые годы, что колокольня и храм соединялись стеклянным переходом.

Аркадий венчался здесь два года назад. Говорим о времени, о нравах. «Я что? Я человек смердящий!» — чувствуется, что сторож приобщился к благочестию.

«Нам бы в храм попасть...» — «Нельзя, не имею права!» — стойко держится Аркадий.

Выпитый глоток коньяка придает мне храбрости: «Знаете, тут когда-то брат мой фильм снимал. «Андрей Рублев», слышали?»

Смотрит на меня. Пауза, раздумье... «Никого не впускаю, сейчас перед вами четверых отослал. А вас впусти, приму грех на душу». Аркадий решительно одевается и снимает ключи, висящие на косяке.

И отмыкается замок, и отворяется дверь, и мы входим внутрь храма.

В узкие оконные прорези почти не проникает свет, серый день угас. Но церковь сияла изнутри, хотя, кроме небольшого аналая, в ней ничего не было. Высокие белокаменные колонны устремлялись ввысь, увлекая за собой душу, уводя ее от земли с ее суетой и тщетой. Святость «намоленного места» здесь ощущалась почти осязаемо.

Рыдание сдавило мне горло...

Мы выходим из храма, прощаемся с Аркадием. Мне немного стыдно, что из-за меня он нарушил свой долг. «Чтоб вам больше не плакать», — говорит он мне напоследок.

Уходим и всё оглядываемся на храм. Как сохранился он, одиноко стоящий в чистом поле? И почему не производит впечатления сироты, брошенной на произвол судьбы? Он возвышается на своем холме, сохраняя спокойное достоинство...

Мы добрались до машины, развернулись и поехали во Владимир. Было уже почти темно. У входа в Успенский собор смуглые люди в узбекских халатах просили милостыню. Внутри собора было сумрачно и пусто — служба начиналась через сорок минут. Мерцал золотом богатый иконостас. Рублевских фресок мы не разглядели из-за темноты.

Потом мы ходили у соборов* и говорили о съемках «Андрея Рублева». Вот эти ворота таранили татары, а здесь были представлены лестницы, по которым взбирались вороги, чтобы ободрать золотые купола.

Тогда по неосторожности пиротехников загорелась деревянная обрешетка под крышей. Пожарники, присутствовавшие на съемках, пожар тут же потушили. Но пресса раздула свой «пожар». Жалели корову, которую взяли для съемок с бойни и на которой поджигалось специальное прикрытие.

Не хотели щадить режиссера, снимавшего великий фильм о России. Его долго мучили, а фильм увидели и оценили сначала

* Успенский и Дмитровский соборы.

ла на Западе. Не буду пересказывать хвалебные статьи о «Рублеве» и перечислять награды, полученные Андреем. Прочтите лучше это письмо.

«Коммунистическая партия Советского Союза.

17 июля 1969 года.

Председателю Комитета по кинематографии

при Совете Министров СССР

тов. Романову А.В.

Недавно в городе Владимир был организован общественный просмотр двухсерийного кинофильма «Андрей Рублев» (производство «Мосфильм», режиссер Андрей Тарковский, директор картины Т. Огородникова).

В просмотре участвовали ответственные работники обкома КПСС, облисполкома, горкома партии, художники, искусствоведы и журналисты.

По нашему общему мнению, фильм «Андрей Рублев» творческая неудача Андрея Тарковского, и его нецелесообразно выпускать на экран. Прежде всего, непонятна творческая, идейно-художественная позиция создателей кинофильма. Вместо воспитания у людей чувства патриотизма, гордости за нашу Родину, за русского человека — творца, создавшего памятники архитектуры XII—XIII веков, на протяжении всего фильма зрителям преподносятся в концентрированном виде сцены и картины зла, надругательства над человеком, над тем, что является святым. Перед нами предстает русский народ настолько отсталым и полудиким, настолько приниженным и раздавленным, что он не способен ни мыслить о свободе, ни, тем более, подняться на героическую борьбу против татаро-монгольского ига. Название фильма не соответствует его содержанию. В фильме нет Рублева-художника, которого по праву называют русским Рафаэлем. Непонятны образы бесталанного Кирилла, Дурочки, показ крупным планом циничного предводителя захватчиков-монгол.

Памятники архитектуры — Дмитровский и Успенский соборы, на фоне которых проходят многие события фильма, показаны в безобразном состоянии, что вызывает недоумение. Мы считаем, что в настоящем виде фильм будет не понят большинством зрителей.

Секретарь обкома КПСС С. Сурниченко».*

Времена изменились. Во Владимире напротив древних соборов и присутственных мест стоит отреставрированное здание с двуглавым орлом и с надписью «Банкъ». Перед банком — памятник Ленину, оставленный то ли в насмешку над бывшим вождем, то ли как напоминание о тех временах, когда было написано обкомовское письмо.

* Архив киноконцерна «Мосфильм».

Времена изменились, но почему-то не отпускает знакомое чувство безнадежности и неуютя.

Идем к машине, летящий снег бьет в лицо. Прощай, Владимир, увижу ли тебя еще раз, кто знает...

Первые барды

Если хорошенько припомнить, то начало бардовскому движению было положено еще в первой половине пятидесятых годов. Само название самодеятельных певцов — «барды» — появилось в обиходе несколько позже, уже в шестидесятых. А в пятидесятых говорилось описательно: «Приходите, у нас будет петь один человек. Он чудно аккомпанирует себе на гитаре».

Стало модным приглашать таких певцов в дом. Папина жена чутко реагировала на все новое и модное. И однажды, приехав к папе на дачу, а жил он в Голицыне постоянно до пятьдесят седьмого года, я застала там гостей.

Это были муж и жена. Они были поэтами по призванию, а занимались переводами. Тогда переводами жили многие поэты, даже такие великие, как Ахматова и Пастернак.

А еще они сочиняли и пели под гитару песенки. Слава о бардах распространялась в литературных кругах, и в один прекрасный день они были приглашены Татьяной Алексеевной.

Меня представили гостям. Муж и жена показались мне немолодыми. Когда тебе двадцать лет, все, кому за сорок, кажутся стариками. Одеты они были бедно и выглядели какими-то потертыми и помятыми.

Когда все уселись, певец взял в руки гитару, ударил по струнам, и супруги неожиданно бодро запели дуэтом. Они пели какие-то полулирические, полушуточные песенки, что-то вроде «Надену я белую шляпу, поеду я в город Анапу». Потом еще, на слова английских поэтов. Голоса у них слегка дрожали, а окончив одну песню, они, как заговорщики, сговаривались о следующей.

Папа сидел на стуле и изо всех сил старался слушать. Он был очень подвижным и нетерпеливым, и по его лицу я видела, как он страдает.

Татьяна Алексеевна расслаблялась, получая удовольствие, покуривала папиросу. Папа смотрел на нее с завистью — свою сегодняшнюю норму он уже выкурил.

Наконец репертуар певцов был исчерпан. Татьяна Алексеевна рассыпалась в комплиментах, папа пробормотал смущенно: «Очень мило!»

Муж и жена сдержанно наклоняли головы. Они заметно утомились. Румянец, вызванный эмоциональным подъемом, постепенно сходил с их щек.

Пора было бы сесть за стол, подкрепиться. Ведь они приехали из Москвы, из дома вышли давно.

Но Татьяна Алексеевна, делая вид, что не замечает возникшей неловкости, продолжала занимать гостей. Какая-то невидимая граммофонная иголка в ее голове опустилась на пластинку с записью сценки, когда-то услышанной ею в электричке. Таких рассказов у нее было несколько, и мы с папой уже знали их наизусть. Сейчас, «на новенького», она с воодушевлением, на разные голоса, разыгрывала первый эпизод. Какой-то военный, какая-то ревнивая бабенка, какая-то старуха-нищенка. Забавно, если слушать впервые.

Гости бледно улыбались, папа ерзал на стуле, я окаменела. Ни папа, ни тем более я не смели ее остановить и попросить соорудить для гостей хотя бы чаю.

Наконец, когда окончательно стало ясно, что угощения не будет, супруги, воспользовавшись просветом между рассказами, заспешили на станцию. Татьяна Алексеевна пошла проводить их до калитки. Из окна было видно, как певцы шли по улице — немолодые спины, усталая походка. У мужа в руке — гитара в черном сатиновом чехле...

Встреча с другим певцом, исполнителем и автором, произошла чуть позже. Андрея и меня пригласили послушать песни одни знакомые. Когда мы пришли, в тесной комнате уже собрался народ. Было крепко накурено. Все сидели вокруг стола, на котором стояла поллитровка и немудреная закуска. Сидящие на диване подвинулись, я втиснулась между двумя телами, Андрей устроился на валике.

Певец уже был здесь. Он сидел боком у стола, вытянув негибающуюся ногу — может быть, у него был протез? Обнаженная гитара стояла рядом. У певца было умное лицо постаревшего и сильно пьющего Мефистофеля. Было понятно, что водка и закуска в основном предназначались ему. Гости пришли не для того, чтобы есть и пить, они пришли слушать.

У меня возникло ощущение, что я приобщаюсь к чему-то тайному, запретному. Наверное, так когда-то могла себя чувствовать гимназистка, впервые пришедшая на конспиративную студенческую сходку.

Наконец все окончательно утрамбовались. Певцу налили стопку водки. Он выпил для затравки, закусил заботливо подвинутым бутербродом. Взял гитару, подстроил ее. Чувствовалось, что он сознает свою значительность.

Когда наступила полная тишина, певец запел. У него был довольно красивый непоставленный баритон, но главное было не в его голосе, а в тех словах, которые он полупел, полупроговаривал:

Враги сожгли родную хату,
Сгубили всю его семью.

В этих строчках не оказалось ничего нового — все мы знали, какими были фашисты.

Куда теперь идти солдату,
Кому нести печаль свою?

Эти слова уже пробивались к сердцу, было в них что-то свежее, какое-то щемящее и правдивое чувство. А исполнитель продолжал, перейдя на речитатив:

Не упрекай меня, Прасковья,
Что я пришел к тебе такой.
Хотел я выпить за здоровье,
А должен пить за упокой.

И все присутствующие, и мы с Андреем верили ему и грустили вместе с солдатом.

Последний же куплет взрывал все привычное, застрявшее в голове от бесконечного повторения, уничтожал армейское бодречество, напоминал, что, кроме «советского патриотизма», есть на свете любовь и страдание:

Молчал солдат, слеза катилась,
Слеза несбывшихся надежд,
А на груди его светилась
Медаль за город Будапешт.

Певец с лицом немолодого Мефистофеля замолчал, прикрыл струны ладонью и умело опрокинул опять наполненный кем-то стаканчик...

Потом только я узнала, что слова этой песни были написаны Михаилом Исаковским.

Вот с чего все начиналось.

Человек, исчезнувший с фотографии

Среди фотографий, хранящихся у нас дома, было две таких: у стены дома в Гороховском переулке, где родители жили вместе с 1928-го по конец 1934 года, стоит папа. Он в светлой рубашке с закатанными чуть выше локтя рукавами, с темным галстуком. Одна рука — в кармане брюк, в другой он держит трубку. Папа совсем молодой, худой.

Рядом с ним — высокий человек в светлом пиджаке, ворот его рубахи расстегнут. Он тоже молод, у него кудрявые рыжеватые волосы. Фотография, конечно, черно-белая, просто я знаю этого человека, видела его в детстве и помню, какие у него были



*Радуле Стийенский
и Арсений Тарковский*



*А здесь они все трое.
Слева: Аркадий Штейнберг*

волосы. Это поэт из Югославии, черногорец Радуле Стийенский (Маркович). Комсомолец, поверивший в идею мировой пролетарской революции, он вел подпольную работу и был вынужден эмигрировать в Советский Союз. В Москве он был хорошо принят, его начали охотно печатать. Папа стал одним из переводчиков его поэм и стихов, написанных в стиле черногорского эпоса. Сам Радуле был человеком веселым, любил пошутить, а меня научил квакать по-лягушачьи. После того как родители разошлись, Радуле продолжал часто появляться у нас — он ухаживал за мамой. Но мама считала, что ни один мужчина не может заменить ей мужа, а нам отца, и ухаживания Радуле ни к чему не привели. Позже он женился и вернулся на родину. До меня дошло известие, что похоронен Радуле Стийенский под городом Цетинье.

Вторая из двух фотографий, снятых Львом Горнунгом летом 1933 года, сделана там же, в Гороховском, только фоном служит другая, кирпичная, неоштукатуренная стена. Радуле сидит боком, рядом стоит во весь рост папа, видны его белые, наверное, начищенные зубным порошком парусиновые туфли. Он повернулся вправо. В левой руке все та же трубка, а правая лежит на плече человека, стоящего рядом.

На обеих фотографиях этот человек отсутствует, видны только часть его фигуры. Почему-то мама отрезала фигуру третьего человека, присутствовавшего на снимках, и я долго ломала голову, кто же стоит рядом с папой. Незадолго до смер-

ти автор фотографий передал мне карточку с этим третьим персонажем.

Вот они все трое — Радуге Стийенский и два его переводчика, Арсений Тарковский и Аркадий Штейнберг. Да, это был он — поэт, художник, друг папиной молодости и его соавтор. Тоже с трубкой в руке и одет точно так же, как папа, — темные брюки, светлая рубашка с галстуком. Но почему же мама на обеих фотографиях отрезала его изображение? Я знаю, что когда-то она была сердита на Аркадия за то, что он слишком часто уводил папу из семьи в богемные компании. Но вряд ли мама из-за этого могла так расправиться со Штейнбергом. Не такой она была человек.

Ответ на свои недоумения я нашла в одном из маминых писем военного времени. Сообщая папе на фронт семейные новости, она пишет, что муж ее двоюродной сестры «там же, где был Аркадий Ш.». А муж тети Шуры был арестован во время войны по доносу провокатора и сослан в Воркуту. Значит, Аркадий Акимович был тоже сослан!*

Вот тогда, когда в первый раз забрали Аркадия, мама и уничтожила для безопасности его изображения.

Жили в страхе. Помню «топтунов», которые даже в сильный мороз стояли вдоль Арбата — мы с мамой часто бывали там у ее подруги. Когда мы подходили к такой фигуре в темном стандартном пальто, мама потихоньку прижимала к себе мою руку и шептала: «Говори тихо!»

Аркадий Акимович вернулся из лагеря и был реабилитирован в 1955 году. Но их с папой дружба распалась из-за случая, спровоцированного недобрыми людьми.

Давних друзей развела ссора. Прошли годы. Примирение состоялось. Письмо, посланное папой Штейнбергу к семидесятилетию, хранит чувства дружбы и любви**. Вот оно:

«11 января 1978.

Дорогой Аркадий!

Поздравляю тебя, друг моей юности, с твоим семидесятилетием, от всего сердца желаю тебе многих и многих книг, в том числе и книги твоих собственных стихотворений, надеясь на склонность судьбы все ставить на свое место. Я не верю, что твоя Муза навсегда останется незнакомкой для читателей, умеющих ценить как должно произведения подлинной поэзии. Я не вижу причин, по которым можно было бы лишить читателей радости, которую им доставило бы чтение твоей оригинальной книги.

Ты пишешь стихи не потому, что набил руку на переводах. Ты переводчик, потому что всегда был поэтом. Твой Мильтон —

* А.А. Штейнберг лишился свободы дважды: в 1937—1938 и в 1945—1952 гг.

** Письмо А.А. Тарковского к А.А. Штейнбергу находится в архиве Н.И. Тимофеевой и приводится здесь с ее разрешения.

шедевр, создание которого немыслимо для ремесленника-переводчика. Мне кажется, что самое поверхностное изучение твоей переводческой деятельности должно было бы привести к заинтересованности твоей оригинальной поэзией. Один из ранних твоих читателей, выражая отношение к тебе тех, кто изустно знал и знает твои стихи, я прошу тебя сделать все от тебя зависящее, чтобы твоя книга, наконец, увидела свет.

К сожалению, я не могу быть на твоём юбилейном вечере. Зато крепко жму твои золотые руки и пророчу тебе славное восьмое десятилетие, полное более чем заслуженного тобою счастья.

Твой Арсений Тарковский».

...Однажды, лет двадцать назад, я шла с работы по тихой и зеленой Донской улице. Была весна. Высокий пожилой человек в черном свитере, с очень смуглым лицом гулял с собакой. Не зная, кто я, он посмотрел на меня живыми, выразительными глазами неуваждающего мужчины.

Я почему-то сразу поняла, что это Штейнберг, хотя не была с ним знакома и еще не видела фотографии, той, где они все вместе — папа, Радуле, Аркадий.

«Лучшего имени влажные звуки...»

Стихи о любви к Ней написаны папой в разные годы его жизни, в разные моменты его судьбы и в разные эпохи его биографии. Но самые прекрасные стихи о любви к этой Даме родились во второй половине жизни поэта, когда он все острее чувствовал свое внутреннее одиночество.

Я насчитала около двадцати стихотворений, в которых присутствует Она. Для меня это присутствие было таинственно и волнующе. Встречая упоминания о Ней, я замирала и надеялась — может быть, Она — это мама?

Невысокие, сырые
 Были комнаты в дому.
 Называть ее Марией
 Горько сердцу моему...
 1947

Как сорок лет тому назад,
 Сердцебиение при звуке
 Шагов, и дом с окошком в сад...
 1969

От шестидесяти девяти отнимаю сорок — получается двадцать девятый год. Кажется, все совпадает — и «невысокие, сы-

рые» комнаты, и имя Мария, и дата — родители поженились в 1928-м. Подруга их юности, поэтесса Мария Сергеевна Петровых, прочтя «Первые свидания», сказала: «Маруся!» Она считала, что это стихотворение о маме.

Я перечитываю стихи еще и еще. «Перед листопадом», «Соберемся понемногу...», «Стол накрыт на шестерых...», «Душа моя затосковала ночью», «Песня», «Первые свидания», «Как сорок лет тому назад»...

Как бы мне ни хотелось связать эти стихи с мамой — не получается. «Близорукий взгляд» — это не о маме. «Дикий виноград», прижавшийся к стене, — тоже не мамина реалья. К тому же из стихов видно, что та Мария умерла намного раньше мамы.

С мамой же перекликаются совсем другие, немногие, стихи: «Колыбельная», «Игнатьевский лес»...

А может быть, папа пишет о своей матери, о Марии Даниловне? «Близорукий взгляд», «немодные синие шелка»... Отбрасываю сразу же эту догадку. Нет, стихи не о матери, это стихи о возлюбленной. О возлюбленной, которую папа потерял.

В большой коричневой тетради стихов 1941—1945 годов под стихотворением «Соберемся понемногу...» нахожу папину подпись: «5 авг. 1932 года — день смерти М. Г. Ф.».

Мне уже известно из стихов, что М. — это Ее имя, Мария. Что скрывается под остальными инициалами, я узнала, приехав в родной город папы, в Кировоград (бывший Елисаветград).

Там все разрешилось, совпало, встало на свои места.

Там знали ее, Марию Густавовну Фальц.

Была она старше своих друзей — Юры Никитина, Коли Станиславского, Миши Хороманского, братьев Федоровских, Асика Тарковского. Фальц ровно три дня была замужем за офицером по фамилии Колобов, который участвовал в войне четырнадцатого года, а потом в Гражданской — на стороне белых. Мария Густавовна не знала, что с ним случилось. Не имея от него вестей, она все-таки надеялась, что он не погиб, а уехал в эмиграцию. Каким-то чудом Мария Густавовна осталась жива, несмотря на то что она и ее родные были признаны революционным трибуналом



*Из альбома шаржей
Александра Федоровского.*

*Единственное имеющееся у меня
изображение М.Г. Фальц.*

*Слева направо: М.Г. Фальц,
Коля Станиславский, Ирочка Бошняк*

«врагами советской власти», «...принимая во внимание их материальное и социальное положение».

Мария Густавовна была хороша собой, умна, образованна, прекрасно играла на рояле — у нее был инструмент марки «Рёниш». Она любила и хорошо знала поэзию, и при всем том ее отличали полная неприспособленность к жизни, незащищенность и непрактичность. Ее отец до революции был управляющим в имении барона Фальц-Фейна «Аскания-Нова», которое при советской власти стало знаменитым степным заповедником. Судя по фамилии, отец Марии Густавовны, Густав Генрихович Фальц, вероятно, состоял в дальнем родстве с хозяевами имения. Жила Мария Густавовна вместе с родителями на Александровской улице, где жили также Никитины и Тарковские. Сначала семье Фальц принадлежали комнаты и в первом и во втором этаже, куда вела деревянная лестница («По лестнице, как головокруженье...»). Позже, после смерти родителей, Мария Густавовна осталась внизу, в двух комнатах с низкими потолками и с окнами в сад. Дом этот стоит до сих пор, и кто-то живет в этих «невысоких, сырых» комнатках, и кто-то ходит по деревянной лестнице на второй этаж*.

Компания друзей, из которых папа был самым младшим, часто собиралась у Марии Густавовны. Читали стихи, свои и чужие (Миша Хороманский уже тогда, в двадцатые годы, был профессиональным поэтом), слушали ее игру на рояле (она любила Шопена), острили, валяли дурака. Саша Федоровский рисовал шаржи на всю компанию. У Ирины Михайловны Бошняк сохранился альбомчик с этими рисунками.

И все были влюблены в хозяйку. Она выбрала папу...

В 1925 году папа окончательно переехал из Елисаветграда (тогда Зиновьевска) в Москву, где уже жила его старшая сестра по отцу, Леонилла Александровна, с мужем и сыном. Он поступает на Высшие литературные курсы, а в декабре 1926 года во время зимних каникул посещает Ленинград. Там он встречается не только с писателем и поэтом Ф. Сологубом. В Ленинграде он вновь увиделся с Марией Густавовной. Эта встреча была нерадостной: Мария Густавовна предлагает папе расстаться с ней навсегда.

Через полгода написано это стихотворение, посвященное ей:

М.Ф.

Погоди, погоди! Ты ведь знаешь сама:
 Это все не для нас — Петербург и зима,
 Та высокая молодость на островах,
 И ночные рассказы о крепких делах,
 За метелью костры, за кострами Нева.

* Сейчас в части этого дома находится Музей Арсения Тарковского, открытый при Коллегиуме № 11.

Ой, шальная, шальная моя голова,
 Ой, широкие сани под шитым ковром,
 Бубенцы и цыганские ночи вдвоем!
 Только мне и осталось, что память одна,
 Только черная память в стакане вина,
 Да горячие песни о злобе моей,
 Да веселые письма далеких друзей.
 Даже сонная боль пережитого дня,
 Даже имя твое покидает меня.

27 мая 1927

Проходит два с лишним года, и жарким летом 1928-го папа приезжает в Зиновьевск к своей матери, в дом Гусевых на Александровскую улицу. Он приходит навестить Марию Густавовну, рассказывает ей о своей недавней женитьбе, показывает ей мамины фотографии. Мама на карточках ей понравилась.

Этим же летом Мария Густавовна выходит замуж и уезжает в Одессу. Кто стал ее вторым мужем и сколько времени продлился этот брак, мне неизвестно. Не знаю я и времени, когда у Марии Густавовны началось обострение туберкулеза и когда она, смертельно больная, приехала к сестре Елене* в «меловой да соляной» город Славянск. Мне известно только, что 5 августа 1932 года Мария Густавовна умерла. О ее смерти папа узнал из письма Елены Густавовны, обращенного к нему:

«Хочу поблагодарить Вас за те часы радости, которые Вы доставили Марии Густавовне своей памятью о ней. Ваше письмо было получено незадолго до момента ее смерти. Сестру я потеряла 5 августа. Я думаю, что если бы ей не было так худо, она ответила бы Вам.

Сейчас, по истечении 4-х месяцев, перебирая ее вещи — нашла Ваше письмо и, не читая, уничтожила. Но, вспомнив удовольствие, с которым она его прочла и в воспоминаниях о прошлом позабыла ужас настоящего, я не могла не поблагодарить того, кто вспомнил о ней в такие тяжелые для нее, последние дни жизни.

7.XII.1932. Е. Фальц».

Папа носил это письмо с собой, но, боясь, что карандаш, которым оно было написано, сотрется, поздно ночью 8 февраля 1937 года переписал его чернилами.

Как же любил он Марию Густавовну, как хранил свою любовь, если ни к одному из посвященных ей и опубликованных стихотворений не стоит посвящения!

Я снова и снова перечитываю эти стихи, и из их трепетной ткани вырисовывается ее нежный образ. Река, мост, криница,

* Е.Г. Фальц в 30-е гг. работала инженером на химическом заводе.

крылья, простой наряд, тонкое колечко, сирень, синева, синий цвет платья, запах мяты, влажные звуки имени — все это она, Мария. Это ее папа любил «горше всех» на свете.

А как же «Первые свидания», написанные в 1962-м? Это тоже Она. Опять сравнение с птичьим крылом, опять сирень, которая тянулась со стола, чтобы тронуть ее веки «синевой вселенной». Реалии прошлого времени — «кувшин и таз» — еще одно подтверждение, что «Первые свидания» и в прямом смысле первые. Но окончательно утвердиться в моем предположении о героине «Первых свиданий» мне помог сам папа. Разбирая его архив, я натолкнулась на тонкую тетрадь, надписанную так: «Как сорок лет тому назад (1940—1969)».

Под таким заглавием папа переписал восемь стихотворений, связанных с памятью о Марии Густавовне:

«Давно мои ранние годы прошли...»*

«Как сорок лет тому назад, сердцебиение при звуке...»

«Мне в черный день приснится...»

«Свиданий наших каждое мгновенье...»*

«Как сорок лет тому назад, я вымок под дождем...»

«Душа моя затосковала ночью...»*

«У человека тело...»*

«Хвала измерившим высоты...».

Есть и еще свидетельство. По словам кинорежиссера Вячеслава Амирханяна (автора фильмов об Арсении Тарковском «Посредине мира» и «Малютка-жизнь»), папа сообщил ему, что «Первые свидания» посвящены М. Г. Ф. Он именно так и произнес — М. Г. Ф.

Папа по-рыцарски оберегал свою Даму от чужих и чуждых. Он приезжал в Кировоград один, один проходил по Александровской улице, один входил в дом, где когда-то жила Она. Только теперь я могу оценить то доверие, что заключалось в его словах: «Как бы мне хотелось поехать в Елисаветград с тобой, доня моя!» Прости, папа, мою молодость и робость, прости, что я не настояла на этой поездке. А ведь тебе хотелось показать мне родной город и, может быть, посвятить меня в свою тайну.

...Что с нами ни случится,
В мой самый черный день,
Мне в черный день приснится
Криница и сирень,
И тонкое колечко,
И твой простой наряд,
И на мосту за речкой
Колеса простучат...

* В сборниках стихи печатались соответственно под названиями «Песня», «Первые свидания», «Ветер», «Эвридика».

Медем

...И навстречу мне выходит Медем
В бумазейной курточке своей.

Это стихотворение написано папой в 1933 году. Он не включал его в свои сборники, как и многие другие ранние стихотворения. Оно вошло в одну из двух последних книг, изданных при его жизни, но составленных уже не самим папой, с грубым названием «От юности до старости», которое присудили этому сборнику работники издательства.

Стихотворение «Медем» мне знакомо с раннего детства. Оно было записано папой в его черной тетради, с довоенных пор хранившейся у мамы.

Странная фамилия — Медем, музыка, звучащая в стихотворении, вызванная к жизни медвежьей рукой «лукавого великана», звоночек у двери, который следовало повернуть, и маленький босой мальчик, папа, робко играющий свой урок, — все это давало пищу моему детскому воображению.

Но мне не приходило в голову, что когда-нибудь я узнаю что-то конкретное о папином учителе музыки и что этот персонаж, казавшийся по-гофмановски фантастическим, обретет вполне реальные очертания...

Прошло много лет, и вот я в папином родном городе, куда ему так хотелось поехать вместе со мной. Его желанию не пришлось осуществиться, и теперь я одна хожу по улицам папиного детства — Большая Перспективная, Дворцовая, Александровская... Улицы то поднимаются вверх, то сбегают вниз, к Ингулу, теперь уже совсем обмелевшему.

Есть город, на реке стоит,
Но рыбы нет в реке,
И нищий дремлет на мосту
С тарелочкой в руке...

Разве это не чудо — проходить вдоль домов, мимо которых папа ходил в школу, открывать двери, к которым прикасалась его рука, встречаться с людьми, знавшими его совсем молодым.

Я иду по Карабинерной улице (папе, наверное, тоже нравилось это название) к Ирине Михайловне Бошняк, в уютный дом, сохранивший обстановку прежних лет.

Ирина Михайловна — подруга папиной молодости. У нее по-детски круглое наивное лицо и блестящие молодые глаза. Она очень стара, но жива и общительна. Вряд ли она помнит, что было с ней вчера, но о событиях семидесятилетней давности рассказывает так, как будто они случились на днях.

Она говорит, и темноватая комната, заставленная роялем и мебелью красного дерева, заполняется призрачными фигурами из прошлого.

Вот старший брат папиных друзей, Татьяна и Юры Никитиных, по имени Фавст, сидит в углу с иронической улыбкой. Вот нараспев, как настоящий поэт, читает стихи Миша Хороманский, уехавший в Польшу и ставший там известным литератором. А вот Лютик, Ипполит, брат Ирины Михайловны, с таким же круглым лицом и с густыми, как у их отца, бровями.

Возникает фигура старого человека в опрятном сюртуке. Лицо его как трагическая маска, глаза закрыты, он слеп. Ему предложили сесть в кресло. Рядом стоит стройный темноволосый юноша с тонким, красивым лицом. Это папа, он привел к Бошнякам своего отца. Уже случилась революция, но в гостеприимном доме всё еще собираются на музыкальные вечера.

В самое опасное время хозяин квартиры спасся из города и укрылся на хуторе немца-колониста. Не выдержав долгой разлуки с семьей, Михаил Николаевич Бошняк вернулся в Елисаветград на повозке, запряженной верблюдом. Прохожие с удивлением смотрели на надменное животное, и никто не обратил внимания на Бошняка, в крестьянской одежде сидевшего на повозке.

А вот и герой папиного стихотворения — Михаил Петрович Медем, фон Медем, владелец волостного села Витязевка, немецкий барон и русский патриот. Он был предводителем дворянства в Елисаветграде и дружил с отцом Ирины Михайловны.

Медем действительно высочайшего роста и добр, как ребенок. Он никогда не был женат, и хозяйство его вела экономка, преданно служившая ему до конца его дней.

После революции Медем остался в городе, и от преследования советских властей его спасло то, что он сразу записался на бирже артистов как художник-музыкант. В свое время он учился консерваторию в Берлине и теперь дает уроки музыки, чтобы заработать на жизнь. Однако зарабатывал он немного, потому что половине своих учеников давал уроки бесплатно.

Медем — превосходный музыкант и блестящий исполнитель. Рука у него широкая, берет полторы октавы. Великолепная техника его игры сочеталась с необыкновенным лиризмом. Он исполнял многих композиторов, но особенно выделял Рахманинова и был его страстным популяризатором.

В конце тридцатых годов в Кировоград (так стал называться Елисаветград) прибыл знаменитый тогда немецкий пианист Барер, товарищ Медема по Берлинской консерватории. Ему захотелось повидаться со старинным приятелем, и он, воспользовавшись дружбой двух вождей, совершил вояж на Украину.

В свой приезд Барер много играл — и в доме бывшего барона, и в общественных залах. Он был настоящий виртуоз, этот

иностранец, но многие находили его игру бездушной. Вот он за инструментом, во фраке, с белоснежной бабочкой и в лакированных штиблетах.

— Это машина, — говорит мне тихо Ирина Николаевна. И добавляет: — А Михаил Петрович играл задушевно.

И, клубясь в базах, летела свора,
Шла охота в путаном лесу,
Голоса охотничьего хора
За ручьем качались на весу.

.....
И еще не догадавшись, где я,
Из лесу не выбравшись еще,
Я урок ему играл, робея:
Медем клал мне руку на плечо.

Папина квартира

В нашу комнату в доме № 26 можно было попасть, миновав темный сквозной коридор. Когда-то он казался мне очень длинным, хотя в него выходило всего по две двери с каждой стороны. Пол в коридоре был деревянным, и шаги идущего по нему человека слышались издали. Папу узнать было совсем легко — в послевоенные годы он ходил на костылях, и их стук по деревянному настилу заставлял Андрея и меня срываться с места и бежать навстречу папе.

Так было и в тот день 1955 года, только дома почему-то, кроме меня, никого не было.

Папа пришел радостный, возбужденный, наскоро меня поцеловал и сразу же стал рассказывать новость. Он вступил в жилищный кооператив и только что был на собрании пайщиков. Дом, в котором у него с Татьяной Алексеевной будет квартира, должен строиться рядом со станцией метро «Аэропорт» на Ленинградском шоссе.

Папа достал из кармана бумажник, из него — сложенную «синьку», положил ее на стол и разгладил ладонью.

— Смотри, — сказал он. — Вот план квартиры. Здесь, — он показал на самую большую комнату, — будет жить Татьяна Алексеевна и одновременно будет столовая. Рядом, вот здесь, мой кабинет, он же спальня. Вот коридор. Направо от него — вход в кухню. Видишь косую черточку? Это дверь. Вот это — ванная комната, а это — место, куда король ходит без свиты. Смотри дальше! Здесь кладовка, а налево маленькая комнатка, видишь, я ставлю крестик... Здесь будешь жить ты, донья моя! Ты представляешь, солнышко, как нам хорошо будет вместе!

Вот это было для меня главной неожиданностью. Я сжалась; я знала, что ни за что не расстанусь с мамой, с бабушкой, с Андреем. К тому же папа, увлекшись, совсем забыл о существовании Алеши*, сына Татьяны Алексеевны, но я-то понимала, что ему тоже должно найтись место в новой квартире.

Но папа был так счастлив от мысли, что я буду жить у него, что я не возразила ему, и мое молчание он принял за согласие...

Прошло два года, и летом 1957 года папа переехал на новую квартиру, в тот самый первый кооперативный писательский дом на 2-й Аэропортовской (потом улица Черняховского), где жили Андроников, Галич, Светлов, Симонов и другие писатели.

Дом был весьма respectable — с лифтами и с чистыми подъездами, в которых сидели вахтерши. Они спрашивали, в какую квартиру ты идешь. Однажды вахтерша, узнав, что я иду к Тарковским, сказала: «А, да-да! Они говорили, что домработницу ищут».

Папина квартира мне очень нравилась. Там было много солнца, а стены выкрашены по заказу папы светлой краской — в большой комнате чуть желтоватой, а в папиной — розовато-жемчужной.

На этих стенах очень красивы были картины — натюрморт в большой комнате, вид Парижа работы Фалька и нежный акварельный букет Фонвизина у папы в кабинете. Над папиным диваном висела старинная миниатюра: дама в чепце с кроткими голубыми глазами. Рядом с диваном стоял столик, на котором папа записывал стихи.

Папа умел создать у себя красивый уют, который и Андрей, и я особенно ценили, ведь мама была совсем равнодушна к быту, да и денег лишних у нее никогда не было.

На шкафчике у папы, справа от его дивана, стояли старинные чашки, которые он с увлечением собирал, — каждая новая чашка подолгу нами рассматривалась, и папа по справочнику расшифровывал мне клеймо, стоявшее на доньшке.

А в самом шкафчике были разноцветные заграничные бутылки с экзотическими напитками, ликерами и кубинским ромом. Папа любил угощать меня и угощаться сам из маленьких серебряных стопочек. Он потешался, глядя, как я осторожно, но с удовольствием пробую вкусную крепкую жидкость. Он даже сочинил такой шуточный стишок:

Дочка дорогая, дорогая дочка,
Точка, запятая, запятая, точка.
Папу забывая, пьешь ликер, как бочка.
Точка, запятая, запятая, точка.

* Алексей Николаевич Студенецкий (1941–1981), сын Т.А. Озерской от первого брака.

Папин кабинет был смежным с комнатой Татьяны Алексеевны, в одной части которой стоял обеденный стол со стульями, а в другой, за раздергивающимися тяжелыми занавесками, ее тахта и большое зеркало с туалетным столиком. У стены стоял старинный папин диванчик, который он купил в 1948 году, живя на Коровьем валу. Остальная мебель была сделана на заказ по шикарной геометрической моде тех лет, по вкусу Татьяны Алексеевны. Другим, кроме кабинета, нашим с папой любимым местом в квартире была кухня. Туда вел коридор, вдоль которого стояли полки с книгами, не вместившимися в кабинет.

Кухня была замечательной, с новеньким финским гарнитуром и с «двухкамерной» нержавеющей мойкой — предметом, до толе мною не виданным. Мы часто чаевничали на кухне, и папа, забывая, как всегда, взять костыль и прыгая на одной ноге, заваривал чай по своему особому рецепту — из смеси различных сортов с непременно добавлением грузинского черного плиточного чая.

В маленькой комнате налево, в той самой, что была помечена на папином плане крестиком, жил Алеша.

К тому давнему разговору у нас на 1-м Щиповском мы с папой никогда не возвращались.

Папа и астрономия

В 1951 году папа купил половину дома в поселке Голицыно. В Москве ему жить было невозможно: квартира в Варсонофьевском переулке, принадлежавшая какое-то время Татьяне Алексеевне, куда переехал папа, обменявшись с бывшим ее мужем, находилась в мансарде шестиэтажного дома. Ходить туда приходилось по узкой черной лестнице. У Голицына, по мнению Татьяны Алексеевны, была масса преимуществ: всего сорок километров от Москвы, «чудный воздух» и, самое главное, наличие совсем рядом Дома творчества писателей, где можно было брать питание. (Она не умела и не любила готовить.)

Года два ушло на то, чтобы купленную часть дома, бывшую сапожную мастерскую, превратить в жилое помещение. Татьяна Алексеевна понимала, что путь к сердцу мужчины лежит если не через желудок, то через комфорт, и с энергией взялась за дело. В доме появились водопровод и центральное отопление, а также ванна, телефон и даже камин, вещь по советским скромным временам небывалая. Площадь папиного дома была небольшой, за стеной его спальни-кабинета-библиотеки находилась комнатка Алеши, сына Татьяны Алексеевны, который учился в местной школе, расположенной неподалеку. Второй этаж не был отстроен, но зато существовало довольно большое чердачное помещение, где можно было устроить обсерваторию.

Как началось папино увлечение астрономией? Знаю, что звездное небо интересовало его с раннего детства, но все-таки что явилось импульсом к его увлечению пятидесятих годов? Может быть, когда-нибудь я найду ответ на этот вопрос, сейчас могу сказать только, что если папа начинал чем-либо заниматься, то делал это со всей страстью своей души.

Пик увлечения астрономией пришелся на пятидесятые годы, годы жизни в Голицыне, в доме, который папа так и не смог полюбить. Но это выяснилось позже, а тогда именно из-за того, что существовал этот дом, он принялся за астрономию. Интересно, что в эти годы им написано небольшое количество стихотворений, часть из которых посвящалась звездам. Это свидетельствует о том, что начиная с 1952 года астрономия поглотила его почти целиком.

Астрономическая деятельность папы развивалась по нескольким направлениям: собирание и изучение научной литературы; строительство телескопов; наблюдение за звездным небом, в том числе визуальные наблюдения переменных звезд; переписка с учеными (в основном по поводу астрономической оптики); переписка с любителями-астрономами, помощь им; участие в работе Всесоюзного астрономо-геодезического общества, ВАГО.

В Голицыне хранилась астрономическая библиотека папы, в которой собрано огромное количество специальной литературы, сотни книг по астрономии! В записной книжке папы перечислены некоторые из них, причем указано не только точное название книги, но также число, месяц и год ее приобретения.

И вся эта научная литература была не только куплена, привезена и расставлена на книжных полках, но тщательно изучена папой.

Но, как сказал в стихах сам папа, «этого мало». Он строит телескоп! А время было неблагоприятное для любителей-астрономов в Советском Союзе. Было трудно найти оптические детали и мастеров по их изготовлению. Приходилось искать их по частным каналам, а для этого надо было вести оживленную переписку с другими «фанатами» астрономии, как с профессионалами, так и с любителями. И появляются в записных книжках папы фамилии и адреса ученых: К.К. Дубровский (Горький), М.С. Навашин (Ленинград), К.А. Любарский (Москва), В.П. Цесевич (Одесса). Эти люди, чьи имена чаще других встречаются в папиной переписке, были бескорыстно преданы науке.

«27.12.1953.

Дорогой Арсений Александрович!

...С большим интересом я перечитывал Ваше любезное письмо от 9.12.1953 – письмо, которое написано столь страстным любителем и другом астрономии, каким являетесь Вы.

Вполне понимаю Ваши сетования на то малое внимание, которое уделяется удовлетворению запросов любительских кругов астрономов. Интересно будет узнать, как реагировала редакция газеты «Правда» на посланное Вами туда письмо. Черкните мне об этом хотя бы парюю слов...

Очаровательно отдает стариною от Вами раздобытого «Каталога двойных звезд» В. Струве. Разрешите на ближайшем заседании нашего Правления предложить этот каталог как ваш подарок старейшему Горьковскому отделению ВАГО...

К. Дубровский».

«Ленинград, 15 марта 1954 г.

Глубокоуважаемый Арсений Александрович,

Я несколько смущен Вашей благодарственной тирадой: дело в том, что я еще решительно ни в чем Вам не помог! Оптик, про которого я Вам писал, сейчас делает зеркало для С.А. Высоцкого, которого Вы, вероятно, знаете («Вестник далеких миров»). Он должен к апрелю сдать зеркало, при этом алюминированное. Если скажется хорошо, то вы сможете к нему поступить в клиенты... Насчет штатива Вы переоцениваете мои возможности. К сожалению, у меня знакомств здесь нет, но я попытаюсь навести справки...

Менисковый 50мм телескоп, конечно, остается прелестью, но он совершенно не разрешает того вопроса, который требует та часть любителей, о ком мы беспокоимся... Тут именно незаменим старик ньютоновский рефлектор-самоделка, который дал буквально всех великих оптиков и наблюдателей...

Хочу Вам еще сказать, что Ваши письма доставляют очень большое удовольствие своим, если можно так выразиться, темпераментом...

С лучшими пожеланиями — *М. Навашин».*

Вскоре у папы возникла идея помимо небольшой любительской обсерватории, устроенной на чердаке голицынской дачи, создать на территории средней школы народную обсерваторию. Начались переговоры с Московским отделением ВАГО, с дирекцией школы, с учителями. Дело затевалось сложное и требующее средств. Для создания наблюдательной базы в Голицыне был нужен инструментарий и специальный павильон. Папа предполагал также создать при базе секцию телескопостроения. Нужен был руководитель научной работы, не знаю, хотел ли сам папа им стать. В программу народной обсерватории, которую составил папа, входило изучение астрономии планет (в частности, великое противостояние Марса), наблюдение метеоров.

Вот такой, я бы теперь сказала, «маниловский», план был у папы, и конечно же, из этого «прожекта» ничего не вышло. Зато сколько было вложено души и сердца в эту идею! Папа забы-

вал обо всем на свете — а главное, о сроках сдачи очередного перевода. А так как для всех астрономических занятий были нужны деньги, папа заключал договора с издательствами. Тратился аванс, и когда приближался срок сдачи перевода, наступала катастрофа...

Однако астрономическая деятельность из-за этого не прекращалась, и в начале 1956 года папа был избран членом Совета Московского отделения Всесоюзного астрономо-геодезического общества.

«Дорогой Арсений Александрович! — пишет папе К.К. Дубровский в письме от 23 февраля 1956 года. — Прежде всего приветствую Вас как члена Совета Московского отделения ВАГО! Вполне заслуженная Вами честь и доверие от коллектива Московского отделения ВАГО!

Далее, поздравляю Вас с успешною подготовкою инструмента для наблюдений Марса во время его великого противостояния в 1956 году и шлю искренние Вам пожелания дальнейших успехов!

Буквально только пару дней тому назад я получил долгожданный протокол заседания Центрального Совета ВАГО 13 января сего года, в котором прочитал о сообщении Н.И. Гришина об организации наблюдательной базы ВАГО у Вас в Голицыне. Очень интересно было узнать о том, как используется Ваша инициатива как патриота астрономии...»

Папа действительно был бескорыстным «патриотом астрономии». Иначе зачем он каждый вечер поднимался по узкой лесенке на чердак и приникал к окуляру телескопа. В течение почти двух лет он наблюдал за своей переменной звездой, которая в разное время года и суток наблюдалась то в созвездии Льва, то в созвездии Весов, то в Рыбах, то в Деве. Папа вел тщательные записи своих наблюдений и, наверное, пришел бы в ужас, прочтя мои дилетантские перечисления созвездий, в которых появлялась его звезда.

Большой радостью для папы было участие в астрономической судьбе подростка Анатолия Черепашука, астронома-любителя из Сызрани.

«Город Сызрань, 28 января 1956 г.

Здравствуйте, дорогой товарищ Тарковский!

Сегодня получил Ваше письмо, после которого все еще не могу прийти в себя от радости. Не знаю, как я смогу выразить Вам мою благодарность за оказанное доверие и веру в человека. Ваше письмо было для меня огромной моральной и технической поддержкой. После моей катастрофы, когда у меня лопнул при шлифовке диск, я совсем не знал, что делать дальше. Я только знал, что наперекор всему должен исправить роковую ошибку и построить телескоп. И вдруг я получаю Ваше письмо,

в котором Вы пишете, что, узнав о моей беде, хотите помочь...»*

Папа выслал Анатолию два диска диаметром 210 мм для его телескопа, и с какой радостью и восхищением он рассказывал мне, что Черепашук закончил строительство телескопа и вскоре открыл комету, о чем официально сообщалось в «Реферативном журнале» Института информации АН СССР в октябре 1956 года... Теперь Анатолий Михайлович Черепашук — известный астрофизик, в честь его названа малая планета...

А папа продолжал наблюдать за переменными звездами... Он любил свой телескоп, гордился им и разрешал смотреть в окуляр своего детища только тем людям, которые были ему симпатичны.

После папиной смерти большой телескоп на мощной треноге еще долго стоял в его комнате. В доме жили случайные люди («Пусть живет кто угодно, только не Марина», — говаривала папина вдова), и тренога была сложена и вместе с телескопом валялась за ненадобностью под кроватью. В один далеко не прекрасный для меня день я увидела, что телескопа нет на месте, а спустя какое-то время узнала, что бывшая жена Андрея, Ирма Рауш, распорядилась телескопом — отдала его в Музей кино.

Когда я расставалась с Голицыным навсегда, я наугад взяла с полки одну из папиных астрономических книг. Это была книга Дональда Г. Мензела «Наше Солнце», на второй странице которой папиной рукой была написана дата ее приобретения: «26.06.1963». И папины инициалы — «АТ».

А еще мне досталось в наследство ночное звездное небо, которое папа мне подарил когда-то в Голицыне — все целиком, вместе с планетами, звездами, созвездиями и «сверкающим полотенцем» Млечного Пути.

«Какое счастье у меня украли...»

«Доченька, ты можешь съездить в гомеопатическую аптеку? Съезди, ясонька, купи мне лекарство, запиши, какое, — это звонит мне папа. — И приезжай, я сейчас в Болшеве. От станции иди прямо, никуда не сворачивай. Когда ты приедешь? Завтра? Так я буду ждать, приходи сразу в мою комнату».

На следующий день в аптеке на улице Герцена я покупаю нужное лекарство и еду с Ярославского вокзала в санаторий «Болшево». Иду по дороге от станции, вот уже вдали показались деревья парка, и вдруг издали вижу папу. Он стоит на черной

* Текст письма приводится по статье Г. Аграновской «Звездочет». / «Я жил и пел когда-то». Воспоминания о поэте Арсении Тарковском. Томск: Водолей, 1999.



с лужами дороге — накануне, видимо, прошел сильный дождь. Не утерпел, вышел меня встречать. Сколько же времени он меня ждет? Бегу к нему, мы целуемся и идем к воротам санатория...

Так и осталось в памяти — латинское название лекарства, болшевские сосны и одинокая фигура папы, стоявшего на дороге.

Я не задавала папе вопросов, разве что о здоровье, вот и тогда не спросила, почему он в санатории один. Теперь я знаю, что происходило с ним в пятидесятые годы...

Ах, как трудно говорить об этом, трудно отрешиться от субъективности, найти нужный тон. А сказать о последней любви папы необходимо, потому что его поэзия будет жить долго и писать о ней будут, а мне и сейчас попадают публикации, в которых ошибочно указываются адресаты тех или иных стихов. Есть мнение, например, что стихотворение «Отнятая у меня, ночами...» — о моей маме. Мое размышление как раз об этом и о нескольких других стихотворениях, посвященных женщине, которую папа встретил в Ашхабаде (наверное, в 1954 году).

«Страдание постоянный спутник жизни. Полностью счастлив я был лишь в детстве. Но существует какой-то странный способ аккумуляции сил перед достижением большой высоты. Я не скажу, как это делается: то ли надо внушать себе, то ли учиться себя видеть, но полностью счастливый человек, наверное, не может писать стихи. Больше всего стихов я писал в 1952 году. Это был очень тяжелый год. Болела моя жена, я за нее очень боялся, никого к ней не подпускал, ухаживал сам... И вот в тот год я очень много писал. Было какое-то напряжение всех духовных сил. Знаете, это как в любви. Меня всегда привлекают несчастные любви, не знаю почему...» (А. Тарковский. Из интервью 1982 года, данного М. Аристовой)

Меня поразили эти слова папы. По серой, основной папиной рукописной тетради я посмотрела, сколько стихотворений написано в 1952 году. Оказалось — одно, стихотворение-воспоминание о Марии Густавовне Фальц «Мне в черный день при снится...». Согласно той же тетради, в 1953 году не написано ни одного стихотворения, а самым продуктивным был 1958 год, когда было создано около сорока стихотворений, среди них: «Стихи из детской тетради», «Телец, Орион, Большой Пес», «Я долго добивался...», «Четвертая палата», «Лазурный луч», «Иванова ива», «Посредине мира», «Пускай меня простит Винсент Ван Гог», «Титания», «Могила поэта», «Вечерний, сизокрылый...», «Оливы», «Кора», «Актер», «Темнеет» и другие.

У меня хранятся три странички, явно изъятые из какой-то папки с рукописями. На этих листах стихи, переписанные папой от руки синими чернилами и пронумерованные римскими цифрами. Первое стихотворение я никогда не видела в печати, второе публиковалось под названием «Темнеет». Третье стихотворение широко известно, есть бардовские песни на его слова.

Кем были вынуты из папки с остальными ста пятьюдесятью шестью стихотворениями эти страницы? Вероятно, автором. Почему-то он не хотел, чтобы они оставались среди других стихов.

Прочтите эти три стихотворения, они печатаются здесь по этим автографам.

CLVII

Мне приснился Ереван, мне приснился Ереван,
И когда мне дали номер с Араратом за окном,
Посмотрел я и подумал — что за город у армян
С этим Ноевым ковчегом, синим шелковым огнем
И водой водопроводной, как сопрано ледяной,
И гортанной крупной речью, как священная скрижаль.

В старый город Ереван ты приехала со мной.
Поздно вспомнили о нем, больше ничего не жаль.
Горький, детский, слезный рот. Здравствуй, купол золотой!
Вот куда тебя ведет твой неровный легкий шаг.
С нашим северным сторожким придыханьем голос твой
Ничего не говорит, это кровь шумит в ушах.

14 ноября 1958

CLVIII

О сколько счастья у меня украли!
Когда бы ты пришла в тот страшный год,
В орлянку бы меня не проиграли,
Души бы не пустили в оборот.

А ты теперь — как девочка с шарманкой —
Поешь с надсадной хрипотой о том,
Как вывернуло время вверх изнанкой
Твою судьбу под проливным дождем.

И старческой рукою моет стекла
Ноябрьский ветер и уходит прочь,
И челка у шарманщицы намочла,
И вот уже у нас в предместье — ночь.

14 ноября 1958

CLIX

Вечерний, сизокрылый
Благословенный свет.
Я, словно из могилы,
Смотрю тебе вослед.

Благодарю за каждый
Глоток воды живой,
В часы последней жажды
Дарованный тобой,

За каждое движенье
Твоих прохладных рук,
За то, что утешенья
Не нахожу вокруг,

За то, что ты надежды
Уводишь, уходя,
И ткань твоей одежды
Из ветра и дождя.

17 ноября 1958

Трудно не согласиться с мыслью, что в стихах этих, написанных в одно время, поэт обращается к одной и той же женщине.

И еще два стихотворения 1958 года примыкают к этим трем — «Актер» (в рукописной серой тетради, по которой цитирую, без названия) и «Кора».

Истинный смысл стихотворения «Все кончается, как по звонку...» скрывался папой — и с помощью названия «Актер», и тем, что он помещал его в раздел «Сказки и рассказы». На самом деле — это горчайшее стихотворение о поруганной любви, об одиночестве, об обездоленности и безнадёжности.

Все кончается, как по звонку,
На убогой театральной сцене:
Дранкой вверх несут мою тоску —
Душные лиловые сирени.

Я стою хмелен и одинок,
Будто нищий над своею шапкой,
А моя любимая со щек
Маков цвет стирает сальной тряпкой.

Я искусство ваше презирал.
С чем еще мне жизнь сравнить, скажите,
Если кто-то роль мою сыграл
В этом диком колесе событий?

Где же ты, счастливый мой двойник?
Ты, видать, увел меня с собою,
Потому что здесь чужой старик
Ссорится у зеркала с судьбою.

1 июня 1958

«Кора», на мой взгляд, перекликается с «Вечерним, сизокрылым...». Любимая женщина — это уходящий «благословенный свет», «луч дневной», тогда как жизнь поэта погружена в могильную тьму.

КОРА*

Когда я вечную разлуку
Хлебну как ледяную ртуть,
Не уходи, но дай мне руку
И проводи в последний путь.

Постой у смертного порога
До темноты как луч дневной,
Побудь со мной еще немного
Хоть в трех аршинах надо мной.

Ужасный рот царицы Кору
Улыбкой привечает нас,
И душу обнажают взоры
Ее слепых заgrabных глаз.

12 декабря 1958

У него отняли счастье, а у его любимой — все, даже стихотворение «Вечерний, сизокрылый...», ей принадлежавшее. Начиная с 1974 года оно печатается с посвящением жене поэта.

Проходят годы, но та поздняя любовь его не отпускает. И через десять лет он напишет последнее из стихотворений, обращенных к женщине, имя которой остается для меня тайной.

Отнятая у меня, ночами
Плакавшая обо мне, в нестрогом
Черном платье, с детскими плечами,
Лучший дар, не возвращенный Богом,
Заклинаю прошлым, настоящим,
Крепче спи, не всхлипывай спросонок,
Не следи за мной зрачком косящим,
Ангел, олененок, соколенок.

Из камней Шумера, из пустыни
Аравийской, из какого круга
Памяти — в сиянии гордыни
Горло мне захлестываешь туго?

* Одно из имен богини царства мертвых Персефоны.

Я не знаю, где твоя держава,
 Я не знаю, как сложить заклатье,
 Чтобы снова потерять мне право
 На твое дыханье, руки, платье.

4 марта 1968

«Меня всегда привлекают несчастные любви, не знаю почему». Арсений Тарковский.

Посвящения

1965 год. Прихожу к папе, он жил тогда возле станции метро «Аэропорт» на улице Черняховского. На столе, на стульях, на диванчике красного дерева разложены страницы машинописной рукописи — папа готовит к сдаче в издательство новый сборник. Он выйдет в «Советском писателе» в 1966 году под названием «Земле — земное». Папа весел и оживлен. «Иди скорей сюда!» — кричит он мне, не дожидаясь, пока я разденусь в передней и устрою на вешалке свое пальто. И, не давая мне опомниться, спрашивает: «Какое стихотворение посвятить тебе?» Я, подумав, отвечаю: «Оливы!» Папа находит среди листов рукописи тот, на котором напечатаны «Оливы», и пишет справа над стихотворением: «Марине Т.» Позже, даря мне уже вышедший сборник, он рядом с этим посвящением нарисует «меня» — хвостатую мышшь.

«Таня, а что ты выбрала, покажи Марине», — говорит папа, обращаясь к Татьяне Алексеевне, которая помогает ему собирать рукопись. «Шиповник», — она показывает мне листок с посвящением, вписанным папиной рукой, — «Т. О.-Т.» (Татьяне Озерской-Тарковской). Это же посвящение появится перед стихотворением «Как золотая птичка...», написанным в 1944-м, еще до знакомства с Озерской (сборник «От юности до старости»). В сборнике «Стихотворения» посвящение Т. О.-Т. появится перед стихотворением «Вечерний, сизокрылый...», о любви к женщине, имя которой нам неизвестно. Это встреча с тем «благословенным светом», который посещает человека в особые, редкие минуты его существования, это воззвание к любимой человека, не находящего утешения в жизни и благодарного ей «за каждый глоток воды живой».

В книге «Земле — земное» тоже появилось посвящение-подарок. Стихотворение «Дорога» было подарено литературоведу Николаю Леонидовичу Степанову. А в сборнике «Вестник» стихотворение «Фотография» получило посвящение Ольге Моисеевне Грудцовой, с которой Тарковские дружили в то время. Ольга Моисеевна была дочерью знаменитого фотографа Наппельбаума, поэтому «Фотография», написанная задолго до выхода «Вестника», была ей очень по душе. Не знаю, по какой причине дружба эта вскоре распалась, а посвящение осталось и переходит из издания в издание.

Вот так появлялись эти посвящения-подарки. Если продолжать тему посвящений в поэзии Тарковского, то в первую очередь хочется выделить стихотворения, с самого начала обращенные к конкретным адресатам. Это стихи, посвященные А.А. Ахматовой, М.И. Цветаевой, Н.А. Заболоцкому. Написанная в тридцать четвертом году поэма «Завещание» в машинописной рукописи того же года несет посвящение Андрею, которому тогда было всего два года. В поэме есть обращение ко мне, еще не родившейся. (В сборник «От юности до старости» поэма вошла без посвящения, в другой редакции и под другим названием — «Посвящение».)

Самое большое количество стихов имеют внутреннее посвящение, то есть соотносятся с тем или иным лицом без прямого на него указания. Около двадцати стихотворений связано с именем Марии Густавовны Фальц, юношеской любви Тарковского, чувство к которой он пронес через всю жизнь. Стихотворение «Как золотая птичка...», о котором говорилось выше, также обращено в прошлое, и, по моему мнению, это воспоминание о времени Марии Густавовны.

...И в этом зыбком свете,
 Пусть выпавшем из рук,
 Я по одной примете
 Узнаю все вокруг.
 Мне жалко, что ни свечки,
 Ни спичек больше нет,
 Что в дымные колечки
 Совется желтый свет...

Три стихотворения с объединяющей их строкой «Как сорок лет тому назад...» тоже обращены к ней:

Как сорок лет тому назад,
 Сердцебиение при звуке
 Шагов, и дом с окошком в сад,
 Свеча и близорукий взгляд...

О нашей с Андреем маме, Марии Ивановне Вишняковой-Тарковской, папа писал немного. Остались письма — влюбленные, нежные, сумасшедшие, а стихов, связанных с мамой, мало. «Колыбель» с посвящением Андрею, конечно же, о маме. И «Игнатъевский лес». Мне жаль строчки, измененной папой, — «Ты знаешь, как любовь похожа на угрозу...» на «Все наше прошлое похоже на угрозу...». Родители расстались, и их любовь стала прошлым. Стихотворение это было написано в конце лета 1935 года на хуторе Павла Петровича Горчакова (станция Тучково Белорусской железной дороги, рядом с деревней Игнатъево). Спустя много лет, в 1973-м, на том самом месте будет построена

декорация дома Горчакова, и Андрей начнет воссоздавать «утраченное время». И дядя Паша Горчаков сыграет сам себя в сцене, где горит сенной сарай, подожженный его сыном Витькой...

Легко определить стихи, в которых, как в зеркале, отразилась жизнь папы с его второй женой, Антониной Александровной Бохоновой. Это было сильное чувство, заставившее папу уйти от семьи и оставить детей, которых он любил. Красивая, одетая по моде, веселая, остроумная и добрая, Антонина Александровна тяжело расставалась со своим мужем, Владимиром Владимировичем Трениным*.

Стихи, посвященные Антонине Александровне, узнаваемы по датам их написания и по реалиям, в них заключенным:

Чего ты не делала только,
Чтоб видеться тайно со мною...
Тебе не сиделось, должно быть,
За Камой, в дому невысоком.

В этом доме, в Чистополе на Каме, оставил папа свою вторую жену с ее дочерью, Еленой Трениной, и свою мать. Морозным и вьюжным декабрем сорок первого вместе с группой писателей он выехал на подводах из Чистополя в Казань, чтобы от туда по железной дороге добраться до Москвы. Там он получил, наконец, назначение в действующую армию.

Все близкие жили ожиданием писем. Более двухсот писем написал папа Антонине Александровне. В одном из них, от 20 августа 1943-го, он присылает ей эти стихи:

То были капли дождевые,
Летающие из света в тень.
Ты помнишь ли — с тобой впервые
Мы встретились в ненастный день.

И только радуги в тумане
Вокруг неясных фонарей
Поведали тебе заране
О близости любви моей,

О том, что юность миновала,
Что может быть и жизнь светла,
Что как ты ни жила, но мало,
Так мало на земле жила...**

* В.В. Тренин (1904—1941) — критик, литературовед, исследователь творчества Маяковского, автор книги «В мастерской стиха Маяковского» и ряда статей. Погиб в писательском ополчении под Вязьмой в октябре 1941 года.

** Стихотворение приводится в его первой редакции.

Как, наверно, страдала мама, читая строки, посвященные Тоне. Ведь в военные годы мама тоже была душой с папой, она тоже силой своей любви оберегала его. Но не маме, а Тоне, тете Тоне, как звали ее мы с Андреем, довелось спасти папу из страшного военного госпиталя и привезти его в Москву, где врачам наконец удалось остановить газовую гангрену.

После похорон Антонины Александровны в конце марта 1951 года папа напишет стихотворение «Жизнь меня к похоронам...» — светлое воспоминание о «былой спутнице», скорбное прощание с ней, запоздалое признание своей вины перед нею. С этими же чувствами написано и стихотворение того же года «Фонари».

Другие стихи, обращенные к Тоне, — «Все стало таким, будто мост разводят...» (1939) и «Ссора» (январь 1941), слишком личные, рассказывают об их разладах, о его необоснованной ревности — папа никогда не публиковал. Они появились в 1987 году в книге «От юности до старости», которую он не мог составить из-за тяжелого своего состояния. Их включила в сборник его последняя жена, Татьяна Алексеевна Озерская-Тарковская.

Эпоха Озерской, ставшей женою отца в январе 1951 года, началась в сорок седьмом. Познакомились они в Доме творчества писателей в Переделкине в 1944-м, где папа с Антониной Александровной жил летом, выйдя из госпиталя. Озерская пятнадцать лет была замужем за милым и добрым человеком, редактором «Комсомольской правды» Николаем Васильевичем Студенецким. Татьяна Алексеевна стала часто бывать в доме Тарковских в Партийном переулке на Большой Серпуховской улице...

Сорок седьмой год был роковым для папы. Совсем недавно, в 1946 году, после постановления ВКП(б) «О журналах “Звезда” и “Ленинград”», был «зарезан» сборник его стихов, который, вопреки рецензии Евгении Книпович («Стихи Тарковского относятся к черному пантеону русской поэзии...»), был принят «Советским писателем» к печати. Теперь у папы не оставалось надежды, что стихи его когда-нибудь увидят свет.

Что касалось его личной жизни, то он переживал разрыв с Антониной Александровной. Что-то сдвинулось в их отношениях. Может быть, роковую роль сыграло папино ранение, его страдания и беспомощность, которые он не мог скрыть от Тони, тяжелое привыкание к иной, инвалидной жизни. Он ушел из дома, снимал комнату. Возвращение к Тоне было невозможно. Однако будущее с Татьяной Озерской страшило его. 21 марта 1947 года, находясь в Туркмении, папа сделал эту запись в своей записной книжке: «Танин самолет вылетает из Москвы 4-го, здесь она будет 5-го. Хоть бы она приехала без попутчика: тогда сон еще возможен. Как больно чувствовать ее способность к измене. «Все, что нам гибелью грозит...»*. Мне страшно — но не жаль терять свободу — которой нет и которой я все равно не дорожил бы, даже если бы и ощущал ее. Похоже это на конец войны: не ус-

пела кончиться она, как все почуяли приближение новой. Так и я: не успел жениться, как уже чувствую все горе, что она мне принесет. Она неправдива. Ее никогда не мучит совесть: до поры до времени, но начнет она терзать ее не из-за меня. Больно верить не вполне, я делаю нечто близкое к самоубийству. Самоубийство — не ушло еще от меня, и у меня избавление в кармане. Единственное, что еще остается, это вера в Бога — душа хотела б, как Мария...*. Господи, спаси меня и помоги мне в этой трудной, непосильно трудной жизни — я не властен справиться с ней и смертельно боюсь своего будущего. Как печальна, непостижима и безнадежна моя жизнь. Душа хотела б, как Мария... Но она слаба, намного слабей, чем нужно для того, чтобы спасти меня».

Сознание гибельности связи с Озерской рождает, пожалуй, самые безнадежные стихи. В одном из них папа отказывается даже от поэзии, от единственного, что делало его жизнь имеющей смысл.

Мало ли на свете
Мне давно чужого —
Не перед всем в ответе
Музыка и слово.

А напев случайный,
А стихи — на что мне?
Жить без глупой тайны
Легче и бездомней.

И какая малость
От нее осталась,
Разве только жалость,
Чтобы сердце сжалось.

Да еще привычка
Говорить с собою,
Спор да перекличка
Памяти с судьбою.

Сладкое до боли
Головокружение,
В омут чуждой воли
Душное паденье**

* И хоть страдальческую грудь
Волнуют страсти роковые,
Душа готова, как Мария,
К ногам Христа навек прильнуть.

Ф. Тютчев

** В сборниках публиковалось без последней строфы.

Другое стихотворение 1947 года в рукописи имеет посвящение Т.А. Озерской:

Т. О-ской

Мне странно, и душно, и томно,
Мне больно, и кажется мне,
Что стал я ладьей на огромной
Бездомной и темной волне.

И нет мне на свете причала,
И мимо идут времена;
До смерти меня укачала
Чужая твоя глубина.

И стоит ли помнить, что прежде,
Когда еще молод я был,
Я верил какой-то надежде
И берег мой горько любил?

Прилива бездушная сила
Меня увела от земли,
Чтоб соль мои плечи точила
И весел моих не нашли.

Так вот что я голосом крови
В просторе твоём называл:
Доверясь последней любви,
Я привязь мою оборвал.

И сам я не знаю, какие
Мне чудятся связи твои
С недоброй морской стихией,
Качающей наши ладьи.

Качаясь, уходят под воду,
Где рыбы чуть дышат на дне,
Во мглу, в тишину, в несвободу,
Любовью сужденную мне.

Не было никого рядом с папой, кто помог бы ему «в тот страшный год». Мысли о смерти не оставляют его. Той же весной 1947-го он пишет стихотворение «Смерть никто, канцеляристка, дура»... Может быть, тогда папу спасла вера в Бога. А может быть, эта женщина, которой он так боялся, — самим своим присутствием в Ашхабаде и Фирузе. Может быть...

А потом было все, что вместила в себя их совместная сорокалетняя жизнь, — радости и горе, ссоры и примирения. И одиночество вдвоем под конец жизни:

Мы — только под прямым углом,
 Наперекор один другому,
 Как будто не привыкли к дому
 И в разных плоскостях живем...*

И самое страшное — бездомность, на которую папа был обречен... А если бы все сложилось иначе и папа жил бы в теплом доме безмятежной семейной жизнью? Тогда, наверное, мы не прочли бы этих высоких, «дантовских» стихов с их надеждой на еще, быть может, возможное счастье:

В последний месяц осени,
 На склоне
 Горчайшей жизни,
 Исполненный печали
 Я вошел в безлиственный и безымянный лес.
 Он был по край омыт
 Молочно-белым
 Стеклом тумана.
 По седым ветвям
 Стекали слезы чистые,
 Какими
 Одни деревья плачут накануне
 Всеобесцвечивающей зимы...
 И тут случилось чудо:
 На закате забрезжила из тучи синева,
 И яркий луч пробился, как в июне,
 Из дней грядущих в прошлое мое.
 И плакали деревья накануне
 Благих трудов и праздничных щедрот
 Счастливых бурь, клубящихся в лазури,
 И повели синицы хоровод,
 Как будто руки по клавиатуре
 Шли от земли до самых верхних нот.

Диалог

Папа начал учиться в Москве в 1925-м, когда Марина Ивановна Цветаева уже жила за границей. Но книжки ее стихов были хорошо известны поэтической молодежи. Их можно было еще купить у букинистов, на книжных развалах, выменять у друзей-библиофилов.

Папа почитал Цветаеву, как вассал чтит сюзерена, как подмастерье — мастера. Мне, родившейся в тридцать четвертом, он дал имя в честь поэта Цветаевой.

* «Под прямым углом», 1960.

Лето 1939-го. Цветаева возвращается в Москву. Папа этим летом живет в Чечено-Ингушетии, где работает над переводами местных поэтов. Вместе с ним там находятся его вторая жена, Антонина Александровна, и ее дочь Елена. Он ничего не знает о драме в подмосковном Болшеве.

Голицынский и московский периоды жизни Цветаевой достаточно хорошо изучены, но я нигде не могла найти точной даты встречи ее с Тарковским. Поводом к их знакомству послужили, конечно же, стихи — папины переводы «туркменского Гейне» — Кемине. Вот полное название этой тонкой книжки: «Кемине. Собрание песен и стихов в переводе Арсения Тарковского с добавлением избранных народных рассказов о жизни прославленного поэта». Под общей редакцией Петра Скосырева. Москва, 1940. Государственное издательство «Художественная литература». Сборник был подписан в печать 12 сентября 1940 года, возможно, он вышел в свет через месяц.

Мария Белкина в своей книге о последних годах жизни Цветаевой «Скрещение судеб»* приводит черновик письма Марины Ивановны к папе, записанный в октябрьской тетради Цветаевой за 1940 год.

«Милый тов. Т.

Ваша книга — прелестна. Как жаль, что Вы (то есть Кемине) не прервал стихов. Кажется на: У той душа поет, дыша, Да кости тоньше камыша...* (Я знаю, что так нельзя Вам, переводчику, но Кемине было можно — и должно.) Во всяком случае, на этом нужно было кончить (хотя бы продлив четверостишие). Это восточнее — без острия, для них все равноценно.

Ваш перевод — прелесть. Что Вы можете — сами? Потому что за другого Вы можете — все. Найдите (полюбите) — слова у Вас будут.

Скоро я Вас позову в гости — вечером — послушать стихи (мои), из будущей книги. Поэтому — дайте мне Ваш адрес, чтобы приглашение не блуждало или не лежало — как это письмо.

Я бы очень просила Вас этого моего письмеца никому не показывать, я — человек уединенный, и я пишу — Вам — зачем Вам другие? (руки и глаза) и никому не говорить, что вот, на днях усл. мои стихи — скоро у меня будет открытый вечер, тогда — все придут. А сейчас — я Вас зову по-дружески.

Всякая рукопись беззащитна. Я вся — рукопись. МЦ».

Каким образом книжка Кемине попала к Цветаевой? Говорят, что папа передал ее через свою близкую знакомую, переводчицу Нину Герасимовну Бернер-Яковлеву. Тогда почему Ма-

* Белкина М. «Скрещение судеб». Изд. «Благовест» «Рудомино», М., 1992. Текст стихотворной строки восстановлен по книге «Кемине. Собрание песен и стихов...». М., 1940.

рина Ивановна не узнала у нее папин адрес или номер телефона? К тому же мне кажется, что письмо свое Марина Ивановна адресовала не безликому автору переводов, а человеку, которого она видела и к которому расположилась. А увидеть его она могла в секции переводчиков или на каком-нибудь литературном вечере в писательском клубе. Но так или иначе, Цветаева и Тарковский встретились — у Нины Герасимовны в ее комнате в коммунальной квартире в Телеграфном переулке. Я помню эту комнату, туда я несколько раз приходила с мамой — мама дружила с Ниной Герасимовной. Комната была выкрашена в «ампирный» зеленый цвет — это в эпоху дешевых обоев или дорогого «серебряного» наката. Помню, что там была мебель красного дерева — бюро, диван и горка, заставленная старинным стеклом. И цвет стен, и мебель очень шли хозяйке — статной рыжеволосой красавице, которая и в зрелые годы была очень хороша.

Нина Герасимовна в своих воспоминаниях рассказывает: «Встретились, взметнулись, метнулись...» Началась дружба двух поэтов, одним из которых была женщина с поразительным запасом нерастраченных чувств. Они звонили друг другу, встречались, гуляли по любимым местам Цветаевой — Трехпрудный, Арбат, Волхонка. Однажды встретились в очереди в гослитовскую кассу. И те, кто видел тогда Марину Ивановну, могли заметить, как преображалась она в обществе Тарковского... И наедине, и среди знакомых они читали друг другу стихи. Отношение папы к Цветаевой не меняется. Он, уже возмужавший поэт, все тот же ее почтительный ученик, она для него — старший друг и Мастер. К стихотворению «Сверчок» (1940) в папиной тетради есть приписка: «“Заповедную” во второй строке — эпитет придуман М. Цв., вместо моего, который ей не понравился». (Я разыскала папин эпитет — «похоронную».) Как-то в гостях, в присутствии Марины Ивановны, папа прочел свое «балладное» стихотворение «Стол накрыт на шестерых...», обращенное к дорогим теньям — к умершим отцу, брату, любимой. Папа написал его 30 июля 1940 года, за несколько дней до годовщины смерти его Дамы, женщины в «немодных синих шелках», которую он «горше всех любил» и которой посвятил около двадцати стихотворений, в том числе и «Первые свидания».

Теперь, ранней весной сорок первого года, когда к чувствам Цветаевой примешивается горечь от не-сочувствия, от не-отклика Тарковского, она пишет в ответ стихотворение, которое дошло до папы только через годы как «голос из гроба».

По свидетельству Марии Иосифовны Белкиной, Цветаева запоминала чужие стихи с первого чтения. Но здесь — другое. Уже эпитафия, первая строчка из папиного стихотворения «Стол накрыт на шестерых...», записан у Цветаевой иначе. Она

как бы интуитивно отказывается от балладно-песенной ритмики папиного стихотворения, написанного хореем, и пишет свое четырехстопным, «золотым» ямбом. Обратная строфика, не «женская — мужская», а «мужская — женская», придает ее стихотворению особую силу и драматизм.

Все повторяю первый стих
И все переправляю слово:
« — Я стол накрыл на шестерых»...
Ты одного забыл — седьмого.

Папиных гостей (отец, брат, Она, среди которых и фольклорные «горе да печаль») Цветаева перечисляет по-своему: «...Два брата, третий — ты сам с женой, отец и мать». Цветаева не услышала, а может быть, не захотела услышать, что на печальный ужин к поэту приходит его умершая возлюбленная. Иначе вряд ли она обратилась бы к нему со своим стихотворением, которое выплеснулось из ее души как надежда на понимание, как желание быть необходимой, как укор, что она осталась «непозванной».

...Никто: не брат, не сын, не муж,
Не друг — и все же укоряю:
— Ты, стол накрывший на шесть душ,
Меня не посадивший с краю.

6 марта 1941

Папа не знает, что есть это стихотворение, ставшее, как говорят, последним в жизни Цветаевой. Марина Ивановна поняла, что Тарковский избегает встреч с нею. Ему тоже горько от того, что их дружба может разрушиться. 16 марта 1941 — такая дата стоит под его стихотворением «Марине Цветаевой». Диалог продолжается:

Все, все связалось, даже воздух самый
Вокруг тебя — до самых звезд твоих —
И поясок, и каждый твой упрямый
Упругий шаг и угловатый стих.
Ты, не отпущенная на поруки,
Вольна гореть и расточать вольна,
Подумай только: не было разлуки,
Смыкаются, как воды, времена.
На радость руку! На печаль, на годы,
Но только бы ты не ушла опять.
Тебе подвластны гибельные воды,
Не надо снова их разъединять*.

* Стихотворение приводится в его первой редакции.

29 марта 1941 года* в Клубе писателей был книжный базар, на котором была Марина Ивановна с сыном и папа с женой. Там произошла последняя «невстреча» Цветаевой и Тарковского.

В июле 1941 года Цветаева с сыном приехала на дачу на станцию Пески, где уже жили поэты Александр Кочетков и Вера Меркурьева. По другую сторону Москвы-реки в поместье Старки жила семья поэта и переводчика Сергея Шервинского. Лев Владимирович Горнунг также мечтал провести лето в тех краях вместе со своей женой и даже завез к Шервинским свой провиант и бутылку керосина, запечатанную сургучом. Ему очень хотелось сделать фотографии М.И. Цветаевой. Но война спутала все планы...

Все мне кажется, что если бы папа уехал в Чистополь в одно время с Цветаевой, то их диалог мог бы продолжиться. Но он сначала проводил туда свою жену и ее дочь, а сам с матерью выехал только шестнадцатого октября, «в дикий день эвакуации Москвы».

О гибели Марины Ивановны узнал в начале сентября еще дома, в Москве, где проходил вместе с другими писателями военную подготовку.

И дальше — только его голос:

Зову — не отзывается, крепко спит Марина,
Елабуга, Елабуга, кладбищенская глина...

Открытие

Памяти Нины Герасимовны Бернер-Яковлевой

Эти изысканные стихи, без сомнения посвященные папе, хранились в мамином архиве, и много раз, разбирая ее бумаги, я натыкалась на них — слегка пожелтевшие листки, сложенные сначала, видимо автором, вдоль, а потом, наверное мамой, поперек. «Тебе — Маруся», — было написано на верхнем и подчеркнуто волнистой чертой. Почерк писавшего (писавшей?) был крупным, четким, со старинной фитой вместо привычного Ф. Характерным было написание прописной буквы Т — буд-то три единицы с длинной чертой наверху.

Мне
довелось встретить его
знойным полднем

* Дата уточнена по книге: Георгий Эфрон. Дневники. Том 1. М.: Вагриус, 2004.

В
золотистой пыли
Аппиевой дороги,
ведущей
в
Вечный город.

Лицо его
показалось мне
странно знакомым,
и
голос,
капризный и горестный,
пробудил
смутное воспоминание:
«Зеленые ампиры
комнаты,
красное
дерево
и
голос
говорившего стихи,
капризный и горестный».
— Кто этот юноша? —
спросила я спутника.
— Любимый ученик
поэта Вергилия, —
был ответ.

Все началось с писем, с писем папы к переводчице Нине Герасимовне Бернер-Яковлевой, хранившихся у ее племянницы, Ирины Головни. Эта очаровательная женщина, доброта и прелесть — ее характерные черты, рассказывая мне о своей тете, в доме которой познакомились два поэта, Цветаева и Тарковский, упомянула о письмах Тарковского к Нине Герасимовне. Они хранились где-то в доме Ирины, но где, она вспомнить не могла. Но обещала мне их обязательно разыскать. И письма отыскались. И я держу в руках пачку этих писем — их всего штук двенадцать — и с волнением читаю написанное папой. Вопреки моим ожиданиям письма оказались отнюдь не лирическими, а дружескими и деловыми, впрочем не лишенными галантности. Нина Герасимовна, переводчица французской литературы (она переводила Бальзака, Мопассана, Барбюса, Мальро), работала на общественных началах в группоме переводчиков, и от нее зависело в какой-то степени получение переводческой работы для папы.

«19.X.37 Милая Нина Герасимовна! Я получил ваше очаровательное письмо только сегодня — два дня оно пролежало на покинутой мною квартире, поэтому я отвечаю с таким опозданием. В Москве я буду дней через 5 — чтобы больше в Тарусу не показываться...

В Тарусе я засиделся потому что моя тарусская муза залежалась: она сломала ногу на гладком месте, спешила принести мне рифму грёзы — слёзы и упала. Через 5 дней должен быть автомобиль, и она будет доставлена в Москву, крылья свои она забыла в Греции, а без них она может передвигаться только в лежачем положении... Сделайте доброе дело: поберегите еще несколько дней грузинские песни от завидующих глаз, я их изобрел и буду корчиться от плача, если их перехватят. Целую ваши ручки, ... привет всем, кто помнит Вашего старого поклонника.

Ваш А. Тарковский».

Письмо касается жизни папы в Тарусе, куда он уехал летом 1937 года, влюбленный в Антонину Александровну Бохонову-Тренину. Как видно из содержания письма, Антонина Александровна, которую папа называет своей тарусской музой, сломала ногу и не могла передвигаться, а отношения их с папой тем летом были отнюдь не лучезарны.

Летом 1939 года папа жил какое-то время у Нины Герасимовны в доме ее дочери на улице Обуха. Это был уже третий год со времени его ухода из семьи и вынужденного бездомовья. В августе он в Ленинграде, куда едет заключать договор с Детгиздатом. Уезжает он с разбитым сердцем — произошел, как тогда казалось, полный разрыв с Антониной Александровной:

«16.IX.1939

Милая Нина Герасимовна!

Прежде всего — простите мне, что я не написал Вам ни одной строчки со дня отъезда из Москвы. Но все это время я жил сумасшедшей жизнью, достаточно безумной для того, чтобы молчать, говоря с друзьями. Так вот — я уж буду выпаливать всё без подготовительных пауз: мы развелись с Тоней, это решительно и бесповоротно — и я думаю, что это нужно в равной ме-



Нина Герасимовна Бернер-Яковлева

ре и ей, и мне. К несчастью, это все еще осложняется тем, что я бесплощадной стихотворец, в отличие от площадных, т.е., имеющих площадь поэтов. Итак — прежде, чем писать о том — чего я у Вас прошу — я, в виде оправдания скажу, что я не писал Вам, ни даже маме потому, что этот развод назревал и было так, что писать стало трудно, да вы понимаете — и не будете сердиться. Теперь — просьба...»

Второй лист письма утрачен, но из следующего письма ясно, что папа просит Нину Герасимовну подыскать ему комнату.

А на первом листке письма от 16 августа есть очень важная приписка: «А стихи я все-таки пишу».

В Ленинграде 22 сентября папа заболевает дифтеритом и шлет Нине Герасимовне телеграмму о необходимости для нее противодифтеритной прививки. (Из этой телеграммы можно понять, что перед Ленинградом папа жил какое-то время у Нины Герасимовны.) В больнице папа написал стихотворение о разлуке с Тоней и, боясь, что ему не разрешат забрать свои бумаги из инфекционного отделения, посылает его в письме к маме.

Утром 26 сентября папа уже «на воле».

Пройдут годы, минует десять лет, и на мамин адрес папа напишет Нине Герасимовне еще одно письмо. Интонации его также невеселы, оно написано на переломе жизни Тарковского, в роковом сорок седьмом году.

«3 февраля 47.

Ашхабад, ТССР,

Степная, 18,

Союз Советских Писателей, мне.

Дорогая, милая Нина Герасимовна!

Видит Бог, как я помню Вас и дорожу Вами, — а что не пишу, то виновато то состояние, в котором я пребываю: иначе, чем полное обалдение, его не назовешь. Очень я, что-то, устал сам от себя, от моего Махтумкули и от всего на свете.

Махтумкули безумно труден для перевода, гениален и дается мне с податливостью стального рельса, который нужно завязать узлом. Если Вы встретите Таню Озерскую, попросите ее почитать Вам кое-что из переводов, Вы меня поймете.

Не знаю, можно ли будет их издать в Москве отдельной книжкой, но мне этого очень бы хотелось из многих соображений (Боже, как я неграмотно пишу!): гл(авным) обр(азом) — финансовых, потому что тут жизнь безумно дорога (я без карточек) и жизнь мне стоит столько, сколько я зарабатываю.

Что у меня делается в Совписе с моей книжкой (собственной) я не знаю, вероятно — она прихлопнута окончательно. Ну и Бог с ней.

Хоть бы скорей кончить работу!

А тут очень хорошо, солнце, 26 градусов, скоро будут цветы: их уже будто видели.

Напишите мне что-нибудь ласковое, потому что мне невольно одному на краю света.

Я Вами очень, очень дорожу.

И мои пристрастия всегда с Вами. Простите меня, старика, и не сердитесь за молчание!

Целую Ваши ручки.

Что с Липскеровым? Он мне как-то в конце февраля снился: будто в белой чалме и играет на скрипке, и будто это значит, что он умирает.

Еще целую ручки. Ваш *Арсений*.

Я потерял Ваш адрес и пишу через Марусю. Напишите его мне!»

В этом письме впервые было упомянуто имя Татьяны Озерской, будущей папиной третьей жены.

И еще лежали вместе с письмами папы пожелтевшие листочки, хранимые Ниной Герасимовной, со стихами-переводами папы из Махтумкули. Стихотворение «Изгнанник», о котором через много-много лет он расскажет своему сыну в последнем письме к нему, стихотворение-перевод «Ее глаза». И фотография папы, снятая Львом Гюрнунгом в Тучкове, на которой папа выглядит трагически-отрешенным, погруженным в какие-то свои горькие думы. Откуда эта горечь у совсем молодого человека? Что его мучает, что тревожит?

И на обороте этой фотографии надпись фиолетовыми чернилами: «Арсений Тарковский». Я узнаю эту букву «Т» — три единицы с длинной чертой наверху. Так вот чьи стихи, посвященные папе, хранились у мамы! Вот кто переписал их и сделал надпись «Тебе — Маруся!». Вот кто напоминал папе о зеленых ампирах комнаты с мебелью красного дерева, о той комнате, в которой он находил приют в трудные годы сердечных тревог и жизненных неурядиц.

И —
 Мимо нас —
 В кругу легионеров
 Прошел юноша.
 Лицо его
 Показалось мне
 странно знакомым,
 и
 голос,
 капризный и горестный,
 пробудил
 смутное воспоминание:

«Зеленые ампиры
комнаты,
красное
дерево
и
голос
говорившего
стихи,
капризный и горестный».
— Кто этот юноша? —
спросила я спутника.
— Безумец! —
отвечал тот. —
Нынче
На
Пиршестве
он
принял вызов
царицы Египетской —
и
жизнью поплатится
за ночь
ее
любви.

Нина Герасимовна умерла 5 мая 1967 года. Папа пришел попрощаться с нею — в ту комнату с зелеными амбирными стенами, где когда-то он так часто бывал и под сенью которых познакомился с Мариной Ивановной Цветаевой.

Вряд ли когда-нибудь будут жить на русской земле дамы, подобные Нине Герасимовне, — победительные и вдохновляющие, прекрасные и возвышенные, добрые и талантливые, живущие ради искусства и ради людей искусства, умеющие ценить прекрасное и создавать его.

Слава богу, что она была на свете, освещая темные и жестокие годы, помогая выживать поэтам, занимавшимся переводами, согревая своим участием Державина и Липскерова, Цветаеву и Тарковского, поддерживая маму своей дружбой и доброй помощью как раз в то время, когда она была одинока и особенно в них нуждалась.

И я с безнадежным опозданием низко кланяюсь теперь Нине Герасимовне за то, что она не рассказала маме о еще одной папиной приписке к его письму из Ленинграда от 16 августа 1939 года: «А к Марусе я никогда не вернусь...» Нина Герасимовна любила маму и дарила ей надежду.

А я — я не смею осуждать папу за эти жестокие слова. Многомного лет спустя он, смущенно и грустно улыбаясь, скажет мне,

как бы оправдываясь: «Мама была очень хорошая, но очень упрямая». Что произошло между родителями в конце тридцатых годов, не мне теперь судить, не мне разбираться.

Тетя Тоня

Болезнь обрушилась на нее в сорок пять лет, неожиданно и жестоко. Она полулежала на своем диване в темноватой комнате, беспомощно и виновато улыбаясь, и с трудом что-то мне говорила. Заболела тетя Тоня в январе 1951-го, в начале марта ее положили в Институт им. Вишневского, где был поставлен роковой диагноз — рак легких. «Горькой и ранней весной», 22 марта, второй жены отца, тети Тони, Антонины Александровны Боховой, не стало. Сбылись слова папы из военного стихотворения, обращенного к ней: «И как ты ни жила, но мало, так мало на земле жила»*.

Мама, Андрей и я любили ее. Папа уже не любил. А вначале все было по-другому.

Осенью тридцать шестого года папа и Антонина Александровна впервые встретились вдвоем. До этого они виделись в квартире Трениных в переулке с удивительным названием Партийный, совсем рядом с тем местом, где эсерка Каплан стреляла в Ленина. В Партийном Тоня жила вместе с мужем, Владимиром Владимировичем Трениным, и дочкой Еленой, Лялей, как ее тогда называли. Владимир Владимирович и Антонина Александровна были женаты уже десять лет. В дом Трениных папу привел поэт и переводчик Владимир Бугаевский, и папа стал часто бывать у них, благо Партийный переулок был в двух шагах от 1-го Щиповского. Папа, по маминому выражению, всерьез «задурил». Его исчезновения из дома, поздние приходы и неумелые оправдания раздражали замученную маму — ведь двое маленьких детей были на ней одной. Возникали ссоры. Вернувшись домой после очередного отсутствия, папа подарил маме книжку Альфонса Доде «Тартарен из Тараскона» на французском языке с такой надписью:

М. Т.

Давняя любовь — нетленна,
В знак чего супруг исконный
Преподносит Тартарена
Из далекой Тарасконы.

Пусть гасконец бредит львами
И робеет перед кошкой,

* Стихотворение «Ночной дождь», 1943.

Я ведь тоже брежу Вами,
Также Вас боюсь немножко.

Я вернулся после ссоры,
Как врунишка из Алжира,
Чтоб навек закончить споры
За вином любви и мира.

Все обиды позабудем
И — в супружеском концерте
Будем петь, на диво людям,
О любви до самой смерти.

V.1937 А. Т.

Но мир, восстановленный в мае, оказался коротким перемирием. Мама была гордая — уходишь, ну что ж, уходи! Папа уже год был влюблен в Антонину Александровну и не мог справиться со своими чувствами. Антонина Александровна сопротивлялась его любви, но после многочисленных отказов уступила его страсти. Мама же ничего не предпринимала, чтобы папу удержать. Все было как в моем любимом детском стишке о козе по имени Бикетт:

Le baton ne veut pas battre le chien,
Le chien ne veut pas chasser Biquette,
Biquette ne veut pas sortir du choux*.

Мама сама собрала папе чемодан, когда он, одержимый любовью, уезжал в Тарусу, где летом жила на даче семья Трениных. Но когда он ушел, она бросилась вслед, чтобы еще хоть издали его увидеть. Доехала на трамвае до Курского, но в толчее вокзала не нашла его.

Через некоторое время она получила от папы короткое письмо:

«Милая Марусенька.

Я еще не получил денег с киргизов**, жду со дня на день. Завтра в Москву едет Володя Тренин хлопотать за меня. Как получу, немедленно вышлю половину тебе...

Зиму я буду жить здесь, так уж я решил, котя, так будет легче. Я тебя очень люблю потому, что любил тебя все 10 лет. В Москву я буду приезжать часто; будем с тобой друзьями, без этого мне будет плохо. Все, что вышло так странно — все-

* Палка не хочет бить собаку,
Собака не хочет гнать Бикетт,

Бикетт не хочет выходить из капусты (*франц.*).

** Гонорар за переводы киргизской поэзии.



*Антонина Александровна Тарковская
(урожденная Бохонова,
в первом браке – Тренина), 1945*



*Владимир Владимирович Тренин.
Погиб в писательском ополчении
под Вязьмой в 1941 году*

му я виною, я это знаю, и мне горько, что я причиняю тебе боль.

Вот адрес: город Таруса, Московской обл., улица Шмидта, дом 9 Размахова. В.В. Тренину для меня.

Целую тебя нежненько, напиши мне немедленно. Целую кошек*.

Арсений».

Осенью тридцать седьмого года Антонина Александровна и папа вернулись в Москву. Владимир Владимирович Тренин ушел из дома, сняв где-то комнату. Папа поселился на Партийном, а мама стала устраиваться на работу, чтобы прокормить себя и детей. Ради того, чтобы двое были счастливы, пятеро были ввергнуты в несчастье.

Итак, папа и Тоня впервые встретились вдвоем осенью тридцать шестого. Они гуляли по городу, проходили по Ордынке, и папа читал Тоне стихи. Шел дождь, и вокруг фонарей светились туманные круги.

То были капли дождевые,
Летающие из света в тень.
По воле случая впервые
Мы встретились в ненастный день.

* Детей.

И только радуги в тумане
 Вокруг неярких фонарей
 Поведали тебе заране
 О близости любви моей...

«Бремя ревности и страсти», принятое Антониной Александровной, было нелегким. Во время войны папа написал ей: «...Я очень тебя люблю, и моя любовь будет с тобой навсегда, что бы ни случилось, уже не требовательная, а просительница. Я стал совсем другой теперь, я видел почти все, я стар*. Но я верю, что все будет хорошо».

Военные письма, а их тетя Тоня получила за два года более двухсот, полны нежности к ней. В них папа объясняется ей в любви не только в прозе, но и в стихах. В стихах, ставших классикой Тарковского.

Некоторые стихотворения, написанные для фронтовой печати, папа подписывал псевдонимом Я. Тонин, Я. Тонюшкин.

«Я простила Арсению Тоню, потому что это была любовь», — скажет потом мама. И еще — Тоня была добра. Она с самого начала хорошо к нам отнеслась и часто напоминала папе, что из полученного гонорара надо дать детям — ведь мама не подавала в суд «на алименты». После того как папа ушел к Озерской, мама и Тоня подружились. Их роднило многое, в том числе и любовь к папе, которого они одинаково понимали и чувствовали. Теперь они обе жалели его. Внешне они были разными. Мама любила простоту, Тоня была «дамой». Носила шляпы, модные платья и даже в бомбоубежище не могла выйти, не накрасив губы. «Граждане, воздушная тревога!» — район из-за расположенного там завода им. Владимира Ильича сильно бомбили. «Все бегут в бомбоубежище, а Тоня ищет губную помаду», — смеялась ее соседка. Тоня сама шила себе шикарные наряды. И пусть с изнанки швы не всегда были отделаны, костюм сидел на ней идеально, а высокие, по моде, плечи подымались вверх, словно крылья. Была в тете Тоне легкость, веселость, приподнятость над бытом. Недаром в письмах с фронта папа называл ее ласточкой. Она хорошо рисовала, фотографировала, писала стихи, которые нравились папе. Впрочем, ему нравилось в ней все...

После ранения в декабре сорок третьего года папа писал Антонине Александровне письма с просьбой забрать его из прифронтового госпиталя и перевезти в Москву. У него была самая тяжелая форма гангрены, газовая, жизнь находилась под угрозой. «Родная Тоня! Нужно немедленно выхлопотать разрешение мне на въезд в Москву. Если ты еще не выслала мне его, может быть, приедешь за мной в Калинин?.. Ради Бо-

* Папе было тогда 35 лет.

га, скорей, моя девочка. Я очень устал и хочу в настоящий госпиталь...»

Через Союз писателей с помощью Фадеева и Шкловского Антонина Александровна достала пропуск и привезла папу в Москву. В январе он уже лежал в Институте хирургии у Вишневского, и профессор сам произвел ему еще одну ампутацию. Потом жена ухаживала за ним дома. В квартире на Партийном не было никаких удобств, телефон, снятый в начале войны, так и не восстановили. Тетя Тоня делала папе перевязки, бегала за врачами, ездила по его делам, помогала составлять его первую книжку стихотворений. Папа после ранения находился в глубокой депрессии. Жена не раз приглашала к нему известного психиатра, профессора Бруханского.

В это время серьезно заболела дочь-школьница Антонины Александровны — после ангины у нее было тяжелое осложнение на сердце. В это сложное время и произошло знакомство Тарковских с Т.А. Озерской. Она вошла в дом как подруга Тони...

18 сентября 1946 года папа уезжает от жены. Он снимает комнату в Плотниковом переулке, снова становится «бесплощадным» поэтом.

В день развода с папой, в 1950-м, тетя Тоня пришла к Марии Сергеевне Петровых, веселая и красивая, как всегда. «Поздравь меня, — сказала она, — сегодня мы с Арсением развелись!» При этих словах она лихо выставила на стол бутылку водки — Тоня не хотела показывать свое горе. В суде на вопрос о причине развода папа сказал: «Мы не сошлись характерами — у нее хороший характер, у меня — плохой».

После того как папа ушел, Тоне пришлось работать. Она стала ретушером в фотоартели, которая искала заказчиков по деревням вокруг Москвы. Как ни приду к ней, все она сидит за столом у окна, где посветлее. Ее инструментами были остро отточенный карандаш, ластик и обломанная бритва, которой она подчищала увеличенные портреты. Лица на портретах были простые, чаще некрасивые. Глаза смотрели прямо в объектив, и я знала, что людей этих уже нет на свете, — портреты заказывали вдовы, ведь война только-только кончилась. Работы у тети



*День рождения Андрея.
С Еленой Трениной, 1947*

Тони было много, и странно было видеть живое, красивое и тонкое ее лицо рядом с этими смотрящими на меня в тупом оцепенении изображениями умерших.

Когда тетя Тоня заболела, мама часто навещала ее — и дома, и в больнице. На похоронах было много народу — ее братья, Иван Александрович и Николай Александрович* с женами, Мария Сергеевна Петровых с дочерью Ариной, Ивичи**, Генриета Бондарина, Зося Панова, Берта Сельвинская***. Пришел папа. Ему было трудно. Когда возвращались с Немецкого кладбища, автобус, где сидела Ляля Тренина, обогнал медленно идущего папу. Ляля попросила остановиться, и папа поднялся в автобус. Что он чувствовал, прощаясь с Тоней навсегда, видно из его стихов:

Жизнь меня к похоронам
Приучила понемногу.
Соблюдаем, слава Богу,
Очередность по годам.

Но ровесница моя,
Спутница моя былая,
Отошла, не соблюдая
Зыбких правил бытия.

Несколько никчемных роз
Я принес на отпеванье,
Ложное воспоминанье
Вместе с розами принес.

Будто мы невесть куда
Едем с нею на трамвае,
И нисходит дождевая
Радуга на провода.

И при желтых фонарях
В семицветном оперенье
Слезы счастья на мгновенье
Загорятся на глазах.

И щека еще влажна,
И рука еще прохладна,
И она еще так жадно
В жизнь и счастье влюблена.

* Иван Александрович Бохонов — художник, фотомастер, профессор ВГИКа. Николай Александрович Бохонов — кинооператор.

** Писатель Игнатий Игнатьевич Ивич и его жена Анна Марковна.

*** Жены писателей и поэтов, подруги А.А. Бохоновой.

В морге млечный свет лежит
 На серебряном глазете,
 И за эту смерть в ответе
 Совесть плачет и дрожит.

Мария Сергеевна Петровых, ее дочь Ариша и мама вслед за папой уходили от могилы. Ариша сказала, что ей жаль Арсения. «А мне жалко Марию Ивановну, — ответила Мария Сергеевна, — она потеряла такого друга!»

Подарок от папы

Не так давно, сиротской осенью, на полупустой даче в Голицыне, где уже почти ничего не осталось от папы, — посланцы его вдовы вывезли все, что там было: папины картинки, глиняных украинских лошадок, стоявших на камине, его любимые чашки с розами и даже телескоп, — я получила от папы, «из-за гроба», бесценный подарок.

Среди случайно оставшихся книг на папиной полке я увидела тонкую книжку. На обложке было нарисовано распахнутое окно с синееющим за ним небом и белым по черному было написано: «Варлам Шаламов. Московские облака».

Ощутил в душе и теле
 Первый раз за много лет
 Тишину после метели,
 Равномерный звездный свет.

Если б пожелали маги
 До конца творить добро,
 Принесли бы мне бумаги.
 Спички. Свечку. И перо.

А я и не знала, что Шаламов писал стихи! Я читала его «Колымские рассказы» — сначала некоторые, в журнале, потом целиком всю книгу. Они меня потрясли. Наверное, их, как Библию, должен прочитать каждый из живущих...

О Шаламове мне было известно очень мало. Как он жил после возвращения? Как и где писал свои рассказы? Были ли у него близкие люди и почему он умер один, в «казенном доме»?

Когда я смотрела на его последнюю фотографию, в приюте, у тумбочки, с миской на коленях, я спрашивала себя: где же была я? Почему не пришла к нему, не наклонилась, чтобы помочь ему обуться, не подала ему попить в его смертный час? Как я могла спокойно жить, когда этот человек нуждался в помощи?

И вот теперь я держу в руках книгу его стихов. В коротенькой аннотации, конечно, ни слова о страшной судьбе Шаламова. А на титульном листе каким-то нетерпеливым, раскидистым, неустойчивым почерком с длинными хвостами у букв «т», «р», «у» сделана дарственная надпись: «Арсению Александровичу с глубоким уважением и симпатией — автор. Москва, 10 сентября 1972 — В. Шаламов».

Еще в книгу вложена записка на листке в клеточку. Вот она: «Дорогой Арсений Александрович, «Московские облака» вышли в свет, и я шлю Вам сборник с величайшим удовольствием.

Ни авторских со склада, ни заказа с Лавки писателей я до сих пор не могу получить, но в магазинах сборник есть. Еще раз благодарю за рекомендацию в Союз писателей, за добрые советы, жму руку. Москва. 10 сентября 1972. В. Шаламов».

Папа был знаком с Шаламовым и помог ему!

Вот такой подарок я получила в один темный осенний день девяностого года на холодной разоренной даче, бывшей когда-то папиным домом.

Неизданная книга Арсения Тарковского

Скучен вам, стихи мои, ящик, десять целых
Где лет вы тоскуете в тени за ключами...

Антиох Кантемир

(Эпиграф к тетради стихов А. Тарковского)

Во время войны отец работал во фронтовой газете, куда был направлен по его настоятельным просьбам Союзом писателей СССР. Армейская газета «Боевая тревога» 16-й (затем, после выхода из окружения, 11-й Гвардейской) Армии, как и вся фронтовая печать, находилась под контролем Главного политического управления Армии. Ее задачей было поднимать боевой дух бойцов и командиров, прославлять их подвиги, сообщать военные сводки, приказы и, конечно же, высмеивать глупого, трусливого врага. Два года из номера в номер печатались на страницах газеты стихи и басни, очерки в стихах и частушки, написанные А. Тарковским. В течение двух лет он появлялся на передовой для сбора материала, попадал под обстрелы, под прицелы снайперов, участвовал в боевых действиях. Его фронтовой друг и соратник Леонид Гончаров был убит при выполнении задания редакции. За взятие высоты гвардии капитан Тарковский был награжден боевым орденом Красной Звезды.

Война кончилась для папы 13 декабря 1943 года, когда он был тяжело ранен в ногу разрывной пулей...

Исследователь боевых действий в районе Орла Егор Егорович Щекочихин переслал мне письмо участника войны Михаила Николаевича Шубина. Вот что я прочла. «Наша бригада участвовала на Брянском фронте, в Орле мы не были, но были недалеко от него. А вот при взятии г. Карачев мы принимали участие. Это было днем, часов в 12. Город был, как мне показалось, почти весь деревянный. В центре города была виселица. На ней висело четыре человека.

Когда мне приходилось видеть смерть рядом с собой, то я от нее брал что-нибудь на память. А на второй день нам принесли фронтовую газету. Там было стихотворение. Я его вырезал и положил в бумажник, сохранил и привез домой, хотя оно и здорово потрепано. Вот его текст:

КАРАЧЕВ

Небесный холст снарядами распорот,
И черным дымом тяжело дышать.
Напрасно немцы этот русский город
В своих руках пытались удержать.

Пойди попробуй в грозный час приборя
Кипучую волну останови!
На свете нет преграды для героя —
Враг захлебнулся в собственной крови.

Еще одну страницу в книгу славы
Бойцы вписали пулей и штыком.
Карачев наш. Но длится бой кровавый
За городом, охваченным огнем.

В немых слезах нас ждет земля родная,
Потоптанные кличут нас луга.
Нас братья ждут, в плену изнемогая,
Вперед, гвардейцы, по следам врага!

Август 1943 А. Тарковский».

Какая высокая честь для автора — признательность читателя. Но как не совмещаются эти два понятия — поэт и война! В стихах, написанных не для газеты, нет места агитационной патетике. В звуке артиллерийского обстрела поэту слышится рокот морских волн, в закатном небе над «опаленной землей» он видит Бога.

Над полоской несжатого хлеба
Золотые ладьи низошли.
Как ты близко, закатное небо,
От моей опаленной земли.

Каждый парус твой розов и тонок, —
 Отвори мне степные пути,
 Помоги от траншей и воронок
 До прохлады твоей добрести.

10 августа 1943

Деревня Бутырки под Карачовым.

Далекий-далекий 1945 год. Год победы над гитлеровской Германией, год радости, год скорби о погибших. Год ожиданий. Народ-победитель, уставший от войны, ждал многого: ослабления политического режима и амнистии для заключенных и сосланных, отмены карточной системы, снижения цен. Тот небольшой отрезок времени со Дня Победы по август 1946 года можно назвать временем надежды.

Для поэта Тарковского это тоже было время надежды — надежды на выход его первой книги. В Союзе писателей СССР ему предложили составить сборник, куда бы вошли довоенные, военные и послевоенные стихотворения.

В Клубе писателей устраивается вечер, на котором он представил свою будущую книгу. После вечера состоялось ее обсуждение. В маленькой записной книжечке папа ведет его запись. Жаль, что он пишет бегло, скорописью, которую даже мне, хорошо знающей его почерк, порой трудно разобрать. Но как ощущается в выступлениях то время, дух свободной мысли, воспринявшей после победы! Через несколько месяцев мы уже не услышим ничего подобного...

На обсуждении присутствовали поэты и переводчики Алигер, Арго, Длигач, Коваленков, Никитин, Ошанин, Ситковский, Тарловский, Шубин. Вел вечер Павел Антокольский. Все выступавшие признавали высокое мастерство автора. А ведь в стихах отца, включенных им в книгу и прочитанных на вечере, нет ни одного стихотворения, восхвалявшего ВКП(б), ни разу не упоминается имя Сталина! Только в одном стихотворении, написанном в 1940 году, ему пришлось покривить душой, сказав: «И счастлив тем, что я не в переводе, а в подлиннике Ленина читал». Это стихотворение папа называл «паровозом», который должен был «вывезти» всю книгу. Но, ей-богу, стоило пойти на эту хитрость ради того, чтобы пробиться к читателю, чтобы сказать ему, замордованному советской пропагандой «винтику», высокие слова о смысле человеческого бытия.

Все на земле живет порукой круговой:
 Созвездье, и земля, и человек, и птица.
 А кто служил добру, летит вниз головой
 В их омут царственный и смерти не боится.

Он выплывет еще и сразу, как пловец,
 С такою влагою навеки породнится,
 Что он и сам сказать не сможет, наконец,
 Звезда он, иль земля, иль человек, иль птица*.

Надо отметить, что патриотизм, звучавший в военных стихах отца, всегда искренний и высокий, во многом помог прохождению сборника стихотворений. Во всех выступлениях собратьев Тарковского по перу дается самая высокая оценка его стихам. Остроту в обсуждение внесло выступление П.Н. Шубина, интересное, резкое, смелое, но, на взгляд многих присутствовавших, не совсем справедливое: «Стихи слышу впервые. Создалось впечатление полной искренности без поправки на ветер. Стихи жесткие, горькие, умные. Я прощупываю то Анненского, то Блока, то Гумилева. Потом я почувствовал ту глубинную струю, объединяющую эти имена и оставляющую его им (то есть Тарковского Тарковским. — М.Т.). Он с ними не мирится. Талантливо и хорошо сказаны в стихах вещи, протест против обычая абсолютной бездарности, примитивных стихов, которыми живут, и неплохо, многие именитые товарищи... У Тарковского живая и понятная поэзия, с которой я принципиально не согласен... Я не вижу жизнеутверждающей линии. Одного не вижу — во имя чего это сделано, он говорит сам с собой. Я ясной цели не вижу, это основной порок талантливых стихов».

Дальнейшие выступления как бы защищали Тарковского от Шубина.

А. Ситковский**: «Один из присутствующих поэтов сказал, что в стихах Тарковского нет жизнеутверждающей линии. Шубин ошибается. Вспомним Блока — Россия, в трагедии есть жизнеутверждение в пику плохим жизнеутверждающим стихам. Переживания Тарковского, как будто личные, сугобо общественны. Чувствуется желание переделать людей, сделать их лучше, он это великолепно выразил... Книга выйдет, все будут читать».

Л.И. Ошанин: «Меня взволновало выступление Шубина... Тарковский как поэт долго не существовал в обществе... Трагедийность послевоенных стихов по сравнению с довоенными выросла. В военных стихах большее жизнеутверждение, чем прежде. Возникает тема Родины-матери, отчизны... Очень хороший вечер».

М.А. Тарловский: «Необходимы и те и другие стихи, то есть стандарт и Тарковский. Очень было бы трудно ощутить Тарковского, если бы его стихи не были бы окружены стандартом. Техника — скрипач подымает руку, и затрепещет в ней цветок. Тарковский настолько зрел и силен, как М. (Мандельш-

* Стихотворение дается в его первой редакции.

** К сожалению, мне удалось установить только имя этого литератора.

там? — М.Т.), что мы забываем о его труде. Он — литератор огромного диапазона. Он демонстрирует здесь огромную сдержанность, он как энтомолог, который говорит: «Я по жесткокрылым»*. Трагическое — здесь Шубин ошибается. «Возвышенная стыдливость страдания». В том ли дело, что Анненский, Блок влияли на (неразб.), Тарковский со стихией страдания делает свое, тем он отличен от своих предшественников. Он пришел к теме (неразб.) своим путем. Первые свои стихи Тарковский читал в Москве двадцать лет назад, они связывались с бормотанием Блока («черный морок»). Настал срок, когда нужно интересоваться уже не его стихами, а им самим, если он такое может...»

Хочу добавить, что пятью годами раньше, в 1940 г., М.А. Тарловский на Секретариате Союза писателей СССР, рекомендуя Тарковского в Союз писателей, говорил, что он не только выдающийся переводчик, но и замечательный поэт.

М.И. Алигер: «...Очень хороший поэт. Верит светлым идеалам. Тут нет никакой ущербности... Субъективно: все хорошо, но понравилось несколько — повторенные и еще несколько военных... Есть манерные стихи**, но суть дела это не меняет. Тарковский — поэт Божьей милостью. Я думаю, что у него нет определенного плана — написания поэмы. Как жизнь обернется, так и пишутся стихи...»

А.М. Арго: «Шубин говорил об отсутствии цели в стихах Тарковского. Я держу пари, что Тарковский чувствующему читателю передает свое горе, шутку, скорбь».

А.А. Коваленков: «Облик Тарковского — камерная поэзия, очень хорошо вооруженная. Книга обобщает. Тарковский традиционен, он развивает и продолжает линии Блока, Анненского, Пастернака... Стихи, может быть, не имеют большой земной почвы, они немного надземные».

П.Г. Антокольский: «Такие разговоры должны вызывать хорошие стихи. Последние стихи организуют и предыдущий материал. Тарковский — поэт одинокий. Его путь уперся в войну, тут он ощутил себя сыном поколения... Это делает книгу стихов... Ясно, что стоит за книгой. Цель его ясна: Родина, Ленин в подлиннике, «21 июня 1941»***. Этой стихии противоположны «Масличная роща», «Бабочка в госпитальном саду»...»

Итак, книга стихов поэта была одобрена и рекомендована к печати издательству «Советский писатель». Начался новый

* Любопытно, что критик Игорь Померанцев написал в конце 80-х годов статью о Тарковском «Воин из отряда прямокрылых».

** Выступавшие называли «манерным» стихотворение «Бабочка в госпитальном саду».

*** Впоследствии это стихотворение публиковалось под названием «Суббота 21-е июня».

этап ее прохождения. Обращаюсь к отрывкам из дневниковых записей друга отца, поэта и фотографа-любителя Льва Владимировича Горнунга:

«21.XII.1945. Был у Тарковских. Арсений читал свою прозу*, потом стихи. Прекрасно все. Но напечатают ли? Евгения Федоровна Книпович в рецензии отнесла Асю** к черному пантеону: Ф. Сологуб, Мандельштам, Гумилев, Ходасевич.

29.XII.1945.

Вечером зашел к Асе. Застал Тоню в ожидании и в трепете, так как он в «Советском писателе», где решается вопрос о его книге стихов. Он появился возбужденный, на костыле, с палкой. Объявил, что книга прошла».

Стоит осмыслить эти записи. Рукопись книги попала в издательство и была передана на рецензию критику Е. Книпович. Она отнесла поэзию Тарковского к пантеону русской поэзии, что само по себе делает честь рецензируемому автору. Но в то время такая рецензия закрывала путь изданию, а поэта делала врагом советской власти. «Автор талантлив, но в этом-то и беда — чем талантливее стихи, тем они вреднее», — примерно такое резюме делает Книпович.

И, несмотря на эту рецензию, рукопись была принята к изданию. Разве это не чудо? И разве это не говорит о смелости дирекции, главной редакции издательства и ответственного редактора книги П.Г. Антокольского? Помянем добрым словом всех, кто одобрил первый сборник Тарковского, и пусть земля им будет пухом!

Шло лето 1946 года. Книга «Стихотворения разных лет» набиралась в ленинградской типографии № 3. Предполагалось, что она выйдет тиражом 10 000 экземпляров, по тем временам тираж довольно скромный. В книгу было включено 54 стихотворения, около 1116 поэтических строк. Сборник делился на три раздела, помеченных римскими цифрами. В первый раздел вошли военные стихи, во второй и третий разделы — довоенные и послевоенные. Из газеты «Боевая тревога» автор взял три стихотворения: «Он построен был с таким трудом», «Зима 1941 года», «За край отцов, за полководца» («Сержант Посажеников»).

Прошла верстка, потом вышли «чистые листы», появился наконец сигнальный экземпляр книги. И тут ударил гром. 14 августа 1946 года вышло постановление ЦК ВКП(б) «О журналах “Звезда” и “Ленинград”»: «Руководящие работники журналов забыли то положение ленинизма, что наши журналы, являются ли они научными или художественными, не могут быть аполитичными. Они забыли, что наши журналы являются могу-

* Цикл рассказов «Константинополь».

** Ася — сокращение от Арсений.

АРСЕНИЙ ТАРКОВСКИЙ

СТИХОТВОРЕНИЯ

РАЗНЫЕ ЛЕТ

СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ

1966

*Неизданная книга
Арсения Тарковского*

чим средством советского государства в деле воспитания советских людей, и в особенности молодежи и поэтому должны руководствоваться тем, что составляет жизненную основу советского строя, — его политикой». Это постановление напомнило советским людям, в какой стране и при каком режиме они живут, «нацелило работников советской печати на повышение требовательности к литературе, дало отпор проповеди аполитичности, искусства для искусства».

Постановление «О журналах “Звезда” и “Ленинград” и следовавшие за ним три постановления о театре, кино и музыке похоронили надежды на потепление, на ослабление идеологического и политического

пресса. С новой интенсивностью заработала репрессивная машина...

Печать сборника Тарковского была остановлена, и по распоряжению тогдашнего директора издательства писателя Сергея Петровича Бородина книга была заматрицирована. Бородин уехал в Среднюю Азию (работать над трилогией «Звезды над Самаркандом»), а при новом директоре матрицы были уничтожены.

В архиве папы осталась сброшюрованная книжка, переплетенная Л.В. Горнунгом в ситцевый переплет — пестрые цветочки на синем фоне. На форзаце папа написал карандашом: «Последняя сверка с машины. Книга напечатана не была — по требованию редакции после постановления об Ахматовой и Зощенко». Лев Горнунг 21 сентября 1946 года записал в своем дневнике: «Был у Аси... Книга стихов отложена, чему он рад». А 5 октября он записывает: «Арсений с Татьяной Озерской улетел в Туркмению». Редакция решила отложить выход книги до лучших времен, но эти времена наступили не скоро. Лишь через семнадцать лет вышла первая книга поэта. Она носила символическое название «Перед снегом» — автору в год ее выхода исполнилось пятьдесят пять лет. Из невышедшего сборника в нее вошло пятнадцать стихотворений.

Первый брак Александра Карловича

Пятилетний срок ссылки Александра Карловича истек в 1892 году, и весной он возвращается в Елисаветград, где его с нетерпением ждали сестра и верная невеста Александра Андреевна Сорокина*.

Она не могла оставить своего немощного и слепого отца и поехать за женихом в Сибирь. Восемь лет она ждала его, тосковала и только в письмах говорила с ним.

И вот наконец радостная встреча. Проехав через всю Сибирь и Россию, Александр Карлович наконец на родине. Молодые люди торопятся соединиться, и 24 апреля 1892 года состоялось их бракосочетание. Они живут на Александровской улице в доме, принадлежащем Сорокиной. Сведений об их совместной жизни у меня нет, я могу только предположить, что этот выстраданный и проверенный многолетней разлукой союз был счастливым. Тем более что в 1894 году Александра Андреевна подарила мужу дочь, которую назвали Леониллой. Дома ее звали Лёней.

В 1897 или 98-м году, когда Александр Карлович уже работал в Елисаветградском Городском Общественном банке, Александра Андреевна умирает.

Вот уж поистине несчастная судьба у нашего дедушки! Когда он был ребенком, умерла старшая сестра, Евгения Титаренко, потом в 1872-м в один день от холеры умирают мать и отец, в 1882 году от скоротечной чахотки сгорает его любимая сестра Надежда, заменявшая ему мать.

Теперь, после тюрьмы и ссылки, когда, казалось, он обрел наконец покой и семейное счастье, Александр Карлович лишается горячо любимой жены и остается тридцатипятилетним вдовцом с маленькой дочкой на руках.

Свое горе Александр Карлович выплакивает в стихах:

Сбрось свой тяжелый покров,
Друг мой, и встань из могилы,
Я согрею тебя, о друг милый,
В сердце моем не погасла любовь.
Горе забудем и счастье найдем,
Солнце блеснет и развеются тучи.
Встань же, туда мы пойдем,
Где все светлее и скорби не жгучи.
В холоде гроба подруга моя
Спит непробудно, призыва не слышит;
Нет, не дожидаться мне, видно, ея!
Грудь тяжелее лишь дышит.

* А.А. Сорокина (1867 – около 1897) – дочь елисаветградского купца.



Леонила Александровна Шокотко (урожденная Тарковская, по первому мужу – Балинова). Актриса, снималась на студии Ханжонкова в Москве

Не будем строго судить эти несовершенные стихи, они не предназначались для печати, а вылились из-под пера бабушки в тяжкие минуты одиночества. «Можно уйти от обстоятельств, дел, отношений, людей, – писал он, – но невозможно иногда уйти от самого себя. Быть же с самим собой – составляет порой невыносимую муку». «Смерть жены вышибла меня из позиции, грызущая тоска заполнила меня...»

Работа в банке стала повседневным ярмом, журналистская деятельность не приносила удовлетворения. «Цензура свирепствовала», – писал Александр Карлович. Одесские газеты, в которых он сотрудничал, «производили в его статьях вандальские опустошения». Руки у него совсем опустились.

Единственным утешением в его жизни была дочка Лёнечка.

Мое дитя! Ты зорькой ясной
 Мне светишь в тьме ночной;
 Растешь ты лилией прекрасной
 Среди травы густой.
 Мое дитя! С тобой одни мы
 Остались жизнь делить,
 Судьбою-мачехой гонимы,
 В любви мы будем жить.
 Мое дитя! В минуту горя
 Ко мне на грудь прильни;
 Устанешь ведь ты, с жизнью споря, —
 Усни, дитя, усни!
 Мое дитя! Слаба, мала ты,
 Цветочек полевой!
 Тебя, любовьию богатый,
 Я загражу собой.

Пройдет несколько лет, и судьба отца и дочери счастливо изменится. В их жизнь войдет Мария Даниловна Рачковская, вторая жена Александра Карловича, наша с Андреем будущая бабушка.

Сестры Рачковские

Мария Даниловна Рачковская приезжает в Елисаветград из Дубоссар Тираспольского уезда 4 ноября 1894 года. К тому времени она уже одиннадцать лет проработала как учительница в Кишиневе, Григоровле и Дубоссарах.

В Елисаветграде она продолжает учительствовать, сначала в частном училище Лемден, затем в Пушкинском училище, а в последние годы перед замужеством — в воскресной школе. Только беременность прервала ее учительскую работу.

Живет Мария Даниловна сначала одна, но позже, в 1900 году, из Кишинева приезжает ее сестра Ольга с сыном Геней (Евгением) Рачковским. (Она только что разошлась с Горжевским, своим первым мужем, и была на него в такой обиде, что дала сыну свою фамилию.)

В 1901 году Ольга Даниловна снова выходит замуж — за подполковника артиллерии Александра Васильевича Гусева, замечательного в своем роде человека, известного всему городу.

Женившись, Гусев снимает квартиру на Верхне-Донской улице в доме Фреймана. Его свояченица, Мария Даниловна, занимает в его квартире одну комнату.

Видимо, Александр Карлович Тарковский познакомился сначала с Александром Васильевичем, а тот представил его своей жене и ее сестре.



Александра Даниловна



Мария Даниловна



Ольга Даниловна

Александр Карловичу в то время было около сорока лет. Он вдовел уже шестой год и, как видно из его писем, страдал от одиночества.

Клуб, который он посещал, чтобы убить время за карточной игрой, не мог заменить ему семейного уюта, а немногочисленные знакомые — подругу жизни, способную поддержать его и в повседневном быту, и в его журналистской деятельности.

В начале 1902 года, когда Александр Карлович начал ухаживать за Марией Даниловной Рачковской, ей было тридцать пять лет, возраст, когда барышни уже считались старыми девами. Но это не пугало его, напротив, ему imponировало, что Мария Даниловна была труженицей и имела за плечами достаточно суровый жизненный опыт.

Три сестры Рачковские — Ольга, Мария, Александра — рано остались без матери. Надежда Федоровна, урожденная Кончаковская*, из старинной фамилии, владевшей когда-то землями на Украине по рекам Припять и Овруч, умерла от родов в 1871 году.

Отец их, Даниил Петрович Рачковский, дворянин, почтмейстер, дослужившийся от коллежского асессора до надворного советника, старшина народных заседателей Тираспольского окружного суда, был опекуном над владением Конча-

*В документах имеется разночтение — Колчаковская.



Даниил Петрович Рачковский

ковских. Доходы с Карантина (так называлось это владение в 13 десятин, состоявшее из сада, виноградника и вербового леса), были настолько малы, что Даниил Петрович с трудом собирал деньги на обучение своих трех дочерей. Он торговал верболозой, продавал на корню урожай фруктового сада, но денег не хватало. Не на что было даже починить крышу у дома. «С потолка льет», — жаловался Даниил Петрович в письме дочерям.

Воспитывал он их в вере и в любви к Государю. В марте 1881 года, после убийства императора Александра Второго, отец пишет дочерям письмо, скорбя и сетуя на убийц, поднявших руку на Помазанника Божия. Каково ему было бы узнать, что его дочь Мария выйдет замуж за бывшего члена организации «Народная воля», слава богу, не имевшего прямого отношения ни к одному террористическому акту. До их венчания Даниил Петрович не дожил. Последнее письмо дочери, жившие тогда в Киве, получили от него в октябре 1886 года.

Мария Даниловна — самая младшая из сестер — была невысокой, худенькой, смуглой, с большими задумчивыми глазами. В нашей семье говорили, что была она похожа на свою бабушку, румынку из Бельц. И хоть я и не нашла никаких документальных свидетельств существования этой румынской бабки, ее гены наглядно проявились не только в бабушке, в папе, но и во мне. И до такой степени, что в детстве, когда я гуляла по Серпуховке с другой бабушкой, Верой, какой-то молдаванин, истосковавшийся по родным лицам, подбежал ко мне, схватил в объятия и закричал: «Наша, наша!»

Марию Даниловну, бабушку Тарковскую, как называла ее мама, я помню очень хорошо. Была она рассеянной и пришла как-то к нам на Щипок (было это до войны) с фруктовым тортом в картонной коробке, чтобы поздравить меня с днем рождения, ошибившись на целый месяц. Кстати, и папа иногда путал наши дни рождения — меня поздравлял 4 октября, а Андрея — 3 апреля.

Однажды до войны, когда мы с мамой зачем-то были на Покровке, мама сказала: «Вон идет бабушка Тарковская!» Бабушка шла по другой стороне улицы — низенькая, похожая на грушу, с пучком седых волос, с пенсне на черном шнурке. Почему мама не подошла со мною к ней, я могу только предполагать: папа уже не жил с нами, и мама знала, что бабушка принимает его вторую жену.

Сестры Рачковские были очень внимательны к здоровью — своему и особенно своих близких. И боялись всего на свете — различных болезней и эпидемий, непредвиденных несчастий и подозрительных людей, собак и мышей. А Мария Даниловна в детстве боялась даже узора на обоях в детской комнате и засыпала только на груди у своего отца.

Была бабушка убежденной вегетарианкой, но во время войны в эвакуации в Чистополе ей пришлось начать есть все подряд. Папина сестра, Леонилла Александровна, писала ей из Москвы: «Асино сообщение, что ты стала есть все, потрясло всех, а я от души порадовалась за тебя. Все очень смеялись, когда Ася сказал, что тышла, что колбаса и котлеты довольно даже вкусная вещь».

Каждый месяц в течение трех военных лет бабушка присылала по почте для нас с Андреем постоянные двадцать рублей. Умерла она от рака в сорок четвертом году, вскоре после того, как папа вышел из госпиталя. Ей не сообщали о его ранении, а ему сказали не сразу о ее смерти.

Сватовство в письмах

Когда именно познакомились Мария Даниловна Рачковская и Александр Карлович Тарковский, мне неизвестно, но я полагаю, что ухаживать за ней он начал спустя какое-то время после знакомства, весной 1902 года. На Верхне-Донскую, где жила Мария Даниловна, приходили многочисленные письма и записки Александра Карловича.

«Многоуважаемая Мария Даниловна. Вам и присным Вашим свидетельствую почтение, что составляет пункт 1-й.

П. 2-й. Ввиду жары, доводящей до помешательства, я предлагаю Вам, Ольге Даниловне и Александру Васильевичу отправиться сегодня в городской сад для вдыхания благоарстворенных воздушков и для созерцания установленных в оном зрелищ. (NB. Оркестр хороший.)

П. 3-й. При утвержденном решении п. 2-го я к 8 часам зайду за Вами.

Готовый к услугам А. Тарковский.

P. S. Прилагаемый букетишко, конечно, жалок. Но что делать, если солнце все сожгло!»

11 июня 1902 года* Александр Карлович делает письменное предложение руки и сердца Марии Даниловне. Он не мог предполагать, что определенного ответа на него добьется почти через пять месяцев, в ноябре.

«Мария Даниловна!

Я не имею мужества и, может быть, подходящего момента, чтобы сказать Вам то, что я не могу не сказать: я люблю Вас и — как естественный и логический вывод из этого — предлагаю вам быть моей женой. (Последние пять слов подчеркнуты дедушкой. — М. Т.)

* Даты до 1919 г. даются по старому стилю.

Я не буду говорить, что люблю Вас страстно, пламенно: жизненные бури, пронесшиеся надо мною, унесли с собой ту душевную свежесть, которая одна дает порыв сердцу; но я думаю, что все, испытанное мною, дало мне и твердость характера и твердость чувства. И верьте, что человек, ищущий с болезненным томлением души личного счастья, сможет любить твердо и постоянно ту, без которой это счастье недостаточно. Я не в силах выносить холодного одиночества; что бы Вы мне ни сказали в ответ, я сказал то, что сказал. Чувство к Вам, долго колебавшееся, уже сложилось в определенную форму. Примите его таким, какое оно есть — что я для Вас — я не знаю; но позвольте же мне надеяться, позвольте мне думать, что черная туча моей жизни не совсем закрыла мой горизонт. Неужели мне опять лишиться светлой звездочки и опять бесцельно странствовать — без семьи, без теплого привета?

Я пишу это письмо с злым червем в сердце. Что я, в сущности, такое, как не помятое, истомленное существо, не глупое, но обозленное, в лучшем случае, влюбленный Мефистофель. Могут ли я в ком-либо вызвать любовь? И я пишу Вам без особенной надежды. Но будь что будет.

Вы понимаете, что Вы должны ответить. Ваш ответ должен быть ясен, безусловно определенный, категорический. Если Вы скажете — нет, то это «нет» не должно быть украшено никакой риторикой — она меня оскорбит.

Линии жизни людей редко бывают параллельны. О, если бы это письмо не было той точкой, с которой наши с Вами линии начали бы расходиться: ведь им в этом случае никогда, никогда не сойтись.

Жду ответа.

А. Тарковский. 11 июня, ночь».

Письмо это Мария Даниловна получила на следующий день и в ответ на него прислала Александру Карловичу, ждущему решения своей судьбы, краткую записку:

«12 июня.

Александр Карлович. Вы не должны сердиться за сегодняшнее молчание. Мне не хочется писать. Приходите завтра вечером.

М.Р.».

Назавтра ей приносят конверт от Тарковского.

«Мария Даниловна! Мои нервы напряжены до предела. Кончайте. Сегодня вопрос должен быть решен. Находясь в такой тьме, я не могу идти к Вам — это будет попытка для меня.

Освещайте дело и не заботьтесь о том, будет ли больно мне или нет. 13.VI».

Что происходило между влюбленным Александром Карловичем и Марией Даниловной после 13 июня? Дала ли она ему определенный ответ? Судя по его письму в Евпаторию, куда вместе с Гусевыми уехала Мария Даниловна, она не отвергла предложения.

«10/VII 1902

Каждый день, о любая моя, возвращаясь со службы, я с томлением ожидания жду, когда почтальон опускает корреспонденцию. Вы поедете в Бессарабию (хотел поехать, но передумал, деньги употреблю на ремонт квартиры). Я хочу, чтобы квартира встретила свою новую хозяйку прибранной и чистенькой, а отдых мне даст впоследствии Маруся. Не так ли? И теперь в доме у нас нечто ужасное: вещи в беспорядке, я, окруженный банками с вареньем... и другими предметами Иринино министерства, обитаю где-то в углу среди миллионов мух.

В городе тишь да гладь, да зловоние воздухов. Оперетки нет, в городском саду, кроме той итальянской пары, что мы уже видали, приехала еще итальянская орда из десяти человек, состоящая из безголосых, ногами дрыгающих мужчин и мерзкорожих баб. Сведущие люди говорят, что эти бабы сначала с успехом занимались вечерними гуляниями по Дерibasовской, а потом, вследствие упадка дел, поступили в итальянки. Во всяком случае, некуда деваться. О Господи, пол визжит, один красильщик стучит молотком. О Маруся! Возьмите меня куда-нибудь! Зачем они меня мучают?! Ведь я не виноват, что хочу жениться.

A Marussia col cuore vole
Ove tu sei,
Ardo tristo e solo
Esser con lei*.

А все же я люблю Вас. Супругам кланяюсь. Гаданье не верно.
А. Тарковский».

Десятого июля было послано это письмо из Елисаветграда в Евпаторию, а навстречу ему, пароходом в Одессу, а оттуда поездом в Елисаветград, шло письмо от невесты.

«9 июля 1902. Разленилась ужасно, впрочем, совесть меня мучает, я каждый день собираюсь Вам писать, но у нас по-елисаветградски не хватает дня на все наши потребности. Вот и откладываются письма со дня на день, от парохода до парохода. Вы ме-

* Марусе, с которой хочет быть сердце.

Горю (желанием),
Грустный и одинокий,
Быть с нею (итал.).

ня, конечно, за это не простите, да я и сама знаю, что *mes torts sont sans nombres**. Я получила Ваши два письма, посылку и сегодня отчет Благородного собрания. Вы меня так забранили, что я стала еще хуже. За дикую лошадь очень хотелось Вам отплатить. Жаль, что не нашлось открытки, отвечающей моей блестящей идее... Последние два дня за компанию с Лёлей ездила купаться в озеро Майнак, которое, говорят, исцеляет от 77 болезней. Хотя купание в Майнаке и напоминает поросят в луже, но мне нравится, что в этом густом рассоле можно плыть без малейшего движения и усилия, куда несет волна...»

Дальше Мария Даниловна описывает убогие местные развлечения — фейерверк и танцы. И заканчивает свое письмо так:

«Опять не окончила и не отправила письма, а пароход сегодня ушел на Одессу. Не сердитесь на меня за это. Покойной ночи! Все давно спят. В открытые окна смотрит море, луна и звезды. Миллион поэзии! Вчера катались при луне на лодке. Это неопишимо хорошо. Но жаль, что благодаря Лёлиной трусости, надо с бою брать это удовольствие».

И все. И ни слова о чувствах, ни слова любви и надежды для человека, который ежедневно шлет ей, своей невесте, письма, телеграммы и другие знаки внимания. Робкая и деликатная, она не хотела оттолкнуть Александра Карловича, но вместе с тем не могла кокетничать и лицемерить.

«13 июля. Я так и знала, что Вы сердитесь. Сегодня в 6 часов утра разбудила Ваша телеграмма. Мне очень жаль, что я заставила Вас беспокоиться, но зачем же сердиться? Лёля заболела опять... Все ее хозяйственные заботы перешли ко мне... Спасибо за колечко».

«16/VII.1902. Наконец-то! Наконец Вы, адская поджигательница души моей, безнадежная лентяйка и пр. и пр., вспомнили о моем существовании. Видите ли, «хозяйственные заботы не давали ей возможности писать!». Нашли легковерного младенца! Нет Вам прощения. За что Вы заставили меня столько перемотаться и передумать черных мыслей?.. Последние дни я на службе обозначал от этого истинного зверя... Но пока Господь с Вами! Отлегло! Напрасно Вы ждете в газете чего-либо интересного. Июнь, июль и август — тут такие месяцы, когда не бывает тем, и мы, корреспонденты, воем волком и «создаем» темы, а так как фактов создавать нельзя, то мы в это время пишем мало, скучно, лишь бы писать. Это знают и редакции и мирволят нам. Я же лично сразу выговорил себе право писать со свободой и недостаток корреспонденции возмещать даже серьезными статьями по земским и муниципальным вопросам, что, собственно, и хотел

* Мои прегрешения бесчисленны (*франц.*).

от меня редактор, чем я займусь осенью. Вы должны быть живой связью между мною и тем хорошим, деятельным, что дает человеческой жизни настоящее содержание. А может быть и во мне уж ничего не осталось. Все возможно! Нечайно я забрался в глубину своей души и открыл перед Вами одну из ее дверей. Я начал с того, что обругал Вас (по заслугам, правда: нельзя быть до такой степени невнимательной ко мне), а потом возлюбил до интимнейших откровенностей. Так уж пришлось, потому что *dixi et animam levavi**. Притом... не скажу, что притом. Скажу, когда придет время, то самое время, которым в ответе на мой вопрос угостили меня в прошлом. Помните? Я кончаю. Довольно! Часть моей души отделилась и полетела к Вам. Завтра или послезавтра буду опять писать. Знайте, что если Вы не будете мне писать, то мне будет больно, очень больно. «Заленилась», «хозяйство»... Эх, Маруся, Маруся! Т.»

Из этого письма кое-что становится ясным. «То самое время, которым в ответе на мой вопрос угостили меня в прошлом...» Вопрос: «Любите ли Вы меня?» Ответ: «Я скажу Вам, когда придет время». Вот на такой примерно диалог ссылался Александр Карлович. Он с нетерпением ждет возвращения Марии Даниловны из Евпатории. И вот наконец посланец приносит долгожданную записку:

«Приехали и ждем Вас. *Маруся*».

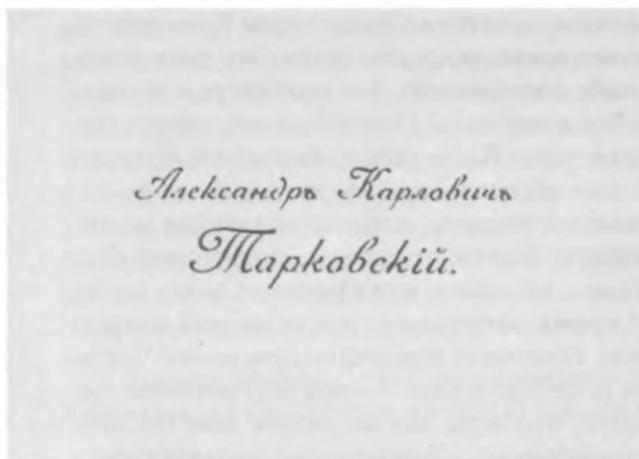
Сверху синим карандашом лаконичный ответ дедушки: «Иду». А на следующее утро, еще в постели, Мария Рачковская получает послание в стихах:

«30.VIII.1902

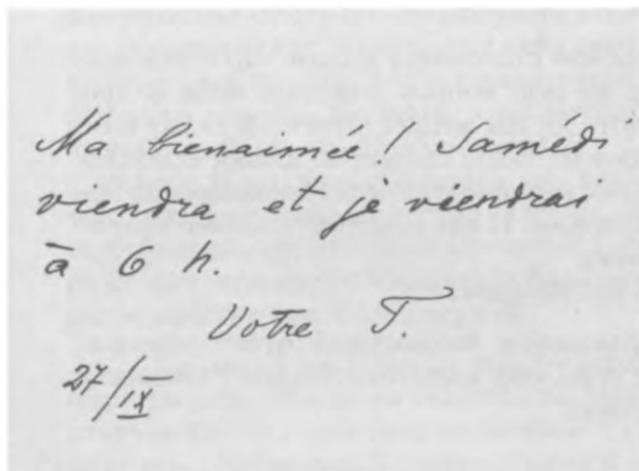
С добрым утром! Вы уж встали?
 Что Вам снилось? Как Вы спали?
 Отдохнули ль Вы с дороги?
 И, забывши все тревоги,
 Предаетесь сладкому покою?
 Я ж — от Вас того не скрою —
 Слишком рано встал с утра:
 Был взволнован я вчера.
 Вместе с сим я шлю привет,
 С ним же скромненький букет.
 Мал он — чувства много в нем —
 Но Вы вспомните притом,
 Что сказал великий наш поэт:
 «Цветы последние милей
 Роскошных первенцев полей».

Ваш А. Т.».

* Сказал и облегчил душу (*лат.*).



Визитная карточка
А.К. Тарковского
с запиской о его визите
к Марии Даниловне



А она — в смятении. Она не находит в своей душе чувств, созвучных его чувствам, и, дав в июне обещание стать женой Тарковского, теперь готова взять это обещание обратно.

Ты говоришь — сказать, друг мой,
Но что же, что же я скажу,
Когда я вся полна тоской,
Любви в себе не нахожу.
Ты говоришь: «Хочу любви,
Не надо дружбы мне твоей!»
Забудь, забудь же и порви
Надежды все твои скорей.
Прости обман невольный мой,
Прости тоску и горечь слез,
Тебя, как брата, я люблю,
Не вспоминай погибших грез.

Объяснения следовали одно за другим, бросая Александра Карловича от безнадежности к надежде.

«Мне больно, что Вы ушли сейчас в таком тяжелом настроении, и я не сумела утешить и успокоить Вас хоть сколько-нибудь. Теперь казнюсь и хочу, чтобы Вы были здесь. Приходите завтра (понедельник) непременно. 24 сентября. М.».

«Мария Даниловна! Ваше письмо все-таки меня не успокоило: оно ведь не дает ответа и не выводит меня из той мучительной неопределенности, в которой я нахожусь. Правда, в приглашении придти чувствуется что-то хорошее... Разве Вам страшно сказать одно решительное слово? Ведь середины между да и нет быть не может...»

Но она не произносит этого решительного слова. Ей действительно страшно. Она слишком деликатна, чтобы сказать «нет», и ей жаль порвать навсегда с человеком благородным и интересным, который сделал ее безрадостную жизнь в Елисаветграде наполненной и живой, ввергнуть его в страдания, вернуть в безнадежное одиночество. Сказать «да» — значит выйти замуж без любви, окончательно проститься с мечтой об идеале, который Мария Рачковская, может быть, еще надеялась встретить. Так проходит еще месяц, и терпение Александра Карловича иссякает. Во время венчания общих знакомых, когда он был шафером жениха, а Мария Даниловна — подружкой невесты, он заявил ей: «Если Вы сейчас же не скажете, что готовы стать моей женой, я лягу на пол и буду громко кричать и бить ногами». И он выполнил свою угрозу, и Марии Даниловне ничего не оставалось, как тут же, в церкви, назначить день венчания. Им стал день 8 ноября 1902 года. Венчание состоялось в Покровской церкви на Ковалёвке. Жениху было сорок лет, невесте тридцать пять. Таинство совершал священник Сорокин с диаконом Ивановым. Поручителями со стороны жениха были потомственный гражданин города Михаил Афанасьевич Михайлович и полковник Владимир Дмитриевич Ильин (муж Веры



*Покровский храм на Ковалёвке.
В настоящее время закрыт окружающими домами советской застройки*

Карловны), а со стороны невесты – муж Ольги Даниловны, капитан Александр Васильевич Гусев, и штаб-ротмистр Григорий Викторович Беренс.

Валерий, Валя, Валюся

8 ноября 1902 года Мария Даниловна и Александр Карлович обвенчались в Елисаветграде в Покровской церкви, что на Ковалёвке. Кончился мучительный для обоих период ухаживания, наступила ясность и тишина в их отношениях.

Через год с небольшим, 12 октября 1903 года, у Тарковских родился сын Валерий. Крещен он был в Успенском соборе (ныне не сохранившемся) только через три месяца. Вероятно, Мария Даниловна боялась, что младенец простудится при крещении, и ждала, чтобы он немного окреп.

На детских фотографиях Валя похож скорее на отца, чем на мать. В его позах чувствуется внутренняя свобода и если не абсолютная уверенность в себе, то по крайней мере отсутствие комплексов.

Валя был одаренным ребенком, а условия, в которых протекало его детство, способствовали его развитию. Муж сестры Марии Даниловны, Ольги Даниловны, полковник Гусев, преподавал в юнкерском училище физику и электротехнику. Дядя Саша Гусев серьезно относился к техническим увлечениям Ва-



*Валя Тарковский –
ученик Коммерческого училища*



*Муж Ольги Даниловны,
дядя Саша Гусев с Женей Рачковским*

ли и поддерживал в нем любовь к авиации, электричеству и астрономии. На Валином «Плане аэроплана, соединенного с цеппелином» дядя Саша написал: «План рассмотрен и одобрен, с тем, чтобы масштаб был (1:60). 30 мая 1912 года. Полковник Гусев».

Астрономией Валерий увлекается серьезно, читает специальную литературу. Его захватывает теория о возможности жизни на Марсе и о каналах на нем.

8 мая 1916 года он делает во Втором коммерческом училище, где проходил курс наук, доклад о планете Марс. На лекции присутствовали преподаватели, ученики и гости. В конце были показаны «туманные картины», и Валя был награжден шумными аплодисментами. А после брат докладчика, Ася, возбужденный его успехом, вышел на середину зала и сказал: «А я могу показать, как чешутся марсианские обезьяны!»

Родители, тетя Вера (сестра Александра Карловича) и Ася подарили Вале за лекцию два рубля. Валя не спешил их тратить. Через полтора года началась революция, и два рубля так и остались лежать в конверте и лежат там до сих пор.

Литературу в семье любили все. Александр Карлович был профессиональным литератором — журналистом, автором рассказов и очерков, поэтом и переводчиком стихов.

А Мария Даниловна с юных лет привыкла выражать свои чувства и мысли стихами. Она их писала и без повода, и по по-



Дача Гусевых на Соколовских хуторах, г. Елисаветград



Мария Даниловна с детьми Валей и Асей

воду — на дни именин и рождений, в минуты тяжкого горя и тоски.

Естественно, что и Валя сочиняет стишки, рассказы и пьесы, которые сам же и ставит. Актерами были все дети «детской колонии», как называл дядя Гусев дом Тарковских и свою дачу на Соколовских хуторах, куда собирались на лето дети сестер Марии Даниловны. Кроме Вали и Аси Тарковских там был сын Ольги Даниловны Геня Рачковский и дочери Александры Даниловны — девочки Мирандовы из Харькова — Лена, Оля и Фира.

Вот «Программа вечера в саду Тарковских»:

Пьеса «Медведь и девочка».

Танцы. Мартышкин танец.

Кадриль.

Акробаты. Хор.

Туманные картины.

А вот еще симпатичное сообщение о детях из «колонии»:

«В редакцию «Голоса Юга» поступило 4 р. от спектакля, устроенного детьми: Е. и Ф. Мирандовыми, Н. Кременецкой и А. Тарковским, в пользу детского очага мужской и женской гимназий». (Газета «Голос Юга», 2 июня 1917 года.)

В школьных сочинениях Вали-подростка чувствуется его ум и полемический дар, к тому же и сами темы сочинений были интересными. «Правда ли, что знание — сила?» «Да, — отвечает Валя, — знание громадная сила, но, к сожалению, часто применяемая не для улучшения быта человека, а для его уничтожения».

«Правда ли, что торговля является проводником цивилизации?» «Нет, торговля не есть проводник цивилизации, а наоборот, — гибель, порабощение и упадок для народов».

Интересно, как бы сложилась судьба Вали, «мальчика выдающихся способностей», как писала о нем его мать, если бы не роковой поворот истории? Валя не мог знать своей судьбы, когда в феврале 1917 года вносил в свой дневник записи:

«12 февраля, среда. Были в «Колизее». Шло «Бедный Федя», «В руках правосудия».

15 февраля, среда. Сегодня в училище стянули градусник, и у нас устроили складчину для покупки его.

17 февраля, воскресенье. Начинается революция».



Валя

«Начинается революция». Эта фраза не увенчана восклицательным знаком, но я чувствую в ней напряженную радость Вали. Ему четырнадцать лет, он полон энергии и любви к опасностям.

Мария Даниловна всегда бдительно следила, чтобы дети не играли опасными предметами — палками, ножами, спичками. Когда Вале и Асе было одиннадцать и семь лет, она отобрала у них каким-то образом попавшую им в руки зажигалку. Не дай Господь, обожгутся или дом спалют! «Дорогая мама! Прошу от- дать нам зажигалку. Просим и умоляем!!!! Целуем руки!!!!

9 марта 1914 года. В. Тарковский и Ася».

Кстати, два брата были совсем разные. Назар Юрьевич Тобилевич, почти папин ровесник и его двоюродный племянник, вспоминает, что Валя был отчаянным заводилой, а папа — тихоней.

Когда вслед за Февральской и Октябрьской революциями началась Гражданская война, Валя уже играет во взрослые и по-настоящему опасные игры. С семнадцатого года он уже революционер, сначала коммунист, потом эсер. Став одним из организаторов кружка революционеров-анархистов и примкнув к украинской Конфедерации анархистов «Набат», он обзаводится огнестрельным оружием. Напрасно отец, которому политика испортила жизнь и карьеру, старается охладить революционный пыл Вали, тот не обращает внимания ни на шуточные пародии Александра Карловича, высмеивающие шумные собрания анархистов, ни на серьезные его доводы. Валя с головой увлечен революцией. Он пишет пламенные статьи и стихи под разными псевдонимами, одним из которых была романтическая фамилия Кид.

Вот выдержки из его статьи «Контрреволюция»: «На всех устах, на всех знаменах, во всех газетах только и слышно: контрреволюция, контрреволюция... Даже больше — выдвигаются комиссии по борьбе с контрреволюцией. Что же такое эта контрреволюция, чего она хочет, кому она грозит и кто ее олицетворяет?

Контрреволюция есть реакционное движение, направленное против движения революционного, стремящееся уничтожить все завоевания революции, движение, целью которого является возвращение к старому, возвращение к тому строю, при котором буржуазия имеет возможность беспощадно эксплуатировать рабочих, а помещик крестьян... Естественно, что при таких тезисах, выставленных контрреволюционным движением, оно представляет большую опасность для трудящихся масс».

Гражданская война на Украине разгорается все жарче. Папа часто цитировал строчку: «Туда, где Знаменка дымится и пышет Елисаветград». Город переходил из рук в руки — австрийцы, белые, красные, бандитские отряды атаманов Зеленого, Тютюн-

ника, Маруськи Никифоровой, собственноручно расстреливавшей белых офицеров, к которой попал в плен одиннадцатилетний «хлопчик» — папа.

Валя в этой страшной вакханалии чувствовал себя как рыба в воде. Мальчик, росший под неусыпной материнской опекой, носивший в детстве девчоночьи платица, не знает ни осторожности, ни чувства страха. Он агитировал за советскую власть, писал и расклеивал воззвания, доставал оружие.

Однажды его остановил патруль. Валя держал руки в карманах брюк, в каждом из которых было по револьверу. «Руки вверх!» — скомандовал солдат, и Валя поднял обе руки вместе с револьверами. Солдат похлопал его по карманам и, не глянув вверх, отпустил.

В Страстную субботу, 12 апреля (в девятнадцатом году была ранняя Пасха), Валя исчез из дома, оставив записку: «Дорогие папа и мама! Я уезжаю по Елисаветградскому уезду агитировать. Не сердитесь! Я вернусь через две недели. Опасности никакой нет. Целую вас и Асю очень крепко. *Валя*».

Убитая горем Мария Даниловна бросается разыскивать его товарищей, чтобы выяснить, куда и с кем отправился Валя. Ей удастся узнать, что он с другом Карташевым уехал за восемьдесят километров от Елисаветграда, в село Глосссы.

На следующий день от Вали приходит телеграмма:

«Апреля 13 дня, в 11.30. Глосссы лекция сегодня. *Валя*».

Мать шлет сыну телеграммы с требованиями немедленно вернуться домой. Узнав, что кто-то едет к Вале, она и Ася пишут ему письма.

«16 апреля 1919. Валюся, возвращайся сейчас. Мы измучились. Целый день и ночь в доме слезы, стон и рыдания. Отец осунулся. Он долго не протянет. Ты пожалеешь, когда одумаешься, но я боюсь, что будет поздно. *Мама*».

А вот письмо Аси:

«Дорогой Валюсик! Мы без тебя очень скучаем. Папа, мама и я растеряли свои головы. Почему ты не присылаешь телеграммы каждый день? Папа ходил к тете Вере, и тетя Вера плакала. Мама даст это письмо Теперу, а Тепер даст это письмо тебе. Приезжай скорей! Мы за тебя очень беспокоимся... Будешь ли ты к Пасхе здесь? Крепко, крепко, крепко целую тебя 1.000.000.000 раз. Любящий тебя Ася Тарковский. Женя Гардинский записался в Интернационал. 1919. IV.16».

Эти письма не были отправлены с Тепером, потому что на следующий день, в Страстной четверг, 17 апреля, Валя вернулся. Оборванный, голодный, раненый. Он не мог каждый день присылать телеграммы, потому что был в боях.

Валя дома! Радость, слезы облегчения, хлопоты. Пригласили врача, наверное Афанасия Ивановича Михалевича, товари-

ща Александра Карловича по сибирской ссылке. Раны оказались легкими.

Проходит месяц, и, когда к городу подходят отряды атамана Григорьева, Валя снова исчезает. И опять Мария Даниловна бегает по городу, расспрашивает о Вале, ищет адреса. Опять посылаются в неизвестность телеграммы и пишутся письма. Мать совсем убита, отец катастрофически теряет зрение.

«Понедельник, 12 мая 1919.

Валюсик! Зачем ты уехал и не сказал никому ни слова? Почему не присылаешь телеграммы? Мама каждый день по 150 раз плачет. Каждый день ходит на почту, посылает телеграммы. Мы все очень волнуемся за тебя. Не знаем, что делать. Приезжай как можно скорее. Присылай хоть телеграммы. Мы передадим это письмо какому-то типу, а он передаст это письмо Карташеву, а он тебе. Приезжай скорей. А.

Под папину диктовку: Возвращайся скорее. Так порядочные люди не поступают. *Отцу».*

Неизвестно, получил ли Валя материнские телеграммы и это письмо. От него пришла только одна записка, переданная с оказией. На клочке бумаги было написано: «Дорогие папа и мама. Остаюсь на фронте. Жив, не ранен. Пришлите чулки, ложку. Целую вас и Асю». И приписка — «Спичек и папирос», видимо для кого-то из товарищей.

Больше от Вали не было никаких известий. В доме опять царил траур. Мария Даниловна металась по городу в поисках людей, которые могли бы хоть что-нибудь знать о ее сыне. В городе бесчинствовали григорьевцы. В конце мая в Елисаветград вошла Вторая Красная армия под командованием Уборевича.

Теперь невозможно узнать, когда Тарковские получили известие о гибели Вали. Во всяком случае, в конце сентября они еще верили, что сын жив. Александр Карлович диктует Марии Даниловне это письмо:

«14/27 сент. 1919 г. Мой Валюся, мой дорогой мальчик, дорогой, незабвенный, хотя все обстоятельства складываются так, что тебе трудно вырваться из тисков судьбы, но сердцем я жду тебя и не перестаю ждать. Я верю, что ты придешь, я все жду того момента, когда ты постучишь в ставню и войдешь в комнату, исхудалый, измученный, оборванный и голодный. Да, ты придешь, но это будет нескоро, очень нескоро. В моем внутреннем видении ты снова стоишь возле меня, но не с прежним угрюмым лицом, а с лицом смелым, но светлым. Я вижу, как ты левой рукой взял меня за руку и глядишь куда-то далеко-далеко в сторону. Но ожидая, я вместе с тем чувствую, что я не дождусь тебя, что я не обниму тебя и не поцелую, и вот поэтому я диктую маме это письмо,

чтобы высказать тебе в немногих словах многое, и прежде всего, что я безмерно, безумно люблю тебя. Ты ушел, и с тобою ушла душа моя. Я, как разбитый корабль, способный лишь ютиться где-нибудь вблизи берега, не рискуя идти в открытое море. Я знаю, что ты страдал и страдаешь оттого, что огорчил нас. Я хочу сказать тебе, мой дорогой мальчик, что я давно уже простил тебя за все, простил вполне, от всей души, и одна любовь к тебе лишь наполняет мою душу, одно желание, чтобы жизнь твоя отныне была только счастлива. Да, я простил, давно простил тебя и от всего своего израненного сердца, от всей своей исстрадавшейся души я благословляю тебя. Пусть все горе, что падает на долю человека, ляжет на меня одного и пусть путь твой будет светел, чист и радостен.

Когда ты придешь, перед тобой, однако, встанут трудные задачи жизни. Ты еще молод, ты не доучился, а между тем, тебе придется поддержать слабую мать и малого брата. Как это сделать я не знаю, но мне кажется, что прежде всего ты должен окончить какой-нибудь курс учения. Отбрось политику, стремление к личным подвигам, учись, читай и серьезно работай. Теперь в разумной работе весь смысл жизни и не только смысл жизни, но и практическая задача. Учись, учись и учись. Не забывай, мой любый, что только человек, снабженный серьезными знаниями, может занять подобающее место в жизни, и я надеюсь, что ты, дитя мое, выполнишь этот мой завет. Не забывай и того, что для своей слабеющей матери и малого неразумного брата ты единственная опора. Твоя бедная мать так исстрадалась в разлуке с тобой, что если ты вернешься, ты уже не имеешь права оставить ее. Береги ее, люби, не огорчай и работай над своим характером, чтобы сгладить его жесткие черты, чтобы то хорошее, что в тебе заключается, расцвело ярким цветом достоинств духа, чтобы навсегда ушло из него все дикое и необузданное, что было в нем. Заботься и о своем брате, воспитывай его, старайся переработать в нем скверные черты, чтобы из него вырос настоящий гражданин, вполне достойный человек.

И моя последняя просьба в том, чтобы, вернувшись к нам, ты больше не уходил, чтобы душою и сердцем ты был всегда с нами, чтобы любовь сковала нас всех неразрывной цепью, которой ты и не хотел бы никогда разрывать. Я, быть может, скоро умру. Мне нечего завещать тебе, кроме богатой любви да исстрадавшегося сердца. Прими их, они всецело твои. И когда ты вернешься и застанешь меня в могиле, посади в головах у меня сентифольскую розу, и когда она будет цвести, она будет цвести для всех вас, мои дорогие. Прощай, мое дорогое дитя! Мне кажется, что я что-то не высказал, чего-то не кончил, что мне еще нужно что-то такое сказать тебе, но я не знаю что. О если бы я



*Ослепший от горя
Александр Карлович*



Осиротевшая семья

мог вложить в тебя остаток моей жизни, чтобы ты был всегда юн, всегда здоров, всегда цветущ. Благословляю на жизнь долгую, честную, полезную и счастливую. Целую тебя, мое милое дитя! Прощай!

Твой несчастный отец *А. Тарковский*.

Я раньше умру, Валюся. Я люблю тебя безумно и страдаю бесконечно. *Твоя мама*».

Позже родители узнали подробности гибели Валерия. Он участвовал в двух боях против григорьевцев (первый бой был во вторник, 13 мая) и в этих боях проявлял «безумную храбрость и был впереди всех». Папа говорил мне, что Валя с товарищем прикрывали отход красноармейского отряда и оба были изрешечены пулями. Случилось это между 15 и 19 мая 1919 года.

На кладбище растет тополь
И шумит листьями.
Нет уже больше сына Вали,
Он расстался с нами.
Над могилой стонет тополь,
Плачут над могилой...
А у Вали нет могилы.
Где погиб мой милый?

Нет ни сына, ни могилы,
 Не растут там розы...
 Сгибли силы молодые,
 Нам достались слезы.

Родители оба подписались под этими стихами — совсем ослепший Александр Карлович и обратившаяся в старуху Мария Даниловна.

Когда родился Андрей, папа говорил, что он похож на Валу — у него были такие же зеленые глаза.

Несколько документов из архива бабушки

За долгие годы у папиных родителей скопился большой архив. Они, пройдя свой путь, ушли, а документы остались, чтобы рассказать об их жизни и о времени, в котором они жили.

До революции основные события человеческой жизни — рождение и крещение ребенка, вступление в брак, кончина — отмечались в церковных метрических книгах. В случае надобности поданным Российской империи выдавалась соответствующая ВЫПИСЬ из этих книг. Калиграфически выполненные на большом листе гербовой бумаги, старинные документы неспешным торжественным стилем сообщали необходимые сведения. И внешний вид документа, и его содержание свидетельствовали об уважении к их обладателю, равно как и к учреждению, выдавшему его.

«СВИДЕТЕЛЬСТВО»

По указу его Императорского Величества, из Кишиневской Духовной Консistorии вследствие прошения коллежского асессора Даниила Петрова сына Рачковского о выдаче ему метрического свидетельства о рождении и крещении дочери его Марии, выдано сие метрическое свидетельство, за подписом и приложением казенной печати на основании протокола, состоявшегося в Консistorии 7 июня сего 1871 года и Его преосвященством утвержденного, в том, что по метрическим книгам, хранящимся в архиве Консistorском Белецкой Соборной Свято-Николаевской церкви состоит в выписке под № 47 следующий акт. «Тысяча восемьсот шестьдесят седьмого года июля девятого числа у почтмейстера коллежского асессора Даниила Петрова сына Рачковского и законной жены его Надежды Феодоровой, оба православного вероисповедания, родилась дочь МАРИЯ, которую того же года августа 8 числа молитвовал и крестил протоиерей Лев Савицкий с диаконом Константином Сергеевичем и дьячком Мефодием Гинкуловым, восприемниками были отставной

Полковник Феодор Якович Малинин и вдова Полковника Елена Петровна Осмаловская.

г. Кишинев. Июня 19 дня 1871-го года

Член Консистории Протоиерей Василий Пуришкевич

Секретарь Н. Абрамов

Столоначальник (подпись)».

Такими же солидными и обстоятельными были документы об окончании учебных учреждений. Вот свидетельство о присвоении бабушке звания (всего-навсего) домашней учительницы.

«Свидетельство № 5377

Дано сие девице Марии Даниловне Рачковской в том, что она, как из представленных ею документов видно, подданная Российской империи, уроженка Бессарабской губернии, город Белец, дочь надворного советника, родилась 9-го июля 1867 года и крещена в веру Христову православного исповедания, образование получила в Кишиневской земской женской гимназии В.Н. Ващенко-Захарченко. Вследствие поданного ею, госпожой Рачковской, прошения о желании вступить в домашние учительницы и по рассмотрении представленных ею удостоверительных свидетельств, которые найдены удовлетворительными, допущенная была к полному испытанию в Педагогическом Совете Елисаветградской гимназии и оказала в арифметике хорошие сведения и, сверх сего, в присутствии испытателей с успехом дала пробный урок на тему: «Умножение десятичных дробей».

А потому ей, госпоже Рачковской, дозволено принять на себя звание ДОМАШНЕЙ УЧИТЕЛЬНИЦЫ с правом преподавать вышеупомянутый предмет и со всеми выгодами и преимуществами, присвоенными означенному званию, поелику оные к ней относиться могут. В удостоверение чего дано сие свидетельство за надлежащим подписанием, с приложением печати Канцелярии Попечителя Одесского Учебного Округа.

г. Одесса, Апреля 24 дня 1896 года

Управляющий Одесским Учебным Округом,

ректор Императорского Новороссийского

Университета, Действительный Статский Советник

и Кавалер (подпись)».

Даже не верится, что такой документ был составлен только за двадцать лет до октябрьского переворота.

С приходом советской власти в дедовском архиве появляется бесчисленное количество всевозможных СПРАВОК, УДОСТО-

ВЕРЕНИЙ, АКТОВ и АНКЕТ. Создается впечатление, что и государство не верит своим гражданам, и граждане не очень-то доверяют своему государству. Поэтому бабушка аккуратно берегла эти документы, написанные на дрянной бумаге, с линиялыми штампами, которые что-то удостоверяют, сообщают, подтверждают, доводят до сведения.

Мария Даниловна уже не работает как учительница. В 1920 году она кончает счетоводные курсы, работает счетоводом (справка), потом ее увольняют (справка), она снова устраивается работать (справка), ее снова увольняют (удостоверение), и наконец, бабушка как безработная становится на учет на бирже труда (справка).

Вот образец нового смешанного канцелярского стиля:

«СПРАВКА

Дана сия т. Тарковской в том, что она находилась на службе в Лессекции в качестве счетовода с 10-го июня 1920 года по 1 февраля 1922 года. Уволена по сокращению штатов, что удостоверяется». (Подпись неразборчива.)

В двадцатые годы семья Тарковских оказывается без средств к существованию. Банк, в котором служил Александр Карлович, в 1920 году окончательно закрывают. Да и работать Александр Карлович уже не мог, потому что к тому времени он совсем потерял зрение. Начинаются хлопоты о персональной пенсии для Александра Карловича, собираются многочисленные справки и свидетельства, пишутся заявления. Наконец документы посланы в последнюю инстанцию — в Общество бывших политкаторжан и ссыльнопоселенцев в Москве. Вскоре от собратьев по борьбе приходит ответ. Стоит привести его целиком.

«Согласно постановления Комиссии помощи ветеранам и инвалидам каторги и ссылки, Совет Общества обращается с просьбой о назначении персональной пенсии бывшему народовольцу Александру Карловичу Тарковскому, 61 года, проживающему в гор. Елисаветграде Одесской губернии, угол Верхне-Донской и Александровской, дом Гусевых, на его попечении жена и сын 16 лет; сам тов. Тарковский слепой. Старший его сын погиб против банд Григорьева 16 мая 1919 года*. А.К. Тарковский участвовал в революционном движении с 79 по 84 год; с 84 по 87 год пробыл в заключении и в 87 выслан в Восточную Сибирь на пять лет, откуда вернулся в 92 году. После возвращения из ссылки под влиянием наступившей слепоты принимал слабое участие в рев. движении.

* Дата гибели Валерия в документах указывается от 15 до 19 мая 1919 г.

Как не бывшему ни в каторге, ни в ссылке с лишением прав Общество не имеет возможности оказать поддержки.

Член Президиума С. Темкин

Секретарь Л. Старр

С подлинным верно — делопроизводитель Степанов».

Последняя фраза неуклюжа, но суть ее ясна — Тарковский не достоин персональной пенсии. Формалистов из Общества ветеранов и инвалидов каторги и ссылки не интересуют такие детали, как слепота просителя или смерть в бою против атамана Григорьева его сына-подростка.

Но Александр Карлович все-таки получил пенсию. Незадолго до смерти, в феврале 1924 года, ему определили персональную пенсию по семнадцатому разряду в размере 99 рублей 50 копеек.

После смерти мужа Мария Даниловна снова начинает хлопоты, теперь уже о пенсии для себя. Снова собираются справки и свидетельства, пишутся заявления и заполняется чудовищная анкета из двадцати пунктов. В ответах бабушки на вопросы анкеты сквозит чувство уязвленного самолюбия и нескрываемое раздражение. На вопрос № 8 «Имущественное положение до Февральской революции, до Октябрьской революции, в настоящее время» она отвечает: «Ничего нет и не было».

Бабушка получила пенсию за мужа — 49 рублей 75 копеек. Во время войны из этой пенсии она высылала каждый месяц двадцать рублей для нас, ее внуков. Умерла бабушка Тарковская в сорок четвертом году в Москве, в семье папиной сестры Леониллы Александровны. Свидетельство о смерти бабушки осталось, наверное, у тети Лёни.

Карманные часы

Я хорошо помнила эту дачу в Переделкине — туда до войны выезжал писательский детский сад, и я провела там последнее довоенное лето.

И сейчас, в сорок третьем, как напоминание о том беззаботном времени, стоит недалеко от нее застекленная беседка — «восьмигранник». Там была детсадовская столовая, и во время светлого летнего ливня нас, накрытых одеялами, перетаскивали на руках воспитательницы — обедать...

Теперь я опять живу в Переделкине, бабушка и Андрей — в Москве, а мама, «оформленная» сторожем дачи, ездит туда-сюда. В Москве у нее дела. Еще она работает надомницей в литфондовском комбинате — вяжет носки и варежки. А заодно присматривает за Андреем, боится, чтобы он не попал в дурную компа-

нию. К весне ей все-таки придется забрать его из Москвы, от греха подальше...

В писательском поселке почти все дачи заколочены, кругом осенняя глухая темнота. Только шумят, раскачиваясь от ветра, сосны на участке, кричит зловеще поселившийся где-то поблизости филин, да доносится издали перестук поезда.

Я учусь во втором классе деревенской школы. Осенью хожу туда через плотину, а зимой — наискосок, по узенькой тропинке, которая ведет по замерзшему пруду прямо к низкому деревянному дому школы.

Чтобы я не опаздывала на уроки, мама привезла мне из Москвы часы, «да не простые, а золотые». Честное слово! На столе перед окном нашей каморки теперь лежали круглые золотые часы. Это были карманные швейцарской марки часы маминого отчима, Николая Матвеевича Петрова, доставшиеся ей по завещанию. Золотая цепочка, на которой они некогда висели, была продана бабушкой еще до войны. Часы же хотел купить у бабушки артист Хенкин, но почему-то раздумал, и они пережили благополучно самые трудные времена...

Ходят часы очень точно, надо только не забывать заводить их каждое утро в одно и то же время.

Стекла у часов уже не было. Поэтому черные изящные стрелки — часовая, с ажурным концом, напоминающим вытянутое сердечко, минутная, без украшений, чуть изогнутая книзу, и золотая, совсем тоненькая, секундная — были заманчиво беззащитны.

Я любила смотреть, как медленно, почти незаметно для глаза, ползут по циферблату большие стрелки и как быстро и весело бежит, подрагивая, секундная.

Однажды я смотрела-смотрела на стрелки да и взяла в руки самую тоненькую, секундную. Она была невесома и почти неосязема. Какое-то мгновение — и стрелка выпала из моих рук на пол. А пол был дощатый и весь в щелях. Долго я ползала в поисках стрелки, а когда поняла, что мне ее не найти, заплакала, тихо и безнадежно.

Приехала мама. Увидев меня в слезах, сидящую на полу, она обеспокоилась, но, узнав о причине слез, спросила: «А ты когда начала плакать — как меня увидела или давно, когда стрелка потерялась?» Я ответила, что плакать начала задолго до ее приезда. Тогда мама повеселела и стала меня утешать...

Прошло время. Война окончилась. Мы все уже жили в Москве. Теперь мы узнавали время по большому железному будильнику, громко отсчитывавшему минуты и отвратительно трещащему по утрам.

А золотые карманные часы оказались в ломбарде на Арбате, где пролежали с небольшими перерывами несколько

лет. Они задерживались у мамы только на то время, которое она, выкупив часы, проводила в очереди, чтобы их заложить снова.

Несколько раз мама брала меня с собой, чтобы я заняла очередь на заклад, в то время как она будет их выкупать наверху. Помню это скорбное место — стойкий запах нафталина, угрюмые вереницы людей к окошкам, звяканье серебряных ложек на весах приемщицы и объявление на стене: «Инвалиды Великой Отечественной войны и Герои Советского Союза обслуживаются вне очереди». Интересно, а что закладывали Герои — свои золотые звездочки?

Наверху, в зале, где выкупались вещи, было веселее — лица у людей были не такие обреченные, да и разговоры в очереди звучали громче. Молодые женщины, отойдя от окошка, сразу надевали свои кольца и серьги и, обретя прежний независимый вид, выходили на улицу. Они были почти уверены, что больше никогда не вернуться в это мрачное бальзаковское заведение...

Потом наступило время, когда часы отдыхали — лежали себе в бабушкиной коробке из карельской березы...

После маминой смерти я передала коробку с часами Андрею. В одну из своих поездок в Италию он их починил — в часы вставили стекло и секундную стрелку.

Я заметила, с каким удовольствием Андрей пользовался часами — нажимал на рифленое колесико, чтобы открылась крышка, и, посмотрев на циферблат, защелкивал ее. Часы закрывались, но успокаивались не сразу — внутри еще некоторое время слышалось легкое дребезжание пружины.

Носил Андрей часы в нагрудном кармане. Наверное, ему было приятно, что мамины часы тикают где-то возле его сердца. Только недолго они ему послужили.

Теперь эти часы у его сына Андрюши. Их история продолжается...

Думая об Андрее...

Когда родилась я, Андрей уже жил на свете, поэтому для меня он существовал всегда, как мама, как папа, как бабушка Вера.

Как и все матери при рождении второго ребенка, мама боялась, что мое появление может травмировать маленького Андрюшу — ему тогда было два с половиной года. Она не хотела, чтобы он начал ревновать родителей к младшей сестренке, поэтому никогда не подчеркивала своей заботы обо мне и никогда не сюсюкала со мной (впрочем, как и с Андреем). Но вместе с тем она пыталась развить в старшем брате чувство ответственности и любовь ко мне. И у него не появилось

неприязни к новоявленному существу, претендующему на внимание родителей. Он относился ко мне с интересом и участием. «Мама, посмотри, какие у Маринки пальчики на ножках, как конфетки!»

Мы подрастали, и я помню, что на улице Андрей всегда крепко держал меня за руку.

Он был необыкновенно подвижным и изобретательным на проказы. Затихал он только над книгой. Меня Андрей оберегал от «внешних врагов», а дома частенько «мучил», дразнил, доводил до слез... Феи, стоявшие у колыбели Андрея, щедро наградили его талантами. У нас дома говорили, что все досталось ему, а мне — ничего. Он хорошо рисовал, у него был абсолютный слух и чистый мальчишеский дискант. С раннего детства он был «обезьяной» — в этом «обезьянстве» проявлялся его актерский талант. Чувство застенчивости, от которого я так страдала в детстве и в юности, у него совершенно отсутствовало. Но вместе с тем Андрей бывал и тяжелодум — иногда не сразу находил выход из ситуации, иногда затруднялся с ответом. Иногда замирал на какое-то время, взгляд у него останавливался, он уходил внутрь себя. Такое состояние нападало на него довольно часто — строгаёт палку (он любил вырезать орнаменты на ореховых палках) и вдруг замрет, уставившись в одну точку.

Что означали эти провалы — работу мысли или, наоборот, отключение и от мыслей, и от внешнего мира? В какой мир он погружался в такие минуты, куда уходил? «Э-эй, Андрей!» — окликала я его, и он, тряхнув головой, возвращался к реальности.

Я думаю, что, еще не осознавая себя «гением», он ощущал в себе некую особенность, назову ее Божьей отметиной, и это ощущение тревожило его. Он слепо искал выхода своей необычной энергии. Ему было необходимо отлупить сестренку, нагрянуть маме или бабушке. Позже эта энергия вылилась в отношения с друзьями, которых у него было много и которым он был необыкновенно предан, в увлечения девушками, а влюблялся он катастрофически, в театральную самодеятельность, ради которой совсем забросил школу.

Андрей многим отличался от своих сверстников — и темпераментом, и одаренностью, и образованностью. А он хотел быть таким, как все. Отсюда его драчливость, матерщина, общение с подозрительными приятелями. Когда Андрею было пятнадцать лет, он подал в школе заявление с просьбой принять его в комсомол, тогда все поголовно были комсомольцами. Его не приняли — против выступил его близкий друг, который сказал на собрании, что Тарковский не достоин носить звание комсомольца. (Стая всегда защищается от чужаков.) Андрей тогда очень переживал свою «неполноценность», это позже он гор-



Андрей с собакой Дагом незадолго до отъезда из России

дился, что в школе «не состоял». Но что удивительно — он не порвал с этим своим другом и даже зауживал его «за объективность».

А уже через два-три года Андрей стал «стилягой», возникло стремление быть не таким, как все, а таким, как некоторые. Эти некоторые выделались в особое братство, объединенное любовью к джазу, мечтой о кока-коле как о некоем символе свободы, набриолиненными волосами, узкими брюками и пестрыми галстуками...

После поездки в Сибирь с геологической экспедицией Андрей наконец нашел себя. С первого курса ВГИКа стало ясно, что кино — это его дорога. Здесь реализовались все его таланты. Оказалось, что он любит и умеет

работать. Сняв «Рублева», он понял, что способен на многое в искусстве. Уже тогда о нем стали говорить как о гении. А за гениальность приходится платить. Вспомним «Доктора Фаустуса» Т. Манна, не случайно Андрей хотел его экранизировать.

В дневнике Андрея от 12 сентября 1970 года есть такая запись: «Я, наверное, эгоист. Но ужасно люблю и мать, и отца, и Маринку, и Сеньку. Но на меня находит столбняк, и я не могу выразить своих чувств. Любовь моя какая-то недействительная... Я хочу только, наверное, чтобы меня оставили в покое, даже забыли. Я не хочу рассчитывать на их любовь и ничего от них не требую, кроме свободы. А свободы-то нет и не будет...»

Хорошо, что ни мама, ни папа не прочли этих слов, мне одной пришлось пережить их горечь. Андрей не умел любить своих близких, перед которыми он испытывал чувство вины. Ему хотелось освободиться от нас морально, чтобы быть «как все» в своей личной жизни. Он тяготился нашими высокими требованиями к нему, хотя никто из нас не высказывал ему своих претензий или недовольств. Он страдал. Слишком поздно я поняла слова закадрового героя «Зеркала»: «В конце концов, я хотел быть просто счастливым».

Был ли он счастливым?

Может быть, он ответил на этот вопрос в «Жертвоприношении»?



Андрей Тарковский. Стокгольм, 1984



Арсений Тарковский. Москва, середина 80-х годов

Странные письма

Я снова перелистываю французское издание дневников Андрея. За сентябрь 1983 года есть только одна запись. Андрей в который раз ломает голову над тем, каким образом выволочить из советского плена сына, тещу и падчерицу. Той осенью он работает в Италии над документальным фильмом Донателлы Багливо, ставит «Бориса Годунова» в Ковент-Гардене, начинает «Жертвоприношение». Но в дневниковых его записях присутствует постоянный мрачный фон — тоска по сыну, оставшемуся в Москве.

Начальники Госкино ставят Андрею одно условие — прежде, чем они продлят ему срок пребывания за границей в связи с его творческими планами, он должен приехать в Москву вместе с женой. Андрей понимает, что означают эти требования, которые он получает через советское посольство в Италии, — он уже никогда больше не сможет выехать за границу.

До папы все настойчивее доходят слухи о том, что Андрей не хочет возвращаться в Москву. Однажды, это было в сентябре 1983-го, приехав в Дом ветеранов кино в Матвеевском, где жил тогда папа, я узнаю, что у него побывал директор киностудии «Мосфильм». Он ехал в командировку в Италию и мог бы передать Андрею письмо от папы. А предложению этому предшест-

вовал разговор — Андрей, закончив «Ностальгию», не желает возвращаться в Москву.

Папа согласился написать письмо. Для него лично не существовало вопроса эмиграции. Он не был борцом-правозащитником (хотя и назывался у властей «скрытым диссидентом») и не подлежал насильственному выдворению из СССР. Он знал, что, как бы трудно ему ни жилось на родине, как бы трагически ни складывалась его творческая судьба, он будет жить на этой «скорбной» земле и, если будет нужно, снова примет за нее «крестные муки». Папа часто читал мне стихотворение Анны Андреевны Ахматовой:

Мне голос был. Он звал утешно,
Он говорил: «Иди сюда,
Оставь свой край, глухой и грешный,
Оставь Россию навсегда.

Я кровь от рук твоих отмою,
Из сердца выну черный стыд,
Я новым именем покрою
Боль поражений и обид».

Но равнодушно и спокойно
Руками я замкнула слух,
Чтоб этой речью недостойной
Не осквернился скорбный дух.

Папа писал свое письмо Андрею не для того, чтобы угодить лицемерам и ничтожествам, обладавшим властью, а для того, чтобы предостеречь сына от трудной участи русского таланта на чужбине, от горькой судьбы изгнанника. Он не беспокоился о последствиях, которые мог навлечь на него отказ Андрея от возвращения, он тревожился лишь о судьбе сына и писал ему, что русский художник не может жить и работать без России, не должен лишаться своих корней и своей среды. Папе было семьдесят шесть лет. Мне говорили, что он писал письмо и плакал. Стыдно, наверное, было директору «Мосфильма», сидевшему рядом с ним в маленькой комнатке Дома ветеранов кино.

«6 сентября 1983

Дорогой Андрей, мой мальчик!

Мне очень грустно, что ты не написал нам ни строчки, ни мне, ни Марине. Мы оба так тебя любим, мы скучаем по тебе. Я очень встревожен слухами, которые ходят о тебе по Москве. Здесь, у нас, ты режиссер номер один, в то время как там, за границей, ты не сможешь никогда реализовать себя,

твой талант не сможет развернуться в полную силу. Тебе безусловно, обязательно надо возвратиться в Москву; ты будешь иметь полную свободу, чтобы ставить свои фильмы. Все будет, как ты этого захочешь: и ты сможешь снимать все, что захочешь. Это обещание людей, чьи слова чего-то стоят и к которым надо прислушаться.

Я себя чувствую очень постаревшим и ослабевшим. Мне будет в июне семьдесят семь лет. Это большой возраст, и я боюсь, что наша разлука будет роковой. Возвращайся поскорее, сынок. Как ты будешь жить без родного языка, без родной природы, без маленького Андрюши, без Сеньки? Так нельзя жить, думая только о себе — это пустое существование.

Я очень скучаю по тебе, я грущу и жду твоего возвращения. Я хочу, чтобы ты ответил на призыв твоего отца. Неужели твое сердце останется безразличным?

Как может быть притягательна чужая земля? Ты сам хорошо знаешь, как Россия прекрасна и достойна любви. Разве не она родила величайших писателей человечества?

Не забывай, что за границей, в эмиграции самые талантливые люди кончали безумием или петлей. Мне приходит на память, что я некогда перевел поэму гениального Махтумкули под названием «Вдали от родины». Бойся стать «несчастливым из несчастных» — «изгнанником», как он себя называл.

Папа Ас, который тебя очень сильно любит.

Через некоторое время пришел ответ от Андрея. Не знаю, кому больше было адресовано письмо — папе, ЦК или КГБ. Думаю, скорее двум последним адресатам.

«16/IX 83 г.

Дорогой отец!

Мне очень грустно, что у тебя возникло чувство, будто бы я избрал роль «изгнанника» и чуть ли не собираюсь бросить свою Россию... Я не знаю, кому выгодно таким образом толковать тяжелую ситуацию, в которой я оказался, «благодаря» многолетней травле начальством Госкино и, в частности, Ермашом, его председателем. Мне кажется, он еще вынужден будет ответить за свои действия Советскому Правительству.

Может быть, ты не подсчитывал, но ведь я из двадцати с лишним лет работы в советском кино — около 17-ти был безнадежно безработным.

Госкино не хотело, чтобы я работал!

Меня травили все это время, и последней каплей был скандал в Канне, в связи с неблагородными действиями Бондарчука, который, будучи членом жюри фестиваля, по наущению начальства старался (правда, в результате тщетно) сделать все, чтобы я не получил премии (я получил их целых три) за фильм

«Ностальгия»*. Этот фильм я считаю в высшей степени патристическим, и многие из тех мыслей, которые ты с горечью кидаешь мне с упреком, получили свое выражение в нем. Попроси у Ермаша разрешения посмотреть его, и все поймешь и согласишься со мной.

Желание же начальства втоптать мои чувства в грязь означает безусловное и страстное мечтание отделаться от меня, избавиться от меня и моего творчества, которое им не нужно совершенно.

Когда на выставку Маяковского в связи с его двадцатилетней работой почти никто из его коллег не захотел придти, поэт воспринял это как жесточайший и несправедливый удар, и многие литературоведы считают это событие одной из главных причин, по которым он застрелился.

Когда же у меня был 50-летний юбилей, не было не только выставки, не было даже объявления и поздравления в нашем кинематографическом журнале, что делается всегда и с каждым членом Союза кинематографистов. Но даже это мелочь — причин десятки — и все они унизительны для меня. Ты просто не в курсе дела.

Потом я вовсе не собираюсь уезжать надолго. Я прошу у своего руководства паспорта для себя, Ларисы, Андрюши и его бабушки, с которыми бы мы смогли в течение 3-х лет жить за границей — с тем, чтобы выполнить, вернее, воплотить свою заветную мечту: поставить оперу «Борис Годунов» в Covent Garden в Лондоне и «Гамлета» в кино. Об этом я написал свое письмо — просьбу в Госкино и Отдел культуры ЦК. До сих пор не получил ответа.

Я уверен, что мое правительство даст мне разрешение и на эту работу и на приезд сюда Андрюши и бабушки, которых я не видел уже полтора года.

Я уверен, что правительство не станет настаивать на каком-либо другом, антигуманном и несправедливом ответе в мой адрес. Авторитет его настолько велик, что считать меня в теперешней ситуации вынуждающим кого-то на единственно возможный ответ просто смешно; у меня нет другого выхода: я не могу позволить унижать себя до крайней степени, и письмо мое просьба, а не требование. Что же касается моих патристических

* Противостояние Тарковский — Бондарчук прежде всего было спровоцировано партийной системой руководства кинематографом. Известно также, что близкие к Тарковскому лица подогревали его неприязнь к Бондарчуку. В дневниковой записи от 22.05.1983 года Андрей свидетельствует, что от сотрудницы газеты «Монд», члена жюри фестиваля Ивонны Баби, он узнал, что Бондарчук негативно отзывался о его фильме. Возможно, что со временем мы узнаем, как проходило голосование на Каннском фестивале в 1983 году.

ких чувств, то смотри «Ностальгию» (если тебе ее покажут) для того, чтобы согласиться со мной в моих чувствах к своей стране.

Я уверен, что все кончится хорошо, я кончу здесь работу и вернусь очень скоро с Анной Семеновной и Андреем и Ларисой в Москву, чтобы обнять тебя и всех наших, даже если я останусь (наверняка) в Москве без работы. Мне это не в новинку.

Я уверен, что мое правительство не откажет мне в моей скромной и естественной просьбе.

В случае же невероятного — будет ужасный скандал. Не дай Бог, я не хочу его, ты сам понимаешь.

Я не диссидент, я художник, который внес свою лепту в сокровищницу славы советского кино. И не последний, как я догадываюсь.

(В «Советском фильме» один бездарный критик, наученный начальством, запоздало назвал меня великим.) И денег (валюты) я заработал своему государству больше всех бондарчуков, вместе взятых.

А семья моя в это время голодала. Поэтому я и не верю в несправедливое и бесчеловечное к себе отношение. Я же как остался Советским художником, так им и буду, чего бы ни говорили сейчас виноватые, выталкивающие меня за границу.

Целую тебя крепко-крепко, желаю здоровья и сил. До скорой встречи.

Твой сын — несчастный и замученный — *Андрей Тарковский*.

P. S. Лара тебе кланяется».

Официальный тон письма, его выражения («мое правительство», «авторитет его настолько велик», «советский художник», «внес лепту в сокровищницу славы советского кино»), заверения Андрея, что он вернется, осуществив свои творческие замыслы, говорили о том, что он не сомневался, что письмо его прочтает не только папа, что оно дойдет и до официальных инстанций. Даже само обращение в начале письма было необычным для Андрея — он никогда не называл папу «отец». Это была еще одна полная отчаяния и безнадежная попытка достучаться до правительства, которое оставалось глухо ко всем его предыдущим просьбам о продлении срока его пребывания за границей и о выезде к нему родных.

Я переписала для себя это письмо Андрея. Перечитывая его, я все больше и больше убеждалась, что он уже не вернется обратно. Видимо, понимали это и «начальники», недаром они с 1982 года держали в заложниках его сына Андрюшу.

Папе было трудно отвечать Андрею — он мучительно переживал происходящее, да и практически он не мог написать того, что ему хотелось, — помимо внешнего, у него был свой, «домашний», цензор. Папа ни разу не произнес ни единого слова осуждения в адрес Андрея. Он считал, что если сын принял свое

решение, значит, у него были на то основания и права. Но как горько было ему выслушивать иногда злорадные, иногда просто бестактные обращения: «А правда, что ваш сын остался?»

Папа попросил меня ответить на Андреево письмо. Я не сохранила своего черновика, но хорошо помню те чувства, с которыми писала этот ответ. Я включилась в игру Андрея и обращалась не к нему, а к тем, кто будет мое письмо читать: «Дорогой Андрей, я так и знала, что ты не собираешься навсегда покинуть Родину, что слухи об этом — просто грязные сплетни. Тарковские всегда любили свою страну и свой народ — наш дед-народоволец был за эту любовь сослан в Сибирь, папа добровольно ушел на фронт...»

Я очень старалась и слово «родина» писала с большой буквы — надеялась, что мое письмо поможет Андрею поскорее увидеть сына. Как я была наивна тогда, думая, что смогу таким «хитрым» образом повлиять на ход событий! «Они» выпустили Андриюшу-младшего только в январе 1986-го, когда через советское посольство в Париже узнали о смертельной болезни Андрея.

Папа. Последний год

Последние годы папа, уже тяжело больной, вопреки своей воле провел в Доме ветеранов кино в Матвеевском, а умирать был отправлен в привилегированную Кунцевскую больницу, где из милости его держали полгода. Это было трудное время, когда я узнала не только горе, связанное с болезнью и смертью папы, но и злобу, жестокость, предательство.

Привожу здесь некоторые записи, которые заносила тогда в толстую черную тетрадь. Я никогда не вела регулярных дневников, соглашаясь со словами Тютчева «Мысль изреченная есть ложь». Но в отдельные, роковые моменты жизни я записывала происходящее, не надеясь на свою память.

«30 октября 1988 года.

12 часов ночи.

Только что вернулась от папы. В Матвеевском была с Магомтом Шамхаловым. Застали папу и Татьяну Алексеевну в вестибюле у телевизора. Показывали «Долгие проводы» Киры Муратовой. Татьяна Алексеевна сидит впереди в кресле, папа — сзади. Сидел, смотрел на экран. Потом спросил: «Это опять она?» — про актрису на экране. Задремал. После фильма пошли в номер. Татьяна Алексеевна включила самовар. Начала свои всё одни и те же рассказы о пятидесятых годах. Первый — как папа запер на ключ секретаря Союза писателей в его кабинете. Второй — как Литфонд отказал папе в путевке в Дом творчества в Переделкине. Папа тогда написал письмо

Фадееву: «Дорогой Саша! Твой собачий Литфонд не разрешает мне получить две путевки в Дом творчества!» Фадеев прямо на этом письме поставил резолюцию: «Выдать Тарковскому путевки!» Это письмо с резолюцией Татьяна Алексеевна отнесла в Литфонд.

Во время этих рассказов папа дремлет, сидя на диване. Он почти все время спит. «Умник» врач-психиатр его глушит транквилизаторами. Татьяна Алексеевна возобновляет разговор о правах папы на наследство Андрея. Недоверчиво слушает мои аргументы против — говорю, что у Андрея есть жена и сыновья.

Папа просыпается, хочет подняться с низкого дивана. Я ему помогаю. «Не помогай! — резко говорит Татьяна Алексеевна. — Он должен сам подняться. Арсюша, сделай усилие. Ты не хочешь сделать усилие!» Это она выполняет предписание врача, который, согласно науке, считает, что папа должен все делать сам.

31 октября 1988.

Утро.

Спешу записать сон, пока не исчезло чувство его реальности. Снился Андрей, будто он жив, но я даже во сне знаю, что он умер. Мне говорят, что я могу его оживить. Обнимаю его всего, прижимаюсь к нему всем телом, чтобы мои силы перешли в него.

16 ноября 1988 года.

Сегодня я позвонила Татьяне Алексеевне с предложением приходить регулярно, чтобы помогать ей кормить папу и ухаживать за ним. Она говорила что-то насчет того, что не знает папиного режима, не знает, когда его будить. Явно не хочет, чтобы я приходила. Потом Татьяна Алексеевна позвонила сама — с тем же разговором, а затем начала рассказывать, что после смерти Алеши хотела покончить с собой, но не сделала этого из-за папы. (Я прекрасно помню ее после смерти Алеши. Помню, что в разговоре о приближении 2000 года она воскликнула: «Эх, дожить бы!») Что ж, буду приезжать в Матвеевское без предварительных звонков, ничего больше не остается.

25 ноября 1988 года.

День рождения Татьяны Алексеевны, вчера — Алеши.

Теперь я прихожу к папе через день, чередуемся с Ирмой. Татьяна поняла, что папе нужен уход, что ей не справиться. Поэтому я наконец допущена к нему. Иду сегодня. Сейчас варю папе жидкую овсяную кашу — ему трудно глотать казенные творожники. Из-за того, что теперь мне не нужно каждый раз спрашивать разрешения приехать у Татьяны, у меня силы появи-

лись и настроение улучшилось. Хотя я понимаю, что киста на пищеводе, которую обнаружили литфондовские врачи, вовсе не киста.

8 декабря 1988 года.

К папе хожу через день. Вчера, 7 декабря, он был лучше, чем 5-го. Сам застегивал пуговицу, ответил на вопрос, хочет ли есть. Спал меньше. Хорошо ел и глотал. Жевал мандарин.

Сегодня мне снились два надгробных памятника с закругленным верхом, с мозаикой из крупных камней. Красивые. Стоят на спинке дивана, где спит папа. Этот сон приснился после того, как Татьяна рассказала, что она заказала два парных памятника — себе и Алеше. Кстати, о диване, уже наяву. Говорила с Татьяной Алексеевной, что надо перенести кровать из спальни в первую комнату для папы. Потому что спать на диване ему неудобно — он узкий, у него прямая спинка, и папа не может повернуться на другой бок, спит только на левом. Татьяна посмотрела на меня зло и ничего не ответила, будто не слышала моих слов.

9 декабря 1988 года.

На сегодня было назначено заседание Комиссии по наследию Андрея. Никто почему-то не пришел, только Тамара Георгиевна Огородникова, Юлик Файт и я. (Как выяснилось позже, Лариса Павловна, вдова Андрея, запретила работу комиссии. — М.Т.). А я из-за этого заседания не пошла к папе. Его в этот день положили в больницу. Союз писателей выхлопотал через ЦК разрешение на Кунцевскую больницу. Часов в шесть приехали за папой. Ирма его сопровождала. Уже через час сделали кардиограмму — хорошая. Положили его в реанимацию, то есть в отделение усиленной терапии. Татьяна Алексеевна не захотела дать мне номер врача, пришлось узнавать через справочную.

10 декабря 1988 года.

Папа все еще в реанимации Кунцевской больницы, туда посетителей не пускают. Надежды на выздоровление нет. Как сказал мне врач — «организм исчерпал свои возможности». Папа не понимает, где находится, поэтому пребывание в больнице для него не тяжело — так, по крайней мере, говорит врач. Договорились с Сеней, Арсением-младшим, что будем с ним ходить в больницу по очереди.

Подбираю иллюстративный материал к сборнику воспоминаний об Андрее и к выставке в Доме кино.

26 декабря 1988 года.

Вечер памяти в Доме кино. Стихи читала Юнна Мориц, звучала музыка Артемьева. Народу было немного, и создалось впечатление, что мало кому этот вечер нужен.

Кайдановский вел вечер, говорил много хорошего об Андрее. Вот что мне удалось записать: «Мне посчастливилось в течение трех лет работать с великим художником. Не знаю, для кого он сделал больше, чем для меня. Я стал актером; он посоветовал мне поступить на Высшие режиссерские курсы. Меня пугает, что после смерти Тарковского возникла некая наукообразность, попытки расшифровать его творчество... Фильмы Тарковского сложны, но не требуют подобной наукообразной расшифровки. Не надо усложнять его фильмы. Андрей Арсеньевич соприкасался с мировой культурой, сам был необычайно талантлив... Меня заинтересовало одно интервью с Тарковским, когда он был уже болен. Вопросы были поставлены глупо: «Почему ваше творчество имеет такое значение?» Тарковский относился серьезно к своему творчеству и ответил без юмора: «Вероятно, потому, что для меня искусство как молитва. Это мой долг»... Общение с Тарковским входит навечно. Он оказал влияние на многих, я ему подражаю. Он интересно общался с актерами на площадке: «Толя, ты играешь, как топор», и Толя понимал. Иногда Тарковский говорил актеру: «Не надо мне вашей выразительности» — или: «Артист есть часть кадра». Трудно расставаться с любимым человеком, когда узнаешь об его уходе — это удар. Когда не стало Андрея, каждый пережил удар. Но во всех его фильмах есть уходы. В фильме «Ностальгия» — проход со свечой».

24 января 1989 года.

Вчера в больнице мне сказали, что у папы рак. Жить осталось немного. Он может умереть в любое время. Меня папа узнал, сказал: «Подойди поближе!» Поел немного.

Приду завтра. Сегодня говорила с заведующей отделением, просила, чтобы папу не мучили исследованиями. Она согласилась. Татьяна Алексеевна волнуется, что ее не успеют прописать в Доме ветеранов кино до смерти папы. Узнав о диагнозе, сказала о папе: «Бедный человек!»

25 января 1989 года.

Была у папы с часу дня до шести вечера. Он очень похудел и ослаб. Когда лежит — лицо у него молодое и красивое, как на военной карточке. Смотрит, меня узнал, лицо оживилось. Отвечал на вопросы. Потом я спросила, что передать Татьяне Алексеевне. Он не ответил, закрыл глаза, уснул.

Вечером я позвонила Татьяне Алексеевне. Она никак не реагирует на папин диагноз. Я позвонила ей еще раз, сказала, что положение папы очень серьезное.

23 февраля 1989 года.

Папу не лечат, а переводят из отделения в отделение. Он оставлен в больнице умирать. На мое предложение взять папу ко мне домой Татьяна только сверкнула глазами.

Сейчас папа в радиологическом корпусе. Он лежит в отдельной палате. Вечером вдруг явилась какая-то незнакомая девушка с пышными распущенными волосами. Поклонница. Даже в закрытую больницу могут проникнуть настойчивые посетители. Я встретила ее в коридоре, спросила, почему она считает возможным вот так, не поговорив с родными, прийти в больницу к тяжелобольному человеку?

4 марта 1989 года.

Записываю в больнице у папы. Он спит. Сказали, что попил чая. Вчера были у папы вдвоем с Ирмой. Она впервые в больнице за это время. Ей уже нет смысла демонстрировать «преданность». Говорит, что больше не приедет — ей «тяжело видеть Арсения Александровича в таком состоянии». Маму ей тоже, наверное, было тяжело видеть больной, за два года ее болезни ни разу не приехала посидеть с ней. В поездках к папе мы чередуемся с Арсением, хотя из-за его занятий мне приходится часто его заменять.

Надежды на выздоровление папы нет. Медсестра вошла, поправила одеяло в пододеяльнике: «Ползет и ползет...» У меня появилось что-то новенькое, какие-то блески сверкают в углу левого глаза.

Я хожу в больницу с 9 декабря. Тогда кругом высились огромные сугробы. Тропка от автобусной остановки вилась между высокими грудями снега. Сейчас снега почти нет, видны большие куски уже сухого асфальта. Раньше, когда я шла по парку, все было белым, и на снегу — черные в сумерках стволы сосен. Сейчас и снег в парке черный, и деревья черные. О чем еще писать? Да, вчера узнала от Ирмы, что она выбросила папины старые брюки — «их было очень много». Она их сначала предложила дворнику, тот не взял: «На кой мне!» Ах, Ира, Ира, ведь папа еще жив...

Папа спит... Смотрю из окна на дорожку, которая идет мимо корпуса. День яркий, солнечный. Дорожка расчищена от снега, который высится вдоль нее отвесными сугробами. Маленькая серая мышка пытается залезть на обледенелый край дорожки. Каждый раз она срывается и снова и снова повторяет свои попытки. Не могу смотреть...

Ездить к папе теперь практически незачем — его кормят, поят, каждый день меняют белье. Я ему не нужна. Он равнодушно встречает меня и так же равнодушен к моему уходу.

7 марта 1989 года.

Была у папы. Сегодня должна была поехать Татьяна Алексеевна, но позвонила, что больна. Я шла по дорожке от проходной. Снег в больничном парке совсем потемнел, а зимой был белый-белый. Кажется, я об этом уже писала. Иду мимо темных деревьев к радиологическому корпусу, это на-

право от ворот. Там довольно уютно — маленькая раздевалка, цветы.

Папа пожелтевший, худой. Врач сказал, что не надо его сажать — он очень слаб. Боже мой, что нас ждет!

12 марта 1989 года.

Сегодня в больницу не еду. Не могу себя заставить — так плохо себя чувствую. Разговаривала с врачом по телефону. Она говорит, что сегодня папа не реагировал на зов.

14 марта 1989 года.

Папа не спал, когда я приехала. Узнал меня, но был очень слаб. Поел немного.

26 марта 1989 года.

Записываю не каждый день — сил не хватает. Прошлый раз папа был лучше. Сегодня шла по дорожке парка — снега почти нет, на газонах — чистые лужи. В одной такой луже сидели утка и селезень, красоты невозможной. Они не испугались меня и продолжали так доверчиво сидеть.

Пришла к папе, медсестра поит его чаем. Я сделала апельсиновый сок, папа его весь выпил. Сидел в подушках, смотрел на меня. Когда я собралась уходить, я сказала: «Папа, я пошла!» — «Иди». Пропуск у меня по 27 марта.

1 апреля 1989 года.

Пишу для памяти, что папу перевели в радиологическое отделение 21 февраля. Ясно, что его будут там держать, пока не потребуется место для другого больного. Была сегодня у него. Смотрел на меня, ничего не говорил.

8 апреля 1989 года.

Пропустила несколько дней, не пишется. Папу перевели в диагностическое отделение, 3-й этаж, палата № 399. Он там один. Матрас какой-то особенный, надувной, с компрессором, чтобы не было пролежней. Такие матрасы всем бы лежачим больным!

Меня узнал ли? Не знаю. Спросил, что там стучит. Про компрессор. На вопросы врача и мои не отвечал. Мерили температуру, пили апельсиновый сок. Спал. В больницу приходил гость из Дагестана. У них есть прекрасный обычай — быть рядом с больным родственником. Дагестанцы никак не хотят верить, что мы не родственники.

11 апреля 1989 года.

Открытие «Тарковских чтений» в Доме кино. Вел Мишарин — очень хорошо, свободно, страстно. В фойе Белого зала открыл выставку А. Смирнов: «Имя Тарковского вернулось на родину». Потом в Белом зале выступал Климов. Рассказал, как пробива-

ли Музей Тарковского*. Какой-то умник сказал в своем выступлении, что «умирать надо на родине».

15 апреля 1989 года.

К часу дня приехала к папе. Вот уже несколько месяцев езжу в больницу. У меня даже свое место есть в автобусах — против входа, но не под компостером, а впереди. Там я не вижу автобусной публики, сижу и думаю о своем, и бумажки от компостера на меня не сыплются. Сегодня «мое» место было занято, пришлось сесть под компостер. Езда для меня отдых. На 688 автобусе ехать минут двадцать пять до Кунцевского метро, потом одну остановку на метро, а там опять автобусом, 251-м, уже до больницы. Проверка пропуска — стоит кэ-гэбэшник-пенсионер. Потом иду боковой аллеей, чтобы хоть немного побыть среди деревьев. Чтобы попасть в подъезд, обхожу слева корпус из светлого кирпича на высоком гранитном цоколе — это тебе не блочные корпуса городских больниц!

Сейчас я в диагностическом отделении на третьем этаже. Папа лежит здесь один. Он спит. Проснулся. Смотрит. Делаю апельсиновый сок, папа пьет из поильника. Узнает меня или нет — не знаю, реакции на мое присутствие никакой. Зато на мой вопрос, в каком году родился его отец, мать, Валя — ответил. Я спросила, помнит ли он своего деда. Смотрит, молчит. Я не могу этого выдержать, ухожу плакать в туалетную комнату...

Обед папа съел весь, выпил кисель. Пожевал печенье. Уловила на его лице «тень улыбки». Стал задремывать. Я говорила ему ласковые слова, гладила его голову, руки, целовала. Он тоже поцеловал меня, когда я нагнулась. Пока все, уезжаю.

На газоне сидит селезень, его оперение ослепительной красоты и свежести. Покрякивает, призывая утку.

18 апреля 1989 года.

Приехал из Сибири Миша. Был у дедушки. Миша его давно не видел и потрясен.

19 апреля 1989 года.

Сегодня папу перевели в отделение функциональной неврологии. Толстая пожилая санитарка спрашивает у папы: «А кто это к тебе пришел?» — «Дочка». — «А как зовут дочку-то?» — «Марина». Господи, за что это нам?

27 апреля 1989 года.

Не записываю ничего уже несколько дней. За это время была в больнице несколько раз. Сегодня папе совсем плохо, начался отек легких, который «купировали». Щеки ввалились, губы

* Музея Тарковского в Москве нет до сих пор.

побелели. В лице появилось что-то новое. Дали бы ему спокойно умереть!»

Папа умер через месяц — 27 мая 1989 года. В тот день я была у него.

Анкета Андрея Тарковского

Я бы уточнила — вторая и последняя анкета Андрея. Первая Анкета была им записана в Дневнике 1974 года. В ней было 15 вопросов и, следовательно, 15 ответов. Она называется Анкетой Марселя Пруста (пишу это со слов писателя М. Харитоновой) и пришла к нам из XIX века. Все мы в свое время знали анкету с ответами Карла Маркса. Я не смею судить, насколько искренни бывают ответы на вопросы подобных анкет. Думаю, что порою просто невозможно ответить односложно на тот или иной вопрос, трудно сформулировать одной фразой свое отношение к какому-либо факту или явлению.

Когда я читаю ответы Андрея, мне интересен не столько его ответ, сколько тогдашнее состояние его души, его настроение. К сожалению, я не знаю точной даты Анкеты, опубликованной в еженедельном приложении к западногерманской газете FAZ*.

АНКЕТА

1. *Что для Вас самое большое несчастье?* — Голгофа.
2. *Где бы Вы хотели жить?* — В России.
3. *Что для Вас является абсолютным счастьем?* — Такого не бывает.
4. *Какие ошибки Вы прощаете?* — Прежде всего, ошибки, которые совершает человек, на которого оказывают сильное моральное давление.
5. *Ваш любимый литературный герой?* — Князь Мышкин из романа Достоевского «Идиот».
6. *Ваш любимый исторический персонаж?* — Торо**.
7. *Ваша любимая реальная героиня?* — Женщина, которая обрела чувство внутренней свободы.

* Франкфуртская Общая газета.

** Торо, Генри Дейвид (1817–1862) — американский писатель, мыслитель. Философская проза «Уолден, или Жизнь в лесу», романтическая робинзолада о жизни человека в мире природы.

8. *Ваша любимая литературная героиня?* — Сонечка Мармеладова из «Преступления и наказания» Достоевского.
9. *Ваш любимый художник?* — Пьеро дела Франческа, Андрей Рублев.
10. *Ваш любимый композитор?* — Бах и еще раз Бах.
11. *Какие качества Вы больше всего цените в мужчине?* — Терпимость.
12. *Какие качества Вы больше всего цените в женщине?* — Женственность.
13. *Ваша любимая добродетель?* — Вера в Бога.
14. *Ваше любимое занятие?* — Чтение.
15. *Кем или чем Вы хотели бы стать?* — Музыкантом.
16. *Ваша основная черта характера?* — Абсолютная вера в бессмертие человеческой души.
17. *Что Вы больше всего цените в Ваших друзьях?* — Доброту.
18. *Ваша главная ошибка?* — Нетерпение.
19. *Ваша представление о счастье?* — Такого не существует.
20. *Что явилось бы для Вас наибольшим несчастьем?* — Война.
21. *Что бы Вы хотели видеть в себе?* — Хотел бы сохранить верность самому себе.
22. *Ваш любимый цвет?* — Зеленый.
23. *Ваш любимый цветок?* — Гиацинт.
24. *Ваша любимая птица?* — Сорока.
25. *Ваш любимый писатель?* — Толстой, Достоевский.
26. *Ваш любимый поэт?* — Пушкин.
27. *Ваш герой в реальности?* — Человек, который обрел внутреннюю духовную свободу.
28. *Ваши исторические героини?* — Никаких.
29. *Ваши любимые имена?* — Мария, Анна, Федор, Павел.
30. *Что внушает Вам самое сильное отвращение?* — Общественный конформизм.
31. *Какую историческую личность Вы больше всех презираете?* — Сталина.
32. *Какие военные достижения Вас восхищают?* — Для меня не существует никаких военных достижений.

33. *Какими реформами Вы больше всего восхищаетесь?* — Декларацией прав человека.

34. *Каким природным даром Вы хотели бы обладать?* — Никаким.

35. *Как бы Вы хотели умереть?* — Во сне в своей постели.

36. *Ваша духовная позиция?* — Убежденность.

37. *Ваш девиз?* — Лучше умереть стоя, чем жить на коленях *.

В двух Анкетах, разделенных десятью годами, совпадают несколько ответов. Любимый цвет — зеленый, любимый поэт — Пушкин. Очень меня порадовало, что любимым цветом Андрея гиацинт, мой тоже. О том, что любимой птицей окажется сорока, я знала еще без перевода. А вот лозунг испанской коммунистки заставил меня задуматься. Это что, шутка или всерьез? Наверное, в ответе этом есть доля и того и другого.

На вопрос Анкеты 1974 года «В чем движущая сила женщины?» Андрей отвечает: «Подчинение, самоотречение во имя любви». Об этом же идеальном для него «растворении» женщины в мужчине Андрей говорит и в интервью швейцарской журналистке Ирэне Брежне в 1983 году.

В последней Анкете героиней Андрея становится наконец «женщина, которая обрела внутреннюю свободу». Кто эта женщина? Существовала ли она реально или только в воображении Андрея? Кто знает...

А жить Андрей хотел бы в России.

Андрею холодно

Моему сыну Михаилу

Эта фотография попала ко мне совсем недавно. Зима, территория Московского зоопарка. Замерзший пруд превращен в каток. На переднем плане — деревянная скамейка, на ней мальчишки-малолетки. У скамейки справа стоит спиной к снимающему Андрей. В руках у него чемоданчик с коньками. Знакомый чемоданчик, мой, с ним я ходила на каток, а Андрей часто брал его у меня напрокат. На брате демисезонное пальто с поднятым воротником. Все мальчишки на катке в шапках-ушанках, Андрей в кепке. По приподнятым плечам, по всей его напряженной фигуре я чувствую, как ему холодно. Лица брата

* Выражение из речи, произнесенной 3 сентября 1936 года в Париже деятельницей Испанской компартии Долорес Ибаррури.

я не вижу, но знаю, что он бледен до синевы и на щеках гусиная кожа.

Зимой Андрей всегда мерз, никогда не одевался тепло, по сезону. Это считалось у него особым шиком — отвергать все, что помогает не мерзнуть суровыми московскими зимами. Осеннее пальто он считал элегантнее зимнего, с меховым воротником, кепку — красивее ушанки, хотя тогда, в самом начале пятидесятых годов, и то, и другое, и третье — все было стандартным совпошивом. Под брюки ничего не поддевал даже в трескучие морозы, напрасно мама придумала смешное словечко «кальсонетты». Это не помогло, и «кальсонетты» находились в опале.

Был один благополучный период, когда мама почти насильно, вопреки желанию Андрея, изобрела ему теплую куртку на меху, вроде тех, в которых ходят у нас «шабашники». Мы купили с ней шерстяную ткань в клетку, соседка Андриянова сшила из нее новый верх. К этой клетчатой куртке была мною куплена модная тогда шапка с цигейковым околышем и бархатным верхом. Всю зиму Андрей проходил в Институт востоковедения в этом наряде.

Но уж во ВГИК он не ездил в этой куртке и шапку круглую забросил. Появилось, кажется из комиссионки, серое в елочку пальто и цигейковая шапка-пирожок. Но чаще всего он выходил из дома без шапки. Таких смельчаков в Москве пятидесятых было совсем мало, это сейчас вся молодежь ходит а-ля за граница.

Сохранился листок грубой зеленоватой бумаги, исписанный Андреем, — начало его рассказа вгиковских времен (наверное, второй курс) под названием «Характер».

«С неба сыплется мелкий снег — легкий и сухой. А на тротуарах — сыро. Тускло поблескивает снежная пыль, проносясь мимо освещенных витрин. Тяжело прокатился троллейбус — за морозным окном улыбающаяся девушка-кондуктор. Кому улыбается — не видно.

Человек в белом коротком халате поверх шубы и с онемевшим от холода лицом стоит у засыпанного снегом лотка с конфетами. Руки в карманах. Прошла девушка в меховом пальто и голубой шапочке. Пальто коричневое, шапочка голубая, ярко-рыжие ботинки. «Безвкусица», — подумал Сашка.

Мимо прошли двое. Оба в сапогах и надвинутых на глаза светлых кепках. Один из них, изобразив на лице удивление, протяжно и мерзко выругался.

— Простудишься, фрей! — и громко загоготали, довольные шуткой.

Прошли, ругаясь и обсуждая личные дела. Сашка выплюнул сигарету, наступил на нее. Потер замерзшее ухо и потоптался на



Андрей (стоит справа). Зима, каток

месте. Снег прошел... Давно стоит Сашка. И ждет, — хотя знает, что ждать нечего...»

Рассказ о неудавшейся любви. И о том, что стоит Сашка — Андрей, ждет любимую и мерзнет... Опять мерзнет. Зима, неуют, отвергнутая любовь и холод, холод. Холод в сердце любимой, холод в природе.

Почему он выбрал себе такую участь? Что заставляло его так упорно мучить себя? Психолог сказал бы, что его не оставляло подсознательное чувство вины. Какую вину он за собой чувствовал?

Из того же рассказа: «Последнее время Сашка любил оставаться один. И думал. Вспоминал и мучительно думал о плохом: об Ирине, о своем характере и о многом другом. Стоило задуматься о чем-нибудь, когда мать была дома, она с подозрением начинала приглядываться к Сашке и притворно-равнодушным голосом спрашивала:

— Саша, что с тобой, что-нибудь в институте?

Сашка огрызался, и ему было нестерпимо стыдно, когда мать, пряча обиду, уходила в кухню и молча курила, облокотившись о грязный кухонный стол...»

На мой вопрос ответил сам Андрей на этом бережно сохраненном мамой листке грубой зеленоватой бумаги.

Проходят годы. Андрей давно не живет с нами. Он уже успокоился, сделал окончательный выбор — женился во второй раз,

оставив ту, которую когда-то подолгу и часто понапрасну ждал. Он уже всемирно известный режиссер — за плечами «Иваново детство», «Рублев», «Солярис», «Зеркало». Идет работа над сценарием «Сталкера» и над постановкой «Гамлета» в театре им. Ленинского комсомола. Андрей знаменит на родине, известен за рубежом. Тарковским интересуются зарубежные коллеги. Оказавшийся в Москве шведский кинорежиссер Вильгот Шёман ищет встречи с ним.

«...Небо опять заволочло тучами. От сырости тяжело дышать. Я в теплой шубе, но дрожу от холода. Начинаю дрожать еще сильнее, когда здороваюсь за руку с Тарковским.

Он без шапки. На нем джинсы. И бежевый пуловер под джинсовой курткой. Он, должно быть, насмерть промерз...

Мы запечатлеваем в памяти: Москва, тысяча девятьсот семьдесят седьмой год, 29 ноября, день заканчивается, время идет к полуночи... Тарковский машет нам на прощание... И быстро исчезает, будто проваливается в кратер. «Аванти, Андрей, аванти!»

Куда ты идешь сейчас, промерзший до костей в своих холодных джинсах? И кто же ты такой? Великий мазохист?..»*

Удивительно, что Шёман, человек другой страны, другого мира, видевший Тарковского в Москве в разные годы всего дважды, ощутил это состояние холода, на которое обрекал себя мой брат. Значит, что-то продолжает его мучить, значит, «Зеркало» не освободило его от комплекса вины или освободило лишь частично? Значит, его нежная, тонкая душа продолжала страдать и мучиться оттого, что после неравной борьбы он предал дорогой мир близких ему людей. Встретившись со своей будущей второй женой, он оказался один на один с другим миром — миром увлекательных психологических поединков и темных страстей, совсем по Достоевскому. И никто ему не помог в этом неравном поединке, как никто не помог папе в подобной ситуации в 1947 году. Да Андрей и отказался бы от любой помощи. Доверяя лишь своему собственному опыту, он повторил папин путь. Смирившись с неизбежностью, а может быть, полюбив эту неизбежность, он поверил в возможность семейного счастья и построил дом, который развалился под ветром его судьбы...

Однако если говорить о подсознании, то это глубоко спрятанное и порой неведомое человеку его второе «я». Андрей в своей внешней жизни был личностью, отнюдь не вызывающей чувства жалости. Московский холод сделал его характер морозоустойчивым, выработал в нем жесткий нрав борца, не сгибающегося ни при каких обстоятельствах. Со временем он стал сильной личностью, лидером, которому подчинялась

* Вильгот Шёман. Дважды Москва. О Тарковском. М.: Дедалус, 2002.

киногруппа, с которым вынуждено было считаться киноначальство, которого уважали друзья и ненавидели враги. Андрей мог мгновенно остудить любого, чья назойливость или панибратство были ему неприятны. Однако он отгораживался не только от чужих, но и от своих.

Помню его телефонный звонок: «Здравствуй! Я был сегодня на кладбище у мамы. Ты знаешь, на могиле крест покосился, — сказал он мне ледяным начальственным тоном. — Надо починить!» Меня этот тон возмутил: «Покосился — так возьми и почини, ведь ты же мужчина», — ответила я. На этом наш разговор окончился. А в дневнике Андрея под этим числом, 10.06.81 г., я прочла: «Сегодня еще одно чудо... Я был сегодня на кладбище. Тесная ограда, маленькая скамеечка, простенькое надгробие, деревянный крест. Клубника пускает усы. Помолился Богу, поплакал, пожаловался маме, просил ее за меня попросить, заступиться. Правда ведь, жизнь стала совершенно невыносима. И если бы не Андрюшка, мысль о смерти была бы как единственно возможная. На прощание с мамой сорвал лист земляники с ее могилы. Правда, пока ехал домой, он завял. Поставил в горячую воду. Листик ожил. И стало на душе спокойнее и чище. И вдруг звонок из Рима. Норман. 20-го приезжают итальянцы*.

Конечно, это мама. Я и не сомневаюсь ни секунду. Милая, добрая... Милая моя... Спасибо тебе. Я так виноват перед тобой...»

И еще запись того же года в дневнике Андрея: «Марина отдала мне две бабушкины иконки, которые вешают на шею; Боже... Какая у меня бабушка! ...Прочел и понял, что не написал «была» в последней фразе. Но тут же пришла в голову мысль, что это не описка...»

Жаль, что рассказ Андрея «Характер» сохранился не полностью. Возможно, он объяснил бы мне, почему брату было так трудно сказать сестре добрые слова, поделиться с ней своими чувствами. Ведь у нас было общее горе. Наверное, мне надо было умереть раньше его, тогда бы в «Мартирологе» появились нежные слова о любви ко мне...

И вот я стою далеко-далеко от Москвы, на окраине Парижа, в городе Нейи-сюр-Сен, в темном морге бывшего американского госпиталя, теперь французской клиники. Я прикладываю лицо и руки к телу Андрея, обнимаю его и ощущаю его ледяной холод. И я понимаю, что уже никогда больше Андрей не отогреется. Не вернется ни в холодную Россию, ни в любимую им Италию, где так много света, тепла и солнца.

И я вспоминаю моего дорогого брата — живого, юного, полного надежд. «Андрей, не ходи раздетый, надень шап-

* Речь идет о решении вопроса с фильмом «Ностальгия».

ку!» — «Мам, отстань!» И он с открытой головой выбегает из дома на зимнюю улицу. И «с неба сыплется мелкий снег — легкий и сухой».

Лестница, ведущая в небо

Бывают места, куда приходиться труднее, чем на кладбище... Я не езжу на Щипок. Я не могу видеть, что стало с нашим бывшим домом в 1-м Щиповском переулке, где жила наша семья, где прошло детство и кончилась юность Андрея.

Однажды молодой человек из группы документалистов с Центральной студии, снимавших это убогое жилище еще до того, как оно было разрушено, спросил меня с наивной бестактностью: «Как же вас сюда занесло?»

Попробую рассказать...

Тарковские с детьми переехали на Щипок вечером 28 декабря 1934 года. В тот день был жестокий мороз, а посему Андрей был в зимнем пальтишке на шерстяном ватине, а я — в ватном голубом сатиновом одеяле. Мне было три месяца от роду, Андрюше — два года и девять.

До этого дня с двадцать восьмого года папа и мама жили в доме № 21 по Гороховскому переулку, в квартире 7. Дом этот был выстроен застройщиком на кооперативных началах. Когда мама в 1925 году приехала из Кинешмы в Москву учиться, бабушка дала денег на строительство комнаты. В одной квартире с мамой жили родные — бабушкина сестра Людмила Николаевна, тетя Люся, и ее дочь Шура с мужем. Другая дочь тети Люси, тоже Людмила, жила с семьей в 1-м Щиповском переулке в доме № 26. Это был ведомственный дом фирмы ТЭЖЭ и принадлежал парфюмерному заводу, который находился рядом, во дворе.

С Люсей «маленькой» и поменялась мама — на Щипке было две смежных комнаты и не было тети Люси «большой» с ее деспотичным характером.

Итак, вечером 28 декабря состоялся наш переезд на Щипок. Переезжали на полторном грузовике. Мама с нами сидела в кабине, а папа с Левушкой Горнунгом, помогавшим при переезде, в кузове вместе с вещами.

Как только Андрей оказался в комнате, он взобрался на широкий подоконник и запел свою любимую арию Ленского. Ему нравилось, что в пустой комнате голос звучит лучше, чем в заставленной, и, пока родители перетаскивали вещи, он исполнил весь свой репертуар.

Андреева кровать с сеткой и плетеная корзина, куда укладывали меня, были установлены в дальней из двух комнат, окна которой выходили в небольшой внутренний, так называемый



*Дом-призрак. С картины художника Вл. Парошина
«Дом Андрея Тарковского»*

мый «задний», двор. Эта комната была немного светлее и суше первой, окно которой упиралось в кирпичную стену соседней части дома. Может быть, снимая «Ностальгию», Андрей вспомнил именно это окно, окно без перспективы, окно безнадежности?

Но в детстве такие мысли еще не приходили нам в голову. Эти две комнатки стали нашим отчим домом, нашим убежищем, нашей норой. Как всякое жилище, наше тоже имело свой запах. Пахло сыростью, химическим заводом, книгами.

Книг было много. Папа, уходя, забрал только свои самые любимые. У нас остались тома «Жизни животных» Брэма с цветными картинками, которые прикрывались папиросной бумагой, собрание сочинений Пушкина – приложение к «Огоньку» советского времени, на грубой, почти оберточной бумаге, но зато с изображением памятника Пушкину на обложке. В этом собрании я натолкнулась на том с «Гавриилиадой», и Андрей, узнав об этом, завладел томом и утащил его из дома к приятелям, где тот и сгинул.

Много книг пропало во время войны, когда поселившиеся у нас на время пожарники делали из них самокрутки. А Брэма продала мама приятельница, надзиравшая за квартирой, пока мы были в эвакуации.

Из книг помню еще разрозненные экземпляры «Интернациональной литературы», папины «Сказки Гауфа» с картин-

ками, «Историю одной вражды» с портретами Достоевского и Тургенева, каталог выставки художника Петра Кончаловского*.

В нем меня многое удивляло. Кончаловский изображал какой-то совсем другой, не похожий на наш, мир — изобильные натюрморты, дачные веранды с охапками сирени, испанские пионеры — крепкие, веселые подростки, освещенные ярким солнцем. Макушки берез, написанные на фоне синего ветреного неба, назывались «Макуши берез». В этом названии уже было превосходство художника, ведь я говорила просто — «макушки». Был в каталоге портрет девочки, которая горестно смотрела на своих многочисленных кукол. «Что мне с вами делать?» — гласила подпись. Дальше шел портрет мальчика. Отставив правую ногу, он держал в одной руке охотничий рог, а в другой ружье. «Андрон Михалков». Запомнилось это необычное имя и ощущение какой-то другой, незнакомой жизни, где присутствовали уверенность в себе и благополучие. Конечно, детские впечатления были мною забыты, но когда Андрей году в шестьдесят третьем познакомил меня с Андроном Михалковым-Кончаловским, я вспомнила, как когда-то, сидя в полутемной комнате, где пахло сыростью и заводом, подолгу рассматривала его детский портрет.

Нашим родителям жизнь на Щипке не принесла счастья.

Утром первым просыпался Андрей. Он вставал в своей кровати и говорил: «Мама, давай одеваться!» Потом мама возилась со мной. Накормив обоих, она брала меня на руку, Андрея за руку и отправлялась на Зацепский рынок за молоком. Когда она возвращалась, папа еще спал, накануне он поздно возвратился или засиделся над переводами. Маме приходилось его будить. Надо было принести дров из сарая, затопить печку, выстирать пеленки, приготовить на керосинке обед, погулять с детьми, напоить их морковным соком. (Помню мамины руки, желтые от моркови.)

Папа возмущался, что его будят, мама раздражалась. К вечеру, когда обессиленная мама кормила нас и укладывала спать и когда она сама только начинала жить, заходил папин приятель и соавтор по переводам Аркадий Штейнберг, и они с папой уходили на весь вечер в Союз поэтов или к друзьям.

Летом мама увозила нас из города. Папа изредка приезжал на дачу, но чаще там бывал друг родителей, Лев Горнунг, кото-

* Судя по предисловию О. Бескина к «Каталогу», выставка эта состоялась в марте 1941 года в Выставочном зале Московского товарищества художников в связи с 35-летием творческой деятельности П. Кончаловского. Предыдущая выставка художника прошла в 1932 году.

рый привозил продукты и керосин. Одна дачная хозяйка была очень удивлена, узнав, что отец детей вовсе не он. Порой мама находила в папиных карманах записки от женщин. Не знаю, как она реагировала на них...

Последних листьев жар сплошным самосожжением
 Восходит на небо, и на пути твоём
 Весь этот лес живет таким же раздраженьем,
 Каким последний год и мы с тобой живем.
 В заплаканных глазах отражена дорога,
 Как в поймах на пути кусты отражены.
 Не привередничай, не угрожай, не трогай,
 Не задевай лесной наволгшей тишины.
 Ты можешь услышать дыханье старой жизни:
 Осклизлые грибы в сырой траве растут,
 До самых сердцевин их проточили слизи,
 А кожу все-таки щекочет влажный зуд.
 Ты знаешь, как любовь похожа на угрозу:
 Смотри, сейчас вернусь, гляди, убью сейчас!
 А небо ежится и держит клен, как розу:
 Пусть жжет еще сильнее! — почти у самых глаз*.

Взаимное раздражение разъедало жизнь родителей. Папа старался уходить из дома. Тут — теснота, дети, заботы, уставшая жена, там — стихи, остроумные друзья, новые знакомства, интересные женщины.

По соседству, в Партийном переулке, жил Владимир Тренин, критик и литературовед из круга Маяковского и Бурлюков. Папа влюбился в его жену, веселую и красивую Антонину Александровну.

Помню, как я сижу под столом и плачу: «Папа, не уходи!» Но папа ушел. В молодости он был рабом своих страстей. Это уже потом, когда его жизнь была почти исчерпана, он часто повторял мне придуманный им афоризм: «Каждая последующая жена хуже предыдущей». Значит, мама все-таки была лучшей.

Она никогда не винила в разладе только папу, в равной мере брала вину и на себя. «Эх, Ася, Ася, много глупостей наделали мы в жизни», — писала она папе во время войны...

В один из жарких июльских дней 92-го года мне пришлось посетить Щипок. Теперь метро «Серпуховская» выходит прямо в Стремянный переулок. Совсем рядом — школа, где учился Андрей.

Иду по улице, по которой он каждый день ходил в школу, а мама — на работу в Первую Образцовую типографию.

* Стихотворение дается в редакции 1935 года.



*Андрей у дома № 26 в 1-ом Щипковском переулке
перед отъездом в Италию*

Вот и наш дом, вернее, то, что было нашим домом. От него остался лишь остов, стены с пустыми окнами. Во время войны наш район сильно бомбили немцы, но наш дом тогда устоял. А вот теперь его разрушили свои...

В дальней комнате, там, где стояла кровать Андрея, растет иван-чай. Что ж, мама и Андрей любили иван-чай. Он рос на земляничных вырубках, на пожарищах рядом с малинниками. Во время войны мы сушили и заваривали его листья.

Лестницы, ведущие в никуда. Или в небо... Одна железная, пожарная, на которую как-то залез трехлетний Андрей. Представляете, что было с мамой? Но она и виду не подала, чтобы не напугать его. Она крикнула: «Андрюша, ну как там тебе наверху, хорошо?» — «Хорошо!» — ответил Андрюша. «Тогда подожди меня, я сейчас к тебе залезу!» Андрей ее дождал на верхней ступеньке, и мама, схватив его «поперек живота», по тонким переключателям спустилась на землю.

Другая лестница, из белого камня, стертого не одним поколением жильцов, вела на второй этаж, в квартиру семьи Гоппис. Туда Андрей ходил заниматься музыкой, своего пианино у нас не было.

Руины дома отгорожены от улицы забором. За ним — свалка: битое стекло, тряпки, железки, остатки разноцветной штукатурки, ржавые батареи, которые когда-то грели нас. Философ-

ская проблема — красота безобразного. Андрея бы сюда — он бы снял здесь сцену для фильма о бренности всего сущего и о забвении.

Не надо было мне приходиться на Щипок.

Но прийти туда еще мне все-таки пришлось. Летом 2004 года в Москву на кинофестиваль приехала из Рима Донателла Бальиво, автор документальных фильмов об известных деятелях кино.

В Италии Донателла сняла об Андрее три фильма.

Сейчас, в Москве, ей хочется увидеть места, связанные с ним, увидеть дом, в котором он вырос. «Найти Андрея» — вот что хотелось этой прекрасной женщине, преданно хранящей память о нем.

В конце июня мы с Донателлой едем на Щипок. Идем с ней проходным двором через Ляпинку. Этот путь меня волнует каждый раз — дома, тротуары, деревья, бывшая церковь — все хорошо знакомо, все наполнено воспоминаниями, тенями близких. Нет, неверно. Не тенями, а ими — прежними, живыми...

Проходим с Донателлой (на плече у нее тяжелая кинокамера) вдоль серого кирпичного дома, построенного в середине 50-х годов. Отсюда уже должны быть видны стены нашего дома. Сейчас я их не вижу. Мне становится не по себе. Выходим в 1-й Щиповский переулок. Дома № 26 нет! Забор окружает ровную площадку, и экскаватор сгребает в сторону последнее, что осталось от дома, — стальные балки перекрытий.

Приложения

Родословная рода Тарковских по мужской линии

Согласно «Делу о дворянстве» и другим документам, **Войцех** Тарковский в начале XVIII столетия переселился из г. Люблина (Польша) в г. Заслав Волынской губ. (теперь г. Изяслав Хмельницкой обл.). В Заславском уезде он и его сын **Франц** владели селами Орлинец и Былинец.

Матвей (1780—1853). Жил в г. Заслав Волынской губ. Был женат на Юлиании Кардасевич. В 1803 г. начал хлопоты о подтверждении дворянского происхождения своего рода. Сыновья: Иосиф-Матвей (р. 1814), Карл (р. 1815), Александр (р. 1823).

Карл (1815—1872). Родился в г. Заслав Волынской губ. Жил в селе Николаевка Елисаветградского уезда Херсонской губ. Был женат на Марии (Эмилии) Кардасевич (? — 1872). Владел 652 десятинами земли. В военную службу поступил унтер-офицером 19 ноября 1832 г. в Кирасирский Ее Императорского Высочества Великой Княгини Елены Павловны полк. Произведен в корнеты в 1837 г. в Новоархангельский уланский полк. Стал поручиком в 1840-м, штаб-ротмистром в 1846-м. В 1850-м «по прошению по домашним обстоятельствам» уволен со службы с награждением чином ротмистра и мундиром. В 1852-м получает окончательное подтверждение дворянского происхождения рода Тарковских. Дети: Николай (р. 1847), умер во младенчестве, Евгения (р. 1849), Надежда (р. 1852), Вера (р. 1853), Александр (р. 1862).

Александр (1862—1924). Родился в селе Николаевка Елисаветградского уезда Херсонской губ. Жил в г. Елисаветград (теперь г. Кировоград). В 1884 г. был арестован за революционную деятельность. Был женат в первом браке на А.А. Сорокиной. Дочь Леонила. Овдовев, женился на М.Д. Рачковской. Сыновья: Валерий (1904—1919), Арсений (р. 1907).

Арсений (1907—1989). Родился в г. Елисаветград Херсонской губ. Жил в Москве. От первого брака с М.И. Вишняковой дети Андрей (р. 1932) и Марина (р. 1934).

Андрей (1932–1986). Родился в селе Завражье Ивановской обл. Жил в Москве, умер в Париже. От первого брака с И.Я. Рауш сын Арсений (р. 1962), от второго брака с Л.П. Кизиловой сын Андрей (р. 1970). Сын Александр (р. 1986), рожденный вне брака, носит двойную фамилию – отца и матери.

Документ, подтверждающий дворянство рода Тарковских

№ 2625 ПАТЕНТ

Волынской губернии губернского Дворянского Предводителя и уездных Дворянских депутатов, собранных для уложения дворянской родословной книги, данный Матвею гербодержателем Тарковскому.

Рассмотрев на основании наимилостивейше дарованной от Ее Императорского Величества достопамятной наисветлейшей Екатерины II в 1785 году дня 26 апреля Привилегии для дворян предъявленные вышеозначенным урожденным Тарковским доводы о дворянском его звании, признали их соответствующими предъявленным к этому правилам, на основании которых по отношению к 77 пункту, выраженному в Привилегии, он и семья его внесены в Дворянскую родословную Волынской губернии Книгу в Первую часть. Для более подробного же об этом убеждения Мы, Дворянский Предводитель и Депутаты, в результате Наивысшего Его Императорского Величества Наисветлейшего Александра I позволения дали ему сей Патент за подписью нашей, подтвержденной печатью дворянского собрания Волынской губернии.

Дано в Житомире, дня 6, месяца февраля 1803 г.

Подписи губернского дворянского предводителя и уездных депутатов.

Протокол, заполненный А.К. Тарковским в одесской тюрьме

Дата заполнения: 1886 г., января «29».

Имя, отчество, фамилия: Александр Карлович Тарковский.

Возраст, вероисповедание: 23 года, православный.

Сословие: Дворянин Херсонской губернии.

Место рождения и жительства: дер. Николаевка Елисаветградского уезда. В настоящее время содержусь в Одесском тюремном замке.

Занятие: До ареста был вольнослушателем Харьковского университета.

Средства к жизни: Имею землю в Елисаветградском уезде.

Семейное положение: Холост, родители умерли, имею сестру Веру замужем за ротмистром Владимиром Ильиным, проживающим в дер. Козловка Воронежской губернии.

Место воспитания и на чей счет: Окончил 6 классов Елисаветградского реального училища, а держал окончательный экза-

мен при Мелитопольском реальном училище. Из Елисаветградского реального училища вышел по домашним обстоятельствам*.

Был ли за границей: За границей не был.

По какой статье обвиняется: Обвиняюсь по статье 251 и 318.

От Иркутска на Запад
(Дорожные наброски А.К. Тарковского)

Я покидал Сибирь навсегда... В последний раз глядел на Тункинские Альпы, вблизи которых я прожил пять лет и благодаря которым я постиг величие и красоту природы, той горной природы, что, поражая и пленяя душу, навсегда запечатлевает в ней свой великий образ. Воздух морозного декабрьского утра был чист, и ни одна струя ветра не сгоняла с горных вершин легкой дымки. Нежным розовым тоном отсвечивали снеговые пики; они мне казались красивее, чем когда-либо, и мне становилось грустно — ведь не видеть мне их более! Где я найду те шумные, звенящие серебром потоки, те вековые деревья, закутанные в мох кедры, те грандиозные и поэтические очертания горных пиков, словом, то могучее и чудное, что определяется одним словом — горы? И в те минуты я всматривался в них, как в лицо дорогого человека в миг прощания, мне хотелось запечатлеть их в своей памяти, и я почувствовал, что они мне ближе, родственнее, чем я думал, что природа Сибири — величественная, прекрасная, но на первый взгляд мрачная, крепко привязывает к себе душу и подобна мраморной Галатее, у которой в каменной груди бьется сердце, полное доброты и любви.

Тысячи верст отделяют меня от тех розововершинных гор, но они и оттуда светят мне тихим светом утреннего солнца, и далекая, холодная, снежная Сибирь мне сдается близкой-близкой, теплой и приветливой.

Передо мной лежала тысячеверстная линия зимней дороги, десятки станций, тайга Восточной и бураны Западной Сибири, холод и неудобства долгого и малокультурного передвижения на лошадях. Рассказы о разбое и грабежах, оказавшиеся в действительности или вымыслом, или преувеличением, настроили мое воображение, и мне уж представлялись картины нападения с пальбой, кровью и со всем декорумом таежно-дикой сцены. Я тщательно заряжал револьвер, удобно привязывал его к поясу шубы, в расчете, что мне не раз придется выхватывать его, но мои страхи улеглись очень скоро, револьвер был отвязан

* Дедушка не захотел сообщать тюремщикам подлинной причины ухода из реального училища.

и брошен в сани, и единственной его службой были несколько выстрелов на перевале через Урал пред Златоустом, которыми я прощался с Сибирью и приветствовал Европу.

Иное дело неудобства пути — холод и состояние Московского тракта. Это те разбойники, что нападают постоянно, не давая ни отдыха, ни пощады. В первую же ночь, когда мы выехали из Иркутска (перед Рождеством), ударил такой мороз, что ром стужился до степени прованского масла, а из двух бутылок водки одна, «лимонная», замерзла безо всякого стыда и сострадания к заводчику и акцизному ведомству, другая — «простая», превратилась в кристаллическую кашу, выделив из себя после оттаивания значительное количество сивушного масла, несмотря на «двойную очистку в патентованных бельгийских аппаратах». Такие морозы, не страшные, когда сидишь в комнате или проходишь по городу несколько кварталов, делаются истинным бичом Божиим при безостановочной езде днем и ночью, отсутствии горячей пищи и невозможности порядком согреться во время перепряжки лошадей.

В Восточной Сибири, где бесконечная тайга и горные кряжи не дают ветру разгуляться и стоит обыкновенно такая тишь, что не шелохнется на березе уцелевший как-то желтый лист, переносишь холод все-таки довольно терпеливо, особенно при накачивании себя на станциях горячим чаем. Но уже в Томской губернии и, главным образом, в Барабинской степи, где ветер полный господин и несется на просторе, не зная остановки и подымая вихри снега, свистя, гудя и производя ту адскую погоду, которая называется бураном, — мороз еле выносим. Целый день вас пронизывают струи какого-то невыносимого льда; к вечеру все утихает, и вас ласкает надежда, как-нибудь закутавшись, согреть свои ооченелые члены, но вместо ветра на землю садится густая игольчатая мгла, холодная, сырая, от которой дышится тяжело и давит грудь. Мгла к двенадцати часам ночи подымается; звезды снова блестят, начинает тянуть легкий ветерок, к утру усиливающийся до «свежего» утренника, от которого нет защиты; точно ревматизм, он болезненно ломит кости, замораживает члены и, проникая в складки, ледяным кинжалом впиивается в тело.

А тело достаточно утомлено дорогой и измучено зимними прелестями тракта. Первое, что, пока не привыкнешь, доводит до отчаяния, — это «ступня».

Обоз идет за обозом, первая лошадь, ступив по первому снегу, копытом выбивает небольшую ямку, вторая ступает по следу первой и выбивает ямку еще глубже. Вскоре весь тракт покрывается такими ямами, которые сливаются в правильные ложбинки, пересекающие тракт на равном расстоянии друг от друга, и, смотря на него в перспективе, видишь точно застывшую ровную морскую зыбь. Сани ударяются о каждую волну та-

кой зыби, подпрыгивают, и только слышишь и чувствуешь звуки — тук, тук, тук, и эти тук, тук, тянущиеся день, другой, неделю, две, три, отдаются болью в груди и шумом в ушах, и даже во сне не можешь избавиться от них и сквозь сон все-таки слышно — тук, тук, тук.

Но это пустяки в сравнении с «нырками». Хотя и поздно теперь, но нелишне будет сказать несколько слов о состоянии Московского тракта в зимнее время. По Томской и Енисейской губерниям, от Иркутска до Ачинска, даже до Мариинска, он содержится отлично. Умело и часто поставленные щиты из древесных веток предохраняют путь от заносов и переметов, а следовательно, и пытки, называемой «нырками». Неизбежная «ступня» и производимые постоянно обозами раскаты сильно портят, правда, дорогу. Но со «ступней» ничего не поделаешь, а раскаты во время моего приезда везде исправлялись, и вообще по восточной сибирской части тракта видны были надзор и деятельность. Но с Мариинска щиты почти исчезают; только местами торчат кое-как воткнутые в снег ветки, с претензией на что-то, но не представляющие никакой поддержки для несущегося снега. И вот — сугроб за сугробом, выбоина за выбоиной, раскат за раскатом; езда превращается в своеобразную килевую качку с большим ущербом для боков и для терпения. Вот ваши лошади вдруг куда-то исчезли, через секунду снег уже над вашей головой, а вы с санями очутились в глубокой яме, откуда несчастные животные вытаскивают экипаж с напряжением всех своих сил. Вас то ударит в бок, то, слетев со спуска, сани грузно и со скрипом брягают со снежного обрыва, как будто нарочно для мучения, устроенного внизу. Местное название «нырок» как нельзя более соответствует действительности — что же такая езда, как не ныряние — с ушибами, толчками, болью в груди и нервным истомлением. Последняя станция перед Томском в особенности мучительна, и семилуженский почтодержатель обыкновенно прибавляет от себя лишнюю лошадь, так как нормального числа совершенно недостаточно, чтобы без измора сделать тридцативерстный переход. Такая ужасная дорога, заставляющая просто стонать и проезжающих, и обозных ямщиков, начинаясь от Мариинска, тянется верст на 400—500, и горе тому, кто не имеет возможности ожидать летнего сообщения. Но что же делает дорожный персонал, обязанный следить за состоянием тракта и исправлять его? И куда идет сбор с душ на ремонт дороги, достигающий десятков тысяч?

С этими вопросами я тщетно обращался к разным лицам, и в ответ я слышал только не весьма лестные эпитеты. Eine alte Geschichte!*

* Старая история! (нем.).

По Восточной Сибири я проехал и удобнее, и дешевле, и веселее. Почтовые станции содержатся, в общем, очень опрятно, иногда прямо комфортабельно, служащие — писаря, ямщики и старосты — относились к нам везде любезно и предупредительно. Лошади, сытые и крепкие, подавались нам всегда вовремя и неутомленными — вообще видно было, что Иркутское почтово-телеграфное начальство делает свое дело и поставило организацию передвижения на прочную почву. В жалобных книгах я встречал очень немного основательных жалоб и больше всего не особенно умных lamentаций* на то, что лошадей запрягают целых полчаса, что ямщик курит трубку, что потерян катанок**, вывалившийся из саней вследствие дурного устройства, и т.д. Из некоторых же жалоб видно, что путешественник очень скучал и жаловался только потому, что делать было нечего. В других же сказывалась свойственная русскому человеку претенциозность и желание показать, что мы «сами с усами». Так, один весьма негодует на то, что ни на одной станции не мог найти ни котлет, ни бифштекса, «какое обстоятельство отражалось и отражается самым неблагоприятным образом на состоянии моего желудка, а стало быть, и духа, что, конечно, в свою очередь, влияет таким же образом на реализацию моих духовных движений». В заключение этот несчастный, страдающий неправильной реализацией духовных движений, просит об устройстве на станциях буфетов. Вероятно, ему очень хотелось в ту минуту выпить рюмку водки.

Другой, господин с поэтической душой, даже жалобу свою начальству изображает в стихах, правда довольно сомнительных.

Проезжаю от Иркутска.
 Заболела по дороге дочка.
 Здесь же холод страшный.
 Так что, где согреть малютку, сам не знаю.
 А стоят морозы
 Утром, днем и вечером и ночью.

Эта поэтическая жалоба оставлена без всякой резолюции.

Урожайный 1891 год, засыпавший хлебом всю Сибирь, кроме несчастной Тобольской губернии, очень чувствительно отразился на ямщицком промысле.

Товарные фрахты до Томска понизились процентов на 100—110, в такой же пропорции уменьшилась плата проезда на вольных. Почтовые станции очутились в неудобном положении.

* Жалоб (с франц.).

** Валенок (сиб.).

Не имея права уменьшить поверстные таксы (3 коп. с лошади), они почти лишились спроса, так как громадное большинство проезжающих едут на вольных, везущих чуть не даром: за пару или даже тройку за перегон до 25 верст брали с нас 80 и 70 коп., за тридцативерстный — 90 коп. и 1 руб. и везли лихо и с эффектом. Не раз нам приходилось упрашивать ямщиков ехать по-медленнее хоть на спусках, но нас не всегда слушали, и в таких местах, где следовало бы спускать лошадей очень осторожно, ямщики гикали, и сильные, откормленные лошади бешеным порывом, от которого захватывало дыхание, сносили нас вниз, чтобы еще быстрее вынести на подъем. Предложение лошадей было повсюду очень велико. Дешевизна хлеба, так тягостно отозвавшаяся в Восточной Сибири на всех делах, эта не дающаяся в руки «тугая копейка», погнала всех на улицу стеречь по целым ночам проезжающих. Что по целым ночам! — по целым неделям, и заставила возить вдвое и втрое дешевле правительственной таксы.

Но положение изменяется, когда выезжаешь из Барабинской степи. Как раньше был дешевый хлеб и превосходная езда, так в страдающей Тобольской губернии, бывшей житнице, недавно еще сытой и кормившей другие области, а теперь голодной, нищей, смотрящей из рук, дорогой хлеб и дорогой корм прямо бросаются в глаза жалким видом лошадей и медленной ездой. Не едят люди, не едят и животные.

Вам известно, до какой цифры доходит в Курганском, Ишимском, Тюкалинском и Тюменском округах стоимость овса и сена? Но в некоторых местностях по тракту не найдешь ни за какие деньги ни того ни другого, и приходится привозить издалека. Ямщики, транспортирующие на Тюмень и Иргит чай и товары, забрав вперед плату за провоз или взявшиеся везти по низкой сравнительно цене, прокармливали порой всю плату, даже прикладывали своих, и отовсюду слышались жалобы на то, что часть товара растрачена ямщиками и уходила для прокорма лошадей.

Еще чаще они довозили кладь до какого-нибудь пункта, например до Ишима, и затем телеграммой требовали от хозяина или агента прибавки в 100, 150 рублей, угрожая в противном случае бросить товары на произвол судьбы.

Разумеется, деньги высылались, а хозяин вопил о недобросовестности ямщиков. Но виноваты ли они, что губерния голодает, что сибирские дали, не связанные железной дорогой, не могут передвигать своих огромных запасов в то время, когда овес в верховьях Иртыша доходит до 15, даже до 8 коп., в Тюкалинске он в то время (январь 1892 года) стоял на 1 руб. 30 — 1 руб. 40, даже 1 руб. 50 коп. И какой овес?! На 25% с сорными травами, намеренной подсыпью из мякины, пыли, песку и прочей неуловимой гадости.

Виноваты ли они, что богобоязненные тюкалинские, ишимские и другие кулаки стягиванием в свои амбары последних народных крох повышают и без того высокую цену на хлеба и nabивают свои карманы омоченными слезами кредитками?

Содержатели почти всех станций, не сделавшие заблаговременно по непредусмотрительности или по безденежью достаточных запасов корма для лошадей, застонали, как, должно быть, и теперь стонут под тяжелым гнетом неурожая и дороговизны. Уже с Тюкалинска чувствуется довольно ощутительно этот гнет, а к Ишиму он является воочию.

Проезжающий является там наказанием Божиим, потому что его надо везти, а везти не на чем: обессиленные клячи, в которых нельзя узнать славных на всю Россию западносибирских лошадей, тех могучих рысаков, что приводили в такой восторг Кеннана* и Глеба Успенского, еле тащат пустой экипаж и едва-едва, двигаясь по три версты в час, дотаскивают пассажиров до следующей станции, где следует смена таких же изнуренных, голодных животных. Не евши по два дня, они, если по дороге попадается воз с сеном, кидаются на него, и никакая сила не оторвет уж их от него. Бывало не раз, что, протянув три-пять верст, бедные лошади становились и не могли двигаться дальше, несмотря на ожесточенное истязание бичом.

Грустный вид представляли в особенности станции Тучколововская, Боровская и Омутинская. Эти станции совершенно не возили проезжающих (не знаю, возят ли теперь), а почту отправляли на вольных, нанимая на свой счет.

Приезжаешь, например, в Тучколовку. «Есть лошади?» Писарь молчит и внимательно читает в разгонной книге. Появляется бледный и грустный почтосодержатель. «Есть лошади?» — «Мг, мг. Почту увезли, ждем почту». Говорится это уныло, с явным сознанием того, что этому не поверят. «А сколько пар ушло под почту?» — «Да лошади есть, только... — тут он останавливается, видно, что его сердце болит от горя животных, — ...только они не везут. Помилуйте, сделайте милость, поезжайте на вольных!» И просьба эта сопровождается низким поклоном. Если вы не согласны уплатить требуемые вольным ямщиком суммы, почтосодержатель, взывая с вас 1 1/2 коп. с версты и лошади, уплачивает разницу из своих средств.

В Боровской содержатели дошли до полного разорения. Их лошади подыхали на улице от голода, а сами они позалезали в долги, сидят с семьями (у одного из них до двенадцати душ детей) без хлеба, и вид их жалок до крайности. Ребятишки, по словам писаря, не ходят на улицу оттого, что нет полушубка и не у всех есть рубахи. «Вот вы не доели пельмени, — добавил

* Кеннан Джордж (1845—1924) — американский журналист. В 1885—1886 годах обследовал русские каторжные тюрьмы и места политических ссылок.

он, — для них сегодня, значит, праздник». Принимающий проезжих содержатель, человек, видимо, энергичный, исхудалый и оборванный, искренне и с поклоном благодаривший нас за согласие ехать на вольных, ужаснул меня своим рассказом о том, что стоит ему кормить своих лошадей не для того, чтобы возить, а только лишь, чтобы кое-как они не пали до подножного корма.

Сена он берет в кредит у «благодетеля», причем дается ему гнили за двойную цену, и на эту цену он платит 40% в месяц. «Куда деваться! Нет возможности!» И сильным, захватывающим горем звучит его речь.

В Омутинской почтосодержатели бросили лошадей, экипажи и все обзаведение и разбежались, предоставив своим поручителям возить почту, а частные проезжающие ждут, как им угодно. При мне говорили о намерении начальства выдать почтосодержателям авансом плату за четыре месяца, но пока об этом шла переписка (не знаю, чем все это кончилось), лошади гибли от бескормицы, и стоимость передвижения по линии Тюмень — Тюкалинск, ввиду того, что казенно-почтовые лошади не возили, увеличилась настолько, что казенных прогонов на две-три лошади обыкновенно хватало только на треть пути, и чиновники, едущие в Сибирь на службу, становились порой в затруднительное положение, особенно те, кто вез с собою и семью.

Нищих и крестьян, идущих куда-то с Запада, без цели и определенного понимания, куда и зачем идти, по дороге встречалось чрезвычайно много: исхудалые, истомленные, землистые, голодные лица, рваная одежка, жалкая обувь.

Грустно, очень грустно было проезжать по Тобольской губернии в январе, теперь же, вероятно, положение еще ухудшилось, голод стал еще острее, лица еще более исхудали... Страшная вещь — народное бедствие! Где же тот, кто скажет, наконец: «Приидите все труждающиеся и обремененные, и Аз упокою вы!»

*«Александр Карлович Тарковский
(Смерть восьмидесятника)*

Некролог из газеты «Красный путь»,
декабрь 1924 г., Зиновьевск

26 декабря, в 8 часов утра скончался от кровоизлияния в головном мозгу Александр Карлович Тарковский.

Александр Карлович является одной из интереснейших фигур революционного движения в городе Зиновьевске в 80-х годах и одним из основателей народовольческих кружков — интеллигентских, а также рабочего народовольческого кружка.

В 1881 году Тарковский приехал из Киева и принялся за организацию кружка саморазвития из лиц, сочувствующих социалистическим тенденциям.

В марте 1882 года этот кружок окончательно был им сконструирован, и по его предложению была устроена подпольная типография и приступлено к гектографированию нелегальной литературы: «Программа Исполнительного комитета “Народной воли”», с целью разослать интеллигенции Зиновьевска, и воззвание «Украинскому народу от Исполнительного комитета “Народной воли”» для распространения среди крестьянства Зиновьевского округа.

Мысль об организации рабочего народовольческого кружка принадлежит также ему. Для этого необходим был человек из центра, для чего Тарковский в этом же, 1882 году поехал в Харьков, откуда был прислан для ведения работы среди рабочих товарищ под псевдонимом Василий 1-й – Панкратов.

Во второй раз было приступлено к гектографированию нелегальных изданий: «Манифест Коммунистической партии», «Утопический и научный социализм» Энгельса и др.

В 1884 году последовал арест, и предатели кружков выставляют Тарковского как главного организатора кружков.

На суде перед жандармами он держался как стойкий революционер:

– Да, я имею честь принадлежать к партии «Народной воли», – отвечает он на их вопрос.

– «Воззвание Исполнительного комитета к украинскому народу» и «Программа Исполнительного комитета» гектографировались при моем участии, а с кем именно проводилась эта работа – говорить не хочу.

Тарковский содержался в тюрьме до 1887 г., после чего был сослан в Иркутскую губ. на 5 лет.

«Немногие, очень немногие из елисаветградских народо-вольцев и примыкавших к ним дожили до 1917 г., когда они увидели завершение своего дела – свержение царизма. Остальных скосила смерть, и они сошли в могилу, не предчувствуя, что час освобождения близок» – этими словами Тарковский закончил недавно написанный им очерк по истории редвижения 80-х годов.

Хотя дело, за которое боролся Тарковский, не привело к практическим результатам, все же он сделал свое.

Распространяя народовольческую литературу, он и его товарищи вносили в сознание общества этого времени новые политические идеи вместо вечного ожидания реформ сверху.

Сойдя со сцены, они очистили путь для новых революционных наслоений.

Бюро Истпарта».

ВЛАДИМИР ЛЮБИН

Воскреснув, прошлое живет,
 Но глухи дни его и тихи,
 И странновато промелькнет
 Улыбка на дагерротипе!

Знакомый ласковый задор,
 Полудоверчивая радость,
 И художба, и бледноватость,
 И чуть мальчишеский вихор.

К цветку протянута рука,
 Став слишком нежной для пожатья,
 И дышит в каждой складке платья
 Старинный аромат цветка.

Еще ничьей тоской не болен,
 Укор не отравив ничей,
 Спокоен взор и своеволен
 Под соболиностью бровей.

Но вскинется крутая бровь
 В просторном сумраке ненастья
 На мускус ладанки, на кровь
 От поцелуев у запястья.

Стань женщиной, стань чувств рабою,
 Узнай разлуки и гробы,
 Стань лихоманкою-судьбою
 Нам, первенцам чужой судьбы.

МАРИНА ЦВЕТАЕВА

Я стол накрыл на шестерых

Все повторяю первый стих
 И все переправляю слово:
 — «Я стол накрыл на шестерых...»
 Ты одного забыл — седьмого.

Не весело вам вшестером.
 На лицах — дождевые струи...
 Как мог ты за таким столом
 Седьмого позабыть — седьмую...

Не весело твоим гостям,
Бездействует графин хрустальный.
Печально — им, печален — сам,
Непозванная всех печальней.

Не весело и не светло.
Ах! Не едите и не пьете.
— Как мог ты позабыть число?
Как мог ты ошибиться в счете?

Как мог, как смел ты не понять,
Что шестеро (два брата, третий
Ты сам — живой, отец и мать)
Есть семеро — раз я на свете!

Ты стол накрыл на шестерых,
Но шестерыми мир не вымер.
Чем пугалом среди живых —
Быть призраком хочу с твоими,

(Своими...).

Робкая, как вор,
О — ни души не задевая! —
За непоставленный прибор
Сажусь незванная, седьмая.

Раз! — опрокинула стакан!
И все, что жаждало пролиться, —
Вся соль из глаз, вся кровь из ран —
Со скатерти — на половицы.

И — гроба нет! Разлуки — нет!
Стол расколдован, дом разбужен.
Как смерть — на свадебный обед,
Я — жизнь, пришедшая на ужин.

...Никто: не брат, не сын, не муж,
Не друг — и все же укоряю:
— Ты, стол накрывший на шесть душ,
Меня не посадивший с краю.

6 марта 1941

АРСЕНИЙ ТАРКОВСКИЙ
СТИХИ, ПОСВЯЩЕННЫЕ М.Г. ФАЛЬЦ

СВЕЧА

Мерцая желтым язычком,
Свеча все больше оплывает.
Вот так и мы с тобой живем —
Душа горит и тело тает.

1926

* * *

Погоди, погоди!
Ты ведь знаешь сама:
Это всё не для нас —
Петербург и зима,
Та высокая молодость на островах,
И ночные рассказы о крепких делах,
За метелью костры, за кострами Нева.
Ой, шальная, шальная моя голова,
Ой, широкие сани под шитым ковром,
Бубенцы и цыганские ночи вдвоем!

Только мне и осталось, что память одна,
Только черная память в стакане вина,
Да горючие песни о злобе моей,
Да веселые письма далеких друзей.
Даже сонная боль пережитого дня,
Даже имя твое покидает меня.

27 мая 1927

* * *

Убывает бедный день,
Не звонят колокола,
Только у дверей дрожат
Одичалые звонки.

Только ты побудь со мной,
Горькая моя любовь,
Памятка моя, печаль
Беспокойства моего.

Вспомни, вспомни звонкий лед,
Причитанья декабря,
Саночки, и на снегу
Имя нежное твое.

Пусть уходит бедный день
От звонков и шума, пусть —
У твоих дверей дрожит
Одичалая любовь.

7 сентября 1928

* * *

Все ты ходишь в платье черном,
Ночь пройдет, рассвета ждешь,
Все не спишь в доме просторном,
Точно в песенке живешь.

Веет ветер колокольный
В куполах ночных церквей,
Пролетает сон безвольный
Мимо горницы твоей.

Хорошо в доме просторном —
Ни зеркал, ни темноты,
Вот и ходишь в платье черном
И меня забыла ты.

Сколько ты мне снов развяжешь,
Только имя назови.
Вспомнишь обо мне — покажешь
Наяву глаза свои —

Если ангелы летают
В куполах ночных церквей,
Если розы расцветают
В темной горнице твоей.

1932

* * *

Соберемся понемногу,
Поцелуем мертвый лоб,
Вместе выйдем на дорогу,
Понесем сосновый гроб.

Есть обычай: вдоль заборов
И затворов на пути
Без кадил, молитв и хоров
Гроб по улицам нести.

Я креста тебе не ставлю,
Древних песен не пою,
Не прославлю, не ославлю
Душу бедную твою.

Для чего мне теплить свечи,
 Петь у гроба твоего?
 Ты не слышишь нашей речи
 И не помнишь ничего.

Только слышишь — легче дыма
 И безмолвной трав земных
 В холоде земли родимой,
 Тяжесть нежных век своих.

1932

* * *

*Меловой да соляной
 Твой Славянск родной,
 Надоело быть одной —
 Посиди со мной...*

Стол накрыт на шестерых,
 Розы да хрусталь,
 А среди гостей моих
 Горе да печаль.

И со мною мой отец,
 И со мною брат.
 Час проходит. Наконец
 У дверей стучат.

Как двенадцать лет назад,
 Холодна рука,
 И немодные шумят
 Синие шелка.

И вино звенит из тьмы,
 И поет стекло:
 «Как тебя любили мы,
 Сколько лет прошло!»

Улыбнется мне отец,
 Брат нальет вина,
 Даст мне руку без колец,
 Скажет мне она:

— Каблучки мои в пыли,
 Выцвела коса,
 И поют из-под земли
 Наши голоса.

1940

* * *

Невысокие, сырые
Были комнаты в доме.
Называть ее Марией
Горько сердцу моему.

Три окошка, три ступени,
Темный дикий виноград.
Бедной жизни бедный гений
Из окошка смотрит в сад.

И десятый вальс Шопена
До конца не дозвучит,
Свежескошенного сена
Рядом струйка пробежит.

Не забудешь? Не изменишь?
Не расскажешь никому?
А потом был продан «Рениш»,
Только шелк шумел в доме.

Синий шелк простого платья,
И душа еще была
От последнего объятия
Легче птичьего крыла.

В листьях, за ночь облетевших,
Невысокое крыльцо
И на пальцах похудевших
Бирюзовое кольцо.

И горячечный румянец,
Серо-синие глаза,
И снежинок ранний танец,
Почерневшая лоза.

Шубку на плечи, смеется,
Не наденет в рукава.
Ветер дунет, снег взовьется...
Вот и все, чем смерть жива.

1947

* * *

— Здравствуй, — сказал я, а сердце упало,
Верно, и впрямь совершается чудо!
Смотрит, смеется: Я прямо с вокзала.
— Что ты! — сказал я. — Куда да откуда?
Хоть бы открытку с дороги прислала.

— Вот я приехала, разве не слышишь,
 Разве не видишь, я прямо с вокзала,
 Я на минутку к тебе забежала,
 А на открытке всего не напишешь.

Думай и делай теперь, что угодно,
 Я-то ведь рада, что стала свободной...
 1935

* * *

Мне в черный день приснится
 Высокая звезда,
 Глубокая криница,
 Студеная вода
 И крестики сирени
 В росе у самых глаз.
 Но больше нет ступени —
 И тени спрячут нас.

И если вышли двое
 На волю из тюрьмы,
 То это мы с тобою,
 Одни на свете мы,
 И мы уже не дети,
 И разве я не прав,
 Когда всего на свете
 Светлее твой рукав.

Что с нами ни случится,
 В мой самый черный день,
 Мне в черный день приснится
 Криница и сирень,
 И тонкое колечко,
 И твой простой наряд,
 И на мосту за речкой
 Колеса простучат.

На свете все проходит,
 И даже эта ночь
 Проходит и уводит
 Тебя из сада прочь.
 И разве в нашей власти
 Вернуть свою зарю?
 На собственное счастье
 Я как слепой смотрю.

Стучат. Кто там? — Мария.
Отворишь дверь: — Кто там? —
Ответа нет. Живые
Не так приходят к нам,
Их поступь тяжелее,
И руки у живых
Грубее и теплее
Незримых рук твоих.

— Где ты была? — Ответа
Не слышу на вопрос.
Быть может, сон мой — это
Невнятный стук колес
Там, на мосту, за речкой,
Где светится звезда,
И кануло колечко
В криницу навсегда.

1952

ВЕТЕР

Душа моя затосковала ночью.

А я любил изорванную в клочья,
Исхлестанную ветром темноту
И звезды, брезжущие на лету
Над мокрыми сентябрьскими садами,
Как бабочки с незрячими глазами,
И на цыганской масляной реке
Шатучий мост, и женщину в платке,
Спадавшем с плеч над медленной водою,
И эти руки, как перед бедою.

И кажется, она была жива,
Жива, как прежде, но ее слова
Из влажных «Л» теперь не означали
Ни счастья, ни желаний, ни печали,
И больше мысль не связывала их,
Как повелось на свете у живых.
Слова горели, как под ветром свечи,
И гасли, словно ей легло на плечи
Все горе всех времен. Мы рядом шли,
Но этой горькой, как полынь, земли
Она уже стопами не касалась
И мне живую больше не казалась.
Когда-то имя было у нее.

Сентябрьский ветер и ко мне в жильё
 Врывается —
 То лязгает замками,
 То волосы мне трогает руками.

1959

ПЕСНЯ

Давно мои ранние годы прошли
 По самому краю,
 По самому краю родимой земли,
 По скошенной мяте, по синему раю,
 И я этот рай навсегда потеряю.

Колышется ива на том берегу,
 Как белые руки.
 Пройти до конца по мосту не могу,
 Но лучшего имени влажные звуки
 На память я взял при последней разлуке.

Стоит у излуки
 И моет в воде свои белые руки,
 А я перед ней в неоплатном долгу.
 Сказал бы я, кто на поемном лугу,
 На том берегу,
 За ивой стоит, как русалка над речкой,
 И с пальца на палец бросает колечко.

1960

ЭВРИДИКА

У человека тело
 Одно, как одиночка.
 Душе осточертела
 Сплошная оболочка
 С ушами и глазами
 Величиной в пятак
 И кожей — шрам на шраме,
 Надетой на костяк.

Летит сквозь роговицу
 В небесную криницу,
 На ледяную спицу,
 На птичью колесницу
 И слышит сквозь решетку
 Живой тюрьмы своей

Лесов и нив трещотку,
Трубу семи морей.

Душе грешно без тела,
Как телу без сорочки, —
Ни помысла, ни дела,
Ни замысла, ни строчки.
Загадка без разгадки:
Кто возвратится вспять,
Сплясав на той площадке,
Где некому плясать?

И снится мне другая
Душа, в другой одежде:
Горит, перебегая
От робости к надежде,
Огнем, как спирт, без тени
Уходит по земле,
На память гроздь сирени
Оставив на столе.

Дитя, беги, не сетуй
Над Эвридикой бедной
И палочкой по свету
Гони свой обруч медный,
Пока хоть в четверть слуха
В ответ на каждый шаг
И весело и сухо
Земля шумит в ушах.

1961

ПЕРВЫЕ СВИДАНИЯ

Свиданий наших каждое мгновенье
Мы праздновали, как богоявление,
Одни на целом свете. Ты была
Смелей и легче птичьего крыла,
По лестнице, как головокруженье,
Через ступень сбегала и вела
Сквозь влажную сирень в свои владенья
С той стороны зеркального стекла.

Когда настала ночь, была мне милость
Дарована, алтарные врата
Отворены, и в темноте светилась
И медленно клонилась нагота,

И, просыпаясь: «Будь благословенна!» —
 Я говорил и знал, что дерзновенно
 Мое благословенье: ты спала,
 И тронуть веки синевой вселенной
 К тебе сирень тянулась со стола,
 И синевую тронутые веки
 Спокойны были, и рука тепла.
 А в хрустале пульсировали реки,
 Дымились горы, брезжили моря,
 И ты держала сферу на ладони
 Хрустальную, и ты спала на троне,
 И — Боже правый! — ты была моя.
 Ты пробудилась и преобразила
 Вседневный человеческий словарь,
 И речь по горло полнозвучной силой
 Наполнилась, и слово «ты» раскрыло
 Свой новый смысл и означало: царь.

На свете все преобразилось, даже
 Простые вещи — таз, кувшин, — когда
 Стояла между нами, как на страже,
 Слоистая и твердая вода.
 Нас повело неведомо куда.
 Пред нами расступались, как миражи,
 Построенные чудом города,
 Сама ложилась мята нам под ноги,
 И птицам с нами было по дороге,
 И рыбы подымались по реке,
 И небо развернулось пред глазами...

Когда судьба по следу шла за нами,
 Как сумасшедший с бритвою в руке.

1962

* * *

Как сорок лет тому назад,
 Сердцебиение при звуке
 Шагов, и дом с окошком в сад,
 Свеча и близорукий взгляд,
 Не требующий ни поруки,
 Ни клятвы. В городе звонят.
 Светает. Дождь идет, и темный,
 Намокший дикий виноград
 К стене прижался, как бездомный,
 Как сорок лет тому назад.

1969

* * *

Как сорок лет тому назад,
Я вымок под дождем, я что-то
Забыл, мне что-то говорят,
Я виноват, тебя простят,
И поезд в десять пятьдесят
Выходит из-за поворота.
В одиннадцать конец всему,
Что будет сорок лет в грядущем
Тянуться поездом идущим
И окнами мелькать в дыму,
Всему, что ты без слов сказала,
Когда уже пошел состав.
И чья-то юность, у вокзала
От провожающих отстав,
Домой по лужам как попало
Плетется, прикусив рукав.

1969

* * *

Хвала измерившим высоты
Небесных звезд и гор земных
Глазам — за свет и слезы их!

Рукам, уставшим от работы,
За то, что ты, как два крыла,
Руками их не отвела!

Гортани и рукам хвала
За то, что трудно мне поется,
Что голос мой и глух и груб,
Когда из глубины колодца
Наружу белый голубь рвется
И разбивает грудь о сруб!

Не белый голубь — только имя,
Живому слуху чуждый лад,
Звучащий крыльями твоими,
Как сорок лет тому назад.

1969

М.Д. ТАРКОВСКАЯ
СТИХИ

Писать стихов я не умею,
Но все ж в стихах отвечу Вам —
О Кишиневе я жалею,
Тепло, отраднo сердцу там.

* * *

Скучные, серые дни.
Грустно так время идет.
Мы всё с тобою одни,
Дума за думой гнетет.

* * *

Журавли улетели на юг,
Унесли с собой летнее счастье.
А зима несет столько нам мук —
Голод, холод, тоску и ненастье.

* * *

Тихо стонет над могилой
Тополь молодой,
Где же, где же ты, мой милый,
Сын мой дорогой?

Стонет тополь над могилой,
Над могилою чужой.
Где же, где же, сын мой милый,
Где нашел ты свой покой?

Унесли и обрядили
Люди чуждою рукой.
Без молитвы схоронили
И засыпали землей.

Места смерти и могилы
Не узнаю никогда.
Вечно плакать буду, милый,
Вечно буду ждать тебя.

* * *

Вере Карловне

В природе уж осень, а в сердце зима —
Померкло все сразу вокруг.
Но будем надеяться, милый мой друг,
Что скоро вернется весна,

Проснется природа, очнутся поля,
Заблещет все разом вокруг,
И снова с тобою, родной милый друг,
Увидим родные места.

1929

* * *

О милый Асик, я страдаю.
Ты пишешь очень редко мне.
С тревогой писем ожидаю,
Стрелой летела бы к тебе.
Всечасно жду я бед ужасных,
Волнуюсь, мучаюсь, люблю,
С томленьем жду известий страшных,
Тоскую горько и терплю...

*«Мишу Злого и Валю Тарковского убили григорьевцы
(Почему коммунисты защищали анархиста)»**
Из газеты «Украина-Центр», № 47, 2 октября 1994 г.
Публикация А. Кодацкого (Кировоград)

В декабре 1920 года Елисаветградским уездным ЧК были произведены аресты местных жителей за принадлежность к Конфедерации анархистских организаций Украины «Набат». Большинство из анархистов, кстати сказать, действовавших до этого вполне легально, попали в елисаветградский концлагерь, обвиненные в пропаганде своих идей и распространении сочинений Бакунина, Кропоткина и другой литературы.

Завершался период многопартийного революционного движения.

А то, что революцию делала не одна отдельно взятая партия, подтверждает весьма любопытный документ, найденный в следственном деле на только что реабилитированного «набатовца», «делопроизводителя хозчасти Елисаветградского увоен-продкома» Маркуса Григорьевича Аксенфельда (он же Аксман).

Это очень эмоциональное послание пятерых коммунистов Христиану Раковскому и Григорию Петровскому, призванное, по их мнению, защитить от репрессий их товарища.

Поскольку написанное семьдесят три года назад может представлять интерес не только для специалистов, но и для самого широкого круга читателей, хотелось бы подать его в максимально полном виде, с особенностями правописания. Ведь речь идет не только о родственниках известного в истории большевизма Зиновьева-Радомысленского или родном брате та-

* Из этой публикации ясно, какая судьба ждала Валерия Тарковского после прихода к власти большевиков.

лантливому поэту Арсению Тарковскому, но и о событиях в центральноукраинском регионе в целом.

«Председателю Совета Народных Комиссаров Украины тов. Раковскому и Председателю Всеукраинского ЦИК тов. Петровскому

Впервые нам, молодым коммунистам, приходится обращаться к Вам, старым испытанным революционерам.

Очень возможно, что наше обращение, наша просьба направлена не по адресу, но оторванность от центра заставляет нас обращаться непосредственно к Вам как к товарищам, в искренности которых мы глубоко уверены.

Еще в 1917 году у нас в городе Елисаветграде, который является не только на Украине, но и в России одним из самых черносотенных городов, с одной стороны, с другой — сосудом, откуда выходили самые яркие революционные деятели, как, напр., тов. ЗИНОВЬЕВ (Председатель Исполкома 3-го Коминтерна), была организована группа революционной молодежи. В эту группу входили молодые революционеры всех толков, как-то Коммунисты (тогда еще Большевики), Лев. Эссеры, Анархисты и т. д. Головой нашей организации была нераздельная тройка, как их называли все товарищи. В эту тройку входили следующие товарищи: Миша Злой (Радомысленский) (родной брат тов. Зиновьева), Манюня Аксенфельд (личный друг Злого), Валя Тарковский. В 1919 году, когда был Григорьевский бунт, два из них — Миша Злой и Валя Тарковский — были убиты в борьбе с Григорьевскими бандами под Елисаветградом.

Тогда погибло много лучших из молодых революционеров, отсутствие которых сильно отражается в настоящее время.

Один только из этой тройки кристальной честности революционеров остался в живых — это всеми уважаемый и любимый товарищ «Манюня», как его называют, он же Аксенфельд. К великому нашему сожалению, наш лучший, честнейший, преданнейший делу социальной революции товарищ еще в 1919 году разошелся с нами во взглядах, он оказался анархистом. Да, это печально для нас. Но мы знаем, чем объяснить его ошибочный взгляд на положение вещей.

В 1919 году в Елисаветграде находится лидер Анархистского движения «Волин» и многие другие. Тов. Манюня попал под влияние Волина. Это одна причина.

Вторая — он чересчур вольная натура. Еще на школьной скамье... он всегда говорил правду учителям в глаза, поэтому, по их мнению, был «Дерзким мальчиком». В сущности же он с малых лет инстинктивно был революционно настроен.

Во время Деникинщины он в Елисаветграде не был.

В 1920 году он приехал в Елисаветград (после неоднократных болезней) к своей матери, где он находился все время безвыездно.

Когда произошло соглашение с Махно, тогда Манюня начал работать в легально издаваемой в Елисаветграде газете анархистов «Набат». Он анархист, но, во всяком случае, не активист.

Остатки когда-то мощной организации революционной молодежи (уже отжившей), теперешние коммунисты, просят Вас, т.т. Раковский и Петровский, принять во внимание его молодость (тов. Манюне Аксенфельду всего 18—19 лет), оказать Ваше влияние и освободить его из тюрьмы и ссылки.

Его будущее впереди. Он молод, полон сил и энергии.

В крайнем случае можете запросить младшую сестру Зиновьева, которая его лично хорошо знает. Вся семья Зиновьевых, как отец и мать, его тоже знают.

В Харькове его хорошо знает тов. Яков Тун, бывший редактор Елисаветградских Известий.

С глубокой уверенностью в том, что наша просьба не будет оставлена без внимания, мы отдаем судьбу нашего дорогого товарища в руки справедливого Суда Революции».

Р. S. Письмо бывших соратников Манюни так и не попало к адресатам. Его обнаружили подшитым к делу юного анархиста.

*«Погасла культурная сила
(К смерти т. Гусева)*

Некролог А.В. Гусеву (мужу тетки А.А. Тарковского Ольги Даниловны) из газеты «Красный путь», февраль 1928 г., Зиновьевск

Умер тов. Гусев!

Это имя много говорит рабочему населению Зиновьевска. Это имя много говорит широким кругам педагогов нашего города. Оно много говорит и широким кругам строителей нашей промышленности — инженерам, техникам, мастерам.

Смерть т. Гусева вызовет чувство горечи у всех знавших его, встречавшихся с ним на различных этапах социалистического строительства. Особенно чувствуется эта утрата сейчас, когда вопросы культурной революции приобрели особое значение, когда каждая культурная сила облегчает процесс реконструкции народного хозяйства в нашей стране.

Кто такой т. Гусев? Он воспитался не в нашей среде. До революции преподавал в военных школах физику и электротехнику.

Но с первого момента революции он примыкает к нам и честно целиком и полностью служит рабочему классу, заведует профобром, организует рабочие курсы, создает рабочий техникум, читает лекции в клубах и на рабочих собраниях, даже пишет инсценировки на смерть Ленина для массовых вечеров. Пи-

шет и выступает где только приходится по вопросам рабочего образования. Находясь во главе рабочего техникума, он все же находит время и для участия в разработке проекта нашей электростанции и других работ по нашей промышленности.

Советская власть оценила деятельность т. Гусева и наградила его орденом Трудового знамени.

Тов. Гусев пользовался большим уважением в кругах партийных и профессиональных работников, он пользовался любовью всех работавших с ним.

Смерть тов. Гусева — тяжелая утрата для рабочего образования в Зиновьевске.

Провожая прах т. Гусева в могилу, мы чувствуем необходимость еще более настойчиво работать рука об руку со всеми честными культурными и научными силами ради торжества дела пролетариата.

И. Вышеград».

Хроника жизни Александра Карловича Тарковского

- 1862 — 3 октября** (ст. ст.) — родился в деревне Николаевка Грузчанской волости Елисаветградского уезда Херсонской губернии
- 1871 — 24 января** — сестра Надежда Карловна выходит замуж за секретаря полицейской управы Ивана Карповича Тобилевича, впоследствии актера и драматурга, одного из основателей украинского национального театра, Карпенко-Карого
- 1872 — лето** — в один день от холеры умирают отец и мать. Похоронены возле Благовещенской церкви в деревне Николаевка. Церковь и кладбище не сохранились
- 1874** — поступает в Елисаветградское реальное училище
- 1878 — 1879** — знакомство с демократической литературой. Первые пропагандистские попытки
- 1880** — становится одним из организаторов общественных чтений среди реалистов
- **февраль** — исключен из Елисаветградского реального училища
 - становится наследником землевладения Тарковских. Делит землю на равные части между наследниками
- 1881** — июнь — сдает экзамены за курс в Мелитопольском реальном училище
- **август** — окончание гектографирования воззвания «К украинскому народу от Исполнительного комитета»
 - **сентябрь** — едет в Киев поступать в университет. Не поступив, в начале декабря возвращается в Елисаветград
- 1882** — встает во главе елисаветградского кружка саморазвития
- **13 мая** — умирает сестра, Надежда Карловна Тобилевич. Похоронена в деревне Николаевка возле Благовещенской церкви
 - **5 августа** — уезжает в Петербург
 - **август** — постоянный слушатель естественного факультета Петербургского университета
- 1883 — 20 января** — возвращается в Елисаветград, где ведет работу по реорганизации революционного кружка
- **февраль** — кружок переименован в Елисаветградский народольческий кружок

- **1 мая** — последнее собрание членов кружка. Подводится итог его деятельности
- **конец мая** — гектографирует прокламации «Русскому обществу»
- **август** — становится вольнослушателем юридического факультета Харьковского университета
- 1884 — январь** — находится в Елисаветграде
- **февраль** — в Харькове. Присылает в Елисаветград 20 снимков с печатей различных учреждений
- **15 июня** — едет к сестре, Вере Карловне Ильиной, в деревню Козловка Воронежской губернии
- **август** — арест
- 1884—1887** — находится в заключении в тюрьмах Воронежа, Елисаветграда, Одессы, Москвы (Бутырская тюрьма)
- 1887** — в административном порядке выслан в Восточную Сибирь сроком на пять лет
- 1887—1892** — живет как ссыльнопоселенец в поселке Тунка Иркутской губернии. Находясь в ссылке, сотрудничает в иркутских периодических изданиях. Изучает край. Пишет очерки о Сибири. Составляет словарь местного говора. Учит иностранные языки
- 1892** — в конце зимы возвращается в Елисаветград. Работает секретарем земского начальника
- **24 апреля** — женится на Александре Андреевне Сорокиной
- 1894** — родилась дочь Леонилла
- 1897** — начинает работать как помощник бухгалтера и делопроизводитель в Общественном Городском банке Елисаветграда. Позже получает должность бухгалтера банка. (Ставка 3200 руб. в год.) Как собственный корреспондент сотрудничает в газетах Одессы и Елисаветграда
- смерть жены, А.А. Тарковской
- 1902 — 8 ноября** — венчается в Покровской церкви на Ковалёвке с Марией Даниловной Рачковской
- 1903 — 12 октября** — родился сын Валерий
- 1907 — 12 июня** (25 июня н. ст.) — родился сын Арсений
- 1910-е гг.** — неоднократно избирается гласным Городской думы
- 1913 — 23 ноября — 2 декабря** — находится в Санкт-Петербурге, куда приезжает для встреч с редакторами газет и журналов
- 1919 — 15—19 мая** (н. ст.) — в один из этих дней убит сын Валерий. Гибель сына ускоряет потерю зрения
- 1920 — с 9 июня** — участвует в Ликвидационной комиссии Общественного Городского банка Елисаветграда
- 1924 — февраль** — начинает получать персональную пенсию по семнадцатому разряду в размере 99 руб. 50 коп.
- 1924 — 26 декабря** — в 8 часов утра скончался от кровоизлияния в мозг. Похоронен на Быковом кладбище в Елисаветграде. Кладбище не сохранилось.

Хроника жизни Арсения Александровича Тарковского

- 1907 — 12 июня** (25 июня н. ст.) — родился в Елисаветграде Херсонской губернии
- **25 июня** — крещен в Преображенской церкви
- 1913** — посещает с отцом поэтические вечера приезжавших в Елисаветград поэтов — К. Бальмонта, И. Северянина, Ф. Сологуба. Доктор Афанасий Иванович Михалевич знакомит со стихами украинского философа — «старчика» Григория Сковороды
- 1914** — гибель на фронте Первой мировой войны, в Мазурских болотах, мужа тетки Веры Карловны, полковника Владимира Дмитриевича Ильина, дяди Володи
- **29 сентября** — заболел подскрипной
- 1916—1918** — посещает подготовительный и первый классы гимназии Крыжановского
- 1919** — попадает в плен к атаманше Маруське Никифоровой
- **май** — в бою с отрядом Григорьева погибает старший брат Валерий
- 1921** — арестован за публикацию акростиха о Ленине*. Побег из поезда, скитания по Новороссии
- 1922** — кончает елисаветградскую трудовую школу № 11 и поступает в 1-ю зиновьевскую профтехническую школу.
- 1924 — 26 декабря** — смерть отца, А.К. Тарковского
- 1925** — конец июня — едет в Москву для продолжения образования. Работает распространителем книг. После собеседования поступает на Высшие государственные литературные курсы при Всероссийском Союзе поэтов при Москпрофобра. Знакомится с поэтом и теоретиком стиха Георгием Александровичем Шенгели
- 1926** — работает распространителем литературы
- **декабрь** — едет в Ленинград, где был принят поэтом и прозаиком Ф. Сологубом. Встреча с М.Г. Фальц
- 1927** — публикация в сборнике «Две зари» (изд. «Никитинские субботники») стихотворения «Свеча» (1926)
- С конца 20-х гг.** — работает в газете «Гудок», пишет очерки и стихотворные фельетоны. Псевдоним — Тарас Подкова
- 1928 — 20 февраля** — смерть в Зиновьевске А.В. Гусева, дяди Саши
- **февраль** — женится на Марии Ивановне Вишняковой, так-

* По сообщению Т.В. Никитиной-Станиславской.

- же слушательнице Высших государственных литературных курсов
- лето — едет в Зиновьевск к матери. Провожает М.Г. Фальц в Одессу
 - 1929** — закрытие Высших государственных литературных курсов. Слушателям предоставлено право сдать выпускные экзамены в 1-м МГУ. Тарковский этим правом не воспользовался.
 - лето — едет в Зиновьевск к матери
 - 1930** — **июнь** — уезжает в село Завражье Юрьевецкого района Ивановской области к своей теще, Вере Николаевне Петровой (1880—1966)
 - 1931** — работа на Всесоюзном радио
 - **май** — на квартире у поэта Рюрика Ивнева молодые поэты А. Тарковский, Н. Берендгоф, А. Штейнберг читают свои стихи О.Э. Мандельштаму
 - лето — командировка под Нижний Новгород на стекольный завод. Пишет радиопьесу «Стекло»
 - лето — в Завражье у Петровых. Вспышка туберкулезного процесса
 - 1932** — **3 января** — поэма «Стекло» передается по Всесоюзному радио. Ее автор подвергается критике за «мистику»
 - **конец марта** — вместе с женой приезжает в село Завражье
 - **4 апреля** — рождение сына Андрея
 - **6 июня** — уехал в Москву из Завражья
 - **декабрь** — поездка в Ленинград
 - 1933** — примерно в этом году Г.А. Шенгели, тогда сотрудник отдела литературы народов СССР Гослитиздата, привлекает к работе над переводами национальной поэзии молодых поэтов — А. Тарковского, М. Петровых, С. Липкина, А. Штейнберга и др.
 - лето — с семьей едет в город Юрьевец, где живет его теща (Революционный пер., д. 3)
 - 1934** — выход первой книги переводов
 - лето — неоднократно приезжает в Малоярославец, где живут на даче жена и сын
 - творческая поездка в Орджоникидзе (Северная Осетия)
 - **3 октября** — рождение дочери Марины
 - 1936** — **май** — поездка в Симферополь и Ялту (дом отдыха)
 - знакомство с Антониной Александровной Бохоновой (1905 — 1951)
 - 1937** — уход из семьи. Соединяет жизнь с А.А. Бохоновой
 - лето — живет в Тарусе (тогда Московской, теперь Калужской области) с А. А. Бохоновой
 - 1938** — лето — живет на Волге с А.А. Бохоновой в 60 км вниз по Волге от Калинина (теперь Тверь)
 - поездка в Туркмению для переводов стихов туркменского поэта Кемине
 - перевод драмы в стихах Ги де Мопассана «Измена графини де Рюм» (по подстрочнику Нины Витальевны Горнунг)

1939 — весна — поездка в Тбилиси

— **лето** — живет в Чечено-Ингушетии (Грозный, поселок Ведено) с женой и ее дочерью, Еленой Трениной. Работает над переводами чеченских и ингушских поэтов

— **сентябрь** — едет по издательским делам в Ленинград. Заболевает там дифтерией, лежит в больнице им. Боткина

— **начало октября** — присутствует на похоронах Л.Д. Менделеевой

1940 — вступает в Союз писателей СССР

— знакомится с М.И. Цветаевой

— официальный развод с М.И. Тарковской-Вишняковой

1941 — 22 июня — началась война

— **лето** — проходит военную подготовку с писателями Москвы

— **16 октября** — с матерью, М.Д. Тарковской, выезжает в Чистополь Татарской ССР, куда эвакуируется Союз писателей и где уже находится А.А. Бохонова с дочерью

— **октябрь — ноябрь** — работает в колхозе и на разгрузке дров. Создает цикл «Чистопольская тетрадь». Пишет многочисленные заявления в Правление Союза писателей с просьбой направить его на фронт

— **декабрь** — с группой писателей возвращается в Москву, где ждет назначения в действующую армию

— **конец декабря** — получает назначение в действующую армию

1942 — 3 января — Приказом НКО СССР за № 0220 зачислен на должность писателя армейской газеты

январь 1942 — декабрь 1943 — работает как военный корреспондент и автор стихотворных материалов в газете 11-й (потом 16-й Гвардейской Краснознаменной) Армии «Боевая тревога». Пишет песни для армейского Ансамбля песни и пляски

1943 — январь — представлен к награждению орденом Красной Звезды

— **конец сентября — начало октября** — приезжает в отпуск в Москву

— **3 октября** — приезжает к детям в Переделкино

— **13 декабря** — тяжело ранен под Городком Витебской области

— **декабрь** — находится в военных госпиталях, где переносит несколько ампутаций левой ноги

1944 — январь — жена перевозит Тарковского из Калинин в Москву. Находится в госпитале в Москве (сейчас Институт им. Вишневского на Б. Серпуховской улице). Профессор Вишневский производит еще одну ампутацию, в результате которой удается остановить газовую гангрену

— смерть матери, М.Д. Тарковской

— **лето** — живет с женой в Доме творчества писателей в поселке Переделкино.

1945 — едет в Грузию. В Тбилиси встречается с поэтами С. Чиковани, Г. Абашидзе, с актрисой Натой Вачнадзе, а также с женщиной по имени Кетевана, которой посвящает несколько лирических стихотворений

- **август** — с женой А.А. Бохоновой едет в Армению в творческую командировку. Встречи с поэтессой С. Капутикян и художником М. Сарьяном
- готовит книгу стихотворений для издательства «Советский писатель»
- 1946** — в доме Г.А. Шенгели и его жены, поэтессы Н.Л. Манухиной, знакомится с А.А. Ахматовой
- выходят «чистые листы» и «сигнал» книги стихов. После постановления ЦК КПСС «О журналах “Звезда” и “Ленинград”» книга снимается с производства
- 1947** — связывает свою судьбу с Т.А. Озерской (1907–1991)
- работает в Ашхабаде и Фирузе над переводами туркменского классика Махтумкули
- 1948** — в Ашхабаде и Нукусе работает над переводом каракалпакского эпоса «Сорок девушек»; получает комнату от Союза писателей по адресу ул. Коровий вал, д. 22, кв. 4
- 1949** — **весна** — ЦК КПСС поручает Тарковскому перевод юношеских стихов И.В. Сталина (к 70-летию вождя). Осенью поручение отменяется
- **сентябрь** — поездка в Туркмению
- 1950** — **август** — поездка в Азербайджан для работы над переводом поэмы Расула Рзы «Ленин» с Т.А. Озерской, ее сыном, Алексеем Студенецким, и дочерью Мариной (Баку, Мардакяны, село Алты-Агач)
- **декабрь** — оформляет развод с А.А. Бохоновой
- 1951** — **26 января** — регистрирует брак с Т.А. Озерской
- **22 марта** — смерть А.А. Бохоновой
- 1954** — делегат 2-го Всесоюзного съезда советских писателей
- 1955** — **лето** — посещает Кировоград (бывший Елисаветград, Зиновьевск)
- 1959** — **май** — с Т.А. Озерской-Тарковской лечится на чехословацком курорте Карловы Вары. Посещает ГДР
- 1962** — выход в свет первой книги «Перед снегом» (М., «Советский писатель», 142 с., тир. 6 000 экз.)
- **август** — сын поэта, кинорежиссер Андрей Тарковский, получает Главный приз Венецианского международного кинофестиваля за фильм «Иваново детство»
- 1960-е гг.** — ведет поэтическую студию при Московском отделении Союза писателей. Выступает на поэтических вечерах
- 1965** — поездка в Польшу
- 1966** — выход книги «Земле — земное» (М., «Советский писатель», 175 с., тир. 20 000 экз.)
- **5 марта** — смерть А.А. Ахматовой
- **9 марта** — вместе с В.А. Кавериним сопровождает гроб с телом А.А. Ахматовой в Ленинград
- **апрель** — в составе делегации советских писателей едет с женой во Францию

- 1967** — в составе делегации советских писателей едет с женой в Англию. Встреча с литературоведом и переводчиком русской поэзии Питером Норманом и его женой Н.С. Франк
- 1969** — выходит книга «Вестник» (М., «Советский писатель», 291 с., тир. 20 000 экз.)
- 1970** — поездка во Францию
— поездка на Украину (Житомир, Киев)
- 1971** — лето — поездка с женой в Грузию (Боржоми, санаторий «Ликани»)
— присуждение Государственной премии Туркменской ССР им. Махтумкули
- 1974** — выход книги «Стихотворения» (М., «Художественная литература», 288 с., тир. 25 000 экз.)
- 1977** — в связи с семидесятилетием награжден орденом Дружбы народов
- 1978** — выход книги «Волшебные горы» (Тбилиси, «Мерани», 283 с., тир. 15 000 экз.)
- 1979** — 5 октября — смерть Марии Ивановны Вишняковой, первой жены
- 1980** — выход книги «Зимний день» (М., «Советский писатель», 96 с., тир. 25 000 экз.)
- 1982** — выход книги «Избранное» (М., «Художественная литература», 736 с., тир. 25 000 экз.)
— осень — едет в Ереван
- 1983** — выход книги «Стихи разных лет» (М., «Современник», 206 с., тир. 20 000 экз.)
- 1986** — 29 декабря — в Париже скончался сын, Андрей Арсеньевич Тарковский
- 1987** — в связи с восьмидесятилетием награжден орденом Трудового Красного Знамени
— выход книг «От юности до старости» (М., «Советский писатель», 112 с., тир. 50 000 экз.) и «Быть самим собой» (М., «Советская Россия», 256 с., тир. 20 000 экз.)
- 1988** — с ноября — находится в Центральной клинической больнице в Кунцево
- 1989** — апрель — выход книги «Звезды над Арагацем» (Ереван, «Советахан грох», 234 с., тир. 5 000 экз.) (на титульном листе дата — 1988)
— 27 мая — скончался в больнице
— 1 июня — похоронен на кладбище в Переделкине после гражданской панихиды в Центральном доме литераторов и отпевания в храме Преображения Господня
— ноябрь — Постановлением правительства СССР присуждена посмертно Государственная премия за книгу стихотворений «От юности до старости»

Хроника жизни Андрея Арсеньевича Тарковского

- 1932 — 4 апреля** — родился в селе Завражье Юрьеvecкого района Ивановской обл. (теперь Каdыйский район Костромской обл.)
- крещен в церкви Рождества Богородицы. Крестной матерью была бабушка Вера Николаевна Петрова, крестным отцом — Лев Владимирович Горнунг
 - **сентябрь** — Мария Ивановна с Андpушей возвращается в Москву. Семья живет в комнате по адресу: Гороховский пер., д. 21, кв. 7
- 1933 — лето** — Мария Ивановна, Арсений Александрович с Андpушей гостят в Юрьеvце Ивановской обл. у Веры Николаевны и Николая Матвеевича Петровых
- 1934 — лето** — семья живет на даче в Малоярославце Калужской обл.
- **3 октября** — рождение сестры Марины
 - **октябрь** — семья Тарковских возвращается в Москву
 - **декабрь** — семья переезжает по адресу: 1-й Щиповский пер., д. 26, кв. 2
- 1935—1936 — лето** — семья живет на даче на хуторе Павла Петровича Горчакова рядом с деревней Игнатьево (ст. Тучково Белорусской ж. д.)
- 1937** — уход отца из семьи
- 1936—1938** — по несколько месяцев живет вместе с сестрой у бабушки в Юрьеvце
- 1939 — лето** — на даче в Расторгуеве под Москвой
- **сентябрь** — поступает в первый класс московской средней школы № 554 Москворецкого района (Стремянный пер.) и в первый класс районной музыкальной школы
- 1940 — лето** — с няней А.Я. Андpиановой живет «на даче» в доме П.П. Горчакова в деревне Игнатьево
- 1941 — май** — с бабушкой и сестрой выезжает на дачу в деревню Битюгово (ст. Востряково Павелецкой ж. д.)
- **29 августа** — с матерью, бабушкой, А.Я. Андpиановой и сестрой выезжает в эвакуацию в г. Юрьеvec. На Ярославском вокзале семью провожает отец. В Кинешме останавливаются на квартире сына Н.М. Петрова, Николая Николаевича
 - **сентябрь** — в ожидании парохода на Юрьеvec Андрей с матерью и сестрой живет в поселке Семеновское близ Кине-

- шмы. На барже семья переезжает в Юрьевец. Живут по адресу: ул. Энгельса, д. 8
- Осень 1941 — весна 1943** — учится в начальной школе г. Юрьевца
- 1943 — лето** — с матерью и сестрой возвращается в Москву
- **август** — в пионерском лагере Литфонда СССР в Переделкине
- **сентябрь** — продолжает занятия в пятом классе школы № 554
- 1944—1945** — лето в Переделкине
- 1946 — лето** — в деревне Мутовки (ст. 57-й километр, сейчас ст. Абрамцево Ярославской ж. д.)
- 1947 — лето** — гостит в семье деда по матери, Ивана Ивановича Вишнякова, в Малоярославце, а затем живет в доме родственников в деревне Молодино на ст. Усад (Горьковская ж. д.)
- **сентябрь** — поступает в художественную школу
- **ноябрь** — заболевает туберкулезом
- Зима 1947—1948** — находится на лечении в детской туберкулезной больнице (Орлово-Давыдовский пер., д. 2а)
- 1948 — весна** — выписывается из больницы
- **лето** — живет на даче в деревне Сальково (близ Звенигорода)
- 1949 — лето** — живет в поселке Кратово
- 1950 — лето** — живет в деревне Редькино (ст. Востряково Павелецкой ж. д.)
- 1951 — июнь** — заканчивает среднюю школу № 554
- **июль** — сдает вступительные экзамены в Институт востоковедения
- **август** — принят на арабское отделение института
- 1953 — зима** — оставляет институт
- **апрель** — зачислен коллектором Люмаканской партии Туруханской экспедиции в Московском научно-разведывательном институте («Нигризолота»)
- **26 мая** — уезжает в экспедицию в район реки Курейка (приток Енисея, Туруханский край)
- **осень** — возвращается в Москву
- 1954 — апрель** — увольняется из «Нигризолота»
- **лето** — живет в деревне Мутовки, ст. 57-й километр
- **июль** — сдает вступительные экзамены на режиссерский факультет Всесоюзного государственного института кинематографии (ВГИК)
- **август** — зачислен на 1-й курс института в мастерскую кинорежиссера профессора Михаила Ильича Ромма
- 1956** — снимает как режиссер одну часть учебного фильма «Убийцы» на учебной студии ВГИКа. Остальные две части снимают его однокурсники — Мария Бейку и Александр Гордон. В фильме «Убийцы» исполняет эпизодическую роль посетителя бара

- 1957 — апрель** — женится на однокурснице Ирме Рауш
- **лето** — вместе с женой и однокурсником Василием Шукшиным проходит практику на Одесской киностудии
- 1958 — лето** — с А. Гордоном снимает курсовую работу — короткометражный фильм «Сегодня увольнения не будет» по заказу Молодежной редакции Центрального телевидения совместно с учебной студией ВГИКа. Исполняет в фильме эпизодическую роль офицера-подрывника
- 1959** — вместе с А. Михалковым-Кончаловским и О. Осетинским работает над первым вариантом сценария «Антарктида — далекая страна»
- 1960** — вместе с А. Михалковым-Кончаловским пишет сценарий своей дипломной работы — короткометражного фильма «Каток и скрипка»
- **апрель** — на киностудии «Мосфильм» начинает работу над фильмом «Каток и скрипка»
- 1961 — март** — окончание работы над дипломным фильмом «Каток и скрипка»
- **весна** — получает диплом с отличием об окончании ВГИКа
- **15 апреля** — зачислен режиссером III категории на киностудию «Мосфильм»
- **лето** — начинает работу над фильмом «Иваново детство»
- 1962** — заканчивает работу над фильмом «Иваново детство»
- **9 мая** — премьера фильма «Иваново детство» в кинотеатре «Центральный»
- август** — едет на Международный кинофестиваль в Венецию. За фильм «Иваново детство» получает Главный приз «Золотой лев Святого Марка»
- поездка с фильмом в Индию и на Цейлон
- **30 сентября** — рождение сына Арсения
- с кинорежиссером и сценаристом А. Кончаловским начинает работу над сценарием «Страсти по Андрею» («Андрей Рублев»)
- 1962—1964** — за фильм «Иваново детство» получает многочисленные международные призы и награды
- 1963 — февраль** — принят в Союз кинематографистов СССР
- 1964 — август** — едет в Венецию в качестве члена жюри Международного кинофестиваля
- **сентябрь** — на киностудии «Мосфильм» присвоена должность режиссера-постановщика II категории
- **ноябрь** — приступает к работе над фильмом «Андрей Рублев»
- 1965** — в главной редакции литературно-драматического вещания Всесоюзного радио заканчивает работу над радиопостановкой по рассказу У. Фолкнера «Полный поворот кругом». Редактор А. Мишарин, актеры А. Лазарев, Л. Дуров, Н. Михалков
- работает над фильмом «Андрей Рублев». Во время съемок фильма знакомится с Л.П. Кизиловой (девичья фамилия

- Егоркина), помощником режиссера киностудии «Мосфильм»
- 1966** — заканчивает работу над фильмом «Андрей Рублев»
- **21 октября** — смерть бабушки, Веры Николаевны Петровой. Похороны на Котляковском кладбище в Москве
 - **декабрь** — первая премьера фильма «Андрей Рублев» в Белом зале Союза кинематографистов СССР
- 1967** — работа над сценарием «Исповедь» («Искупление», «Белый день», «Белый-белый день») вместе с писателем, драматургом, сценаристом А. Мишариным. (Окончательное название фильма — «Зеркало»)
- едет в Кишинев, где принимает участие в доработке сценария фильма «Сергей Лазо» (сценарист Г. Маларчук, режиссер А. Гордон). Снимается в этом фильме в роли белогвардейского полковника Бочкарева
- 1968** — окончание работы над сценарием «Белый день»
- **октябрь** — со сценаристом, писателем Ф. Горенштейном, начинает работать над сценарием «Солярис» по повести польского писателя С. Лема
- 1969** — работа над сценарием «Солярис»
- **17 февраля** — вторая премьера фильма «Андрей Рублев» в Центральном доме кино
 - **май** — внеконкурсный показ фильма «Андрей Рублев» на Каннском кинофестивале
- 1970** — начало работы над фильмом «Солярис»
- **18 июня** — оформляет развод с И.Я. Тарковской
 - **лето** — заключает брак с Л.П. Кизиловой
 - **7 августа** — рождение сына Андрея
- 1971** — едет в Японию для съемок эпизода «Город будущего» (фильм «Солярис»)
- выход на экраны фильма «Андрей Рублев»
- 1972** — читает лекции на Высших режиссерских курсах
- **март** — окончание работы над фильмом «Солярис»
 - **май** — едет на Международный кинофестиваль в Канн с фильмом «Солярис». Большой приз жюри «Золотая пальмовая ветвь»
 - поездка в Лондон. Приз за «Солярис» как за лучший фильм года
 - **июль** — на киностудии «Мосфильм» получает должность режиссера-постановщика высшей категории
- 1973** — вместе с Ф. Горенштейном пишет сценарий «Ариэль» по повести А. Беляева
- **2 февраля** — премьера фильма «Солярис» в московском кинотеатре «Мир»
 - **июнь** — поездка на Неделю советских фильмов в Уругвай и Аргентину.
 - **лето** — съемки фильма «Белый-белый день» («Зеркало»)

- декабрь — поездка в Юрьевец для выбора места натуральных съемок
- получает квартиру по адресу 1-й Мосфильмовский пер. (теперь ул. Пырьева), д. 4, к. 2, кв.150
- 1974** — окончание фильма «Зеркало»
- премьера «Зеркала» в Центральном доме кино
- 1975** — выход фильма «Зеркало» на экраны трех кинотеатров в Москве
- работа над сценарием «Гофманиана»
- 1976** — работа с писателями братьями Б. и А. Стругацкими над сценарием фильма «Сталкер»
- декабрь — репетирует пьесу Шекспира «Гамлет» в Московском театре им. Ленинского комсомола
- 1977** — премьера спектакля «Гамлет»
- съемки фильма «Сталкер»
- 1978** — январь — поездка во Францию
- 3 мая — переносит инфаркт миокарда
- продолжение работы над фильмом «Сталкер»
- 1979** — окончание фильма «Сталкер»
- весна — поездка в Ригу
- апрель — поездка в Италию
- июль — командировка в Италию
- 5 октября — смерть матери, Марии Ивановны Вишняковой. Похороны на Востряковском кладбище в Москве
- 1980** — январь — получает звание народного артиста РСФСР («Камергерский мундир» — слова А. Тарковского)
- февраль — поездка в Казань
- апрель — едет в Италию для работы вместе с поэтом, сценаристом Т. Гуэррой над сценарием фильма «Ностальгия»
- осень — возвращается в Москву
- за фильм «Сталкер» присужден приз Лукино Висконти «Давид» Донателло
- 1981** — февраль — поездка в Лондон и Шотландию с фильмом «Сталкер»
- май — поездка на Каннский фестиваль. Призы: французской критики и Экуменического жюри.
- поездка в Швецию
- 1982** — январь — поездка в Грузию и Ленинград
- 6 марта — уезжает в Италию для работы над фильмом «Ностальгия»
- съемки документального фильма «Время путешествий Андрея Тарковского и Тонино Гуэрры»
- работа над фильмом «Ностальгия»
- 1983** — окончание фильма «Ностальгия»
- февраль — живет в Италии
- поездка в Канны на Международный кинофестиваль с фильмом «Ностальгия». Большой специальный приз жюри, приз ФИПРЕССИ, приз Экуменического жюри

- **май** — уволен с киностудии «Мосфильм» по ст. 33, п. 4 КЗОТ («За неявку на работу без уважительной причины с 28.05.83 г.»)
- поставил в театре «Ковент-Гарден» (Лондон) оперу Мусоргского Борис Годунов
- **ноябрь** — начало работы над сценарием фильма «Жертвоприношение»
- 1984 — сентябрь** — по делам фильма «Жертвоприношение» приезжает в Стокгольм
- едет в Голландию (Амстердам и Роттердам)
- **10 июля** — на международной пресс-конференции в Милане в Палаццо Себелиони заявляет о невозвращении в Советский Союз
- Зима 1984—1985** — живет в Берлине. Выход в издательстве «Ульштайн» книги «Запечатленное время»
- 1985 — весна** — едет в Швецию. Съемки фильма «Жертвоприношение»
- **май** — начало натурных съемок фильма на острове Готланд
- **сентябрь** — едет во Флоренцию
- **ноябрь** — в Стокгольме продолжает работу над фильмом «Жертвоприношение». Начало болезни
- **13 декабря** — поставлен диагноз
- 1986 — январь** — начинает лечение во Франции в Центре радиотерапии
- **19 января** — приезд в Париж сына Андрея и тещи
- **9 мая** — премьера фильма «Жертвоприношение» в Стокгольме в кинотеатре «Астория»
- **май** — фильм «Жертвоприношение» на Международном кинофестивале в Каннах получает Большой специальный приз жюри. Приз вручается сыну А. Тарковского Андрею
- **июль** — находится на лечении в антропософической клинике в Эшельбронне (Германия)
- **август** — приезд в Италию
- **октябрь** — возвращение в Париж
- **16 декабря** — находится в клинике Артманн (в пригороде Парижа Нейи-сюр-Сен)
- **29 декабря** — смерть в клинике
- 1987 — 3 января** — после отпевания в храме Св. Александра Невского и гражданской панихиды похоронен на русском кладбище Сент-Женевьев де Буа

Содержание

<i>От автора</i>	7
Родословная	9
Встречи с папой	11
Калоши	12
Задний двор	13
Стеклянные глаза	15
Записки о писателях	16
Собаки	18
Еще о родословной Тарковских	19
Елисаветградский дедушка	23
Реальное училище	26
Окончание реального училища. Что дальше?	30
Битюгово	32
Маскарадные костюмы	34
Утренник	35
Мадам Эжени. Перепись населения	36
Кусок торта	38
Начальная школа. Веснушки и любовь	41
1-й Щиповский переулок, дом 26, квартира 2	43
Пальто на ватине	45
Начало	47
Ода	56
Лето 1934 года. Письмо к бабушке Вере	61
Я родилась	63
«Больше всего на свете люблю ночь»	68
Продолжение эпизода	72
Лето сорок четвертого года	73
Кисель	74
«Расшибалка» и футбол	76
Школа № 554. Ученики, учителя	78
Дама в бархатном халате. Папино письмо	83
Поездка в Азербайджан	89
Дубасовы, Пшеславские, дед Корженевский	92
Тетья Дуня и Маруся Коваленко	97
Врач из Малоярославца	102
Два письма. 1916 год	107

Кирилка	113
Член семьи по имени Аннушка	115
Пуговицы	118
«Из Эри в Онтарио...»	121
Революционная деятельность Александра Тарковского	122
Елисаветградские кружки и их предатели	124
«День творенья» — 25 июня	128
Вокзал, сирень и белая акация	135
Три друга из Елисаветграда	141
Шуба	146
В поисках Селибы	149
Воспоминания о старом шкафе	151
Памяти неизвестного поэта	156
Две пьесы	158
Картина	160
Брошка-паук	162
Елка	163
Кошачьи истории	164
ВГЛК	167
Бирюзовые серьги	172
Пожарище	174
Цветы	176
Баня	177
Записки на клочках	179
Любовь	182
Танечка	184
Про обувь	192
Яблоки сорта «аркад»	194
Сводка с прессов	195
Смерть мамы	198
Без названия	201
Вера Ивановна и Зинаида Петровна	203
Тюрьмы Александра Карловича	206
Письмо к Виктору Гюго	209
Абрамцево	218
Консерватория	220
Таежный рассказ	221
Как я не стала востоковедом	226
Поступление во ВГИК	228
Записки и стихи	233
Женитьба	236
Здравствуй, Вася!	238
Четверостишие	240
Икра. Поездка в Париж	241
Прогулки по Парижу. Завещание Андрея	245
Толя Солоницын	250

Возвращаясь к началу «Андрея Рублева»	253
Храм Покрова на Нерли. Владимир	258
Первые барды	262
Человек, исчезнувший с фотографии	265
«Лучшего имени влажные звуки...»	268
Медем	272
Папина квартира	275
Папа и астрономия	277
«Какое счастье у меня украли...»	281
Посвящения	287
Диалог	293
Открытие	297
Тетя Тоня	303
Подарок от папы	309
Неизданная книга Арсения Тарковского	310
Первый брак Александра Карловича	317
Сестры Рачковские	319
Сватовство в письмах	323
Валерий, Валя, Валюся	330
Несколько документов из архива бабушки	339
Карманные часы	342
Думая об Андрее... ..	344
Странные письма	348
Папа. Последний год	353
Анкета Андрея Тарковского	360
Андрею холодно	363
Лестница, ведущая в небо	367
Приложения	373
Хроника жизни Александра Карловича Тарковского	400
Хроника жизни Арсения Александровича Тарковского ..	402
Хроника жизни Андрея Арсеньевича Тарковского	407

Литературно-художественное издание

Тарковская Марина Арсеньевна

ОСКОЛКИ ЗЕРКАЛА

РЕДАКТОР

Е.Д.Шубина

МЛАДШИЙ РЕДАКТОР

Е.В.Безуглых

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР

С.А.Виноградова

ТЕХНОЛОГ

С.С.Басипова

ОПЕРАТОР КОМПЬЮТЕРНОЙ ВЕРСТКИ ПЕРЕПЛЕТА

В.М.Драновский

ОБРАБОТКА ИЛЛЮСТРАЦИЙ

Е.В.Мелентьева

ОПЕРАТОР КОМПЬЮТЕРНОЙ ВЕРСТКИ

М.Е.Басипова

КОРРЕКТОРЫ

Е.В.Рудницкая, Н.В.Семенова

Подписано в печать 15.11.2005

Формат 60x100/16

Тираж 5000 экз.

Заказ № 6515

ЗАО «Вагриус»

107150, Москва, ул. Ивантеевская, д. 4, корп. 1

Отпечатано во ФГУП ИПК

«Ульяновский Дом печати»

432980, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14



МАРИНА ТАРКОВСКАЯ ОСКОЛКИ ЗЕРКАЛА

Эта книга-исповедь написана дочерью поэта Арсения Тарковского и сестрой всемирно известного кинорежиссера Андрея Тарковского. Летопись жизни семьи, из которой вышло много ярких личностей, перемежается собственными воспоминаниями — веселыми и трагическими. В «Осколках зеркала» много персонажей, но главными все же остаются отец и брат. Марина Тарковская точно передает их напряженный диалог, сближения и разрывы, мучительное расставание, происшедшее после того, как Андрей был вынужден остаться в эмиграции — покинуть не только родину, но и самых близких людей. Другая важная линия в повествовании М.Тарковской — история взаимоотношений ее родителей, двух сильных личностей, «которые не могли быть вместе, но и в отдельности не получалось»...

ISBN 5-9697-0150-5



9 785969 701502

ВАГРИУС